



6/93



# ДРУЖБА НАРОДОВ

Николай Любимов

*Неувядаемый цвет.*

ГЛАВЫ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Исаак Дунаевский,  
Людмила Головина

*"Может быть, я Вас не понял..."*

ПОЧТОВЫЙ РОМАН

Галина Джугашвили

*Дед, папа, Ма и другие.*

ВОСПОМИНАНИЯ

Чеслав Милош

*Наша Европа.*

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ ЛАУРЕАТА НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ

Владимир Медведев

*Сага о бобо Сангаке, воине.*

РАССКАЗ, ЗАПИСАННЫЙ НЕЗАДОЛГО ДО ГИБЕЛИ



## **ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1993 :**

**ГАЙТО ГАЗДАНОВ**

### **Полет. Роман**

«В этом небольшом пространстве, внутри аэроплана, летевшего под Ламаншем, был сосредоточен в эти последние минуты целый мир разнообразных и неповторимых вещей, несколько долгих жизней, множество правильно и неправильно понятых чувств, сожалений, надежд и ожиданий, - это была целая сложная система человеческих отношений, на тщетное изложение которой потребовался бы, быть может, годы упорного труда... И расчет, который привел каждого из этих людей сюда, исходил может быть, из давным-давно совершенной - в неизвестных для нас условиях - ошибки, если слово ошибка здесь вообще имеет какой-нибудь смысл».

**ЮРИЙ КАРАБЧИЕВСКИЙ**

### **Каждый раз весной. Повесть**

«Был у нас в бригаде хороший парень Саша Румянцев, простой человек, но с какой-то странной тоской в глазах... Он говорил к а ж д ы й р а з в е с н о й: «Вот и почки распускаются. Скоро осень...» Такая дзен-буддистская глубина. Откуда бы?...»

**АЛЕКСЕЙ ПЕСКОВ**

### **Анекдоты и факты, собранные полковником Кижем**

«Мы учились вместе с императором, нас было 20 человек за столом; он был очень весел и много шутил с моей старшей дочерью, которая в качестве фрейлины присутствовала за ужином и сидела против императора. После ужина он говорил со мною, и пока я отвечал ему несколько слов, он взглянул на себя в зеркало, имевшее недостаток и делавшее лицо кривым. Он посмеялся над этим и сказал мне: «Посмотрите, како смешное зеркало; я вижу себя в нем с шеей на сторону». Это было за полтора часа до его кончины».

**ФРАНЦ БИРБАУМ**

### **История фирмы «Фаберже»**

Подлинная история «Дома Фаберже» еще не написана. Долгое время в Советском Союзе даже на само имя Фаберже был наложен как бы негласный запрет. В архиве академика А.Е.Ферсмана обнаружена рукопись главного мастера фирмы. Печатается впервые.

# ДРУЖБА НАРОДОВ



НЕЗАВИСИМЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

6/93

ОСНОВАН В МАРТЕ 1939 ГОДА

## СОДЕРЖАНИЕ

|               |                                  |   |
|---------------|----------------------------------|---|
| ЛЕОНИД БАХНОВ | «...БЕЗ КОЗНЕЙ, РОЗНИ И НАДСАДЫ» | 3 |
|---------------|----------------------------------|---|

---

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

|                    |                                                                                                                 |    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| НИКОЛАЙ<br>ЛЮБИМОВ | В НЕКОТОРОМ ГОСУДАРСТВЕ<br>Из воспоминаний «Неувядаемый цвет». Публикация и подготовка текста<br>Б. Н. Любимова | 48 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                |                       |    |
|----------------|-----------------------|----|
| ЯКОВ ДЫМАРСКИЙ | ГУЛ ИСТОРИИ.<br>Стихи | 79 |
|----------------|-----------------------|----|

|                    |                                                                  |    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|----|
| ГЕОРГИЙ<br>ДЕМИДОВ | ИНТЕЛЛЕКТУАЛ (ПРИЗНАК КОШИ).<br>Вступительное слово В. Демидовой | 83 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|----|

|                 |                                                                        |    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----|
| АЛЕКСАНДР ПУТКО | ЭПИТАЛАМА ПО-ФРОНТОВОМУ.<br>Рассказы. Вступительное слово Евг. Беньяша | 91 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----|

---

### ПОВТОРЕНИЕ НЕПРОЙДЕННОГО

|                 |                                                                                     |   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| МАРИЯ БОЧКАРЕВА | ЯШКА.<br>Вступление Сергея Дрокова. С английского. Сокращенный перевод И. Дорониной | 5 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|

---

### ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

|                 |                                                                                        |     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| АКАКИЙ ЦЕРЕТЕЛИ | ВЕНОК ГРИГОЛУ РОБАКИДЗЕ<br>ГРИГОЛ РОБАКИДЗЕ<br>С грузинского. Перевод Д. Кондахсазовой | 100 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                  |                                                         |     |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----|
| ГРИГОЛ РОБАКИДЗЕ | ЛИРА АКАКИЯ.<br>С грузинского. Перевод Д. Кондахсазовой | 101 |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----|

|  |                                                  |     |
|--|--------------------------------------------------|-----|
|  | ИЗ ЛИРИКИ.<br>С грузинского. Перевод В. Еременко | 107 |
|--|--------------------------------------------------|-----|

---

### БРЕМЯ БЫТИЯ

|                     |                                                                                                                                              |     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ИСААК<br>ДУНАЕВСКИЙ | «МОЖЕТ БЫТЬ, Я ВАС НЕ ПОНЯЛ...»<br>Почтовый роман И. Дунаевского и Л. Головиной (Райнль). Предисловие,<br>публикация и комментарии Н. Шафера | 111 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

ГАЛИНА  
ДЖУГАШВИЛИ

---

## ВЗГЛЯД

---

ДЕД, ПАПА, МА И ДРУГИЕ

174

---

## ПУБЛИЦИСТИКА

---

ВЛАДИМИР  
МЕДВЕДЕВ

САГА О БОБО САНГАКЕ, ВОИНЕ

187

---

## НАЦИЯ И МИР

---

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

ГОРОД ЮНОСТИ.

Из книги «Наша Европа». С польского. Перевод и вступительное слово  
Б. Дубина

205

---

## ПИСАТЕЛЬ О ПИСАТЕЛЕ

---

МИХАИЛ ПРИШВИН

«ВЕКСЕЛЯ, ПО КОТОРЫМ КОГДА-ТО ПРИДЕТСЯ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ...»

Вступительная заметка, примечания и публикация Л. Рязановой

229

---

## ЭХО

---

ЛЕВ АННИНСКИЙ

«НЕ ГЛЯДИ НАЗАД, НЕ ГЛЯДИ...»

238

SUMMARY

240

---

### Председатель Совета

АО «Журнал „Дружба народов“»  
Вячеслав ПЬЕЦУХ

### Генеральный директор

АО «Журнал „Дружба народов“»  
Юрий КАЛЕЩУК

### Главный редактор

Вячеслав ПЬЕЦУХ

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, заместитель главного редактора Евгений БЕНЬЯШ, Денис ДРАГУНСКИЙ, Владислав ЗАЛЕЩУК, Наталья ИГРУНОВА, Юрий КАЛЕЩУК, Владимир МЕДВЕДЕВ, заместитель главного редактора Бронислав ХОЛОПОВ

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Василь БЫКОВ, Альгимантас БУЧИС, Евгений БУДИНАС, Юрий В. ДАВЫДОВ, Тиркиш ДЖУМАГЕЛЬДЫЕВ, Нафи ДЖУСОЙТЫ, Иван ДЗЮБА, Фазиль ИСКАНДЕР, Грант МАТЕВОСЯН, Геннадий ЛИСИЧКИН, Евгений ПОПОВ, Кнут СКУЕНИЕКС, Константин ЩЕРБАКОВ, Атнер ХУЗАНГАЙ, Лев ХУНДАНОВ

ЛЕОНИД БАХНОВ

## «...Без козней, розни и надсады»

**Н**омер журнала, который вы держите в руках, — не совсем обычный. В редакции — для простоты дела — мы называем его «мемуарным», однако легко убедиться, что содержание его продиктовано отнюдь не заботой о чистоте жанра — вы без труда обнаружите здесь и письма, и дневники, и рассказы из разряда «непридуманного» — словом, все то, что можно назвать живыми свидетельствами прошлого.

Задумывая и готовя этот номер, мы не задавались целью оглушить своего читателя чем-то принципиально новым и неожиданным (хотя и подозревали, к примеру, что имя М. Бочкаревой и история женского батальона смерти вряд ли известны сегодня многим) — и без того по количеству будоражающей информации о прошлом (в расчете на единицу времени) народы бывшего СССР и его окрестностей вот уже несколько лет как оставляют далеко позади все прочее человечество.

Ныне темпы освоения нами собственной истории, похоже, пошли на убыль. Впрочем, зачем тут «похоже» — это можно уже констатировать. Мы как бы чуточку охладели к собственному прошлому — не то чтобы в сравнении с жителями других стран (их-то прошлое не было на десятилетия упрятано в спецхран), но в сравнении с самими собой 5—6 лет назад (да даже и два года).

В чем тут дело? В том, что с советской властью в принципе все ясно и новые показания вряд ли что могут добавить к приговору? Или же в нас самих, просто-напросто уставших, пресытившихся кровавым зрелищем минувших лет, которым мы должны довольствоваться как бы взамен реального хлеба — той вкусной и здоровой пищи, что лишь дразнит глаз своей непокарманностью? Или во времени, все перепутавшем: правых и следствия, причины и виноватых, — когда все и всем действительно стало до лампочки, которую, кстати, тоже еще поди укупи?..

Наверное, дело все-таки во всем этом вместе.

Но изменилось и еще кое-что.

Читатели эпохи развитого социализма, должно быть, помнят такое выражение — «процент правды». В конце 70-х оно вдруг замелькало в газетно-журнальной критике. Формально это, по-видимому, означало призыв к инженерам человеческих душ повышать этот самый «процент». Повышать и переповышать! Что подразумевалось на деле: «ври, ври, да не завирайся» или «ври, да так, чтоб правдивее», — это каждый мог понимать в меру своего творческого нюха, квалификации и нутряной преданности идеалам победившего пролетариата.

Матерый читатель оценил это сразу: проговорились! Правду, стало быть, отвечают нам на весах — будто пайку. А где пайка — там, ясное дело, и хлебозер — себе процентик урвать, — и кум, и начальник, и пахана не обидь, — что уж тут от этой самой правды нам, простым бедолагам, остается?.. Никакого открытия в этом, конечно, не было — так жили. Так и читали. Привычка!

Оглянемся, вспомним зарю перестройки (теперь уже «так называемая») — с каким вдохновенным азартом глотали тогда вдруг выпорхнувшие на свет воспоминания Евгении Гинзбург, Надежды Мандельштам, Льва Разгона — все те свидетельства, что хлынули на страницы журналов. Блаженные, исполненные надежд времена! Блаженное, раскрепостительное чтение! Звездный час мемуарного жанра — стоит ли удивляться, что он вытеснил даже самую беллетристику? Все взоры устремлены в прошлое; приговор ему решает все наши проблемы. Чем темнее там, в прошлом, — тем светлее там, в будущем. Долой «белые пятна» — под ними прячутся черные дела!

Сейчас, конечно, уже трудно восстановить в себе тот энтузиазм, ту взбудораженность. Чего, спрашивается, ликовали? Что

позволяют знать открыто то, что прежде знали тайно?

Пожалуй, что так,— признаемся сами себе сегодня. Но разве, читая, да даже и перечитывая читанное прежде втихую,— не ставили ли мы, читавшие, себя на место гипотетического того, кто не читал и не знает? Не смотрели ли малость его глазами?

Радость дозволенности (но для кого-то же и радость открытия?.. а для кого-то и наоборот: гады! клевета! совсем распоясались!..). Тут, если вспомнить, был и еще один — очень важный — мотив: докуда? Привыкшие к нормированной выдаче правды, мы все ждали, где, на какой отметке исчерпается отпущенный им и процент. Когда же наконец у них лопнет терпение? На Сталине? На зверствах победивших большевиков? Неужели позволят посягнуть на Октябрь на Самого?..

Не станем лстить себе: до определенной поры наша прогрессивная общественность вполне была готова к тому, чтобы лопнуло. И смирилась бы, согласившись считать ущербную картину — полной. Плюс-минус полпроцента, конечно.

Причина некоторого спада интереса нынешней читающей публики к исторической проблематике состоит в том, что этого не произошло. О прошлом стало можно говорить все — и картина довольно быстро начала обретать то, чего ей больше всего недоставало,— логику. Кого-то эта картина, понятно, не устраивает, кто-то поспешил от нее отвернуться — суть не в этом.

Наше прошлое наконец-то утратило свою непредсказуемость. Что, естественно, сде-

лало интерес к нему более спокойным и менее всеобщим.

Как то и водится в давно цивилизованном мире.

Наум Коржавин когда-то писал:

Гуляли, целовались, жили-были...  
А между тем, гнусавя и рыча,  
Шли в ночь закрытые автомобили  
И дворников будили по ночам.

Пять лет назад, когда это было опубликовано, мы в основном реагировали на три последние строки — Сталин, репрессии, злодеяния режима. Тогда сводились счеты с режимом, и в центре внимания был режим. Сейчас, когда с режимом, хочется верить, покончено навсегда, интерес — как тому и следует быть — перемещается к человеку, к жизни, которая даже в самые мрачные годы не сводилась к нарам, допросам или ожиданию ареста. В которой — вроде бы вопреки всему — были и любовь, и шутки, и ссоры, и весна, и луна... многое, в том числе и повседневный героизм сохранения человеческого лица.

Как корежит и уродует воплощаемая утопия человека — это мы уже знаем. А вот почему она в конце концов ломает об него свои зубы?..

Похоже, что лишь теперь, когда действительно не стало ни запретных имен, ни тем, ни концепций, когда и мы вряд ли уже согласимся довольствоваться «процентом правды», — только теперь стало возможно увидеть прошлое — «без возни, без козней, розни и надсады», то есть трезвыми и незашоренными глазами.

Собственно, эта ситуация и вызвала к жизни наш «мемуарный» номер.

...Твардовский, вспоминают, любил говаривать: «Все минется, только правда останется...»

МАРИЯ БОЧКАРЕВА

## Яшка

МОЯ ЖИЗНЬ. КРЕСТЬЯНКА, ОФИЦЕР, ССЫЛЬНАЯ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗАПИСЬ ИСААКА ДОН ЛЕВИНА

### «МОЯ СТРАНА ЗВАЛА МЕНЯ»

О Марии Леонтьевне Бочкаревой, командире женского батальона смерти, я знал очень мало, но чем глубже занимался поиском документов о ней, тем сильнее был интерес к ее судьбе. Увидев однажды на обложке дореволюционного иллюстрированного журнала «Искры» фотографию Бочкаревой, попытался «выстроить» по ней характер. Прямой взгляд, уверенная осанка, крепкая фигура выдавали чувство собственного достоинства, недюжинную волю, подсказывали образ человека деятельного, умеющего убеждать.

В отечественных энциклопедических словарях не указывались даты ее жизни, там можно было прочитать лишь об активной роли Бочкаревой в организации женских воинских частей, вскользь — об участии в сражениях в составе 28-го Полоцкого полка да о наградах. Воспоминания современников тоже не помогли.

Лаконизм изложения жизненных коллизий Бочкаревой в «Словаре женских биографий» Дженифер Аглоу: «Дочь крепостного крестьянина Новгородской области, начала работать с 8 лет, а по достижении 15 лет вступила в бурную жизнь малолетней проституткой, любовницей и женой», — и заключительный логический «пируэт» составителя «Словаря»: «В 1914 году, после попытки любовника убить ее, бросает подобное существование и становится горячей патриоткой», — удивили и позабавили, но тоже мало что прояснили в ее характере и судьбе.

Случайно натолкнулся на опубликованный в 1927 году официальный отчет Овермэнской комиссии сената США — «Октябрьская революция перед судом американских сенаторов», где упоминалась книга Марии Бочкаревой.

На заседании комиссии 22 февраля 1919 года председательствующий сенатор Уолкот процитировал из нее небольшой фрагмент:

«У меня есть книга, озаглавленная «Яшка» и написанная Марией Бочкаревой. Я не прочел всей книги, но мое внимание привлекло одно ее замечание, которое проливает свет на положение дел в Петрограде. Она прибыла в Петроград 18 января 1918 года. Вот что она говорит о положении в городе к моменту ее приезда (читает): «В городе свирепствовал красный террор. Река была полна трупов убитых и линчеванных офицеров. Оставшиеся в живых находились в ужасном положении, боясь показаться публично, ввиду настроения толпы, и поэтому находились на краю гибели от голодной смерти. Еще ужаснее было положение в провинции». Даже по этому фрагменту можно было догадаться о причинах замалчивания биографии Бочкаревой в советской историографии.

Книга Марии Бочкаревой «Яшка. Моя жизнь. Крестьянка, офицер, ссыльная» — прежде всего ее жизнеописание. И надо сказать, что благодаря насыщенности неординарными событиями и встречами с людьми, игравшими первостепенную роль в истории России, а также благодаря стараниям литзаписчика книга эта читается как авантурный роман или, на худой конец, сценарий для американского кинобоевика.

Итак, родилась Мария в июле 1889 года в семье Леонтия Семеновича и Ольги Елизааровны Фроловых. Родная деревня Никольское — неподалеку от Новгорода.

Когда Марусе исполнилось шесть лет, родители переезжают в Сибирь, где правительство предоставляло переселенцам наделы таежной земли. С восьми лет ее отдают в прислугу — присматривать за грудным ребенком, затем в лавку богатой еврейки.

Пьяная ругань отца, слезы матери и нищенская жизнь, когда заработанные Марией рубли

были основным источником существования семьи, глубоко врезались в память. Однажды, взволнованная рассказом о театре, она решила попасть на спектакль. Обратившись к хозяйке с просьбой дать пятнадцать копеек на билет, Маруся слышит: «Куда тебе, мужичка».

Слово «мужичка» преворачивает детское сознание, заставляет понять бездну между убогой лачугой родителей и домами богатых. Эта бездна отделила Марию и от первой ее любви. Живший по соседству и встречавшийся с пятнадцатилетней Марусей поручик Василий Лазов, когда дело зашло слишком далеко, тоже объяснил девушке разницу между крестьянкой и сыном дворянина. Поручика перевели в другой город. А судьбу Марии изменила случайная встреча (на посиделках). Обида, раздиравшая сердце, и желание вырваться из нищеты вынудили согласиться на брак с Афанасием Бочкаревым.

Первое супружеское лето молодожены провели, работая в иркутской конторе по укладке мостовой. Два года они мостили дороги — сначала к тюрьме, потом — к университету. Через несколько месяцев ее назначили помощником десятника, муж оставался черноработчим. Он стал пить, попрекать связью с Лазовым; Мария сбегает от Афанасия к сестре в Барнаул. Бочкарев находит ее, дома все начинается сначала; доходит до того, что Мария решает убить опостылевшего мужа, и только случай срывает этот план. Она уходит от мужа, возвращается на работу.

А затем — новый поворот судьбы. Болезнь, два месяца больницы, безработица. Наконец, через бюро по трудоустройству Бочкарева нанимается прислугой к некоей Анне Петровне, оказавшейся содержательницей публичного дома в Сретенске. Обнаружив это, — убегает от хозяйки. Начинается жизнь с человеком, под именем которого она вошла в историю.

Это Янкель Гершев Бук, из крестьян Читинского уезда Чиронской волости, 23-х лет от роду, занимавшийся разбоем на дорогах в бандах хунхузов. На деньги Бука открыли мясную лавку. Мария встала за прилавок. Но спокойная жизнь продолжалась всего три года. В 1912 году Якова вновь сажают в тюрьму и отправляют в Иркутск. Открыто называя себя гражданской женой, она с трудом добивается свидания с Буком в иркутском Централье. И добровольно идет за ним в ссылку.

Чтобы мужа не выслали в Колымск, Мария отдается якутскому губернатору И. Крафту. Свою измену переживает тяжело, пытается отравиться. Крафт выпускает Бука из тюрьмы, дает даже 500 рублей на обустройство мясной лавки, но через несколько месяцев, когда, казалось, жизнь вошла в нормальную колею, вновь требует встречи с Марией. Несчастная женщина рассказывает все мужу, тот решает убить губернатора. Осуществить убийство не удается. Янкеля Бука высылают в дальнейшее якутское поселение Амга; отправившаяся за ним Бочкарева была там единственной русской женщиной.

В Центральном государственном архиве Республики Саха хранится дело на административно-ссыльного Бука, датированное июнем 1913 — мартом 1916 годов. Постановлением иркутского генерал-губернатора от 18 августа 1912 года, на основании пункта 17 статьи 19 Правил законоположения, он был выслан под гласный надзор в Якутскую область, селение Павловское; прибыл в Якутск 14 июня 1913 года.

Особый интерес представляет рапорт начальника полиции с упоминанием Марии Леонтьевны Бочкаревой. «В борьбе с преступным миром, — писал он, — и в наблюдении за отдельными личностями, входящими в его состав, внимание мое было привлечено высланным в Якутскую область в административном порядке Янкелем Гершевым Бук. По агентурным сведениям относительно Бука мне известно, что на месте прежнего жительства неоднократно подозревался в уголовных преступлениях и подвергался уголовному же суду, но благодаря своей изворотливости оставался и до сих пор безнаказанным.

Чтобы не быть голословным, привожу фактические данные: деятельность свою Бук обнаружил с первого момента, прибыв в Якутск 14 июня; он уже 16 того же июня покупает у шатавшейся по дворам пропойцы Матрены Бубновой вещи, покраденные ею у крестьянки Ипатьевой; 24 июля он съезжает с квартиры от еврейского учителя Темкина и в ночь на 25 июля Темкин был обкраден дочиста. Участие Бука в этой краже обнаружило следующее: поспешно почему-то съезжая с квартиры от Темкина, Бук забыл 2 новые шляпы, принадлежавшие его сожительнице Бочкаревой, шляпы эти находились в одной комнате с принадлежавшими Темкину вещами, которые все, за исключением шляп, были похищены; на другой день Бочкарева явилась за ними сама... Сожительница Бука Бочкарева, в одну из минут откровенности, вызванный временным раздором с ним, открыла целый ряд преступлений, совершенных Буком в Забайкалье, здесь фигурируют крупные и мелкие кражи, сбыт и прием краденого и даже разбойное нападение, при активном его участии, на почту».

Очевидно, взаимоотношения между Марией и Яковом остывали. У Бука сдали нервы, он был способен по малейшему поводу убить жену. Через некоторое время его кладут в больницу.

В августе 1914 года началась война. Мария вспоминала в книге: «Мое сердце стремилось туда... Дух самопожертвования вселился в меня. Моя страна звала меня». Она решает уйти от Бука.

Около двух месяцев под конвоем, по воде, железной дороге, пешком добиралась Бочкарева до Томска. Повсюду чувствовалось дыхание войны. По улицам Иркутска маршировали солдаты. Здесь ее отпустили. В Томске от сестры Афанасия Бочкарева она узнала, что тот в самом начале войны попал в плен.

В ноябре 1914 года Бочкарева решает завербоваться солдатом в армию. Ей предлагают вступить в Красный Крест, но она настаивает на своем. Адьютант командующего 25-м резервным батальоном, расквартированным в Томске, чтобы отделаться от назойливой посетительницы, советует послать телеграмму с просьбой императору. На последние свои восемь рублей Мария посылает телеграмму и, ко всеобщему удивлению, получает ответ с высочайшим разрешением. (Так рисует начало своей военной карьеры Бочкарева. Я пытался в архивном фонде Николая II разыскать телеграмму, но безуспешно. Нет упоминания об этом и в дневниковых записях императора, хотя, казалось бы, случай неординарный.)

Настал день, когда Бочкарева, надев праздничную одежду, отправилась к командующему, и тот, прочитав текст телеграммы, зачислил Марию в вольнонаемные солдаты 4 роты 5 полка 25 резервного батальона. Разрешили ночевать дома. Но родители уговаривали отказаться от затеянного. «Ты мне не дочь, раз пренебрегаешь материнской любовью!» — заявила мать. Постоянные слезы и мольбы вынудили Марию уйти в казармы. Поначалу было очень трудно. Непривычно — все: обстановка, окружение, еда. По неписаному правилу русские солдаты давали друг другу прозвища, на вопрос, как называть ее, Мария, вспомнив о Буке, ответила — Яшка...

В феврале 1915 года полк получил назначение следовать в Полоцк, во 2-ю армию под командование генерала Гурко. Спор командиров об уместности на передовой женщины Мария решает сама — попросившись в бой.

На третий день русские пошли в наступление. Ночью немцы предприняли газовую атаку, Бочкарева на руках выносила раненых. За «выдающуюся доблесть, проявленную в спасении многих жизней под огнем», она получила свою первую награду.

Особо Яшке запомнился день 15 августа 1915 года — кровавый бой, когда позиции переходили из рук в руки. За «храбрость при обороне и наступлении, за оказание помощи, несмотря на ранение, на поле битвы» она была представлена к высшей солдатской награде — кресту Св. Георгия 4-й степени.

Испытание казарменным бытом оказалось не менее тяжелым, чем участие в боях. Но со временем мужнины почти перестали воспринимать ее как женщину.

Зиму 1916 года провела в окопах: кругом смерть, частые случаи обморожения, изношенное обмундирование, голод. Сильно обморозила ногу. Доктора настаивали на ампутации; чудом поправилась. Весной в бой Яшка была серьезно ранена. Лишь в начале июня выписывается из госпиталя. Но смерть, казалось, преследовала Бочкареву. В июне ее отбрасывает взрывной волной; итог плачевный — поврежден позвоночник, полная неподвижность. Несколько недель находилась буквально между жизнью и смертью. Но природа наградила ее поразительной живучестью. Выздоровев, она заявила докторам о желании отправиться на фронт.

Солдаты и офицеры обрадовались Яшке, о которой уже ходили легенды. Командир полка представил ее к кресту 3-й степени, трем нарукавным нашивкам и повышению в звании до старшего унтер-офицера. В свое подчинение Яшка получила взвод из двадцати мужчин. Во время одной из разведок ее взвод взял в плен двух немцев, за что Бочкареву представили к медали и двухдневному отпуску.

Вскоре поползли слухи о смерти Распутина, о связях царского двора с немцами. «За что мы воюем? Сколько может продолжаться война?» — подобные вопросы стали звучать все чаще. Возвращавшиеся из отпусков солдаты привезли вест о революции в Петрограде. Командир, собрав личный состав, огласил Манифест отречения императора от престола и Приказ № 1. Все ликовали — свобода, равенство, братство! Митинг шел за митингом, начались массовые братания. Яростное выступление Бочкаревой против братаний и агитации за начало гражданской войны едва не стоило ей жизни. Но это же выступление на митинге стало формальным поводом для знакомства с нею председателя Государственной Думы Родзянко, приехавшего на фронт. Дальше события разворачиваются стремительно. Приглашение

в Петроград, встречи с Родзянко, Брусиловым, Корниловым, Керенским, идея создания женского батальона смерти и его формирование... Воспоминания М. Бочкаревой остаются на сегодняшний день ее единственной биографией. Биография, при чтении которой не раз возникает вопрос: да правда ли все это? Еще и поэтому особый интерес приобретают свидетельства о событиях, описываемых в книге, оставленные очевидцами их и участниками.

Главнокомандующий войсками Петроградского военного округа генерал П. А. Половцов в воспоминаниях «Дни затмения» писал: «Из вновь формируемых частей для спасения Отечества особенно интересным учреждением оказался женский батальон 2-жи Бочкаревой. Сия энергичная дама, служившая с успехом на фронте вольноопределяющимся, явилась ко мне с проектом формирования женского отряда. Мысль мне понравилась, главным образом для того, чтобы сражать мужчин, не желающих воевать. Для начала формируем роту. Отвожу помещение около казарм гвардейского экипажа, куда зачисляю девиц на довольствие, даю им одежду, вооружение, снаряжение (интендантские штаны приходится сильно перекраивать), назначаю им инструкторов, и уже недели через две Бочкарева меня приглашает на смотр. Потеха замечательная. Хорошо отчеканенный рапорт дежурной девицы один чего стоит, а в казарме «штатская одежда» и шляпки с перьями, висящие на стене против каждой койки, производят оригинальное впечатление. Зато строевой смотр проходит на 12 баллов. Удивительные молодцы женщины, когда зададутся определенной целью. Даже интендантские штаны признаны хорошо, за исключением одной полновесной «новобранки», на которую никакие штаны не влезли, и она осталась на левом фланге строя в юбке.

От всей души благодарю девиц и обещаю принять меры для скорейшей отправки их на фронт. Не обходится дело и без некоторых трений. Лодыричающие солдаты относятся к дамам враждебно — бросают камни им в окна и проч., да и в самой роте происходят недоразумения; 4-й взвод, где собрались более интеллигентные особы, жалуется, что Бочкарева слишком груба и бьет морды, как заправский вахмистр старого режима. Слухи об ее зверствах доходят даже до Керенского. Кроме того, поднимаются протесты против обязательной стрижки волос под гребенку, введенной Бочкаревой как основное условие боеспособности. Стараюсь немного ее укротить, но она свирепа и, выразительно помахивая кулаком, говорит, что недовольные пускай убираются вон, а что она желает иметь дисциплинированную часть». Видимо, и впрямь Мария была способна на такое, когда дело касалось ее детища.

Вот как описывала вручение батальону знамени газета «Русский инвалид»: «Вчера, 21 июня, при торжественной обстановке, были вручены знамена 1 отряду добровольцев-инвалидов и 1 женскому батальону смерти. В 12 часу дня, на площади у Исаакиевского собора построился в полном походном вооружении 1 отряд добровольцев-инвалидов, имея слева 1 женский батальон смерти. На левом фланге женского батальона смерти стояла в костюме прапорщика инициаторша и командир батальона Бочкарева.

Подаль синели куртки моряков и развевались знамена казаков. По прибытии на площадь командующего Петроградским военным округом генерала Половцова оркестры заиграли «марсельезу», раздался громкий крик «на караул», и перед глазами собравшейся тысячной толпы представились во всеоружии и блеске, готовые каждую минуту броситься в бой на врага те, которые уже принесли на алтарь отечества свое здоровье и те, которых природа предназначила для мирной общественной жизни. Почти каждый из отряда инвалидов имеет высшие воинские награды — георгиевские кресты, несколько георгиевских кавалеров имеет и женский отряд смерти. Сперва был отслужен молебен, а затем генерал Половцов командовал вновь «на караул» и слева во флангах парада были вынесены знамена.

Отряд добровольцев-инвалидов получил георгиевское знамя, а женский батальон смерти — красивое белое знамя».

В случае гибели Марии Леонтьевны знамя должно было быть передано в Исаакиевский собор навсегда.

Генерал Корнилов от лица фронтового командования вручил Яшке револьвер и саблю с золотым эфесом: «Вы заслужили это оружие, не опозорьте его». Керенский пристегнул ей погоны прапорщика. Свершилось! Вперед — фронт!

Капитан Шагал (руководивший прикомандированными к женскому батальону инструкторами) в статье «Женский батальон», опубликованной в парижском журнале «Военная быль» в 1969 году, приводит стихотворение. Не было ли оно походной песней батальона смерти?

Со всех сторон России  
 Пришли мы воевать...  
 Поднялись мы стихийно  
 За право умирать...  
 Нам нет домой возврата —  
 Отвергла нас семья...  
 Мы — женщины-солдаты,  
 Пусть примет нас земля...  
 Мы братьям будем сменой,  
 Не побежден ведь враг,

Мы не хотим измены,  
 Стоим за свой очаг!  
 Мы отреклись от жизни,  
 У нас одна мечта:  
 Служить своей Отчизне  
 И победить врага!  
 Нам нет домой возврата,  
 Мы — за России честь,  
 Мы — женщины-солдаты,  
 И нам награда — смерть!

Делегацию от женских организаций возглавляла знаменитая британская поборница равноправия миссис Э. Панкхерст. «Эти женщины-ударники, — отметила она в интервью, — в пять недель стали настоящими солдатами. Над ними много смеялись, но когда увидели, что они сделали, насмешки перешли в удивление, удивление — в восторг. Русские женские ударные батальоны — явление очень значительное. Русские женщины пошли спасать свою родину».

Дочь британского посла Мириэль Бьюкенен в книге «Крушение Великой империи» вспоминала: «Мне помнится, как я была в Казанском соборе на торжественном молебне, когда первый женский батальон отправлялся на фронт. После церковной службы мы остановились на ступеньках храма, глядя вниз на ряды женщин, которые увидят все ужасы самой страшной в истории мира войны. Молчаливая толпа собралась в сквере, женщины со слезами на глазах, мужчины неловко переминались с ноги на ногу со стыдливой видом, здесь и там несколько солдат вызывающего вида. Накрапывал мелкий дождь, старый седой священник, вышедший на ступеньки храма благословить уходящий батальон, взглянул вниз на ряды безмолвных, неподвижных фигур, и слезы бежали по его морщинистым щекам. И широкоплечая, уверенная в себе, держа высоко голову, с георгиевской ленточкой на груди, Бочкарева поклонилась ему, и уголки ее твердых губ внезапно дрогнули под наплывом безудержных чувств, когда она поцеловала протянутый ей крест».

Батальон отправился на передовые позиции 23 июня, в 8 часов вечера, с Варшавского вокзала, платформы № 23. Он получил назначение следовать в 172 дивизию, расположенную в деревне Белое. Та атмосфера, из которой пыталась вырваться Бочкарева в мае, вновь охватила ее: дезертиры, агитаторы большевиков насмехались, комитетчики не давали возможности стрелять в «братьев по классу», развернувшееся было наступление захлебнулось в дискуссиях о главном враге — буржуях. Ее обвиняли в принадлежности к «угнетателям». Тяжело приходилось женщинам.

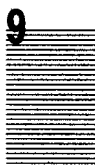
Еще одно свидетельство современника о тех днях. Генерал А. И. Деникин в «Очерках русской смуты» писал: «Что сказать про «женскую рать»?.. Я знаю судьбу батальона Бочкаревой. Встречен он был разнузданной солдатской средой насмешливо, цинично. В Молодечно, где стоял первоначально батальон, по ночам приходилось ему ставить сильный караул для охраны барачков... Потом началось наступление. Женский батальон, приданный одному из корпусов, доблестно пошел в атаку, не поддержанный «русскими богатырями». И когда разразился крошечный ад неприятельского артиллерийского огня, бедные женщины, забыв технику рассыпного строя, сжались в кучку — беспомощные, одинокие на своем участке поля, взрыленного немецкими бомбами. Понесли потери. А «богатыри» частью вернулись обратно, частью совсем не выходили из окопов».

Бочкарева была сильно контужена, отправлена в Петроград в госпиталь. К этому времени относится несколько ее встреч с Керенским.

Вернувшись на передовую, она попадает в «котел страстей». Во время очередного митинга, где ее объявили корниловкой, пришла весть о свержении Керенского и победе большевиков в Петрограде. Командующий фронтом приказывает батальону срочно отправляться в Красное Село; схватив ружья, женщины побежали... Бочкарева прекрасно понимает, насколько серьезной опасности подвергается жизни ее подопечных. Было принято решение о расформировании батальона смерти.

Что было дальше — из воспоминаний Марии Леонтьевны не ясно. Я рассуждал: если она жила в Томске, значит, там должны сохраниться хоть какие-нибудь свидетельства о ней (учитывая своеобразный характер Бочкаревой — где бы она ни появлялась, привлекать к себе внимание). На развороте обтрепанной томской «Сибирской жизни» за 26 октября 1919 года удалось найти ее интервью.

«Когда произошел большевистский переворот, — говорит г-жа Бочкарева, — я с женским батальоном находилась в составе 1 Сибирского корпуса и держала участок позиции



около Киева, с оставлением же армией фронта должна была распустить свой батальон и приехала в Петроград. Там, вместе с другими офицерами, я была арестована, причем большевики отняли у меня документы и золотое оружие. Когда я была освобождена из-под ареста, я поехала домой, в деревню Тутальскую, между Тайгой и Новониколаевском, и в пути, около Челябинска, была выброшена большевиками из вагона и повредила себе ногу».

В начале 1918 года председатель Георгиевского комитета генерал Аносов, всегда оказывавший батальону г-жи Бочкаревой поддержку, вызвал ее телеграммой в Петроград и поручил ей установить связь между ним и генералом Корниловым, находившимся тогда в Новочеркасске. Одета в платье медсестры, с подложными документами, г-жа Бочкарева через Царицын пробралась к Корнилову...

В семи верстах от Новочеркасска пришлось пробираться через позиции большевиков. Удачно перейдя позиции, г-жа Бочкарева с ее спутниками залегли в лесу, чтобы осмотреться, и в это время были свидетелями, как большевики выкалывали глаза пойманной ими разведке Корнилова. «Раздался ужасный, нечеловеческий вой несчастных, у которых выкалывали глаза,— рассказывает г-жа Бочкарева,— и этот вой был покрыт страшным смехом большевиков. Я была в 8 сражениях, 4 раза ранена, но мои нервы не выдержали, меня всю трясло от ужаса...»

Между тем и Бочкарева со спутниками были открыты большевиками. Они бросились бежать в разные стороны. По ним открыли стрельбу. Бочкарева оказалась на станции Звереве, где была узнана большевиками-солдатами, видевшими ее на фронте, арестована и доставлена к коменданту. Вскоре туда же привели и двух захваченных офицеров, отправившихся вместе с нею по поручению генерала Корнилова,— и все они были приговорены к расстрелу. Совершенно случайно в комендатуру зашел председатель большевистской следственной комиссии И. И. Петрухин, который раньше знал Бочкареву по позициям и которому Бочкарева даже перевязывала раны, когда он был ранен.

— Яшка, ты как попала сюда? — обратился к ней Петрухин, назвав ее тем прозвищем, которым ее называли на позициях. Бочкарева объяснила ему, как и коменданту, что она едет в Кисловодск лечиться, и Петрухин добился того, что Бочкареву вместо расстрела отпустили в Москву, где и заключили в Бутырскую тюрьму.

Чудесное спасение от расстрела, московские и петроградские тюрьмы, допрос на Лубянке, по всему было видно, лишь укрепили Марию Леонтьевну в решении продолжать борьбу с немцами, несмотря на то, что большевики объявили всех бывших союзников России — врагами новой власти. По поручению генерала Корнилова она отправляется в Америку просить помощи против власти Советов.

Благодаря визиту в США и содействию лидеров феминистского движения ее судьба стала известна миру. Книга «Яшка. Моя жизнь. Крестьянка, офицер, ссыльная» заканчивается словами: «Я была свободной! Это было 18 апреля 1918 года, когда я покидала русскую землю впервые в своей жизни. Под американским флагом, на американском транспорте я направлялась в сказочную страну — Америку, неся в груди обращение русских крестьянских солдат к союзникам — помогите России освободиться от германского ярма и обрести свободу в обмен на пять миллионов жизней, что она принесла в жертву за вашу безопасность, безопасность ваших свобод, сохранив ваши дома и жизни!»

Бочкарева прибыла в Сан-Франциско в конце апреля — начале мая. В армейских бриджах и крагах, с боевыми наградами — гостя произвела фурор.

Газета «Русский голос» писала: «Г-жа Бочкарева из Соединенных Штатов отправится во Францию, где она предложит свои услуги союзникам. «Я готова умереть на поле брани», — заявила она. Благодаря содействию союзников правительства Керенского, ей удалось бежать по Сибирской железной дороге во Владивосток, переодетой сначала крестьянкой, а затем мужжиной. По прибытии во Владивосток, г-жа Бочкарева вместе со своей дочерью (сестрой Надеждой Фроловой. — С. Д.) нашли убежище на одном из английских пароходов... Г-жа Бочкарева — высокого роста, здорового, почти мужского телосложения, с чисто военной выправкой. Волосы ее обстрижены на манер мужской прически».

Дэвид Митчелл в книге «Женщины на тропе войны» отмечал, что Яшка стала «наглядным примером» для июньской миссии в Америку госпожи Панкхерст. По ее мнению, интервенция союзных войск на территорию России с Востока способствовала бы общему продвижению войск на Западном фронте, что, в свою очередь, привело бы к окончанию войны.

Приглашение написать биографию М. Л. Бочкаревой от Э. Панкхерст и американки Дж. Гарриман получил выходец из России Исаак Дон Левин, тогда молодой журналист,

хорошо знавший языки. «Я увидел женщину, выглядевшую на несколько лет старше своего возраста, крепкого телосложения, с сильным характером,— писал он в 1973 году в воспоминаниях «Свидетель истории».— Ее речь была необычайно грамматически верной, яркой, а иногда сопровождалась эпическими особенностями при рассказе.

После двух часов беседы, в ходе которой она изливала волнующие воспоминания своей отважной жизни, я, с ее согласия, начал записывать. В тот день началось сотрудничество и продолжалось несколько недель. Она перечисляла мне события своего ужасного детства. Меняясь под впечатлением рассказа, Мария проявляла талант настоящей актрисы. Как ее лицо, с крупными чертами, вспыхивало в дикой ненависти, в особенности, когда вспоминала о мучительных испытаниях! Бочкарева действительно получила ранения на фронте до начала революции. С бегством от большевистских партизан красные зверства особенно сильно врезались в ее память.

Однажды вечером я сопровождал Бочкареву на прогулке по Пятой авеню... Позади нас выстроилась группа изумленных прохожих. Это было в час пик! Женщина в мужском костюме, к тому же в военной форме, была для них бесподобным зрелищем. Я, конечно, смутился от всеобщего внимания, но Бочкарева, казалось, привыкла к подобным сценам и продолжала твердо идти по улице, изредка останавливаясь перед витринами магазинов. Зрители вели себя хорошо, и наша прогулка завершилась без каких-либо неприятных инцидентов.

К концу лета 1918 года биография Бочкаревой была подготовлена Дон Левиным к печати. Поручик Л. Г. Филиппов, исполнявший обязанности поверенного Марии, взял на себя все переговоры по правам издания воспоминаний. Она получила приглашение на ленч в дом экс-президента Теодора Рузвельта, в то время — спонсора-издателя «Столичного журнала». Издательские фирмы «Фредерик А. Стоукс» в США и «Месье констебль и К°» в Англии одновременно в 1919 году выпустили «Яшку» в свет. Книги отличаются между собой разве что цветом обложки и фотографиями на внутренней вклейке.

Из Нью-Йорка Бочкарева поехала в Вашингтон, где в конце мая нанесла визит госсекретарю Лансингу и министру обороны Бекеру. С Лансингом она передала для В. Вильсона образок св. Анны; президент отблагодарил за подарок письменно.

В последнем томе книги Рэя Бэйкера «Вудро Вильсон. Жизнь и письма» приведена протокольная запись встречи Яшки с президентом Америки. «Среда, 10 июля 1918 года. В 4.30 прибыла миссис Дж. Гарриман с мадам Бочкаревой — командиром русского женского батальона смерти». Встреча проходила довольно драматично. «...Бочкарева начала свой рассказ довольно сухо; внезапно, перешла к описанию страданий русского народа, причем языком, подобным скачущей лошади. Она с трудом дождалась перевода своих слов на английский язык. Выражение ее лица постоянно менялось. Вдруг она опустилась на колени и, протянув руки к президенту, стала умолять о помощи, продовольствии, войсках союзников против большевиков. Сидевший с мокрыми от слез щеками президент заверил ее в этом. В конце концов короткая встреча в Белом доме завершилась к всеобщему облегчению».

Последние известия о пребывании Яшки в Соединенных Штатах датируются 17 июля. В этот день она встречалась с группой сенаторов и опять настойчиво высказывалась за отправку союзной военной экспедиции в Мурманск. Любопытен факт, что у самой просительницы не было денег даже для уплаты за проживание в отеле. В книге расходов Российского посольства в Вашингтоне в графе за 14 июня сохранилась отметка об израсходовании аванса для Марии в сумме 8 долларов 75 центов. Из Америки Бочкарева отправилась в Англию.

Не Россия, а Америка, издавшая книгу, написанную со слов Бочкаревой американцем (хоть родившимся в белорусском городке Мозыре), проявляла интерес к дальнейшей судьбе Яшки. В декабре 1918 года секретарь издательской фирмы «Фредерик А. Стоукс» Вильям Морроу обратился в Российское посольство с просьбой: «Уважаемые господа! В письме, полученном сегодня от английского издательства «Месье констебль и К°» приведена цитата: «Согласно здешним газетам, командир Бочкарева погибла от рук большевиков». Мы помним промелькнувшее в новостях некоторое время назад краткое сообщение о том, что Бочкарева убита, но вскоре оно было опровергнуто. Мы — издатели командира Бочкаревой заинтересованы в том, чтобы знать факты, если вы ими располагаете или можете установить. <...> Мы будем крайней благодарны любой информации или фактам, полученным в результате вашего расследования».

Посольство 18 декабря ответило: «Джентльмены! Отвечая на ваше письмо от 13

декабря, Российское посольство уведомляет, что не располагает подробной информацией о командире Марии Бочкаревой и поручике Филиппове, но предполагает, что вышеупомянутые лица сражаются в Архангельске против большевиков вместе с войсками союзников. Слух о гибели мадам Бочкаревой не имеет подтверждения». «Вышеупомянутые лица» действительно были в Архангельске, о чем свидетельствуют воспоминания американских и британских офицеров, надо сказать, весьма нелицеприятные. Так, Хью Макпэйл в статье «Отступление», опубликованной в сборнике «История американских северных экспедиционных сил в России, 1918—1919», писал: «Однажды, прогуливаясь по улице Шенкурска, со мной поравнялась одна из майоров батальона смерти, с горячим взором. Где она достала широченные штаны, вместившие ее громадный зад, я не знаю. Мужеподобная девчонка весила где-то 250—300 полных фунтов, жевала табак, курила пачками сигареты и напивалась не меньше мужика, валяющегося под столом».

Э. М. Холлидэй в книге об англо-американской архангельской экспедиции 1918—1919 годов делился своими впечатлениями: «Одним из донкихотских персонажей... была мадам Бочкарева, бывший руководитель организации, известной как батальон смерти... Лейтенант Мид, из роты «А», неосмотрительно вступивший с ней в беседу, вспоминал, как Бочкарева докучала, показывая свои шрамы от ранений. Он удивлялся тому, что кому-то пришла в голову идея обращаться к ней не иначе, как «мадам».

Фотография, снятая американцами в 1919 году, сохранила облик очень изменившейся Марии Леонтьевны. Рядом с огромным полковым барабаном стоит располневшая женщина в крепко стягивающей фигуру солдатской шинели. Короткая стрижка, усталое лицо, тот же прямой взгляд. Он как бы говорит — что, не нравлюсь?

Проследить судьбу Бочкаревой удалось до октября 1919 года. Осенью 1992 года, после выхода очерка «Яшка» в журнале «Огонек», пришло письмо из Омска от корреспондента газеты «Новое обозрение» И. А. Спиридонова. Он сообщал, что в апреле ознакомился с уголовным делом за № 796 на Марию Леонтьевну, хранящимся в Омском управлении Министерства безопасности РФ.

Думаю, имеет смысл по возможности полно привести окончательный протокол допроса Бочкаревой в особом отделении ВЧК 5 армии. Отмечу лишь, что в записи не ставились запятые и точки, видимо, следователь торопился, впрочем, и в самой судьбе Марии, жившей, скорее, не разумом, а сердцем, трудно найти знаки препинания.

Итак, вот что рассказала она на допросе 5 апреля 1920 года: «...Через две недели я поехала в Нью-Йорк и оттуда на пароходе в Англию. По железной дороге приехала в столицу Англии в город Лондон, где я остановилась в гостинице «Савой», где я жила на средства известной богатой суфражистки мисс Панкхерст. Эта суфражистка устроила мне свидание с военным министром Англии. Я попросила военного министра представить меня королю Англии. Мое желание было исполнено. В половине августа месяца 1918 года секретарь короля приехал на автомобиле и вручил мне бумажку, в которой говорилось, что король Англии принимает меня на 5 минут, и я одела военную офицерскую форму, одела полученные мной в России ордена и со своим переводчиком Робенсоном поехала во дворец короля. Вошла в зал; и через несколько минут распахнулась дверь и вышел король Англии. Он имел большое сходство с царем Николаем II. Я пошла навстречу королю. Он мне сказал, что он очень рад видеть вторую Жанну Де-Арк и как друг России приветствую вас как женщину, которая много сделала для России. Я в ответ ему сказала, что я считаю за великое счастье видеть короля свободной Англии. Король предложил мне сесть; сел против меня. Король спросил, к какой партии я принадлежу и кому верю, я сказала, что я ни к какой не принадлежу, а верю я только генералу Корнилову. Король мне сказал новость, что Корнилов — убий, я сказала королю, что я не знаю, кому теперь верить, и в гражданскую войну я воевать не думаю. Король мне сказал — Вы русский офицер, я ему ответила, что да, король тогда сказал, что Вам прямой долг через четыре дня поехать в Россию, в Архангельск, и я надеюсь на Вас, что Вы будете работать. Я сказала королю Англии — «Слушаюсь!» Король приказал секретарю, чтобы сделали распоряжение; на пароходе, направляющемся в Архангельск, дали мне каюту и чтобы русский посол дал бы мне русского офицера в качестве адъютанта. Адъютанта мне дали поручика Филиппова, с которым я и поехала в Архангельск.

Я прибыла в Архангельск, то являлась к русскому командующему Архангельским фронтом генералу Марушевскому, которому я сказала — я приехала из Англии получить служебное назначение. Генерал предложил мне сесть и сказал, что очень рад, что Вы

приехали. Здесь у нас только начинает зарождаться новая армия, поэтому я прошу, чтобы Вы сформировали здесь маленькую боевую добровольческую ячейку, но не женскую, а мужскую. Я ему сказала, что я боевого дела во время гражданской войны не принимаю. Генерал на меня закричал, что Вы русский офицер и отказываетесь от того, что Вам приказывают. Я ему сказала, что Вы на меня не кричите, что я видела не таких, как Вы, и кричать на себя не позволю, то генерал приказал меня арестовать. Меня хотели арестовать, но мой адъютант поручик Филиппов тут же переговорил с английским генералом Пуль, он сказал, чтобы меня не арестовывали. От меня отобрали переводчика и адъютанта, и я просидела под домашним арестом 7 дней. Это было в первых числах сентября 1918 года.

Накануне Нового года был в газете напечатан приказ о том, что я многое сделала для России в германскую войну и эту работу оценит в будущем центральная Россия, а теперь в моей работе не нуждаются, что обойдутся без женщин и просят меня снять военную форму и погоны. Я этим была страшно возмущена, пошла к генерал-губернатору Архангельска Миллеру и сказала ему, что форму и погоны никто с меня не имеет права снять, я никакой измены не сделала, а что я отказалась делать, что мне приказал генерал Марушевский, то это потому, что считаю себя инвалидом и у меня нет сил формировать боевой отряд. С Миллером я поспорила.

Я пошла к заместителю генерала Пуль, к английскому генералу (Аронсайду. — С. Д.). Я ему сказала, что я отдала для России все, что у меня было, теперь я больная женщина, и что не приняла, что не могу выполнить и со мной за это так жестоко поступили. Он сказал мне, что он все выяснит и через три дня в газете появился приказ, в коем говорилось, что поручик Бочкарева имеет право носить военную форму и погоны и числиться в резерве чинов с окладом 750 рублей в месяц. Это было 3 января 1919 года. До июля месяца я жила на получаемый оклад, числясь в резерве чинов, ничего не делая. В июле месяце я из газет узнала, что экспедиция собирается отправиться в Сибирь. Экспедиция военная, которая должна доставить для армии Колчака пулеметы, снаряды, обмундирование. Капитан этой экспедиции был морской офицер Вилькицкий. Я пошла к генерал-губернатору Миллеру и стала просить у него разрешение поехать с этой экспедицией в Сибирь, на родину. Мне дано было на это разрешение, но сказано было, что эта экспедиция двинется из Архангельска не раньше, как через месяц.

10 августа 1919 года я с экспедицией капитана Вилькицкого покинула Архангельск. Плыла на пароходе «Колгуев», помимо этого парохода было 7 пароходов. На пароходе я прибыла в устье реки Обь, до устья Оби от Архангельска я в дороге пробыла месяц с тремя днями. На устье Оби была выгрузка из пароходов экспедиции Вилькицкого на баржи полковника Котельникова оружия, и обмундирования, и снарядов. Здесь я пробыла две недели, и мы потом отправились с экспедицией Котельникова на Тобольск. Но когда экспедиция прибыла в город Березов, то Котельников получил телеграмму, что Тобольск взят советскими войсками. Тогда Котельникову было приказано половину экспедиции направить на Красноярск и половину на Томск. И я поплыла со второй половиной экспедиции на Томск. В дороге от Березова я пробыла до Томска три недели.

Приехала в Томск, родителей застала в бедственном положении. Тут же зять мне стал говорить, что я заблуждаюсь — посмотри, три баржи замороженных красноармейцев стоят на Оби, а ты сочувствуешь нашим врагам. Я сказала зятю и своему мужу Бочкареву, с которым я не жила 12 лет, что сочувствовала белым потому, что уверовала, что большевики идут рука об руку с германцем для того, чтобы сделать в России царем Вильгельма. А теперь я поняла, что я глубоко ошибалась, и поэтому я поеду в Омск к Колчаку и буду просить, чтобы дал мне от военной службы отставку совсем и пенсию. Прожила я в Томске неделю и поехала в Омск.

По приезду в Омск я явилась в ставку к дежурному генералу Белову и доложила ему, что я больше не в силах ничего делать, чтобы мне дали отставку с пенсией как батальонного командира, с мундиром штабс-капитана. Белов мне сказал, что сегодня будет на докладе у Колчака и доложит обо мне. Белов мне велел прийти завтра. Я явилась к Белому 8 ноября, и он мне сказал, что Колчак желает меня видеть и назначает мне свидание в воскресенье 10 ноября.

Я пришла в воскресенье в 12 часов дня в дом Колчака. Ему доложили, вышел адъютант и сказал мне, что Вас просит к себе верховный правитель. Я вошла в кабинет Колчака и там увидела — Колчак вел разговор с генералом Голицыным — главнокомандующим добровольческими отрядами. Когда я вошла, то Колчак и Голицын оба встали,

и приветствовали меня, и сказали, что обо мне много слышали, и предложили сесть. Колчак стал мне говорить — Вы просите отставку, но такие люди, как Вы, сейчас необходимо нужны. Я Вам поручаю сформировать добровольческий женский санитарный отряд — (1-й женский добровольческий санитарный отряд имени поручика Бочкаревой). Он говорил, что у нас много тифозных и раненых, а рук, которые бы ухаживали за больными — нет. Я надеюсь, что Вы это сделаете. Я предложение Колчака приняла. Колчак обратился к генералу Голицыну и сказал, что Бочкарева поступает в его распоряжение, дайте ей сейчас же квартиру и инструкторов, чтобы она могла завтра сделать лекцию — призвать добровольцев женщин в свой санитарный отряд, и дал распоряжение, чтобы мне выдали аванс двести тысяч для формирования отряда.

11 ноября уже были расклеены по всему Омску афиши с призывом, что приехала известная организаторша добровольческих отрядов поручик Бочкарева из Архангельска и что она будет сегодня в театре «Гигант» выступать с призывом к женщинам, чтобы формировать женский добровольческий санитарный отряд. И 11 ноября я выступала с речью, призывающей женщин вступать в добровольческий женский санитарный отряд. Это было в театре «Гигант» в 6 часов вечера. 12 ноября точно с такой же речью я выступала в театре «Кристалл». Тотчас, с обоих митингов, я набрала добровольцев женщин сто семьдесят и мужчин — тридцать. Мне было назначено четыре офицера, начальник штаба — полковник, и казначей-поручик, и адъютант в чине поручика. И отряд я сформировала в двести человек. На довольствие мой отряд был зачислен к добровольческой дружине Святого Креста и Зеленого знамени.

13 ноября я пошла получать от генерала Голицына деньги двести тысяч и вагоны, чтобы я могла сделать посадку своих людей для отступления от надвигающейся Красной Армии. Но уже Колчак, и Голицын, и начальник гарнизона уехали, я была тогда в ужасе, не знала, как мне поступать с людьми. Они ни за что не хотели оставаться в Омске, а денег и перевозочных средств не было. Тогда я окончательно разочаровалась в Колчаке и во всем и дала слово, что больше ничего не буду делать в их пользу. Я по телефону позвонила в кадетский корпус врачу и предложила ему принять 200 человек моих санитаров. Я просила врача сказать, что он отступает санитаром. Я с бумагой послала людей своего отряда к врачу, и он их принял, а я 14 ноября, утром, на обывательских лошадях, приехала в Ново-Николаевск.

26 ноября прибыла в Ново-Николаевск. Явилась в ставку к дежурному генералу, которому сдала 4 офицеров своего штабного санитарного отряда и 6 человек писарей. Я сказала генералу, что если вы со мной поступили так подло, без денег и без перевозочных средств бросили меня в Омске, то я вообще у вас служить не могу — я уезжаю в Томск. Генерал сказал мне подать рапорт на имя командующего Сахарова, есть приказ, чтобы Вы ехали до Иркутска, там Вам выдадут средства и все для формирования женского добровольческого санитарного отряда. Я пошла к генералу Сахарову и сказала, что я больше служить не могу. Он сказал, чтобы я подала ему рапорт и в дороге на какой-нибудь из станций пришла бы в его поезд справиться. На станции Болотный стоял поезд Колчака и Сахарова; я пошла в поезд, но меня ни Колчак, ни Сахаров — не приняли и я поехала на станцию Тайга, где добилась вновь увидеть Колчака и выяснить свое положение. Но я Колчака не видела, а Сахарова на станции встретила. Он мне сказал, что ему сейчас не до меня, и сказал, чтобы я ехала куда приказано, но я поехала в Томск.

Я прожила в Томске при белых 5 дней, потом пришла советская власть. Я явилась к коменданту города Томска, сдала ему револьвер, рассказала, кто я и что делала у белых, предлагала свои услуги советской власти. Комендант сказал, что он в моих услугах не нуждается, а когда понадобится, то он за мной пошлет. Комендант взял с меня подписку о невыезде из города, и меня отпустили; сказали, что арестовывать не будут.

Я жила дома, скинула военную форму, одела женское платье и решила больше ничего не делать, и стала с сестрой шить на солдат шинели. На Рождество в 2 часа ночи, около Старого собора, я была арестована, позже посажена в Томскую тюрьму, откуда меня перевели в Красноярск. Не имела желаний идти с добровольческой дружиной Святого Креста на фронт. Я не препятствовала Колчаку и его правительству пользоваться моей фамилией как средством агитационным с целью формировать добровольческие отряды для борьбы с советской властью. Мне льстило, что добровольческий санитарный отряд называют моей фамилией — отряд Бочкаревой. Я верила в Колчака и в его правоту, а поэтому не осталась в советской России. Позже я во всем разубедилась и решила бросить всю службу и считаю, что глубоко ошибалась. От Николая II мной получено за боевое отличие

4 степени Георгиевских крестов, 3 медали — 2 серебряных и 1 золотая, за усердие. За формирование женского батальона смерти в 1917 году была произведена в прапорщики, позже за боевое отличие на фронте — в подпоручики, а за держание боевого участка на фронте была произведена в поручики.

Виновной перед советской республикой себя признаю. В том, что я сочувствовала Колчаку и белым и формировала добровольческий женский санитарный отряд, выступала сама с агитацией и не препятствовала пользоваться моей фамилией как средством агитации для добровольческих формирований. Показание мое признаю правильным, в чем и даю подпись моей руки. Бочкарева».

*Допрос производился в Красноярске. 21 апреля начальник особого отдела выносит постановление: «Для большей информации, дело, вместе с личностью обвиняемой, направить в особый отдел ВЧК в г. Москву». Кто или что заставило отменить его? На последней странице заключения к окончательному протоколу размашистым почерком выведена резолюция «Бочкареву Марию Леонтьевну расстрелять», заверенная подписью И. П. Павлуновского, и дата — 15 мая 1920 года. Среди множества грифов секретности синим карандашом на старой обложке уголовного дела проступала еле заметная приписка — «Исполнено пост(ановление) 16 мая».*

СЕРГЕЙ ДРОКОВ

15

## РЕВОЛЮЦИЯ НА ФРОНТЕ

**П**ервой ласточкой, известившей о приближении бури, был солдат нашей роты, вернувшийся после отпуска из Петрограда.

— Господи! Знали бы вы, ребята, что происходит в тылу! Революция! Все говорят, что царя скоро скинут. В столице все так и бурлит.

Слух этот распространился мгновенно, как пожар. Люди собирались небольшими группами и обсуждали будоражащее известие. Что же будет? Наступит ли мир? Получат ли они землю и свободу? Или будет назначено генеральное наступление, чтобы положить конец войне? Споры велись, разумеется, шепотом, за спиной у офицеров. Пожалуй, почти все сходились на том, что революция означает подготовку к генеральному наступлению на немцев, чтобы одержать победу и заключить мир.

Несколько дней воздух был словно наэлектризован. По виду офицеров можно было догадаться, что они что-то от нас скрывают.

И вот наконец пришла радостная весть. Командир выстроил полк и огласил знаменитый Манифест и Приказ № 1. Чудо свершилось! Царизм, который угнетал нас, пил нашу кровь, высасывал наши жизненные силы, пал. Свобода, Равенство и Братство! Как ласкали слух эти слова! Мы были точно пьяные: плакали от радости, обнимались, танцевали. Это было похоже на чудесный сон. Кто бы поверил, что ненавистный режим будет разрушен так быстро, еще при нашей жизни?

Манифест заканчивался обращенным ко всем призывом еще крепче держать линию фронта. Теперь, когда мы стали свободными гражданами,— говорилось в нем,— мы должны защитить свою вновь обретенную свободу от посягательств кайзера и его подручных. Мощное «Ура!», перелетев через нейтральную полосу и как бы отразившись от немецких позиций, вернулось к нам, многократно усиленное.

Готовы ли мы поклясться в верности Временному правительству, которое ждет, что мы выкинем врага за пределы Свободной России, прежде чем вернемся домой делить землю?

— Клянемся! — прогремел многотысячный хор, приводя неприятеля в смятение.

Затем командир перешел к Приказу № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. В нем говорилось, что отныне солдаты и офицеры равны, как и вообще все граждане свободной России. Больше не будет никакой дисциплины. Ненавистные офицеры — это враги народа, и им больше не нужно подчиняться и вообще держать их в армии. Армией теперь будут командовать сами солдаты. Пусть рядовой состав выбирает из своей среды лучших и создает комитеты — ротные, полковые, корпусные и армейские.

Нас ошарашил этот поток красивых фраз. Люди были словно под гипнозом. Празднование длилось четыре дня без перерыва. Поначалу немцы не могли понять, чего это мы так радуемся, а когда поняли, прекратили стрельбу.

Собрания следовали одно за другим. Казалось, что в полку происходила какая-то непрерывная круглосуточная сессия. Ораторы крутились исключительно вокруг двух слов — «мир» и «свобода». Люди изголодались по красивым речам и наслаждались ими.

Все забросили службу. Этот великий подъем сначала захлестнул и меня. День или два я была в таком же опьянении, как и мужчины, но чувство ответственности проснулось во мне раньше. Я поняла, что главное в Манифесте — это требование держать линию фронта еще надежнее, чем прежде. В этом же видела я и смысл самой революции. Солдаты вроде бы и разделяли мое мнение, но были не в состоянии вырваться из заколдованного круга митингов, речей и мечтаний. Все еще находившиеся под гипнотическим воздействием вести о революции, они напоминали мне лунатиков. Да фронт и впрямь стал походить на сумасшедший дом.

Однажды (шла первая неделя революции) я приказала солдату заступить в секрет, он отказался.

— Я не буду исполнять приказов бабы,— презрительно фыркнул он.— Я могу теперь делать что хочу. У нас свобода.

Меня это больно задело. Еще неделю назад этот самый солдат по одному моему слову шел под пули, а сейчас насмехается надо мной. Невероятно!

— Ха-ха,— продолжал он.— Можешь сама идти.

Вспыхнув от негодования, я схватила винтовку и сказала:

— Я-то? Да, я пойду и покажу тебе, как свободный гражданин должен защищать свою свободу!

Выбравшись из окопа, я отправилась на пост, где отстояла полных два часа.

Я пыталась говорить с солдатами, объяснять им, какую ответственность накладывает на них революция, взывала к их чести. Они соглашались, что защита родины — главная задача, но разве революция не дала им свободу самим управлять армией и не освободила от дисциплины? Подчинение противоречило их представлениям о свободе. Видя, что не могу заставить подчиненных исполнять свои обязанности, я пошла к командиру роты и попросила его уволить меня из армии и отпустить домой.

— Ты что, с ума сошла, Яшка? — ответил он.— Если уж ты, такая же, как они, крестьянка, человек, которого обожают все солдаты, не можешь оставаться в армии, что же тогда говорить нам, офицерам? Наш долг стоять до конца, пока солдаты не опомнятся. Мне тоже трудно, Яшка,— признался он,— но мы все в одной лодке и обязаны вывести ее в море.

Я осталась в армии, хоть это и претило мне теперь.

Мало-помалу дела стали поправляться. Солдатские комитеты заработали, но они не вмешивались в чисто военную сферу. Те из офицеров, которых солдаты особенно ненавидели или которые были известны как ярые монархисты, исчезли.

Постепенно снова начала налаживаться дисциплина. Конечно, это не была старая дисциплина, основывавшаяся на страхе наказания. Теперь она зиждилась, как мне казалось, на чувстве высокой ответственности, которое овладело солдатскими массами. Правда, никаких боев с немцами не было. Более того, начались братания, позднее окончательно подорвавшие мощь русской армии. Они были откликом на призыв Временного правительства и Советов. А тогда, ранней весной 1917 года, солдаты, не моргнув глазом, выполнили бы любой приказ Петрограда.

В те дни все еще было возможно. Солдаты боготворили людей, даровавших им свободу и равенство. Эти люди были где-то далеко, в тылу, мы почти ничего не знали ни о них, ни об их партиях и фракциях. Нашей единственной мечтой был мир, но мы понимали, что он невозможен, если не выкинуть кайзера из России, и ждали приказа о генеральном наступлении. Если бы тогда такой приказ был отдан, ничто не смогло бы сдержать нашего натиска. Ничто!

А потом началось паломничество агитаторов. Приезжали армейские представители, депутаты Думы, эмиссары Петросовета. Дня не проходило без митинга или выборов. Мы выбирали делегатов в штаб корпуса, в штаб армии, на съезд в Петроград, на встречу с правительством... Почти все ораторы были красноречивы. Они рисовали картины прекрасного будущего России, всеобщего братства, счастья и процветания. Солдатские глаза загорались надеждой. Переносясь мечтами в волшебную страну, обещанную красными, ребята провожали их громовыми овациями.

Были и другие ораторы. Они торжественно взывали к нашему патриотизму, требовали, чтобы мы были готовы в любой момент перейти в наступление и вышвырнуть немца

из России, завоевав тем самым долгожданную победу и мир. На эти призывы солдаты откликнулись с таким же энтузиазмом, клялись, что готовы. Они любили Родину-мать прежде, любят ее стократ сильнее теперь, когда она свободна.

Однако в нескольких десятках метров впереди были немцы. Они свободны не были и покушались на нашу свободу и землю. Мы ждали приказа броситься в атаку и перегрызть им глотки. Но приказ запаздывал. Почему? Почему начальники не ковали железо, пока оно было горячо?

Так или иначе, железу дали остынуть. Тыл утонул в дебатах; фронт тем временем полностью бездействовал. И чем дольше он бездействовал, тем заметнее становилось, что братания с противником приобретают повсеместный характер.

— Эй, иди сюда, чайку попьем! — летел через ничейную землю голос из наших окопов. А с противоположной стороны раздавался ответ:

— Ходи ты здесь, водка!

В течение нескольких дней дело дальше подобных приглашений не шло. Но вот как-то утром наш солдат открыто вышел на нейтральную полосу, заявив, что хочет поговорить. На середине полосы его поджидал немец. Между ними завязался спор, поддержанный подтянувшимися с обеих сторон солдатами.

— Зачем вам дальше воевать? — говорил наш. — Мы своего царя скинули и хотим мира, а ваш кайзер хочет войны. Давайте и вы своего кайзера скидывайте — и айда все по домам!

Немец как умел объяснял, что это не так, что наших обманывают: кайзер еще прошлой зимой предлагал мир, а русский царь отказался. А теперь ваши союзники заставляют Россию продолжать войну, втолковывал он на ломаном русском. А мы всегда готовы пойти на мировую.

Я присутствовала при этой беседе на нейтральной полосе и видела, какое впечатление производили аргументы немца. Иногда немцы приносили с собой водку и угощали наших солдат. Однажды, когда такая группа «переговорщиков» возвратилась на свои позиции, командир полка Кудрявцев попытался увещевать их:

— Ребята, что же вы делаете? Разве вы не знаете, что немцы — наши противники? Они подстраивают вам ловушку.

— К стенке его! — раздался голос из толпы. — Довольно нас обманывали! К стенке!

Командиру едва удалось скрыться. Революция была тогда еще в младенческом возрасте, и этот инцидент стал ранним симптомом болезни, окончательно поразившей русскую армию несколько месяцев спустя. В то время с болезнью можно было еще бороться. Но где был тот мудрый лекарь, который вовремя распознал бы и искоренил ее?

Нас сняли с передовой и на несколько дней отправили на отдых, в ближний тыл. Там состоялся массовый митинг с участием представителя армейского комитета, который приехал, чтобы выступить перед нами с речью.

— Товарищи, — сказал он, — три года мы истекаем кровью, умираем от голода и холода, мокнем в грязных вшивых окопах. Нас убивают, калечат, берут в плен. Ради чего? Кому нужна эта война? Царю и его клике. Они обрекли нас на смерть и муки, в то время как сами купались в золоте и роскоши. Царя больше нет. Зачем же нам, товарищи, продолжать эту войну? Хватит с нас. Вам внушают, что враг перед вами. А как насчет врага, который в тылу? Офицеров, бегущих с фронта, землевладельцев, которые не хотят выпускать из рук поместья, подаренные им царями? Буржуев, веками пивших нашу кровь и богатевших за наш счет? Это они хотят заставить вас сражаться с врагом здесь, чтобы они, настоящие враги народа, тем временем продолжали грабить вас там, в тылу. И когда вы вернетесь домой, если вернетесь, то обнаружите, что все добро и все земли уже захвачены ими.

Аудитория бурно поддержала оратора.

— Итак, у нас два врага: внешний и внутренний. Если мы не будем бороться с врагом внутренним, он лишит нас всех завоеваний революции. Поэтому нам нужен мир с германцем, чтобы обратиться против собственных буржуев-кровопийц.

Мне было больно видеть, какое впечатление произвела на солдат речь армейского делегата: они неистово кричали, поддерживая его идею братоубийственной войны. Я пришла в бешенство и потеряла самообладание.

— Тупые ослы, — закричала я. — Как легко вас сбить с толку! Разве вы не видите, что вас подстрекают к гражданской войне, чтобы кайзер мог тем временем покорить всю Россию? Это же война! Война, понимаете, вы, война! А на войне компромисса с врагом не может быть! Ему палец в рот положи — он всю руку отхватит. Будет вам, опомнитесь! Давайте выполнять свой долг!

В толпе произошло какое-то движение. Раздались громкие возгласы:

— Какого черта мы стоим и слушаем бабу?!

— А ну, наподдай-ка ей!

Меня сбили с ног, удары сыпались со всех сторон. Вдруг я услышала дружеский голос, взывавший к толпе:

— Что вы делаете, ребята? Это же Яшка! Вы что, спятили совсем, что ли? — Кто-то еще поспешил на помощь, и мне удалось отделаться легким испугом, но я твердо решила уйти из армии, которая вела войну, не участвуя в боевых действиях. И никакой командир на этот раз меня не уговорил бы остаться.

На следующий день на наш участок фронта приехал Михаил Родзянко, Председатель Государственной Думы. Войска встретили его бурной овацией.

— Ответственность за Россию, которую раньше несли царь и правительство, теперь лежит на самом народе, на вас! Именно это и означает свободу. Мы сами, по собственной воле, должны защищать страну от врага. А для этого нам необходимо, забыв все распри, сплотиться и обратиться против него единым фронтом. Враг коварен, он говорит сладкие речи, но сердце его полно ненависти. Он притворяется другом, но остается врагом. Он желает посеять между нами раздор и лишить нас свободы и родины.

Толпа одобрительно загудела.

— Свободная Россия не будет в безопасности, покуда на ее земле остается хоть один кайзеровский солдат. Поэтому мы должны готовиться к генеральному наступлению вместе с союзниками, которые помогут нам победить Германию. Следует уважать офицеров и повиноваться приказам, ибо не может быть армии без командиров, как не может быть стада без пастуха.

— Правильно! Верно сказано! — неслось со всех сторон.

Орлов, председатель полкового комитета, парень образованный, выступил с ответной речью.

— Да,— сказал он,— мы готовы сражаться. Но мы хотим, чтобы миллионы солдат, которые рассеялись в тылу, наводнили города и железнодорожные станции и слоняются в полном безделье, вернулись на фронт. Давайте кончим болтовню и вместе возьмемся за дело.

Орлов высказал то, о чем думали все мы. Родзянко согласился, что негоже сотням тысяч солдат устраивать себе бессрочный отпуск в тылу, в то время как их товарищи мокнут в окопах, и обещал сделать все возможное, чтобы вернуть их на позиции. На настойчивые вопросы офицеров, почему упускается уникальный момент для наступления, Родзянко ответил, что Дума бессильна.

— Последнее слово за Советом, за Керенским и другими лидерами,— сказал он.— Это они определяют государственную политику. Я пытался убедить их немедленно отдать приказ о генеральном наступлении, но тщетно.

Орлов представил меня Родзянко, коротко перечислив мои боевые заслуги. Председатель Государственной Думы был удивлен и растроган.

— Низко кланяюсь такой женщине,— тепло сказал он, пожимая мне руку, а затем поинтересовался моим мнением о положении на фронте. Я излила перед ним свою боль:

— Не могу смириться с новым порядком вещей. Солдаты не воюют больше с немцами. Я пошла в армию, чтобы защитить родину. А теперь это стало просто невозможно, и мне не остается ничего другого, как уйти.

— И куда же вы пойдете?

— Не знаю, наверное, поеду домой. У меня отец старый, мать больная, они чуть ли не милостыню скоро просить будут.

Родзянко похлопал меня по плечу:

— Приезжайте ко мне в Петроград, геройчик. Я постараюсь что-нибудь для вас сделать.

Я с благодарностью приняла приглашение и сообщила ребятам, что уйду из армии...

## Я СОЗДАЮ БАТАЛЬОН СМЕРТИ

Путешествие в Петроград прошло относительно спокойно. Поезд был переполнен до невозможности солдатами, которые спорили днями и ночами. Предметом дискуссий неизменно был мир, немедленный мир.

— Но какой же может быть мир с немцами, которые оккупируют нашу землю? — как-то не удержалась я. — Сначала нужно их разбить, а то у нас и родины не останется.

— Ага, она за старый режим, — с угрозой проговорил кто-то из солдат. — Ей, видно, царя не хватает!

Ехавший вместе со мной представитель полкового комитета посоветовал держать язык за зубами, если хочу живой добраться до Петрограда, и я учла его совет. Мы расстались на вокзале. Я никогда прежде не бывала в столице и с огромным трудом разыскала нужный мне дом. Позвонив в дверь, с трепетом ожидала появления хозяина. Дверь, однако, открыл слуга. Я назвала свое имя, добавив, что только что прибыла с фронта, чтобы встретиться с Родзянко. Меня проводили к лифту — нечто для меня совершенно новое. Наверху уже ждал секретарь Председателя Думы. Он тепло приветствовал меня, сказал, что предупрежден о моем приезде, любезно предложил чувствовать себя как дома.

Затем появился сам Родзянко, он радостно воскликнул:

— Мой геройчик! Как я рад, что вы приехали, — и поцеловал в щеку. Представляя меня жене, он указал на мои боевые награды, сердечно и радушно она пригласила меня принять ванну с дороги и отобедать. Я была тронута приемом.

За столом речь зашла о положении на фронте.

— Агитация за то, чтобы солдаты бросали окопы, усиливается, — сказала я. — Если не будет объявлено о наступлении, все кончено. Солдаты отправятся по домам. Нужно немедленно вернуть на передовую войска, рассеянные в тылу.

— Многие тыловые подразделения получили приказ вернуться на фронт. Но они не подчиняются приказам. Под влиянием большевистской пропаганды они устраивают демонстрации протеста.

Тогда я впервые услышала о большевиках. Шел май 1917 года.

— А кто они? — спросила я.

— Группа, которой руководит некто Ленин, только что вернувшийся из-за границы через Германию, а также Троцкий, Коллонтай и другие политэмигранты, — ответил Родзянко. — Они участвуют в митингах, организуемых Советом у Таврического дворца, где заседает Дума, подстрекают к классовой борьбе и требуют немедленно мира.

Меня спросили, популярен ли в войсках Керенский, который как раз отправился на фронт.

— Очень популярен. По сути, он самый популярный на фронте человек. Солдаты ради него на все готовы, — ответила я.

Тогда Родзянко рассказал историю, которая всех нас позабавила. В Зимнем дворце был старый привратник, помнивший многих царских министров. Керенский взял за правило со всеми здороваться за руку. Приезжая на службу, он неизменно пожимал руку старому привратнику и скоро стал посмешищем среди слуг.

— Какой же это министр, — говорил швейцар, — если он со мной ручается?

После обеда Родзянко повез меня в Таврический дворец и представил собранию солдатских делегатов. Мне устроили овацию и посадили на почетное место. Делегаты рассказывали о положении на разных участках фронта. Их выводы точно совпадали с моими: дисциплина падает, братание с неприятелем усиливается, агитация за то, чтобы бросать оружие, находит отклик. Что-то нужно делать!

Родзянко захотел, чтобы я предложила решение проблемы. Я, естественно, смутилась и попросила немного времени, чтобы собраться с мыслями. И вдруг меня осенила неожиданная идея — идея создания женского батальона смерти.

— Вы знаете, через что мне пришлось пройти как солдату, — сказала я, обращаясь к присутствующим. — А что если собрать сотни три таких женщин, как я, организовать батальон, и пусть он послужит примером всем войскам и сподвигнет мужчин снова взяться за оружие?

Родзянко одобрил мою идею.

— При условии, что найдется несколько сот таких, как Мария Бочкарева, в чем я очень сомневаюсь, — добавил он.

На это я ответила, что количество не так уж важно, главное — устыдить мужчин. Даже небольшая группа отважных женщин может послужить примером всему фронту.

— Но только обязательное условие, — сказала я, — чтобы в этом женском подразделении не было никаких комитетов, оно должно состоять под нормальным армейским командованием и быть образцом военной дисциплины.

В зале нашлись, однако, и противники моей идеи.

— Нельзя полагаться на исключения, такие, как Бочкарева. Ее солдаты на фронте знают и слышаны о ее славных делах. Но кто поручится, что и другие женщины будут столь же скромны, как она, и не опозорят армию? — задал вопрос один из делегатов.

— И кто даст гарантии, что присутствие на фронте солдат-женщин не приведет к появлению солдат-детей? — подхватил другой.

— Если я берусь за организацию женского батальона, я несу полную ответственность за каждого его солдата. Я введу в батальоне строжайшую дисциплину, будут запрещены какие бы то ни было речи и шатания по улицам. Выполнение приказов и подчинение начальству обсуждаться не будут. Иначе какой смысл организовывать такой батальон?

Честно говоря, я не верила, что правительство отнесется к моей идее серьезно и позволит воплотить ее в жизнь, хотя мне и обещали, что о ней будет доложено Керенскому по его возвращении с фронта.

На следующее утро Родзянко позвонил мне (меня поселили у коменданта Дома инвалидов капитана Дементьева) и предложил прежде, чем докладывать Керенскому, военному министру, обсудить идею с главнокомандующим генералом Брусиловым. Если он одобрит план, легче будет добиться и согласия Керенского.

Ставка находилась тогда в Могилеве, куда мы и отправились с капитаном Дементьевым. 14 мая нас принял адъютант главнокомандующего. Он доложил о цели нашего приезда генералу Брусилову, и тот пригласил нас войти.

Чуть больше недели минуло с тех пор, как я покинула фронт, и вот я снова здесь, но не в окопах, а на аудиенции у самого главнокомандующего. Брусилов приветствовал нас сердечным рукопожатием, сказал, что идея кажется ему интересной, предложил сесть и попросил меня рассказать о себе и о моем плане. Выслушав, он обсудил некоторые детали с капитаном Дементьевым и наконец дал добро. Прощаясь, выразил надежду на успех моего дела, и, совершенно счастливая, я вернулась в Петроград.

Керенский был уже там. Родзянко сообщил, что договорился о встрече с ним в семь часов утра следующего дня. Меня Керенский согласился принять тогда же в полдень.

Капитан Дементьев отвез меня в Зимний дворец, и за несколько минут до полудня я была уже в приемной военного министра. К своему удивлению, я увидела там и генерала Брусилова, который поинтересовался, с тем же ли делом я явилась к Керенскому, с каким приезжала к нему. Я ответила утвердительно. Он обещал поддержать мой проект перед министром и тут же представил меня сопровождавшему его генералу Половцову, командующему Петроградским военным округом.

Вдруг дверь распахнулась и в проеме появилось молодое лицо с воспаленными от бессонницы глазами. Это был Керенский. Он вышел в приемную и кивком пригласил меня войти. Правая рука была у него на перевязи, он протянул мне левую. В то время он был кумиром масс.

Керенский нервно ходил по кабинету, говорил отрывисто и сухо. Сообщил, что слышал обо мне и что идея моя его заинтересовала. Я попыталась прояснить некоторые подробности. Он слушал нетерпеливо. Было видно, что решение уже принято. Сомнение вызывала только моя способность поддерживать высокий моральный дух в батальоне. Если я готова взять на себя ответственность за поведение и репутацию девушек, он готов позволить мне начать набор немедленно. Я дала обещание, и дело было решено. Тут же на месте мне были даны полномочия сформировать Первый русский женский батальон смерти.

Керенский попросил генерала Половцова оказать мне необходимое содействие, и после недолгих консультаций с капитаном Дементьевым мне было предложено начать формирование батальона прямо на следующий вечер в Мариинском театре, где устраивался благотворительный вечер в пользу Дома инвалидов. Там ожидалось выступление Керенского, Родзянко, Чхеидзе и других. Половцов хотел, чтобы я выступала после Родзянко, перед Керенским.

Меня обуял дикий страх: я никогда не произносила речей перед публикой и не знала, о чем говорить. Но прежде чем смогла что-то возразить, была уже в фотостудии, где меня сфотографировали. На следующий день фотография красовалась по всему городу на афише, оповещающей о моем выступлении в Мариинском театре.

Накануне я не сомкнула глаз, всю ночь молилась, просила Бога наставить и вразумить меня, невестственную бабу, чтобы слова мои тронули сердца слушателей.

Наступил вечер 21 мая 1917 года. В сопровождении капитана Дементьева и его жены

я приехала в Мариинский театр, меня усадили в бывшую царскую ложу. Зал бы переполнен, цена билетов достигала двадцати тысяч рублей. Мне казалось, что все смотрят на меня, и я с трудом сдерживала волнение.

Керенский был встречен громоподобной овацией. Он говорил всего минут десять. После него должна была выступать госпожа Керенская, за ней — я. Госпожа Керенская, однако, выйдя на сцену, от волнения не смогла произнести ни слова, что, разумеется, и мне храбрости не прибавило. Когда меня вели к трибуне, я была в полубоморочном состоянии.

Как бы со стороны услышала собственный голос:

— Граждане и гражданки! Наша мать, наша матушка Россия гибнет. Я хочу помочь спасти ее. Я зову с собой женщин, чьи сердца и души кристально чисты, а помыслы высоки. Покажем же мужчинам в этот тяжкий час пример самопожертвования, чтобы они заново осознали свой долг перед Родиной!

Регистрация добровольцев началась в тот же вечер.

Теперь мне необходимо было какое-то помещение, чтобы расквартировать батальон, и нам предоставили здание и двор Коломенского женского института, куда и должны были являться все желающие записаться в батальон.

Благодаря сообщениям в газетах у нас вскоре было уже около двух тысяч добровольцев. Во дворе института, где они собрались, царило ликование. Я прибыла туда вместе с помощником начальника штаба по тылу капитаном Кузьминым, капитаном Дементьевым и генералом Аносовым, которого представили мне как горячего поклонника моей идеи. Ему было лет пятьдесят, и выглядел он очень импозантно. Он сказал, что очень хочет мне помочь. Кроме того, во дворе была целая куча газетчиков. Я водрузила посреди двора стол и обратилась к женщинам со следующими словами:

— Женщины, отдаете ли вы себе отчет в том, какая стоит перед вами задача? Знаете ли вы, что такое война? Война! Загляните себе в душу, подумайте еще раз, сможете ли вы выдержать это труднейшее испытание.

Мораль наших мужчин низко пала, и мы, женщины, обязаны послужить им вдохновляющим примером. Но сделать это могут лишь те, кто готов безоговорочно пожертвовать своими личными интересами и делами.

В батальоне не будет никаких комитетов, — продолжала я, — любое нарушение дисциплины, даже незначительное неповиновение, будет сурово наказываться. Никакого флирта, даже намек на него я не потерплю в батальоне. Мы должны восстановить дисциплину в армии, такова цель создания нашего батальона, и ради нее мы обязаны быть непреклонными. Готовы ли вы подписаться под такими требованиями?

Женщины хором подтвердили свое согласие.

— А теперь я попрошу тех, кто согласен на мои условия, подписать клятву беспрекословно подчиняться всем приказам Бочкаревой. Предупреждаю: по натуре я сурова, буду сама карать за любой проступок и потребую абсолютного повиновения. Кто не уверен в себе, лучше не подписывайте этой клятвы.

Среди почти двух тысяч человек, подписавших клятву, было немало девушек с очень известными в России фамилиями, были и простые крестьянки, и прислуга. Десять докторов — в том числе и женщины — проводили медицинское обследование. Требования, конечно, не были такими же, какие предъявлялись к здоровью военнослужащих-мужчин. Мы редко кого отвергали — только тех, кто страдал серьезными заболеваниями, хотя обладающих безупречным здоровьем среди новобранок было не так уж много.

Всем зачисленным было разрешено переночевать дома, с тем чтобы на следующий день они явились в здание института для постоянного расквартирования и прохождения военной подготовки.

Потребовалось обмундирование. Я обратилась к командующему округом, и в тот же день нам передали две тысячи полных комплектов. Того же генерала Половцова я попросила командировать в мое распоряжение двадцать пять мужчин-инструкторов, дисциплинированных, умеющих поддерживать порядок в части и отлично знающих все тонкости военного дела, чтобы они могли за несколько недель провести курс обучения девушек. Он прислал мне двадцать пять младших офицеров Волынского полка.

Затем встал вопрос о питании. Было сочтено целесообразным не организовывать отдельной кухни, а приписать нас на довольствие к караульному полку, квартировавшему неподалеку. Рацион назначить стандартный — два фунта хлеба, щи, каша, сахар, чай. Мне надлежало отправлять девушек на обед поротно, снабдив посудой.

26 мая все новобранцы были выстроены во дворе института по росту, и я разделила их

на два батальона приблизительно по тысяче человек в каждом. Батальоны были поделены на четыре роты, а роты — на четыре взвода. Каждому взводу придан инструктор, кроме того, ротой командовал еще один младший офицер. Пришлось увеличить число инструкторов до сорока.

Я объявила женщинам, что с этого момента они перестают быть женщинами и становятся солдатами, что им не разрешается покидать казармы и принимать родственников и друзей они могут только между шестью и восемью часами вечера. Из числа наиболее образованных новобранцев — а среди них были девушки с университетским образованием — я отобрала несколько человек с намерением подготовить из них командиров взводов и рот. На первых порах их обязанности ограничивались лишь сферой быта, военной подготовкой ведали инструкторы-мужчины, которые после учебного дня возвращались к себе в казармы.

Затем я отправила девушек к парикмахерам, которые с пяти утра до полудня вместе со своими помощниками коротко стригли их. Стоя у окон парикмахерских, толпы народа наблюдали за беспрецедентной процедурой и насмешками встречали каждую выходящую из дверей девушку, которая и без того, видимо, оплакивала в душе утрату волос.

В тот же день на просторном дворе института началось обучение моих солдат. Девушки были обязаны поочередно нести караульную службу при входе и без разрешения дежурного офицера никого не пропускать внутрь. Караул сменялся каждые два часа. Двор был обнесен высокой стеной, так что никто не мешал учениям. Строго запрещалось хихикать, и я неукоснительно следила за этим. В первый же день безжалостно выгнала около тридцати человек: кого-то за то, что много смеялись, кого-то за другие нарушения дисциплины. Несколько человек бросились к моим ногам, моля о прощении. Но я знала: если не сумею быть беспощадной, лучше бросить дело в самом начале. Чтобы слово мое имело вес, оно должно быть окончательным и непреложным. А как еще можно управлять двумя тысячами женщин? В конце концов, для нашего дела важно не количество, а качество, и я не остановилась бы даже перед тем, чтобы выгнать несколько сот новобранцев.

Нам выделили для учебных целей пятьсот винтовок. Этого хватило лишь четверти личного состава, так что пришлось придумать систему, при которой обходиться полутысячей ружей могли все обучающиеся.

Было решено, что солдаты и офицеры батальона смерти станут носить особые знаки отличия: белые погоны с красной и черной лычками и красно-черный шеврон на правом рукаве.

Когда настал вечер и пришло время отходить ко сну, девушки дружно проигнорировали приказ быть в постели в двадцать два ноль ноль и продолжали возиться и веселиться. Я вызвала дежурного офицера и пригрозила поставить ее на шесть часов по стойке «смирно», если после десяти солдаты не будут спать. Пятьдесят человек были тут же наказаны двухчасовым стоянием по стойке «смирно», остальным я приказала:

— Всем немедленно в постель! И чтобы было слышно, как муха пролетит. Завтра подъем в пять.

Ночь я провела без сна, нужно было многое обдумать и решить.

В пять часов утра только дежурный офицер была на ногах. Ни одна живая душа не шевельнулась в казарме. Дежурный офицер доложила, что несколько раз призывала девушек вставать, но никто и не подумал. Я вошла в казарму и громовым голосом гаркнула:

— Подъем!!!

Сонные и испуганные, мои девчата стали вылезать из постелей.

Как только они оделись и умылись, был отдан приказ: «На молитву». Ежедневная молитва была у нас обязательна. Потом завтрак, состоявший из хлеба и чая.

В восемь я приказала построиться во дворе поротно для смотра, прошла вдоль шеренг, приветствуя солдат. Они отвечали дружным: «Здравия желаем, господин командир!»

Затем возобновились учения, а я продолжила операцию «прочесывания». Если замечала, что девушка кокетничает с инструктором, ведет себя легкомысленно, шутит и вообще недостаточно серьезна, я тут же приказывала сдать форму и отправляться домой. В результате на второй день я выгнала еще пятьдесят человек. Я не могла позволить себе отягощать и без того тяжелое бремя своей ответственности за будущее батальона, старалась настроить девушек на самый серьезный лад. Если мы не оправдаем возложенных на нас надежд, мы станем посмешищем в глазах всей страны, подведем тех, кто поддерживает нас,—

а таких становилось все больше. Зачисление в батальон было закончено, так как я спешила завершить обучение девушек и как можно скорее отправиться на фронт.

День за днем мои солдаты постигали военную премудрость. Несколько раз в качестве наказания я прибегала к пощечинам.

На первых порах большевистские агитаторы не очень докучали, они не принимали нас всерьез и думали, что батальон скоро сам собой развалится. Правда, десятка три писем с угрозами я получила. Но постепенно становилось очевидным, что мне удастся поддерживать в части строгую дисциплину, командуя без помощи комитетов, и агитаторы, почуяв опасность, перешли к действиям.

Однажды я была приглашена на званый ужин в «Асторию», знаменитую петроградскую гостиницу. На ужине присутствовал Керенский. Он был со мной чрезвычайно любезен и сказал, что женский батальон уже оказывает благотворное влияние на ситуацию: несколько войсковых частей изъявили готовность выступить на фронт и даже группа инвалидов войны пожелала, организовав свою часть, отправиться на передовую. Если это под силу женщинам, сочли они, то и мы сумеем еще повоевать. Керенский выразил уверенность, что сообщение о нашей отправке на фронт побудит многие гарнизоны последовать нашему примеру.

После ужина знакомый, которому было со мной по пути, предложил подвезти меня. Я с благодарностью приняла предложение, однако вышла из машины за квартал до института, так как не хотела, чтобы он делал крюк. Было около одиннадцати часов вечера, когда я подошла к нашим временным казармам. У ворот толпилась небольшая группа мужчин, человек тридцать пять, весьма разношерстная: солдаты, бродяги, хулиганы и даже несколько весьма приличных на вид молодых людей.

— Кто вы? Что вы здесь делаете? — строго спросила я.

— Господин командир, — крикнула девушка-часовой, — они вас ждут. Они тут уже больше часа, ворота сломали и весь двор и дом прочесали — вас искали. Убедились, что вас нет, и решили ждать.

— Ну, и что же вам нужно? — спросила я у постепенно смыкавшейся вокруг меня толпы.

— Что нам нужно? Нужно, чтобы ты распустила свой батальон. Хватит с нас всей этой муштры. Хватит крови. Мы не желаем больше никаких армий, никакой военщины. Вы несете простому народу только новые беды. Распусти свой батальон — и мы оставим тебя в покое.

— Не распушу, — заявила я твердо.

Несколько человек выхватили револьверы и стали мне угрожать. Караул поднял тревогу, в окна появились девчата, у многих в руках были винтовки.

— Слушай, — снова начал кто-то из толпы, — ты ведь сама из простонародья, а мы народу только блага желаем. Мы хотим мира, не войны. А ты опять подстрекаешь к войне. Хватит! Война бессмысленна. Ты ведь не хочешь, чтобы бедные по-прежнему клали свои жизни за богатых. Переходи на нашу сторону!

— Да, я хочу мира, — ответила я, — но его не будет, пока мы не прогоним немцев с нашей земли. Иначе они превратят нас в рабов, отнимут землю и свободу. А вы предатели!

Вдруг кто-то резко толкнул меня в спину. Другой сильно ударил в бок, я упала.

— Огонь! — скомандовала я своим девчатам, зная, что они твердо помнят мои инструкции: первый выстрел всегда предупредительный, в воздух.

Раздался залп. Толпа в момент рассеялась — я была спасена. Впрочем, ночью они вернулись и пбили камнями все окна в нашем доме, выходящие на улицу.

## МОЯ БОРЬБА С КОМИТЕТАМИ

Я попала в казарму только после полуночи. Дежурный офицер доложила о вечерних происшествиях. Оказалось, что сначала один из большевистских агитаторов проник внутрь, заявив часовым, что я сама его зачем-то послала. Когда его пропустили, он собрал всех женщин и обратился к ним с речью в полном соответствии с новыми веяниями: призывал создать комитет самоуправления, высмеивал дисциплину и выказывал преувеличенное сочувствие девушкам, которые подверглись дисциплинарным взысканиям по моему приказу. Ратовал за немедленный мир любой ценой, советовал скинуть своего реакционного командира и демократическим волеизъявлением выбрать нового.

Результатом его пламенной речи стало то, что батальон раскололся. Более половины девушек пошли на поводу у агитатора, отделились и выбрали свой комитет.

Я была страшно раздосадована и, несмотря на поздний час, приказала девушкам построиться, после чего отдала команду:

— Те, кто за комитет, — отойти вправо, кто против, — влево.

Справа оказалась большая часть батальона, слева осталось всего человек триста.

— Те, кто готовы служить по прежним правилам и соблюдать строжайшую дисциплину, принимая наказание как должное в случае провинности, пусть скажут «да», — выкрикнула я.

Группа, стоявшая слева, дружно отозвалась:

— Да, господин командир!

Тогда, обращаясь к большей части батальона, стоявшей справа, я спросила:

— Зачем вы записывались в батальон? Я же предупреждала вас, что будет очень трудно. Разве вы не подписали клятву совершенно добровольно? Комитеты топят любое действие в море болтовни, а мне нужны дела, а не слова. Я создавала этот батальон не для того, чтобы к тем миллионам солдат, которые слоняются сейчас по всей России, добавилось несколько сот баб. Мы должны были прокладывать путь, а не плестись в обозе деморализованной армии. Знай я заранее, из какого вы теста, не ехала бы за тысячу верст, чтобы вас собрать. Вы недостойны формы, которую надели. Сдайте ее и убирайтесь!

Мой приказ был встречен взрывом негодования:

— Нас большинство! Мы не желаем больше повиноваться вам, мы выберем себе нового командира, — слышалось из рядов.

Я была больно уязвлена, но постаралась сохранить самообладание и сказала:

— Нового командира вы выбирать не будете. Уходите тихо, без скандала, чтобы не позорить нас и не позориться самим на всю страну, чтобы никто не сказал, что бабы и есть бабы и без скандала они не могут.

Всю ночь в батальоне кипели страсти, преданные мне девушки и мятежницы пытались убедить друг друга в своей правоте. Я удалилась к себе, оставив дежурным офицерам распоряжение предоставить непокорным возможность действовать по их собственному усмотрению, вплоть до того, что разрешить им уйти в форме, если они будут на этом настаивать. Утром мне доложили, что бунтовщицы выбрали делегацию ходоков к генералу Половцову с жалобой на меня и все покинули казарму, не сняв формы. В тот же день меня вызвали к генералу.

Генерал уговаривал пойти навстречу взбунтовавшимся и удовлетворить некоторые из их требований, чтобы покончить дело миром.

— В конце концов, по всей армии сейчас действуют солдатские комитеты. Не можете же вы единственная не подчиняться новому порядку. Да пусть они создают этот свой комитет, чтобы не было скандала и чтобы спасти ваше дело, — уговаривал меня генерал. Но я была непреклонна.

Тогда генерал сообщил мне, что солдаты Первой и Десятой армий, прослышав о нас, купили нам в дар две серебряные иконы в золотых окладах — Божьей Матери и Георгия Победоносца, заказали два штандарта и велели вышить на них золотыми нитями здравицы в нашу честь. А Керенский решил устроить торжества по случаю нашего выступления на фронт, для чего затребовал мой послужной список и купил золотой крест, чтобы мне его преподнести.

— Что же, отменять все это, если вы не усмирите своих девиц? — спросил генерал.

Мне, разумеется, было лестно слушать генерала, но я понимала, что дело важнее почестей, и не сдалась, даже несмотря на его обещание, что все солдаты батальона принесут мне извинения по всей форме.

— Я не стану держать в батальоне бунтовщиков ни при каких условиях. Они мне здесь палки в колеса ставят — они меня и на фронте подведут. Наша цель — показать пример деморализованной армии. Как только у нас появится комитет — прощай, наша цель. Нынешний раскол лишь подтверждает мои слова.

— Согласен, — ответил генерал, — комитеты — наше проклятие. Но что поделаешь?!

— Я знаю одно, — категорически заявила я, — у меня в батальоне никаких комитетов никогда не будет.

Генерал вскочил, стукнул кулаком по столу и прогремел:

— Я приказываю вам создать комитет!

Я тоже вскочила и тоже стукнула кулаком:

— Ни за что! Я взвалила на себя этот труд при одном условии — никаких комитетов.

— Тогда мне остается лишь распустить ваш батальон! — объявил генерал Половцов.

— Хоть сию секунду, — ответила я и отправилась в институт.

Зная, что бунтовщицы получили от генерала распоряжение вернуться, я выставила караул из десяти вооруженных солдат, приказала никого не впускать и стрелять в случае попыток прорваться силой. Многие приходили, но, увидев винтовки, ретировались. Они снова жаловались Половцову, но тут уж он ничем не мог им помочь. Он лишь доложил обо всем Керенскому, добавив от себя рекомендацию «взнуздать» меня.

Тем временем я спокойно продолжала свою работу. У меня осталось всего три сотни девушек, но это были преданные три сотни, и я нисколько не огорчалась по поводу сокращения численности батальона. Большинство оставшихся были крестьянками, как я сама. Все — моложе тридцати пяти. Исключение составляла некто Орлова — ей было сорок, но статью она превосходила любую другую. Мы принялись за учения с удвоенным рвением.

Через пару дней позвонил адъютант Керенского и предложил мне явиться к военному министру в Зимний. В приемной снова было полно народу, я поздоровалась со знакомыми. Минута в минуту в назначенное время меня пригласили войти.

Керенский решительным шагом мерял кабинет и был мрачнее тучи.

— Доброе утро, господин министр, — поздоровалась я.

— Доброе утро, — ответил он холодно, не подав руки. — Вы солдат? — неожиданно спросил он.

— Да, — ответила я.

— Тогда почему вы не подчиняетесь старшим по званию?

— Потому что в этом случае считаю себя безусловно правой. Приказ начальства противоречит интересам страны и нарушает дарованные мне полномочия.

— Вы обязаны подчиняться, — взвизгнул Керенский, и лицо его вспыхнуло гневом. — Я требую, чтобы завтра же в вашем полку был комитет! Чтобы вы обращались с девушками вежливо! Чтобы перестали их наказывать! Иначе я сотру вас в порошок! — для убедительности военный министр припечатал свое требование кулаком по столу.

Я, однако, чувствовала себя в своем праве, и этот эмоциональный взбрык не только не испугал меня, но придал еще больше решимости.

— Можете распустить мой батальон, — выкрикнула я. — Мне не страшно, я вернусь домой, в деревню, и буду там жить спокойно, — хлопнув дверью, я выбежала вон. Вернувшись в батальон, собрала девушек и объявила им, что уйду в отставку, после чего отправилась к герцогине Лихтенберг, которая принимала горячее участие в моем деле: мне нужно было кому-то излить душу. Часов в восемь вечера туда прибыла одна из моих девушек с докладом о результатах визита делегации батальона к генералу Половцову. Не знаю уж, напугал ли генерала вид множества разъяренных и притом вооруженных женщин, но он пообещал им не распускать батальон и сказал, что лично прибудет в наши казармы на следующий день.

И точно: в девять часов утра мне доложили, что приехали генерал Половцов, адъютант Керенского, капитан Дементьев, а также ряд высокопоставленных дам, патронировавших наш батальон. Я быстро построила солдат, генерал поприветствовал их, поздоровался со мной за руку и сказал, что хочет обсудить некоторые вопросы. Ведя своих именитых гостей в дом, я размышляла, что все это может означать. Новые уговоры?

Я не ошиблась. Генерал привез всю эту свиту, чтобы еще раз попытаться сломить меня.

— Подумайте, — говорил он, — уже вся армия волнуется: что это за Бочкарева, которой единственной позволено обходиться без комитета? Ваши солдаты так преданы вам, что у вас не будет никаких трений с комитетом. А нас это избавит от неприятностей.

Затем в действие была введена женская артиллерия. Патронессы окружили меня и стали умолять, улащать, всячески испытывая мои нервы, некоторые даже плакали. Этого я уж совсем не могла вынести и сорвалась в истерику.

— Вы все подлые люди! — завопила я. — Вы хотите погубить страну! Убирайтесь отсюда!

— Молчать! — не стерпел Половцов. — Как вы смеете вести себя так в присутствии генерала?! Я вас расстреляю!

— Стреляйте! — я рванула гимнастерку на груди.

Генерал развел руками, сердито пробормотав:

— Чертова баба. Это не женщина, дьявол,— и удалился в сопровождении своей разношерстной свиты.

На следующий день я получила от командующего округом телеграмму, извещавшую, что военным министром мне разрешено продолжать командовать батальоном без комитета солдатских депутатов...

## БАТАЛЬОН НА ФРОНТЕ

В тот же день мы получили зная, о котором говорил генерал Половцов, на нем было вышито что-то вроде: «Да здравствует Временное правительство! Вперед, храбрые женщины, на защиту Родины-матери!»

С этим знаменем нам предстояло участвовать в демонстрации, организованной в ответ на большевистскую манифестацию, проходившую на Марсовом поле. Вместе с нами должны были идти и инвалиды.

В воздухе носились тревожные слухи: что-то сегодня случится. Комендант Дома инвалидов предоставил в мое распоряжение пятьдесят револьверов. Я распределила их между инструкторами и моими офицерами. Два взяла себе.

Во главе батальона должны были идти офицеры Волынского полка, так как половина личного состава их собственной части отказалась участвовать в антибольшевистской демонстрации: хоть стоял еще июнь, полк уже был заражен большевистскими идеями.

Марсово поле находилось верстах в пяти от наших казарм. Вдоль всего пути стояли толпы людей, приветствовавших нас и инвалидов (их было около пятисот). Многие женщины на тротуарах заранее оплакивали бедных девушек, которых я вела на, казалось, неминуемую стычку с большевиками.

Когда мы подошли к Марсову полю, я отдала распоряжение своим солдатам сесть и отдыхать пятнадцать минут. Затем скомандовала «Стройся!» и проинструктировала их держаться подле меня, не вступать ни в какие пререкания, не поддаваться на провокации и ни в коем случае не срывать на бег, чтобы не создавать паники. Капитан и подчиненные ему офицеры настояли на том, чтобы идти во главе демонстрации рядом со мной, хотя я сопротивлялась, желая показать большевикам, что не боюсь их.

Толпа, собравшаяся на Марсовом поле, была действительно огромна, и поток демонстрантов с большевистскими лозунгами продолжал прибывать. Мы остановились в нескольких метрах напротив и были тотчас осыпаны градом насмешек. Манифестанты издевались над Временным правительством и кричали: «Да здравствует революционная демократия! Долой войну!»

— Сначала надо немцев разбить, тогда и война кончится! — крикнула я. — А если вы сейчас прекратите войну, вы поможете сгубить свободную Россию!

— Убить ее! Убить! — послышались угрозы из толпы.

В страшном возбуждении я сжимала рукоятки револьверов, помня, однако, что стрелять в своих нельзя. Шагнув вперед, снова крикнула:

— Опомнитесь, обманутые сыны России! Подумайте, что вы делаете!

Насмешки и угрозы не смолкали, и тогда я не сдержалась:

— Негодяи!

Офицеры попытались оттащить меня, но я вырвалась и шагнула прямо в гущу толпы, продолжая взывать к ней, словно безумная, даже когда оттуда грянули первые выстрелы. Мои офицеры в ответ тоже дали команду: «Пли!» — и началась страшная свалка. Двое моих офицеров были убиты, двое ранены. Ранены были и десять моих девчат. Меня пули миновали, но я получила удар по голове и потеряла сознание. В драку оказались втянутыми и люди, не участвовавшие в демонстрации ни на той, ни на другой стороне, а просто наблюдавшие за происходившим, — началась всеобщая паника.

Я очнулась только вечером, в собственной постели. Рядом сидел врач. Он сообщил, что, хоть я и потеряла довольно много крови, рана не слишком серьезная и скоро я снова буду на ногах. В это время дежурная доложила, что приехал Председатель Государственной Думы. Родзянко, улыбаясь, подошел к постели и поцеловал меня:

— Геройчик мой, я рад, что вы пострадали не слишком серьезно. В городе про вас рассказывают всякие небывлицы. Вы храбрая женщина, но это было безрассудно — их ведь оказалось неизмеримо больше.

Он сообщил, что завтра в Зимнем состоится завтрак в честь генерала Корнилова,

командующего войсками юго-западного направления. Буду ли я в состоянии присутствовать?

Доктор не возражал, и Родзянко распрощался, пообещав мне любую необходимую помощь и пожелав скорейшего выздоровления.

Большую часть следующего утра я провела с перевязанной головой у окна, наблюдая за учебными упражнениями своих солдат. Незадолго до полудня за мной заехал Родзянко, и мы отправились в Зимний. В вестибюле Председатель Государственной Думы представил меня генералу Корнилову.

Худой, подвижный, с мужественным лицом; средних лет; седоусый, с жестким взглядом узких глаз и широкими монгольскими скулами — таким я запомнила Корнилова. Говорил он мало, но каждое его слово было многозначительно. Всякий инстинктивно чувствовал, что это человек железной воли и негибаемой стойкости.

— Очень рад познакомиться, — сказал он, пожимая мне руку. — Примите мои поздравления по случаю вашей победы в борьбе против комитетов.

— Господин генерал, — ответила я, — мне помогло выстоять то, что я сердцем знала: мое дело правое.

— Прислушивайтесь всегда к голосу своего сердца, — посоветовал генерал.

В этот момент появился Керенский, все встали.

За столом, где присутствовали еще три генерала союзников, я чувствовала себя неловко. Разговор шел в основном на иностранном языке, и я ничего не понимала. Кроме того, я совершенно не знала, как следует вести себя за столом, с помощью каких приборов есть то или иное блюдо, и, краснея, все время косилась на соседей.

Керенский говорил о том, что, несмотря на раскол, деморализующий армию, не считает положение безнадежным. Он планировал новую поездку на фронт и был уверен, что это ускорит наступление наших войск.

С Корниловым мы распрощались очень тепло, и он пригласил меня заезжать в свой штаб, когда я буду на фронте.

Время, оставшееся до назначенного Керенским торжественного освящения знамени батальона, девушки провели в напряженных учениях. Они готовились выступить на фронт. И вот настал день 21 июня. Все были в приподнятом настроении.

В девять часов утра к нашим воротам прибыли два армейских подразделения, которым было поручено сопровождать нас в Исаакиевский собор. В парадном обмундировании мы тронулись в путь. Повсюду вдоль дороги выстроились части местного гарнизона. Здесь были представители всех родов войск, в том числе казаки. На ступеньках собора нас встречали представители городских властей и военные чины, среди них Керенский, Родзянко, Милуков, Корнилов, Половцов и другие. Обряд освящения отправляли два архиепископа и двенадцать священнослужителей пониже рангом.

В полной тишине один из них попросил меня выйти вперед и назвать свое имя. Потрясенная, словно мне предложили предстать перед самим Господом Богом, я приняла знамя, над которым скрестили два овеянных славой боевых штандарта — складки их почти полностью скрыли меня. Архиепископ сказал, что мне оказана небывалая честь — боевое знамя впервые вручается женщине.

На знаменах войсковых подразделений не принято писать имена командиров, продолжал он, но имя Марии Бочкаревой сияет на этом знамени, которое в случае ее гибели возвратится в Исаакиевский собор и никогда не будет служить другому командиру.

Церемония продолжалась около часа. Затем двое солдат, представители Первой и Десятой армий, вручили мне иконы, переданные в дар батальону их боевыми товарищами. Я опустилась перед иконами на колени и молила Господа наставить меня, темную женщину, чтобы я смогла оправдать надежды и доверие всех этих достойных людей.

От имени военного руководства генерал Корнилов вручил мне револьвер и саблю с украшенными золотом рукоятками.

— Вы заслужили это славное оружие, — сказал он, — и я уверен, что вы его не посрамите.

После этого Керенский прикрепил к моей гимнастерке погоны прапорщика.

Из собора меня вынесли на руках. На площади состоялся импровизированный митинг. Боевой дух присутствовавших там солдат был очень высок, и я подумала: неужели мечта моя сбылась? Неужели эти женщины добились того, к чему стремились — повести за собой мужчин на защиту Родины? Тогда мне казалось, что так оно и есть.

Это было заблуждением, и не понадобилось много времени, чтобы убедиться в этом. Но то была прекрасная иллюзия, и она давала нам силы.

После освящения батальонного знамени до отправки на фронт оставалось меньше трех дней. Они прошли в приготовлениях. Следовало позаботиться о питании — не могли же мы взять с собой кухню караульного полка, услугами которой пользовались до тех пор. Все солдаты и офицеры батальона получили по полному комплекту боевого снаряжения.

24 июня мы покинули двор Коломенского института и строем отправились в Казанский собор, чтобы оттуда проследовать на вокзал. Архиепископ произнес речь и благословил нас. Когда мы вышли из собора, дорогу нам преградила группа большевиков. Девушки схватились было за винтовки, но я скомандовала: «Отставить!» — и, вложив шашку в ножны, подошла к блокировавшим дорогу людям.

— Зачем вы это делаете? — спросила я. — Вы ведь везде кричите, что мы ни на что не способны, и высмеиваете нас. Чего же вы боитесь?

Отпуская глумливые замечания, те разошлись.

Наш поезд состоял из нескольких теплушек и одного пассажирского вагона второго класса. Нам было предписано следовать в Молодечно, в штаб Десятой армии, которой мы были приданы. Путешествие оказалось триумфальным. На каждой станции девушек восторженно приветствовали толпы народа. Когда мы прибыли в Молодечно, нас встретила группа из двадцати офицеров. Батальон препроводили в казармы, а меня отвезли в штаб армии на торжественный обед.

Всего в городе было десятка два казарм. Половину их занимали дезертировавшие с фронта солдаты, бывшие полицейские и жандармы, насильно завербованные в армию, когда разразилась революция, и вскоре бежавшие из своих частей. Встречались там и уголовники, а также большевистские агитаторы. Словом, всякий сброд.

Они быстро прознали о нашем прибытии и, пока я обедала со штабными офицерами, окружили казармы нашего батальона, издеваясь над девушками и досаждая им. Дежурный офицер, видя, что наглость негодяев растет с каждой минутой, поспешила к военному коменданту, прося о помощи.

— А что я могу сделать? — ответил он, разводя руками. — Я бессилен. Их тут тысячи полторы, приходится сносить все их безобразия и кое-как ладить с ними.

Смертная казнь в армии была к тому времени отменена.

Дежурная вернулась ни с чем. Обнаружив в самой казарме нескольких хулиганов, пристававших к женщинам, она после безуспешной попытки выдворить их позвонила мне. Выскочив из-за стола, я бросилась к машине и приказала на полной скорости мчаться к казармам.

— Что вы здесь делаете? — заорала я что было мочи, влетев в казарму. — Что вам нужно? Убирайтесь!

— Ха-ха-ха, — загоготали мужчины. — Сама-то ты кто такая? Это что за баба-то?

— Я — командир этого батальона.

— Командир?! Ха-ха-ха! Поглядите на этого командира, — продолжали глумиться мужчины.

— Так вот слушайте, — медленно и решительно произнесла я, — вам здесь делать нечего. Вы сейчас же уберетесь отсюда вон. Там, за дверью, — я к вашим услугам, если вы что-то желаете мне сказать, а отсюда вы должны убраться немедленно!

Хохоча и ругаясь, мужчины направились к двери. Я пошла за ними. Снаружи, привлеченная шумом, собралась большая толпа. Вид этих оборванных солдат больно сжал мне сердце. Я никогда не встречала более жалкого, более деморализованного скопища еще недавно военных людей. Многие походили на отъявленных убийц. Прежде, еще в январе 1917 года, было бы достаточно казнить пару человек — и оставшиеся полторы тысячи немедленно превратились бы в управляемых и законопослушных людей. Теперь же когда-то могущественная русская армия, ведущая к тому же смертельную борьбу с очень сильным противником, не могла справиться с кучкой бандитов. Это было мое первое фронтовое впечатление после двух месяцев отсутствия на передовой. Какой страшный вред успели принести за столь короткое время новые разлагающие веяния. После начала революции прошло четыре месяца, а армия была уже тяжело поражена эпидемией неповиновения.

— Какого черта вы сюда приперлись? — закричали из толпы. — Вам повоевать охота? А мы хотим мира! Мы уже навоевались!

— Да, мы хотим воевать, — спокойно ответила я. — А как иначе можно достичь мира, если не победой над Германией? Я войны побольше вашего хлебнула и мира

хочу не меньше, чем любой из вас. Ну, ладно. Поздно уж. Если хотите поговорить, приходите завтра.

Маленькими группками люди стали расходиться — кто-то злословил, а некоторые спорили всерьез. Для большей безопасности я собрала всех девчат в одну казарму и у каждой двери выставила часовых. Это немного успокоило их, а когда они слышали, что я отказалась ночевать в штабе и остаюсь с ними, они и вовсе повеселели. Все гадали, последуют ли дезертиры моему совету или вернутся ночью и нападут на нашу казарму. Еще до наступления полуночи появилась первая группа. Они стучали в окна и колотили в тонкие деревянные стенки, проклинали всех нас, особенно меня, пытались вломиться то в одну, то в другую дверь, но повсюду их встречали штыками. Тогда они стали швырять камни и разбили несколько оконных стекол.

Мы тем не менее сохраняли спокойствие. Если сам военный комендант признал свое бессилие перед этой толпой, что могли сделать мы? И в конце концов, мы ехали на фронт сражаться с немцами, а не с бандой головорезов, вдвое превосходящей по численности наш батальон.

Но наше спокойствие еще больше бесило бандитов. Некоторые из них просовывали руки сквозь разбитые окна, хватали девушек за волосы и больно дергали — те громко кричали. Разумеется, о сне не могло быть и речи, наши нервы были напряжены до предела. Стены казармы сотрясались под градом камней. Требовалось огромное самообладание, чтобы выдержать все это, но я приказала — ни единого выстрела.

Однако время шло, а весь этот кошачий концерт не утихал, и кровь во мне стала медленно закипать. В конце концов я сорвалась. Схватив шинель, выбежала из барака. День только занимался — один из дней начала июля. Банда головорезов, их было человек пятьдесят, на миг застыла.

— Бандиты, негодяи! Что же вы делаете?! — закричала я. — Неужели нам нельзя отдохнуть перед тем, как отправиться в окопы?! Оставьте нас в покое, или вы совсем стыд потеряли? Может быть, среди этих девушек есть ваши сестры. Если вы хотите поговорить, поспорить, спросить о чем-то, приходите ко мне, но девушек оставьте в покое, бессовестные подлецы!

Моя тирада была встречена взрывом хохота и насмешек, что привело меня в полное уже бешенство.

— Или убирайтесь отсюда немедленно или убейте меня вот здесь на месте! — пронзительно завопила я и бросилась вперед. — Слышите? Стреляйте! — я дрожала от ярости. Бандитов поразил, видимо, мой тон и слова, и они один за другим разошлись. Часа два нам удалось поспать.

Наутро генерал Валув, командующий Десятой армией, произвел смотр батальона. Он остался очень доволен и выразил мне благодарность за отличную дисциплину и безупречную выправку солдат. Получив необходимый провиант, две наши кухни приготовили обед. Батальону были приданы дюжина лошадей, шесть возниц, восемь поваров, два сапожника. Кроме этих шестнадцати мужчин нас сопровождали военные инструкторы. Мужчины располагались отдельно от женщин.

После обеда вокруг нашей казармы снова стали собираться дезертиры. Я пообещала вчера поговорить с ними, и вот они явились.

— Куда ты ведешь своих солдат? Воевать за буржуев? Зачем? Ты ведь сама из крестьян, почему же ты собираешься проливать кровь за эксплуататоров?

Я слушала их, скрестив руки на груди, и, надо признать, мурашки бегали у меня по спине, когда я переводила взгляд с одного бандитского лица на другое. Это были отчаявшиеся люди, даже не люди уже, звери. Армейское отребье.

— Вы только посмотрите на себя, — начала я. — И подумайте, что с вами случилось! Вы, кто еще недавно геройски встречал грудью шквал вражеского огня, кто преданно защищал родину-мать, не жалуясь, гнил во вшивых окопах неделями, кто ловко и отважно переползал множество раз через ничейную землю. Представьте себе на минуту, кем вы были — и кем стали! Среди вас наверняка есть те, кто служил в Пятом Сибирском корпусе.

— Есть, есть, — послышались голоса.

— Тогда вы должны помнить меня. Я — Яшка. Не может быть, чтобы вы обо мне не слышали.

Со всех сторон донесли утвердительные возгласы.

— Ну, а тогда вы знаете, что я мокла в окопах вместе с вами, спала так же, как и вы, на голой сырой земле, смотрела в глаза смерти, голодала наравне с вами. Как же вы

можете нападать теперь на меня? Издеваться надо мной? Чем я заслужила ваши оскорбления и насмешки?

— Тогда ты была простым солдатом,— ответил кто-то.— А теперь ты с офицерами и за буржуев.

— Да кто же сделал меня офицером, если не вы сами? Разве не ваши братья, простые солдаты Первой и Десятой армий, послали специальную делегацию, чтобы передать мне иконы и знамена, тем самым оказав офицерские почести? Я кровь от крови вашей, плоть от плоти.

— Но мы устали от войны, нам мир нужен,— робко возразил кто-то, не найдя больше, в чем упрекнуть меня лично.

— И я хочу мира. Но как, скажите, можно его достичь?

— Да просто бросить окопы и идти домой!

— Бросить окопы?! — закричала я, собрав всю командную мощь своего голоса.— Ну и что же тогда будет? Мир, думаете? Да ни за что! Немцы сметут фронт и захватят всю страну. Это же война! Бросить окопы! Почему бы тогда просто не вручить кайзеру ключи от России?

— Но они тоже хотят мира, они так же устали от войны, как и мы,— несмело предположили несколько человек.

— Они обманут. Разве немцы не отравили газами тысячи наших братьев? Разве мы сами не испытали на себе разные их подлые хитрости? Разве они не захватили часть нашей земли? Вот давайте выкинем их с нее, тогда и мир будет.

Настала тишина. Никто не произнес ни слова. Воодушевившись, я вдруг предложила:

— Допустим, я поведу вас на фронт, буду хорошо кормить, дам новую форму и обувь. Пойдете вы опять воевать?

— С тобой пойдем,— послышалось из толпы,— ты ж не какой-нибудь буржуй-кровопийца.

— Но если вы пойдете со мной,— предупредила я,— придется строго соблюдать дисциплину. А если кто-нибудь попытается дезертировать, застрелю на месте.

Почти единодушный возглас «Ура, Яшка!» сотряс толпу. Трогательное было зрелище. Всего час назад эти самые люди вели себя как бессердечные негодяи и были похожи на отъявленных убийц. А сейчас в их взорах проглянуло что-то человеческое. Прямо чудо какое-то. Впрочем, в России таким «чудом» никого не удивишь: только что человек был жесток и беспощаден — и вот он уже полон любви и смирения.

Я позвонила генералу Валуеву и спросила разрешения повести на фронт группу дезертиров.

Генерал запретил. Он боялся, что они разлагающе повлияют на солдат. Я готова была взять на себя ответственность за поведение этих людей, но генерал оставался непреклонным.

Я вернулась ни с чем, но чтобы не разочаровывать как будто поверивших мне людей, сказала, что сейчас нет необходимого обмундирования для них и что, как только оно прибудет, они станут подразделением моего батальона. А пока я предложила им сопровождать нас из Молодечно.

Мы выступили в полном боевом снаряжении в начале следующей недели. Каждая девушка шла с полной выкладкой — около шестидесяти пяти фунтов веса. До штаба корпуса было тридцать верст. По обе стороны дороги лежали поля, перемежающиеся перелесками. Я рассчитывала прибыть к вечеру и телеграфировала, чтобы нам приготовили ужин. Но вскоре стали собираться тучи, и дождь затруднял наше продвижение настолько, что девушки едва держались на ногах. Когда мы проходили через деревни, у меня каждый раз возникало искушение разрешить им немного отдохнуть, но я знала, что, разреши я им это, никакая сила не заставила бы их идти дальше. Поэтому, невзирая на погоду и размытую дорогу, я гнала батальон без остановок.

До штаба мы добрались лишь в одиннадцать вечера. Нас встретил генерал Костяев, начальник штаба, и повел на ужин. Он сказал, что командир будет производить смотр батальона утром. Девушки слишком устали, чтобы есть. Они замертво свалились в отведенном нам сарае и, одетые, проспали всю ночь.

Утром обнаружилось, что несколько человек моих солдат заболели в результате трудного перехода. Двое из них — Скрыдлова, мой адъютант, дочь адмирала, командующего Черноморским флотом, и Дубровская, дочь генерала,— были настолько слабы, что их пришлось отправить в госпиталь. Я назначила своим адъютантом княжну Татуеву

из знаменитого грузинского княжеского рода. Она была отважной и преданной девушкой, высокообразованной, свободно владела тремя языками.

В полдень я выстроила батальон для смотра. Памятуя, сколько пришлось вынести моим солдатам накануне, я оставила свою обычную суровость: шутила с девчатами, старалась приободрить их, чтобы батальон произвел на командира благоприятное впечатление. Девушки и сами из всех сил хотели показать себя с лучшей стороны. Командир корпуса обошел строй моих солдат, учинил им строгий экзамен по всей форме, даже расставил кое-какие ловушки, но остался вполне доволен.

— Великолепно! — воскликнул он в заключение, пожал мне руку и поздравил. — Я думаю, и мужчина не всякий справился бы с таким испытанием после шести недель подготовки. У нас здесь есть рекруты, которые обучаются уже три месяца, но их с вашими дамами не сравнить.

Затем он сказал несколько похвальных слов солдатам, те пришли в восторг. Я была приглашена на обед вместе с генеральской свитой. Когда командир узнал, что в моем батальоне нет никаких комитетов, он чуть не расцеловал меня.

— С тех пор как появились эти комитеты, все пошло наперекосяк. Я люблю солдат, и они меня всегда любили. Но теперь куда все делось? Одни неприятности. Каждый день, чуть ли не каждый час от солдат поступают какие-то немыслимые требования. Армия утратила всю свою былую мощь. Это уже не война, а комедия.

Не успели мы приступить к обеду, как из Молодечно пришла телеграмма о прибытии туда Керенского. Он желал видеть генерала и меня. Не теряя времени, мы сели в автомобиль и помчались в Молодечно.

На обеде в штабе армии присутствовало человек двадцать. Керенский сидел во главе стола. Речь шла о положении на фронте и готовности войск к наступлению. Я в разговоре участия почти не принимала. Когда обед был окончен, Керенский подошел к командиру нашего корпуса и обратился к нему со следующей категоричной речью:

— Вам надлежит проследить, чтобы в батальоне смерти немедленно был создан комитет и чтобы она, — он указал на меня, — прекратила наказывать солдат.

Я была потрясена. Присутствовавшие офицеры насторожились. Ситуация сложилась взрывоопасная. Кровь бросилась мне в голову, я покраснела от гнева.

Двумя резкими движениями сорвала с себя погоны и швырнула их чуть ли не в лицо министру.

— Я не желаю больше служить под вашим командованием! — вскричала я. — Сегодня вы говорите одно, завтра — другое. Вы ведь сами разрешили мне командовать батальоном без комитета. Я не стану создавать комитет. Я отправляюсь домой.

Я выпалила это прямо во вспыхнувшее лицо Керенского и, прежде чем кто бы то ни было в комнате пришел в себя, выскочила за дверь, села в машину командира корпуса и велела шоферу ехать в Редьки, село, где стоял мой батальон.

Мне рассказывали потом, что после моего ухода началось нечто невообразимое. Керенский завопил, наливаясь кровью:

— Расстрелять!

— Господин министр, — попробовал заступиться за меня генерал Валуев, командующий Десятой армией, — я знаю Бочкареву три года. Она служила в моей армии простым солдатом. На ее долю выпало тягот больше, чем на чью бы то ни было еще: она страдала и как солдат, и как женщина, была примером для товарищей, всегда шла впереди. Она простая женщина, и для нее слово начальника — это все равно что заповедь. Раз ей позволили командовать батальоном без комитета, она никогда не поймет, как можно взять обратно заповедь!

Командир корпуса и другие офицеры тоже сказали несколько слов в мою защиту. Наконец кто-то вспомнил, что сам же Керенский отменил смертную казнь в армии.

— Если расстреливать Бочкареву, тогда почему бы не расстрелять несколько дезертиров из тех полутора тысяч, которые здесь ошиваются и превратили город в сущий ад?

Керенский согласился отменить приказ о расстреле, но строго наказал перед отъездом, чтобы меня отдали под суд. Однако суд так и не состоялся.

Командир корпуса, хоть в глубине души и разделял мой гнев, решил все же дать мне взбучку и напомнить об обязанности соблюдать дисциплину. Я была слишком взволнована, чтобы заниматься чем бы то ни было по возвращении из Молодечно, поэтому просто лежала в бараке, размышляя о том, что же теперь будет с моим батальоном. Я понимала, сколь тяжкое нарушение дисциплины допустила, и сурово осуждала себя за это.

Ближе к вечеру меня вызвали к командиру, который устроил мне суровый разнос за недопустимое в армии поведение. Я слушала молча, отдавая себе отчет в том, что совершила действительно непростительный проступок.

За ужином в штабе царил атмосфера скрытого оживления. Все уже знали, что произошло в Молодечно. Офицеры понимающе переглядывались и обменивались многозначительными улыбками.

Было совершенно очевидно, что офицеры враждебно настроены по отношению к Керенскому. Почему? Потому, вероятно, что видели: он совершенно не знает русского солдата. Быть может, в результате «кавалерийских набегов» на фронт у него и создавалось впечатление, что армия — по-прежнему живой, могущественный и управляемый организм. Но они-то, день и ночь находившиеся бок о бок с солдатами, знали, что та же самая толпа, что с восторгом приветствовала Керенского, час спустя окажет точно такой же прием большевистскому или анархистскому агитатору. А более всего подорвала их доверие к Керенскому введенная им в армии система комитетов.

После обеда я попросила у командира семь офицеров и двенадцать инструкторов, чтобы сопровождать нас в окопы. Один из офицеров, молодой поручик Леонид Григорьевич Филиппов, был рекомендован мне в качестве адъютанта-советника по военным делам. Филиппов пользовался репутацией отважного человека: незадолго до того он бежал из немецкого лагеря для военнопленных. Я предупредила мужчин-инструкторов, что если кто-то из них не уверен в том, что сможет воспринимать моих солдат только как солдат, пусть лучше не присоединяется к батальону во избежание дурных последствий.

Батальон был придан 172 дивизии, дислоцировавшейся в шести верстах от Редьков, в деревне Белое. Резервные части, выстроенные для встречи, с воодушевлением приветствовали нас.

Стоял солнечный день середины лета. Проведя в дивизии ровно столько времени, сколько занял обед, мы двинулись дальше, к месту дислокации 525 Курьяг-Дарьинского полка — в полтора верстах от Белого и двух от линии огня. В Сенки, где помещался штаб полка, мы прибыли после захода солнца и были встречены «ударным батальоном», состоявшим из добровольцев и предназначенным для наступательных операций. Таких батальонов повсюду в армии было множество — в них входил цвет русского воинства. В распоряжение нашего батальона было предоставлено два сарая и землянка для офицеров. Другую землянку заняли наши инструкторы и мужчины из вспомогательного состава. Однако, когда солдаты стали проявлять любопытство по отношению к моим девочкам, я решила провести ночь вместе с ними в одном сарае, а в другой отправила Татуеву. Ночью множество мужчин окружили сарай, мешая нам спать. Они вели себя безбидно, никакой угрозы от них не исходило, им было просто любопытно, очень любопытно.

— Да нам только поглядеть, — отвечали они на увещевания часовых. — Интересно же.

В конце концов мне пришлось выйти и поговорить с ними: не кажется ли им, что девушкам нужно отдохнуть после дневного перехода? Да, конечно. Понимают ли они, что перед наступлением нужно восстановить силы? А как же! Тогда почему бы не умерить свое любопытство и не дать уставшим женщинам возможности набраться сил? Мужчины согласились и мирно разошлись.

На следующий день девушки проснулись в приподнятом настроении. Русская артиллерия с рассвета поливала огнем вражеские позиции. Конечно же, это означало предстоящее наступление. Командир полка устроил нам смотр и обратился к батальону с теплыми словами. А меня назвал матерью батальона. По мере того как день 6 июля клонился к вечеру, канонада усиливалась. Немецкая сторона тоже долго не молчала. Снаряды стали падать вокруг нас.

Ночь мы провели в тех же сараях в Сенках. Сколько девушек смогло уснуть в ту ночь, не знаю. Конечно же, большинству из них близость к самой Войне не дала сомкнуть глаз. Пушки ухали непрерывно, но мои солдатики, что бы ни творилось у них на душе, вели себя мужественно. Ведь они готовы были отдать жизни за любимую Россию, которая, конечно же, никогда не забудет триста своих храбрых дочерей.

А перед моим мысленным взором предстала картина: миллионы русских солдат бросаются в неукротимую атаку вслед за тремястами женщинами, уже скрывшимися в дыму, окутавшем нейтральную полосу, и устремившимися к немецким окопам. Никакая сила на земле не сможет противостоять натиску четырнадцатимиллионной русской армии. А потом наступит мир...

## Я ПОЛУЧАЮ ОТ КЕРЕНСКОГО ПОРУЧЕНИЕ К КОРНИЛОВУ

7 июля в сумерках мы заканчивали приготовления к выступлению на переднюю линию. Батальону выделили восемь станковых пулеметов и команду obsługi к ним.

Я сообщила своим солдатам, что на рассвете следующего дня наш батальон будет участвовать в наступлении.

— Помните: вы сами вызвались показать разболтавшейся армии пример воинской дисциплины. Я уверена, что вы покроете себя славой. На вас смотрит вся страна. Доверьтесь Богу, он поможет нам спасти родину!

К мужчинам, стоявшим рядом, я обратилась с призывом помогать нам. Поскольку Керенский только что побывал на этом участке фронта, все были еще под впечатлением его пламенных речей в защиту отечества и свободы и горячо откликнулись на мой призыв.

Тьма опустилась на землю, пронизываемая лишь вспышками разрывающихся снарядов. Нам предстояла ночь испытаний. Грохот артиллерии становился все громче. Мы пробирались гуськом по соединительной траншее на линию огня. Остальные подразделения полка двигались в том же направлении по соседним ходам сообщения. Уже во время этого продвижения мы понесли первые потери: было убито и ранено несколько солдат, среди раненых оказались и мои девчата.

Согласно приказу генерала Валуева корпус должен был идти в атаку в три часа утра 8 июля. Наш батальон занимал участок передней линии окопов. Мы ждали приказа: «В атаку!» Но ближе к назначенному для наступления часу до нас стали доходить странные сообщения. В окопе воцарилась некоторая растерянность, офицеры беспокойно спрашивали, состоится ли в конце концов атака.

Ровно в три полковник дал сигнал к наступлению, но роты, расположенные справа и слева от нашего батальона, не двинулись с места. В ответ на приказ они выразили сомнение в целесообразности наступления.

— За что нам умирать?

— Какой толк сейчас наступать?

— Может, лучше отменить атаку? — слышалось из их траншей.

Полковник, командиры рот и кое-кто из солдат пытались вразумить их, повести за собой. Увы, безуспешно! Светало. Время уходило. Остальные роты тоже оставались в окопах, проявляя нерешительность. У мужчин, которые громогласно поддерживали на митингах горячие призывы Керенского, испарилась вся решимость, когда дошло до дела. Видя малодушие солдат-мужчин, и девушки остались в траншее.

Поднявшееся из-за горизонта солнце осветило нелепейшую сцену: целый корпус, сидя в окопах, обсуждает приказ командира о наступлении. Пробило четыре. Дебаты продолжались. Солнце поднималось все выше. Утренний туман почти рассеялся. Артиллерийская подготовка заканчивалась. Дискуссия не стихала. Пять. Немцы, видимо, терялись в догадках: будут в конце концов эти русские наступать или нет? Боевой дух, который накануне был в батальоне очень высок, стал угасать. А солдаты все продолжали спорить о необходимости наступления.

Дорога становилась каждая минута. «Если бы они все же отважились наступать, даже сейчас еще не поздно», — подумала я. Но минуты складывались в часы, а солдаты так и не могли прийти ни к какому решению. Минуло шесть, потом семь. Теперь было ясно, что день потерян. Быть может, потеряно вообще все. Кровь вскипала в жилах от абсурдности происходящего.

Артиллерия получила приказ продолжать обстрел. Весь день, пока мужчины дискутировали, орудия били.

День стал клониться к вечеру. Ни к какому решению окопы так и не пришли. Тогда человек семьдесят пять офицеров под командой подполковника Иванова явились ко мне с предложением войти в состав моего батальона, чтобы совместно все же предпринять атаку. Они привели с собой около трехсот наиболее храбрых и честных солдат. Теперь нас было более тысячи. Я считала необходимым передать командование новым соединением подполковнику как старшему по званию, но он решительно воспротивился.

У каждого офицера была винтовка. Цепь выстроили так, чтобы мужчины и женщины чередовались в ней и каждую женщину, таким образом, прикрывали бы с обеих сторон мужчины. Офицеры, которых теперь насчитывалось не менее ста, были равномерно распределены по всей линии.

Мы приняли решение идти в атаку, чтобы устыдить отступников, и были уверены, что они не дадут нам погибнуть на нейтральной полосе.

Никаких других оснований полагать, что солдаты нас не оставят, кроме уверенности, что такое чудовищное предательство просто невозможно, у нас не было.

Подполковник Иванов доложил командованию о нашем решении по телефону. Это был шаг отчаяния, и все мы понимали, сколь трагичным может быть исход. Не присоединившиеся к нам солдаты издевались:

— Ха-ха! Хороша атака: бабы и офицеры!

— Они нас дурачат! Где это видано, чтобы офицеры шли в атаку как простые солдаты с винтовками наперевес?!

Стиснув зубы, мы держались из последних сил, чтобы не отвечать им. Все еще надеялись, что солдаты нас поддержат, и не хотели их раздражать.

Наконец был дан сигнал к атаке. Перекрестившись и вскинув винтовки, мы выскочили из окопов и бросились вперед под шквальным пулеметным огнем, среди разрывов артиллерийских снарядов. Мои отважные девчата, воодушевленные поддержкой мужчин, бесстрашно продвигались навстречу граду пуль.

Каждая секунда была чревата смертью. И у каждого в голове билась мысль: «Пойдут за нами солдаты или нет?» Вот уже несколько бойцов упали на землю, но никто не показался из окопов. Мы то и дело оборачивались в надежде различить в темноте бегущие за нами фигуры — тщетно! Лишь головы торчали над гребнем траншеи у нас в тылу — отступники желали убедиться, что мы предприняли свою атаку всерьез.

Однако мы бесстрашно и твердо подвигались вперед. Потери наши росли, но цепь смыкалась вновь и вновь. Когда дым и мрак почти полностью скрыли нас от глаз солдат, оставшихся в окопах, что-то все же шевельнулось в их сердцах. Сквозь лязг и грохот мы уловили шум движения в тылу. Чувство ли стыда вывело их из летаргического состояния? Или вид горстки бесстрашных людей поднял боевой дух? Так или иначе, они наконец очнулись. С громкими криками выкарабкиваясь из окопов, солдаты бросились вперед, и вскоре вся линия фронта справа и слева превратилась в сплошную колеблющуюся массу людских тел. Первым двинулся в атаку наш полк, потом подразделение за подразделением пришел в движение почти весь корпус.

Мы смели первую линию немецких укреплений, затем вторую. Один наш полк захватил в плен две тысячи немцев. Но во второй линии траншей нас поджидала ловушка. Там были брошены в огромных количествах водка и пиво. Половина солдат жадно набросилась на алкоголь. Мои девчата хорошо поработали, круша по моему приказу бутылки со спиртным. Если бы не они, весь полк перепился бы. Я бросилась к солдатам, умоляя их не пить:

— Вы с ума сошли! У нас впереди еще третья линия немецких укреплений! А когда еще Девятый корпус подойдет нам на подмогу!

Я понимала, что мы обязаны закрепить успех, взять третью линию немецких траншей и разорвать немецкий фронт, чтобы подготовить условия для генерального наступления. Но мужчины не устояли перед искушением.

Кругом полно раненых, о них следовало позаботиться. Несколько моих девушек погибли, многие страдали от ран. Почти все раненые женщины вели себя стоически. Как сейчас вижу перед собой лицо Клипатской, лежавшей в луже крови. Я подбежала к ней, хотела помочь, приподняла, но было поздно. На теле ее кровоточило не менее двенадцати пулевых и осколочных ран. Слабо улыбнувшись последней улыбкой, она произнесла едва слышно:

— Ничего, милая!

К этому времени немцы собрались и организовали контратаку, но мы отразили удар штыками. Как обычно бывает в таких случаях, неприятель обратился в бегство. Мы преследовали его и выбили из третьей линии укреплений, заставив скрыться в лесу, находившемся за последней цепью окопов.

Не успели мы занять окопы, как с командного пункта поступил приказ закрепиться на этой позиции, не позволяя немцам вернуться. Было обещано, что на помощь нам немедленно выступит резервный корпус. Мы выслали в лес несколько разведгрупп, чтобы попытаться определить численность противника. Я сама вела одну из таких групп и видела, что немцы постепенно стягивают силы для нового удара. Мы решили без промедления продвигаться в глубь леса и сдерживать там возможное контрнаступление до прихода подкреплений, а уже вместе со свежими силами развивать атаку дальше.

У немцев, находившихся в глубине леса, было несомненное преимущество: они могли

следить за всеми нашими передвижениями, мы же не видели их вовсе. Нас встретил такой неистовый огонь, что солдаты сотнями пустились наутек.

Положение становилось все более опасным. Мы продвигались через лес растянутой цепью, но чтобы сделать ее сколько-нибудь плотной, нас было явно мало. Фланги провисали, пулеметчики не поспевали за нами. К счастью, мы захватили несколько немецких пулеметов. С убитых снимали винтовки и забирали патроны. На командный пункт было послано сообщение, что у нас большие потери, что часть солдат повернула назад и что над нами нависла угроза окружения. Командующий умолял продержаться до трех часов, когда нам на помощь подойдет Девятый корпус.

Если бы немцы догадались, сколь малы на самом деле наши силы, мы не продержались бы и нескольких минут. Вся цепь растянулась версты на три. Немцы предприняли атаку на наш левый фланг, пришлось перебросить туда часть сил с правого. Правый остался почти без пулеметов, но атака была отбита. Во время этого маневра был ранен подполковник Иванов. Выбыли из строя многие другие офицеры. У нас не хватало свободных рук, чтобы доставить раненых в ближний тыл для перевязки.

Было уже три, а обещанное подкрепление все еще не подошло. Немцы предприняли атаку на правый фланг. Там командовал поручик Филиппов. Поскольку наша линия наступления была изогнута внутрь, он приказал вести с левого фланга беглый огонь по наступающему противнику. В то же самое время артиллерия получила приказ обстреливать этот сектор. Атака снова была отражена.

По моей просьбе выслали около ста санитаров с носилками, чтобы вынести убитых и раненых с участка между нашими исходными позициями и третьей линией немецких окопов. Наш батальон к тому моменту потерял убитыми и ранеными уже около пятидесяти человек.

Солнце тем временем поднялось высоко, время летело быстро. Положение наше казалось безнадежным. Мы посылали в штаб отчаянные просьбы о помощи, наконец пришел поразивший нас всех ответ:

— В Девятом корпусе идет собрание. Он прибыл из места своего расквартирования в окопы, которые мы занимали перед началом атаки, но здесь остановился в нерешительности, дискутируя вопрос, нужно ли им двигаться дальше.

Нас словно пришибло при этой новости. В такое невозможно поверить! Вот мы — горстка женщин, офицеров, солдат, на самом краю пропасти, с минуты на минуту нас могут окружить и перебить. А там, в одной-двух верстах отсюда, тысячи мужчин, в чьих руках наша жизнь, судьба всего сражения, да что там — судьба, быть может, всей России! И они дискутируют!!! Где же чувство товарищества? Где, наконец, мужское достоинство и совесть?

Офицеры Девятого корпуса умоляли солдат идти вперед, они взывали к их чести и состраданию, к ним обращался сам командир. Отклика в сердцах солдат эти призывы не нашли. Они заявили, что свои позиции в случае немецкого наступления защищать будут, но ни в каких наступательных операциях участвовать не собираются.

Узнав об этом, я стала метаться вдоль цепи, подставляя себя под пули: я хотела умереть, чтобы не видеть, как все рушится, как гибнет наше дело.

Поскольку не было никакой надежды на то, что Девятый корпус в ближайшее время завершит свои дебаты, командир отдал приказ отступать. Нелегкая задача — вырваться из полукольца окружения. Я приказала первой группе под прикрытием нашего огня отойти на некоторое расстояние и закрепиться, затем второй, третьей — пока мы не оказались на самой опушке леса. Трудная и рискованная операция, но прошла довольно гладко, и появилась надежда на спасение.

Мы стянули линию своих войск и приготовились к решающему броску, как вдруг услышали громоподобное «Ура!» с обоих своих флангов. Кольцо немецкого окружения смыкалось вокруг нас! Еще четверть часа — и мы в ловушке... Нельзя было терять ни минуты, и я приказала отступать, не соблюдая строя — спасайся, кто может.

Немецкая артиллерия усилила обстрел, ливень ружейного огня обрушился справа и слева, сея панику в наших рядах. Я пробежала что было сил несколько метров, но была отброшена взрывной волной и потеряла сознание. Поручик Филиппов видел, как я падала, подхватил меня и протаскил на себе под огнем через все линии немецких укреплений, через открытое пространство, представлявшее собой до нашего наступления нейтральную полосу, в русские окопы.

Там все еще митинговал Девятый корпус. Но когда задохнувшиеся от бега, покрытые

грязью, окровавленные остатки нашего батальона буквально обрушились им на головы, стало очевидно, что спорить уже не о чем. Наше отчаянное наступление провалилось. Немцы без всякого сопротивления вновь заняли свои позиции, ранее завоеванные нами ценой больших потерь. В моем батальоне осталось всего человек двести.

Я пришла в себя в полевом лазарете, у меня была тяжелая контузия. Несмотря на частичную потерю слуха, я понимала, когда ко мне обращались, но говорить не могла совсем и была отправлена в петроградский госпиталь. Встречать меня на вокзал явилась делегация высокопоставленных лиц, в том числе дамы-патронессы моего батальона. Керенский прислал адъютанта. Приехал даже генерал Васильковский, сменивший Половцова на посту командующего Петроградским округом. Меня осыпали цветами и поцелуями, но я не могла сказать в ответ ни слова — неподвижно лежала на носилках.

В госпитале меня уложили в просторной, светлой палате. Сам Керенский навещал меня — подарил красивый букет цветов и поцеловал в лоб. Он, как всегда, произнес небольшую речь, извинившись за инцидент, произошедший между нами на фронте, похвалил за храбрость и пригласил зайти к нему, когда поправлюсь.

На следующий день пришел Родзянко. Он пребывал в подавленном настроении и весьма пессимистично оценивал ситуацию в стране.

— Россия гибнет, — сказал он, — и ничто уже не сможет спасти ее. Керенский переоценивает свой авторитет и не видит, что происходит вокруг. Генерал Корнилов просил Керенского предоставить ему полномочия, чтобы восстановить дисциплину в армии, но тот отказал, заявив, что сам справится с этой задачей, используя собственные методы.

Навестила меня и делегация с фронта, привезшая приветственное письмо от... корпусного комитета солдатских депутатов! Оказалось, что он принял резолюцию, в которой высоко оценивалась моя храбрость, проявленная в ходе наступления.

Я узнала, что поручик Филиппов после меня временно принял командование, собрал всех уцелевших, но, завершив реформирование батальона, покинул его, перевелся в какую-то летную часть войск южного направления. Мне также сообщили, что командир корпуса представил меня к кресту.

Понадобилась еще неделя, чтобы у меня восстановились речь и душевное равновесие, хотя последствия контузии сказывались еще долго. Однажды приятельница сообщила мне, что на следующий день ожидается прибытие в Петроград генерала Корнилова и что отношения у него с Керенским очень натянутые из-за несогласия в вопросе о восстановлении дисциплины в войсках. Я позвонила в Зимний, попросила Керенского через его адъютанта принять меня. Министр предоставил аудиенцию немедленно и даже послал за мной свой автомобиль.

Он принял меня очень тепло, поздравил с выздоровлением и спросил, как я думаю, почему солдаты сначала не пошли в атаку. Я рассказала ему все, что произошло. Он был потрясен.

— Вы теперь видите сами, что солдатские комитеты способны только на бесконечные разговоры, — сказала я в заключение своего рассказа. — А болтающая армия — это не армия. Чтобы спасти ее, нужно распустить комитеты и восстановить дисциплину. Мне кажется, генерал Корнилов способен выполнить эту задачу. Не все еще потеряно. Железной рукой русскую армию можно возродить. У Корнилова именно такая рука. Почему бы не дать ему соответствующие полномочия?

В целом Керенский, казалось, был со мной согласен.

— Но, — сказал он, — ведь Корнилов хочет восстановить старый режим. Он приберет власть к рукам и снова посадит на трон царя.

Я заявила, что не могу в это поверить, а Керенский возразил, сказав, что у него есть основания так полагать.

— Если не верите, — продолжил он, — поезжайте к нему в генеральный штаб сами и поговорите, разузнайте, каковы его намерения, и меня заодно просветите на этот счет.

Я, конечно, сразу же поняла, что Керенский посылает меня в качестве своего шпиона, но мне самой было интересно, не монархист ли Корнилов.

Положение в стране было чудовищным, но я и помыслить не могла о возвращении монархии. Если Корнилов действительно за старый режим, он враг моего народа и колебания Керенского, облекать или не облекать его неограниченными полномочиями, оправданны. Поэтому я приняла предложение.

Однако сомнения все же оставались, и я решила посоветоваться с Родзянко, которого считала своим лучшим другом. Когда я ему все рассказала, он воскликнул:

— А, это его старые штучки! Керенский всех подозревает в лояльности старому режиму. Я не верю, что Корнилов монархист. Он честный и искренний человек. Но раз у вас есть сомнения, давайте вместе поедem к Корнилову. Не надо ничего выведывать, скажите ему прямо.

Мы отправились в генеральный штаб и были сразу же приняты Корниловым. Я честно поведала ему о своем разговоре с Керенским. Корнилов побагровел, вскочил и забегал по комнате.

— Негодай! Высочка! Клянусь честью старого солдата, что не желаю восстановления царизма. Я люблю русского мужика, мы воевали с ним бок о бок и прекрасно друг друга понимаем. Если бы мне были даны полномочия, я бы наказал пару полков и вмиг восстановил дисциплину в армии. Я бы смог за несколько недель организовать наступление, разгромить немцев, и мир наступил бы уже в этом году. А он ведет страну к гибели, подлец!

Корнилов выпаливал слова, словно наносил удары кинжалом. Было очевидно, что они идут из глубины души. Его волнение было неподдельным. Он продолжал мерить шагами комнату, рассуждая о неминуемом развале фронта, если в ближайшее же время не будут приняты необходимые меры.

— Идиот! Он не понимает, что дни его сочтены. Большевизм как чума распространяется по войскам, он скоро сметет и его. Сегодня он позволяет Ленину беспрепятственно вести в армии свою пропаганду, а завтра Ленин снесет голову ему самому — и все рухнет.

Теперь мне предстояло решить, докладывать ли Керенскому о визите к Корнилову. Признаюсь, мне было немного стыдно того, как я выполнила его поручение. Поэтому я попросила Родзянко сообщить Керенскому об отношении Корнилова к восстановлению монархии, а сама отправилась в Москву, где должна была провести смотр женского батальона, организованного там по примеру моего. К тому времени их было уже немало по всей России.

Увидев этот полуторатысячный московский батальон, я чуть не упала в обморок. Почти все солдаты были в лохмотьях, на ногах — туфельки и тонкие чулки, одеты кто во что горазд. Вокруг роились солдаты-мужчины, и отношения между ними и солдатами женского батальона вызвали у меня яростный протест.

— Что это? Дом терпимости? — закричала я в гневе. — Вы позорите армию! Я бы распустила ваш батальон немедленно, и я прослежу за тем, чтобы вы не попали на фронт!

Поднялась буря протеста.

— Ага, значит, назад к старым временам?! — кричали из шеренг. — Опять муштра? Как вы смеете так с нами разговаривать?!

Вмиг вокруг образовалась толпа мужчин весьма угрожающего вида. Сопровождавший меня офицер, зная нравы солдатской толпы, мгновенно почуял опасность и немедленно послал за генералом Верховским, командующим Московским округом, который был чрезвычайно популярен в войсках.

Тем временем мой эскорт делал все возможное, чтобы сдерживать толпу. Кто-то поставил мне подножку, я упала. На спину опустился чей-то ботинок. Еще минута — и я стала бы жертвой самосуда. Но Господь миловал. Верховский прибыл вовремя и врезался в толпу, расступившуюся перед ним. Он сказал несколько слов, которые произвели магическое действие. Я была спасена.

Из Москвы я отправилась на фронт к невыразимой радости своих девчат, которым без меня приходилось туго. К сожалению, обоюдная радость встречи была недолгой: вечером того же дня я получила телеграмму от генерала Корнилова с требованием прибыть немедленно. В штабе армии кроме него я встретила Родзянко, и мы втроем отбыли в Петроград.

Во время этой поездки Корнилов рассказывал о своем детстве. Он родился в Монголии, отец его был русским, мать — монголкой. Условия жизни в Центральной Азии пятьдесят лет назад были таковы, что он с детства привык переносить любые трудности. Именно тогда Корнилов приобрел вкус к приключениям и стал презирать опасность. Отец дал ему хорошее образование. Сам он, кажется, занимался торговлей сельскохозяйственными орудиями в приграничной зоне, но заслужил высокое положение благодаря честности и настойчивости. Общаясь с самыми разными людьми, он выучил чуть ли не дюжину языков и местных диалектов. Словом, Корнилов не принадлежал к аристократическому роду и не воспитывался в изысканном обществе. Его знание людей и жизни было приобретено на опыте. Он умел находить общий язык с крестьянином и с рабочим. Будучи человеком отчаянной храбрости, любил русского солдата за его презрение к смерти.

По прибытии в Петроград мы все вместе отправились в Зимний. Корнилов первым вошел в кабинет Керенского, мы остались ждать в приемной. Ждали долго, часа два. До нашего слуха доносились из-за двери повышенные голоса, видимо, там происходило весьма бурное объяснение. Когда главнокомандующий наконец вышел, лицо его пылало.

Нас с Родзянко приняли следом. Керенский выглядел возбужденным, упрекнул меня в том, что я выполнила его поручение не так, как он просил.

— Быть может, я виновата перед вами, господин министр, — сказала я, — но я действовала по совести и сделала то, что считала своим долгом перед родиной.

Затем Родзянко обратился к Керенскому со следующими словами:

— Бочкарева докладывает, что на фронте стремительно падает ваша популярность как среди офицеров, так и среди солдат; среди офицеров — потому, что вы не можете наладить дисциплину, среди солдат — потому, что они стремятся домой. Посмотрите, что происходит с армией. Она разваливается. Если солдаты спокойно смотрят на то, как гибнет у них на глазах кучка женщин и офицеров, значит, ситуация критическая. Что-то нужно немедленно предпринять. Дайте Корнилову неограниченные полномочия в армии — и он спасет фронт. А вы останетесь во главе правительства и спасете нас от большевиков.

Я присоединилась к Родзянко:

— Мы катимся в пропасть, скоро будет поздно что-либо делать. Корнилов — честный человек. Развяжите ему руки, чтобы никто потом не мог сказать, что Керенский погубил страну.

— Ни за что! — вскричал Керенский, стукнув кулаком по столу. — Я сам знаю, как поступать!

— Вы губите Россию! — снова попытался урезонить его Родзянко. — Ее кровь будет на ваших руках!

Керенский побагровел, потом сделался бледным как полотно. Я даже испугалась: казалось, он сейчас рухнет замертво.

— Вон! — закричал он вне себя, указывая на дверь. — Убирайтесь отсюда вон!

Мы с Родзянко направились к двери. Прежде чем выйти, Родзянко обернулся и сказал министру несколько ядовитых слов.

Корнилов ждал нас в приемной. Мы поехали обедать к Родзянко. Там Корнилов изложил нам суть своей беседы с Керенским. Он доложил министру, что солдаты толпами бегут с фронта, а те, кто остается, совершенно деморализованы, так как каждую ночь посещают немецкие окопы и возвращаются под утро в стельку пьяные. Братание идет по всему фронту. Был случай, когда целый австрийский полк с огромным количеством спиртного явился в наши окопы, все перепились, и дело закончилось дебошем. Он сказал, что к нему ежедневно приходят офицеры, прося инструкций. А какие инструкции он может им дать? Он сам ждет указаний от Керенского.

Здесь министр спросил, что, с точки зрения Корнилова, следует делать. Корнилов ответил, что считает необходимым снова ввести смертную казнь в армии, распустить комитеты и дать главнокомандующему всю полноту власти, чтобы он мог в случае необходимости расформировывать отдельные части и казнить агитаторов и бунтовщиков. Только так можно спасти армию и страну от катастрофы.

Керенский заявил, что это совершенно невозможно. Единственное, на что он согласен, это разрешить офицерам передавать на рассмотрение комитетов все конфликты, возникающие в частях. Корнилов возразил, что комитеты не справляются с армейскими проблемами, они проводят расследование, получают от виновников заверения, что «это больше не повторится», после чего солдаты тут же начинают снова пить и брататься с противником.

Керенский, не вникая, не пожелал одобрить предложенный Корниловым план. Они зашли в тупик, и Корнилов вспылал:

— Вы бросаете страну на произвол судьбы. Вы ведь знаете, что союзники уже теряют доверие к нам. Если фронт развалится, они сочтут нас предателями. Вы питаете иллюзии насчет того, что в войсках вас по-прежнему уважают. Но солдаты теперь почти сплошь за большевиков. Еще немного — и вас скинут, а имя ваше войдет в историю как имя человека, погубившего Россию. Вы всю жизнь боролись с царизмом, но сейчас вы хуже царя. Сидите тут в Зимнем, боитесь потерять министерское кресло, только и смотрите, как бы кто не перехватил у вас власть. Не верю, что вы сомневаетесь во мне якобы из-за моих монархических убеждений. Какой я монархист? Мое единственное желание — создать сильное демократическое государство посредством Учредительного собрания и свободных выборов

главы государства. Я хочу, чтобы Россия стала могущественной и процветающей страной. Развяжите мне руки — и отечество наше будет спасено.

— Вам придется уйти в отставку, — взвизгнул в ответ Керенский. — Я назначу на ваше место Алексеева, а вас отдам под суд за отказ выполнять мои приказания!

— Негодай! — крикнул Корнилов, выбегая из кабинета.

Во время обеда Корнилов заявил Родзянко, что, если Керенский приведет свою угрозу в исполнение, он поднимет против него Дикую дивизию, состоящую из преданных ему горцев. Родзянко умолял его не делать этого, не воевать с правительством, так как результатом станет раскол и гражданская война. После долгих уговоров Председателю Государственной Думы удалось уговорить Корнилова действовать в рамках компетенции верховного главнокомандующего, чтобы сохранить мир в стране.

Узнала я также из этого разговора, что генералу Алексееву не раз предлагали занять пост верховного главнокомандующего, но он соглашался только при условии, что ему будет предоставлена свобода действий в армии.

После этих событий я снова отправилась на фронт. Сердце мое переполняла печаль. Прошло пять месяцев после того, как мы обрели свободу, всего пять месяцев. Но какой наступил кошмар! Мы находились в состоянии войны, однако лишь заигрывали с противником. Мы были свободны, но повсюду нарастала разруха. Пять месяцев назад все лучшие люди России были едины. Теперь они разошлись и враждуют друг с другом. И народ раскололся. Когда произошла революция, все ликовали вместе — солдаты, горожане, крестьяне, рабочие, торговцы... Все радовались, все надеялись на счастливое будущее. Теперь возникло множество партий, которые натравливали одних людей на других, и каждая претендовала на обладание высшей истиной. Каждая сулила блаженство в будущем, но то, что представлялось одной благом, другие считали проклятием. Они бесконечно спорили и боролись друг с другом. У простых людей в головах была полная невинтица, и сердца их рвались на части. Как долго могла продержаться расколота страна перед лицом такого грозного врага, как Германия? Я молилась за Россию.

## АРМИЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В БАНДУ ПРЕСТУПНИКОВ

В батальоне меня встретили восторженно. Я доложила командиру корпуса о прибытии и была приглашена на обед в штаб. Офицеры живо интересовались событиями, происходящими в тылу. Я, разумеется, не стала рассказывать подробности ссоры между премьер-министром и главнокомандующим, но отметила, что разногласия между ними углубляются.

К концу обеда доложили, что прибыл председатель корпусного комитета по очень важному делу. Оказалось, что в семь часов вечера надлежало сменить подразделения, находящиеся на передовой, и соответствующий приказ был отдан резервным частям. Им следовало покинуть места своего расквартирования в тылу в пять утра, но они не двинулись с места. Председатель комитета пришел сообщить о причине происшествия.

— Мерзавцы, — сказал он о тех, кто выбрал его своим лидером, — они не желают, видите ли, идти на передовую. Они все утро митингуют, вместо того чтобы сменить своих же товарищей.

Мы были потрясены. Генерал заволновался.

— Это неслыханно! — воскликнул он. — Солдаты отказываются сменить на передовой тех, кто сменил их пару недель назад! Какой смысл продолжать эту симуляцию войны? Это же фарс! Бессмысленно оставаться тут; пусть все бросают оружие и отправляются по домам, а правительство пусть само командует этим подобием армии. Негодай! Расстрелять бы нескольких из них — остальные сразу же вспомнили бы о своем долге. В семь часов наши передовые окопы могут оказаться пустыми! Идите и передайте им, что я приказал выступить немедленно!

Председатель комитета вернулся в казармы и сообщил, что командир корпуса приказал им немедленно выступить на передовую под угрозой расстрела. Это взбесило солдат.

Из передовых окопов пришло сообщение, что там солдаты приняли решение, невзирая ни на что, покинуть позиции в семь часов. Генерал оказался в труднейшем положении: нависла угроза полного оголения фронта на его участке. Он позвонил в резервный полк, чтобы узнать у председателя комитета, что там происходит. Вдруг он страшно побледнел и, уронив трубку, произнес:

— Они хотят меня расстрелять.

Начальник штаба Костяев перехватил трубку и услышал:

— Они взбунтовались и грозят расправиться с генералом. Кое-кто уже отправился в штаб.— Голос председателя комитета звучал панически.— Члены комитета относятся к генералу с полным уважением,— продолжал он,— мы пытались урезонить бунтовщиков, погасить страсти, но мы бессильны.

В дом вбежали несколько офицеров в страшном возбуждении.

— Генерал, если вы сейчас же не скроетесь, вам конец! — закричал один из них.

Следом ворвался полковник Белоногов, человек благороднейшей души, которого солдаты обожали. Он принес те же вести и умолял генерала укрыться. Я тоже просила его не попадаться на глаза разъяренной толпе, пока не улягутся страсти. Генерал отказался.

— Прятаться, мне?! — воскликнул он.— Что дурного я сделал? Пусть убивают. Я лишь выполняю свой долг.

Он ушел к себе в кабинет и закрыл дверь.

Гул приближающейся толпы становился все громче. Лица присутствовавших были смертельно бледны. Каждую минуту вбегал кто-нибудь, запыхавшись, с глазами, полными ужаса, и возвещал о приближении бури.

Наконец приливная волна возбужденных людей докатилась до дома, где располагался штаб. Но тут полковник Белоногов заявил, что выйдет к солдатам и попробует с ними поговорить. У полковника была мягкая речь и доброе сердце. Он никогда не позволял себе грубо обращаться даже с денщиком. Когда некоторое время назад его хотели перевести в другую армию, солдаты умолили начальство оставить его.

Он вышел на крыльцо и оказался лицом к лицу с медленно, но неумолимо надвигающейся толпой.

— Ребята, что вы делаете? — начал полковник.— Образумьтесь и вспомните о своем долге. Вам приказано сменить своих товарищей, таких же солдат, как вы сами. Вы понимаете, что обязаны это сделать, в приказе генерала нет ничего для вас оскорбительного.

— Но он угрожал нам расстрелом! — перебили полковника из толпы.

— Вы не так поняли. Он лишь сказал, что, видимо, добиться повиновения можно только, расстреляв...

Ему не дали договорить... Сотни людей, ухватившись за последнее слово, не вникая в смысл речи полковника, завопили:

— Ага, значит, ты тоже за расстрел!

И, не дав полковнику, стоявшему с посеревшим лицом, возможности что-либо объяснить, кто-то выбил у него из-под ног табурет и с криком: «Мы тебе покажем расстрел!» повалил на землю. В следующую секунду десятки тяжелых сапог обрушились на голову этого благородного человека. Сцена была жуткая. Несколько тысяч человек разом обратились в зверей. Жажда крови обуяла их. Толпа раскачивалась, словно одурманенная, топтали уже бездыханное тело.

Кровожадность толпы нарастала. Офицеры поняли, что нельзя терять ни минуты. Костяев предложил уходить через черный ход.

— Я выйду к ним,— неожиданно даже для самой себя предложила я.

Офицеры сочли это безрассудством и пытались отговорить меня.

— Белоногов был для своего полка кумиром, а поглядите, что они с ним сделали. Вы идете на верную смерть,— с этими словами полковник Костяев ушел, за ним последовали несколько офицеров.

Я не представляла себе, что даст бегство через заднюю дверь. Ну, быть может, пара человек спасутся, хотя и это сомнительно, но мятеж-то будет разрастаться и скоро выйдет из-под контроля. «Выйду»,— решила я, перекрестилась и рванулась прямо навстречу разъяренной толпе.

— В чем дело? — заорала я что было сил.— Какая это вас муха укусила? Ну-ка, дайте пройти!

Толпа, как ни странно, расступилась и освободила дорогу к «ораторскому» табурету.

— Поглядите-ка на эту птичку,— сказал кто-то.

— Скажите, зачем вы убили этого человека? Это был самый добрый офицер в корпусе. Он ни разу в жизни не ударил, не наказал солдата. Он же отцом для вас был: разве не вы хвастались, что в вашем полку и еда лучше, и обувка, и в баню вы ходите чаще? Разве

не вы сами, по собственному желанию наградили его Солдатским крестом? Почему вы его убили?

Какой-то одиночный робкий голос предположил:

— Потому что он был из эксплуататорского класса.

— А они нашу кровь пили! — громче подхватил другой.

— И вообще почему мы должны ее слушать, кто она такая? — злобно закричали сразу несколько человек. — Убить ее, и дело с концом!

— Сволочи! Можете убить меня, я сейчас в вашей власти, я знала, на что иду.

Затем я резко обернулась к тупо глядевшему прямо на меня солдату:

— Допустим, вы выберете себе новых офицеров. Ну-ка, скажи, что ты будешь делать на месте командира? Скажи!

Солдат, видимо, не большого ума человек, неуверенно хмыкнул:

— Поглядим, пусть сначала выберут.

— Это не ответ. Ты мне скажи, что ты сделаешь, если нужно будет менять передовые части, а резервные откажутся идти в окопы? Вы зачем здесь вообще находитесь? — со злостью закричала я.

— Чтобы оборону держать, — робко предположил кто-то.

— Вот именно! А ведь вы убили этого человека только за то, что он не хотел оставлять фронт открытым!

В этот момент появились ординарец и друзья полковника. Увидев его растерзанный труп, они пришли в неистовство: рыдания, проклятия, угрозы обрушились на толпу солдат:

— Убийцы! Бандиты! Кого вы убили?! Да вы хуже царских палачей. Дай вам волю — вы все превратитесь в убийц! Нехристи!

Теперь уже никто в толпе не мог смотреть нам в глаза. Многие плакали. Я сама не сдержала слез и, сойдя с табурета, уткнулась в угол.

Тем временем прибыла вызванная для подавления мятежа дивизия с соседнего участка фронта. Член дивизионного комитета вышел вперед и потребовал выдачи зачинщиков бунта, создавшего угрозу оголения участка фронта и приведшего к зверскому убийству полковника Белоногова. Между дивизионным и корпусным комитетами состоялись переговоры. В результате бунтовщики выдали двадцать агитаторов, которых тут же взяли под арест.

Теперь следовало позаботиться о похоронах.

— Нужно сделать гроб, — сказала я.

Из толпы вызвались несколько человек.

— Полковника надо похоронить со всеми воинскими почестями.

Несколько солдат принялись копать могилу, кто-то из офицеров отправился за священником, кто-то — ломать ветки для венка.

— Ну, а теперь вы смените своих товарищей в окопах? — спросила я у продолжавших молча стоять со склоненными головами солдат.

— Да, — смиренно ответили они.

Ну как это объяснить?! Им было стыдно, искренне стыдно того, что они сотворили. И все же это были те самые люди, которые два часа назад, как дикие звери, убили человека! Невероятно! Но так оно было. О, бедная Россия!

К четырем часам из неструганых досок был сколочен гроб. Его задрапировали изнутри и снаружи белым полотном. Тело обмыли, но с лицом ничего сделать не удалось, оно было изуродовано до неузнаваемости. Вместе с несколькими мужчинами мы обернули тело простыней и уложили в гроб. Люди сплели не один, а четыре венка. Священник начал читать молитву. Он плакал. Генерал, офицеры и я стояли подле гроба с зажженными свечами и тоже плакали. Когда процессия двинулась к могиле, первыми за гробом пошли рыдавший ординарец покойного и полк, которым командовал полковник Белоногов. За ними следовал весь корпус. Плакали все. Когда гроб опустили в могилу, каждый бросил на крышку горсть земли. Над свежей могилой зазвучала общая молитва.

Корпус получил приказ в семь часов выступить на передовую. Я отправилась в свой батальон и велела девушкам готовиться. Генерал позвонил командиру части, ожидавшей смены, с просьбой не покидать позиций до прихода резерва.

В моем батальоне осталось меньше двухсот человек. Никаких признаков боевых операций не наблюдалось. Ни немцы, ни русские не стреляли. Братание стало всеобщим, и все пошло, как прежде: наши и немецкие солдаты ходили друг к другу в гости, вели бесконечные разговоры и накачивались пивом, которое приносили немцы.

Мне это видеть было невыносимо. Я приказала своим девочкам вести себя так, как положено на войне. Остальных наш воинственный настрой раздражал. К нам приходили представители полкового комитета и пытались вести пропаганду: наши враги, мол, не немцы, а собственные буржуи, и воевать нужно с ними, а Керенского, раз он не заключает мира, мы живо вышвырнем из его кабинета...

Керенский к тому времени утратил почти полностью свой авторитет в армии, она становилась все более пробольшевистской. Разрыв между ним и Корниловым стал окончательным. Керенский просил главнокомандующего по телефону прислать в Петроград верные правительству войска — видимо, понимал, какая над ним нависла угроза. В ответ Корнилов через генерала Алексеева передал требование прислать ему письменное распоряжение о наделении чрезвычайными полномочиями. Он был согласен спасти Керенского при условии, что тот даст ему возможность спасти фронт.

Керенского же интересовала лишь проблема восстановления собственного престижа и сохранения положения. Он ополчился против Корнилова, публично обвинил его в притязаниях на неограниченную власть и призвал солдат и рабочих подняться против него. Результатом стало противоборство между революционными солдатами и Дикой дивизией Корнилова. Корнилов потерпел поражение. Керенский торжествовал, и в тот момент казалось, что он достиг того, к чему стремился. Все радикальные силы объединились, и Керенский, как спаситель революции от контрреволюционного мятежа, снова стал идолом масс.

Но такое положение сохранялось недолго. Мало-помалу Керенский опять стал терять доверие у народа, столь неожиданно вновь обретенное, поскольку не дал ему долгожданного мира.

Отсутствие военных действий на фронте угнетало меня. Одним дождливым днем, отправляя наряд на нейтральную полосу, я приказала девушкам в случае появления противника открывать огонь. Провожая их взглядом, я вдруг заметила человек десять немцев, направлявшихся к нашим окопам. Они шли вразвалку, засунув руки в карманы, напевая и насвистывая. Я прицелилась в ногу одному из них и выстрелила.

Через секунду по всему фронту творилось что-то невообразимое. Скандал! Кто посмел?! Негодовали как немцы, так и русские. Ко мне в панике прибежали несколько девушек:

— Командир, зачем вы это сделали?

Несколько солдат, моих друзей, прибежали из соседних окопов, чтобы предупредить меня о крайнем недовольстве, вызванном моим поступком у рядовых. Я заявила, что увидела, как к моим девушкам приближаются немцы и пытаются с ними заигрывать. Такая байка не удовлетворила солдат, уже явившихся за разъяснениями. Хорошо, что, вовремя получив предупреждение, мы успели укрыться в боковой траншее, потому что нас пытались расстрелять из пулеметов. Стрельба прекратилась лишь по требованию председателя полкового комитета, примчавшегося на шум. Он потребовал меня к себе для объяснений. Я попрощалась с девушками, подозревая, что может повториться самосуд, как над полковником Белоноговым.

И действительно, я была встречена угрозами и оскорблениями.

— Прикончить ее! Она корниловка, — кричали солдаты.

Меня спасло только то, что члены комитета, окружив меня, не дали толпе приблизиться. Офицера, который попытался вступить за меня, тоже назвали корниловцем и потребовали убить на месте. Никто опомниться не успел, как его сбили с ног и затоптали насмерть. После этого толпа двинулась ко мне. Но члены комитета все же остановили ее. Меня спрятали в землянке и приставили Медведовскую, девушку из моего батальона, охранять. Возбужденные солдаты рыскали повсюду и наконец наткнулись на землянку, у входа в которую стояла Медведовская.

— Где Бочкарева? Пропусти, мы проверим, не там ли она.

Караульная ответила, что у нее приказ стрелять, если кто-то попытается войти в землянку. Они попытались. Она выстрелила. Бандиты закололи бедную девушку штыками.

Члены комитета и мои друзья — их насчитывалось в полку человек сто — настаивали на том, чтобы устроить суд надо мной — только так можно было избежать расправы. Им удалось вывести меня из землянки и благополучно препроводить к месту, где должен был состояться открытый суд. Толпа, ставшая огромной, смыкалась все теснее вокруг нас. Мои девушки, разъяренные, с огромным трудом сдерживали ее. Но время от времени кому-то

все же удавалось просунуть руку сквозь их цепь, чтобы ударить меня. По мере того, как сил у моих девушек оставалось все меньше, удары становились все чаще и тяжелее, и наконец я потеряла сознание. Друзья сумели все же вырвать меня из рук обезумевших солдат и спрятать.

Хоть я и была страшно избита, жизнь моя оказалась вне опасности, а вот бедная преданная мне девушка и бескорыстный друг поплатились своими жизнями. В сопровождении нескольких солдат моего батальона меня отправили в Молодечно, сам батальон отвели в тыл. Но и там девушки не были в безопасности. Им досаждали, оскорбляли, называли корниловками, били стекла в казарме. Офицеры сделать ничего не могли, да они и носа не казали.

Однажды меня пригласили в штаб армии, куда прибыл офицер нашего корпуса. Он рассказал о нетерпимой обстановке, сложившейся вокруг моего батальона. Девушкам предлагали идти по домам, но они отказывались сделать это до тех пор, пока их командир не распустит батальон своей властью. Чтобы хоть как-то изолировать и защитить, их послали рыть резервные траншеи. Но как только они вернулись, все началось сначала. Однажды ночью, например, в их казарму, избив часовых, ворвалась целая банда. Началась паника. Многие девушки схватили ружья и стали стрелять в воздух. На шум прибежали инструкторы батальона и солдаты, которые всегда вели себя порядочно, мерзавцев удалось выдворить.

Но так дальше продолжаться не могло. Батальону нельзя было оставаться на фронте, по крайней мере, на этом его участке. Трудно было понять такую перемену: еще недавно солдаты-мужчины относились к нам с уважением и даже восхищением. А теперь словно взбесились.

Прибывший офицер предложил мне расформировать свой батальон. Но это было равносильно тому, чтобы признать провал моего дела и безнадежность положения в стране. Я к этому не была готова и решила ехать в Петроград просить перевести нас на участок фронта, где шли бои. Перед отъездом я повидалась со своими девчатами. Они одобрили мой план. Они были готовы воевать с немцами, сносить любые пытки и даже умереть от рук врага, но они были совершенно не готовы к тем страданиям, какие причиняли им солдаты — их соотечественники. Когда мы создавали свой батальон, нам такое и в голову прийти не могло.

Я пообещала, что вернусь не позднее, чем через неделю, и они согласились ждать, но это был предельный срок.

Не нужно было быть особенно наблюдательным, чтобы заметить, сколь тяжелая атмосфера царила в Петрограде. Уныние висело в воздухе, уныние сквозило в глазах прохожих. В городе не хватало продуктов, он был наводнен революционными солдатами и матросами. Большевизм открыто и уверенно шествовал по улицам, словно наступило уже его время.

Мои друзья, принимавшие участие в судьбе батальона, пришли в ужас, узнав о событиях на фронте. Их рассказы о положении в столице тоже действовали на меня удручающе. Керенский после стычки с Корниловым полностью изолировал себя от всех друзей и знакомых из высших классов. Я пошла к генералу Аносову и сообщила о цели своего приезда. Он предоставил в мое распоряжение машину, но сам никуда со мной не поехал. Я отправилась к Васильковскому — статному казачьему генералу, который выглядел теперь так, словно из него выпустили воздух. Он принял меня очень тепло, сказал, что наслышан о моих несчастьях, и выразил сочувствие.

— Но мы все сейчас не знаем, что с нами будет, — добавил генерал. — Меня самого в любой момент могут вышвырнуть вон. И для правительства это вопрос дней, может быть, часов. Большевики повсюду — на заводах, в казармах. А как на фронте?

— То же самое, только еще хуже, — ответила я и поведала о своих горестях и о том, какой помощи ишу у военного министра.

— Вам уже ничто не поможет, — сказал он. — Власти бессильны. Их распоряжения не стоят даже той бумаги, на которой написаны. Я еду к Верховскому, новому военному министру. Поедьте со мной.

По дороге мы обсуждали новое назначение Верховского. Это был тот самый человек, который спас мне жизнь в Москве. Он был очень популярен в войсках и имел на солдат огромное влияние.

— Быть может, если бы это назначение состоялось несколько месяцев назад, он бы мог еще спасти армию. А теперь слишком поздно, — вздохнул Васильковский.

Приехав к военному министру, мы узнали, что у него в кабинете Керенский. О нас доложили, меня пригласили первой. Отворив дверь, я сразу же поняла, что все кончено. Премьер-министр и военный министр стояли друг против друга, представляя собой жалкое зрелище. Керенский выглядел буквально как мертвец — в лице ни кровинки, глаза красные, словно он не спал несколько ночей. Верховский производил впечатление тонущего и взывающего о помощи человека. Они олицетворяли собой гибель России. Сердце у меня сжалось.

Оба попытались изобразить улыбку, но от нее сделалось еще горше на душе. Военный министр поинтересовался событиями на нашем участке фронта. Я подробно рассказала ему обо всем, чему была свидетельницей: о самосуде над полковником Белоноговым и офицером, который пытался меня защитить, о заколотой штыками Медведовской, о пулеметах, стрелявших по нашему окопу из-за того, что я ранила вражеского солдата.

Керенский обхватил голову руками и закричал:

— О, ужас! Ужас! Мы гибнем! Мы тонем!

Воцарилась напряженная тяжелая тишина.

Я нарушила ее, заявив, что надо что-то делать, на что военный министр ответил:

— Да, делать что-то надо, но что? Вот вы, простой солдат, что бы сделали вы, если бы вам предоставили полную власть в армии?

Немного поразмыслив, я сказала:

— Пожалуй, уже поздно. Месяца два назад я, быть может, и могла еще повлиять на солдат, они меня уважали. Теперь они меня ненавидят.

— Ах! — воскликнул военный министр. — Два месяца назад и я мог спасти дело, если бы был на этом месте.

Затем я попросила перевести мой батальон на участок фронта, где ведутся боевые операции, и подтвердить разрешение командовать без комитета. Такое разрешение было мне дано военным министром тут же, оно и сейчас еще при мне. Он согласился выполнить и первую мою просьбу, обещал подумать, что можно сделать, и прислать соответствующее распоряжение.

Керенский молчал в продолжение всего разговора. Он стоял как привидение, как символ некогда могущественной России. Еще четыре месяца назад он был идолом нации. Теперь почти все отвернулись от него. Глядя на него, я подумала, что он — живое воплощение трагического раскола моей родины. Тоска сжала мне горло, я едва сдерживалась, чтобы не зарыдать.

— Одному Богу известно, увидимся ли мы еще когда-нибудь, — сказала я сдавленным голосом и поклонилась.

Керенский, неподвижный, бледный, хриплым шепотом ответил:

— Едва ли.

## БОЛЬШЕВИКИ У ВЛАСТИ

Я возвращалась на фронт. Поезда были жутко переполнены, но, к счастью, у меня оказалось место в вагоне первого класса. В Молодечно я доложила о прибытии генералу Валуеву. Он сообщил мне о том, что я произведена в поручики, и поздравил.

Мне дали машину, и я отправилась в штаб корпуса, где доложила о прибытии своему корпусному командиру. Генерал и офицеры его штаба горели желанием поскорее узнать, что происходит в тылу. Я постаралась поточнее передать впечатление, которое произвела на меня встреча с Керенским и Верховским.

— А что насчет передислокации вашего батальона? — спросил генерал. — Женщины надеются, что вы переведете их в более подходящее место.

Я ответила, что мне приказано ждать на этот счет дополнительных распоряжений, и показала документ, подтверждающий мое право не создавать в батальоне комитетов. Генерал порадовался за меня.

Тем временем девушки, прослышав о моем возвращении, выстроились для торжественной встречи. Мой приезд немного поднял их упавший дух. Похвалив их, я отправилась вместе с ними на обед. В моих правилах было обедать вместе с солдатами, только возможность такая представлялась редко. Обычно перед едой я проверяла качество пищи и чтобы всего было достаточно. По собственному опыту знала, что ничто не греет солдатское сердце так, как хорошая еда.

Несколько дней батальон оставался в резерве. Обещанный приказ передислокации все

не приходил. Тем временем настал наш черед сменять своих товарищей на передовой. Я решила, что мы достаточно отдохнули, и, прибыв на передовую, приказала неукоснительно соблюдать все правила военного распорядка. Я высылала дозоры, выставляла наблюдательные посты и прочесывала ничейную полосу пулеметными очередями. Немцы были недовольны, наши солдаты тоже, но благодаря дружеским отношениям, установившимся между нами в тылу, никаких действий не предпринимали, лишь присылали к нам свои делегации для дискуссий.

— Вы говорите, что мы теперь свободны? — пыталась я убедить собеседников. — Отлично. Вы не хотите воевать с немцами, я вас не заставляю. Но и вы не имеете права вынуждать меня действовать против моих убеждений. Мы пришли сюда не брататься, а убивать и гибнуть. Это мое право погибнуть, если я того желаю. Так позвольте же мне на моем участке воевать с немцами. Пусть и немцы воюют только с моим батальоном. Мы вас не трогаем — и вы нас не трогайте.

В конце концов солдаты согласились, что это справедливо. Когда они спрашивали меня, почему я так уж воинственно настроена, я отвечала, что хочу отомстить за своего мужа, убитого в самом начале войны. Для такой придумки у меня были некоторые основания — ходили слухи, что Афанасий Бочкарев действительно погиб в бою. Конечно, объяснение мое было неправдой, но я пользовалась этой легендой до и после того, и она встречалась с пониманием.

Возможность снова участвовать в боевых действиях вдохновляла нас. Да, нас было мало — горстка женщин, меньше двухсот человек, но мы произвели настоящий фурор. Наши пулеметы не умолкали, из бульвара для прогулок нейтральная полоса снова превратилась в то, чем она должна быть. На многие версты вправо и влево наш крохотный участок был единственным боевым участком фронта. Не скрою, я этим гордилась.

Так продолжалось несколько дней. Но наконец немцам это надоело и они стали обстреливать мои позиции из артиллерийских орудий. Артиллерия на нашем направлении давно молчала, так что обстрелы застали солдат врасплох. Появились убитые и раненые. У нас в батальоне погибли четыре и были ранены пятнадцать солдат.

Корпус снова взбунтовался. Как водится, все собралось на митинг и потребовали немедленно расправиться со мной. Когда слухи о возобновившихся угрозах достигли меня, я приняла решение: организовать собственными силами наступление и погибнуть в бою. Я попросила артиллеристов поддержать нас, мы сами вели бешеный огонь из винтовок и пулеметов — словом, завязался небольшой бой местного значения.

Как раз в этот момент из тыла пришло сообщение о том, что Керенский свергнут и в Петрограде установилась власть большевиков. Председатель комитета объявил об этом солдатам, и сообщение было встречено таким громом оваций и приветственных криков, что в них потонул даже грохот боя.

— Мир! Мир! — неслось над землей.

— Да здравствует Ленин! Да здравствует Троцкий! Ура, Коллонтай! Все по домам!

— Землю и свободу! Хлеба! Долой буржуазию!

В коротких паузах между здравницами и призывами, однако, толпа стала снова различать грохот канонады и треск пулеметных очередей на моем участке фронта. И люди снова обезумели. С угрожающими криками они хлынули к нам. Генерал позвонил мне по полковому телефону.

— Бегите! — было его первым словом. — Мы все пропали! Я сам оставляю штаб. Бегите в Красное Село!

Я приказала девушкам хватать винтовки и то, что можно, из личных вещей и бежать без промедления. Одного из инструкторов я попросила связаться с нашим вспомогательным составом и сообщить им, куда следовать.

Толпа неумолимо надвигалась. В ближнем тылу они захватили двадцать девушек, оставленных там для связи, и буквально разорвали их на куски. Четверо инструкторов, пытавшихся защищать несчастных женщин, были затоптаны насмерть.

С остатками своего батальона я пробежала без остановки верст пятнадцать. Хотя преследователей и не было видно, шансов на спасение оставалось мало. Остановились мы наконец в лесу у дороги на Молодечно. Стемнело. Попили чаю и приготовились ко сну. Ночью подошел наш обоз.

В четыре утра мы были уже на ногах. За ночь удалось наладить телефонную связь со штабом армии в Молодечно, я доложила дежурному офицеру о нашем скором прибытии

и попросила подготовить землянки. Офицер ответил, что город наводнен дезертирами и что это не менее опасное место для моего батальона, чем фронт.

Что же делать?! Надо же двигаться куда-то. Не можем же мы жить в лесу. Ужасное положение. Вырваться из рук одной одичалой толпы, потеряв двадцать своих товаров, и тут же попасть в лапы другой, быть может, еще более кровожадной! Тем не менее мы тронулись в путь. Верстах в трех от города я увела батальон глубоко в лес и оставила там на попечение мужчин из обоза и инструкторов, а сама направилась в Молодечно, посмотреть, что можно предпринять.

Кое-где на улицах солдаты узнавали меня, останавливали и начинали издеваться:

— Поглядите-ка, командир бабского батальона!

Отшучиваясь, я все же добралась до штаба. Комендант сказал, что сможет выделить нам несколько землянок. Неприятных встреч не удалось избежать и на обратном пути.

— Я всегда с вами, — отвечала я взвинченным солдатам, задиравшим меня. — Я же сама крестьянка. Мир так мир. Я подчиняюсь, не стану же я воевать против своих.

Вроде бы мои ответы удовлетворили их. Я даже попросила их помочь привести в порядок землянки, предназначенные для девушек, и они с готовностью согласились. Этой ночью мой батальон был сравнительно удобно устроен. Под охраной мужчин из вспомогательного состава нам даже удалось поспать. Но агитаторы, конечно, не могли не воспользоваться нашим присутствием в своих целях. Утром, после завтрака, по дороге в штаб мне преградила дорогу небольшая группа мужчин, человек десять, не больше. Однако кричали они так громко, что через несколько минут к ним присоединились еще двадцать, потом тридцать, пятьдесят, сто... Я пыталась уклониться от дискуссии, но они не давали мне пройти. Очень скоро собралось уже более двух сотен бандитов в солдатской форме.

— Что вам нужно? — теряя терпение, закричала я.

— Чтобы ты разогнала свой батальон. Мы требуем, чтобы вы сдали оружие.

Худшего позора для солдата, чем сдаться без боя, я не знала. Однако и погибнуть от рук толпы мерзавцев не хотелось.

Мне дали на размышления три минуты, и один из них, видимо, главный, стал отсчитывать время. Трудно написать, что я пережила за эти три минуты.

«Лучше бы мне встретиться лицом к лицу с целой немецкой армией, чем сдаться этим большевистским негодяям, — проносилось у меня в голове. — Но на карту ведь поставлена не только моя жизнь. И к тому же наверняка все уже кончено. Они же говорят, что объявлено о заключении мира. Имею ли я право рисковать жизнями девчат? Но, Матьер Божья, как же смогу я, солдат, верный присяге и преданный родине, приказать своему батальону сдать оружие без боя?»

Три минуты истекали, а решения я так и не приняла. Тем не менее взобралась на скамейку и, увидев перед собой лица солдат, ждущих нашей капитуляции, и своих девчат, выскочивших из землянок с оружием и напряженно следящих за своим командиром, вдруг, неожиданно даже для самой себя, скомандовала: «Пи!»

Мужчины были так поражены, что на какой-то миг застыли как окаменевшие — они не были вооружены.

Почти двести винтовок одновременно выстрелили в воздух. Мужчины озверели и бросились за оружием, угрожая вернуться и перебить нас. И никаких сомнений в том, что так оно и будет, не оставалось. Решение следовало принимать немедленно. Не позже, чем через десять минут, они снова будут здесь.

— Пять минут на сборы, — громовым голосом скомандовала я. Одного из инструкторов послала в казармы, чтобы он смешался с толпой и докладывал нам о ее намерениях. Обоз получил приказ двигаться по дороге в Красное Село.

Все это произошло менее, чем за пять минут! Для любого военного соединения было бы трудновыполнимой задачей за столь короткое время построиться для походного марша, но моим девчатам это удалось! Я отправляла их отряд за отрядом в лес, сама ушла с последним.

Мы двигались к опушке леса верстах в семи от города. Я догадывалась, что озверевшая толпа будет гнаться за нами по дороге, и повела батальон сквозь лесную чащу. Мало кому из нас удалось пройти этот трудный путь, не оступившись и не упав по нескольку раз. Обмундирование было в клочья изодрано ветками и шипами, ноги и руки покрыты царапинами и ссадинами. Но перевязывать раны времени не было.

Часа через два, достигнув опушки, мы услышали вдали свист. Это был инструктор,

которого я оставила для разведки. Настроение у него было веселое, и, несмотря на опасность нашего положения, мы искренне порадовались его рассказу.

Оказывается, после того как мы скрылись, толпа вернулась к нашим землянкам, вооруженная и раскаленная добела. Они были потрясены нашим исчезновением, бегали повсюду как сумасшедшие, прочесали всю округу, но следов наших не нашли. Они представить себе не могли, что целый батальон может в такой короткий срок собраться и покинуть казармы в неизвестном направлении.

— Ведьма! — кричали они. — По воздуху она их унесла, что ли?

Они телеграфировали в штаб. К их удивлению, и там о нас ничего не знали. Толпа двинулась по дороге в Красное Село и вскоре догнала наш обоз, который охранялся старыми солдатами. Те сообщили, что имеют приказ следовать в Красное Село, а про передвижение батальона им ничего не известно. Толпа решила, что мы идем по той же дороге, но впереди, и выслала конный патруль догнать нас. Однако и всадники вернулись ни с чем.

— Ведьма, сущая ведьма! — ворчали солдаты, возвращаясь в Молодечно.

Теперь нужно было связаться с обозом и привести его в наш лагерь. Когда это было сделано, мы почувствовали себя несколько уверенней в лесной чаще. Осталось решить, как безопасно выйти из лесу и куда двигаться.

О Молодечно не могло быть и речи. Следующий населенный пункт тоже не рассматривался, так как преследователи предупредили стоявший там гарнизон, что в случае нашего появления нас следует арестовать. Перспектива была невеселой. Я решила послать связного к коменданту Молодечно.

Через два дня тому удалось тайно прибыть к нам. Мы держали совет, как выбраться из лесу. Батальон было решено распустить, так как смысла в его дальнейшем существовании не оставалось. Комендант предложил достать для девушек цивильное платье, чтобы они могли вернуться домой. Я не считала этот план удачным. Где можно за два-три дня достать почти двести платьев? Я предложила другой план: отпускать девушек по одной и направлять их в разрозненные деревни и на станции, так каждой из них будет гораздо проще найти себе подходящую одежду и сесть на попутный поезд или телегу. План был принят.

Чуть больше суток понадобилось коменданту, чтобы снабдить нас необходимыми документами и средствами, и исход начался. Через каждые десять — пятнадцать минут в разных направлениях из лагеря отбывала одна девушка. Плачевный финал героической страницы истории женского движения в России. Девушки отважно противостояли силам разрушения и невежеству, но возможности их были ограничены. Вал всеобщей разрухи сметал вообще все, что было в России благородного и достойного. Казалось, Россия изрыгает поток необузданных страстей, в котором сама рискует захлебнуться. Жить не хотелось. Утешало только то, что мы гибли вместе со всем лучшим, чем прежде гордилась страна. Все перевернулось с ног на голову, не осталось никакой человечности в людях — одна враждебность. Вместо бескорыстной радости тех дней, когда было свергнуто самодержавие, теперь повсюду царили жажда мести и жестокость. Революционные солдаты, крестьяне, рабочие гонялись за призраком буржуа — кровопийцы и эксплуататора. Когда свобода была только-только обретена, людей объединяли всеобщая радость и братские чувства. Теперь верх взяли нетерпимость, мелочность, алчность.

Наконец все девушки разошлись. Мы с инструкторами — вот все, что осталось от батальона. Ночью я вышла на дорогу, где ждал автомобиль, посланный комендантом. Подъехав к поезду, увидела двух членов армейского комитета, которые должны были сопровождать меня в Петроград. Оттуда я решила ехать домой, в деревню Тутальская близ Томска, куда после начала войны перебрались мои родные.

Сокращенный перевод с английского ИРИНЫ ДОРОНИНОЙ

НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ

## В некотором государстве

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ «НЕУВЯДАЕМЫЙ ЦВЕТ»

Медленно движется время,  
Веруй, надейся и жди...

И. Никитин

48

Дурные предчувствия, которым суждено сбыться, наплывают, как облака. И они свиваются, эти предгрозовые облака, и они клубятся... Еще светит солнце, почти весь небосвод еще чист, но там, откуда находят облака, — хотя и невнятно, но погромыхивает. Затем погромыхиванье стихает, ты не смотришь в ту сторону, ты уже забываешь о тучах, и вот тут-то молния и ударяет...

В августе 1933 года я с беспечно радостным чувством ехал из Перемышля в Москву первый раз за всю свою двадцатипятилетнюю жизнь — на нестроенность, в неизвестность. К счастливой этой беззаботности примешивалась лишь всегдашняя боль разлуки с родным домом, с родными местами, но на этот раз она умерялась сознанием, что теперь я уже не студент, а сам себе хозяин: когда захочу — тогда и возвращусь, были бы деньги на проезд.

Итак, в Москве меня встретила свобода от лекций, зачетов, экзаменов, но и свобода от продовольственных карточек. Никаких видов на постоянную работу, никаких видов на новый договор...

И все пошло как по маслу. Я подал заявление о приеме в Групповой комитет писателей при издательстве «Academia», благо заказанные мне издательством переводы пьес Мериме были мною сданы еще весной и получили одобрение.

Группком давал мне поручения одно интереснее другого: устроить обсуждение нового собрания стихотворений Тютчева, устроить обсуждение новых переводов Гейне. Круг моих литературных знакомств расширился.

Дела мои шли в гору. Из первого моего жалованья я немалую толику послал матери. «Academia» заключила со мной договор на комментарий к комедиям Тирсо де Молина. Я, желторотый птенец, получил доступ в научный зал Румянцевской библиотеки. Ведавший в издательстве французской литературой Абрам Маркович Эфрос с неуклюжей высокопарностью бывшего газетчика объявил мне: «Вы в списке моей души!» В переводе на язык деловой прозы это означало, что я одним из первых получу заказ на перевод с французского...

Однажды глухою ночью меня разбудила домработница.<sup>1</sup>

— Коля! Коля! Вставайте! — громко зашептала она. — Гепеушники пришли. Я повернулся на другой бок и заснул.

Утром я узнал, что гепеушники задержали Виктора Яльмаровича Армфельта, когда он, только-только переодевшись и разгримировавшись, в щегольском

Первые главы воспоминаний были опубликованы в журнале «Дружба народов» № 7 за 1992 год.

Журнальный вариант.

<sup>1</sup> Я жил тогда в доме дочери М. Н. Ермоловой, моей крестной матери — Маргариты Николаевны. В этой же квартире жили актеры Юрий Михайлович Юрьев и Виктор Яльмарович Армфельт.

костюме и заграничных ботинках, выходил из артистического подъезда Театра оперетты, и препроводили его прямехонько на Лубянку, а в это время другие явились к нам с обыском.

Мне было жаль Виктора Яльмаровича, жаль осиротевшего Юрия Михайловича, но за себя я нисколько не боялся — и не потому, что я был твердо уверен в порядочности Виктора Яльмаровича, нет, просто мысль о том, что меня могут арестовать, не залетала мне в голову.

Внезапно, вне всякой связи с арестом Виктора Яльмаровича, облака дурного предчувствия стали обволакивать мою душу. Выйдя на улицу, я оглядывался, не следят ли за мной. Мне хотелось как можно скорей замешаться в толпу, хотелось петлять, сбивать невидимых загонщиков со следа. Хотелось сесть в поезд и захватить в такую глушь, откуда даже рука ГПУ не смогла бы меня извлечь. Я уговаривал себя, что это дичь, бред, что сажать меня не за что, но ничего с собой поделывать не мог. Маргарита Николаевна запомнила, что, приехав к ней как-то на дачу в Голицыно, я ни с того ни с сего заговорил о том, что, рано или поздно, меня непременно схватят. И так же внезапно я перестал об этом думать. Хворь сняло с меня как рукой.

Погромыхиванье стихает, ты не смотришь в ту сторону, откуда находят тучи, ты о них начисто забываешь.

6 октября, в воскресенье, я, напившись чаю, собрался в читальный зал.

— Тебя кто-то спрашивает,— сказала Маргарита Николаевна.

Я вышел на лестницу и с удивлением увидел троюродную сестру свою Иру — она у меня никогда не бывала. Лицо у нее было желтое, как у больной желтухой, веки припухли. Я провел ее в свой коридорчик, усадил на кровать, и тут она, давась рыданиями, еле смогла выговорить, что вчера ночью арестовали и увезли тетю Лилю с Володей<sup>1</sup>.

И разум и душа отказывались верить, что с моими родными, которых я недавно видел благополучными, замотанными, но жизнерадостными,— как ни утомительна житейская круговерть, она все-таки радостна, ибо это есть жизнь,— что с ними стряслась одна из самых страшных бед, постигающих на земле человека: круговерть для них остановилась. И за что могли схватить такую божью коровку, как тетя Лиля, и семнадцатилетнего Володю? Хотелось верить, что напутала что-нибудь Ира или что их взять-то взяли по ошибке, но сейчас они уже дома. И опять страх за себя даже слегка не кольнул меня в сердце.

Ты не смотришь в сторону туч, ты начисто о них позабыл.

14 октября за мной зашел в издательство мой бывший одноклассник Ваня Миронов, и мы с ним двинулись пешком по бульварному кольцу «А». Дорогой я почему-то несколько раз оборачивался, и всякий раз мне казалось, что справа на некотором расстоянии от нас идет парень, а когда я оборачиваюсь, он пытается скрыться за дерево. В конце концов я поделился своими наблюдениями с Ваней. Мы обернулись одновременно. Парень метнулся за дерево и притаился. Мы постояли, постояли и пошли дальше. И тотчас,— быть может, потому, что согладаясь в силу своей неопытности держался так нагло, что этой своей наглостью отводил от себя всякие подозрения, а быть может, в силу нашей юношеской бездумности,— мы с Ваней заговорили о другом, не придав этому никакого значения и моментально выкинув это приключение из головы. Больше мы ни разу не обернулись.

На другой день я сидел в «Academia», углубившись в работу.

Вдруг я поднял глаза от груды лежавших передо мной деловых бумаг и увидел, что к одной из сотрудниц наклонился широкоплечий мужчина в пальто и кепке. По тому, как низко ему пришлось к ней нагибаться, видно было, что он

<sup>1</sup> Двоюродную сестру моей матери Елизавету Александровну Орлову и ее сына Владимира.

высок ростом. И показалось мне, что говорит-то он с нею, а взгляд его устремлен на меня. И вот тут у меня екнуло сердце. «Что это за тип? Что ему здесь нужно? Уж очень он не похож на наших обычных посетителей», — промелькнуло у меня в голове.

— Николай Михайлович? — малое время спустя услышал я тихий голос почти у самого моего уха.

Я обернулся. Слева у моего стола стоял тот самый «тип» в пальто и кепке. Меня это не удивило. Когда наши глаза встретились впервые, самая-самая глубь моего подсознания невинно прошелестела мне, что это — за мной.

— Вы — Николай Михайлович Любимов? — еще раз спросил он.

Я подтвердил.

— Пойдемте со мной, — сказал он тоном скорее просительным, чем приказывающим.

Я сразу понял, откуда он, и решил, что меня вызывают свидетелем по делу тети Лили.

— Сейчас я не могу, — возразил я, — вы же видите: у меня тут лежат важные документы. Так их оставить нельзя. Я должен все убрать.

— Нет, нет, оставьте все как есть, вы скоро вернетесь.

Я надел отцовское, переделанное на меня, подбитое ветром пальтишко, и мы вышли. В переулке, у въезда во двор издательства, стояла легковая машина. Сев в машину, я успел заметить, что по тротуару идет с тросточкой, держа папку под мышкой, как всегда — пригнув голову с таким видом, будто кто-то сейчас бросится на него с дубинкой, Павел Антокольский.

Остановилась машина на Лубянской площади у главного здания ОГПУ. Но прошли мы не через главный вход, а через еле приметный боковой, с тогда еще выходившей на площадь Малой Лубянки. Мой провожатый показал караульным пропуск и какую-то квадратную бумажку, вроде билета в театр, как мне показалось — красного цвета, и, бросив им уже на ходу: «В Особый!» — повел меня на четвертый этаж.

Мы вошли в просторную, светлую комнату, провонявшую табаком и еще каким-то не просто канцелярским, но особенным, кислым составным запахом, въедающимся, как я после заметил, в стены военкоматов, отделений милиции и ОГПУ-НКВД-МГБ. Тут и обычный для канцелярий запах краски от стен, и запах чернил, и запах сургуча, но к ним примешивается запах военной формы, запах ремней, запах кобур, запах сапог.

«Тип» предложил мне сесть на стул у стола, стоявшего, как войдешь, слева, а сам, повернувшись ко мне широкой, прямой спиной и могучим, как у мясника, затылком, снял пальто и кепку. Под ворсистым пальто у него была военная форма с «ромбом». «Значит, важная шишка», — подумал я. На голове у него щетинился черный, с легкой проседью, бобрик, начинавшийся чуть ли не от переносья — так низок был первобытный лоб с выпуклыми надбровными дугами. Был он откормлен, тупорыл. В его черных, выпученных, как у жабы, глазах я не углядел ни проблеска мысли, ни промелька простого человеческого чувства. Но и у хищных зверей не такие глаза. В их глазах я читал и радость при виде дорогого им человека, и материнскую нежность, и сознание своего достоинства, и тоску — по воле, по родине. А разве это вот существо способно грустить, тосковать, восторгаться? Оно испытывает удовольствие, лишь когда жрет или совокупляется, оно страдает только от физической боли. Оно и людей-то мучает почти уже не лютуя — надоело, приелось. Искалечить человеку жизнь, отнять у человека жизнь — это ему раз плюнуть. Не сомневаюсь, что на заре своей чекистской юности он расстреливал людей «своею собственной рукой». Быть может, с этого и началась его карьера в чека, и постепенно он дошел до «степеней известных» в Особом отделе на Лубянке-2. Вначале измываться над людьми, играть со своими жертвами, запугивать их — все это было ему в охотку. А теперь он рубит человеческие жизни под корень, как дровосек — деревья, как продавец в мясной лавке разрубает, хекая, туши.

Эту неоттаиваемую и неотдираемую ледяную кору жестокости я видел потом на лицах многих его сослуживцев. Я нагладелся на эти «человечьи лица без человеческой души». Сладострастники, садисты, истязатели не только по долгу

службы, не только ради повышения в чине и увеличения зарплаты, но и по призванию, талантливые истязатели, с выдумкой, конечно, попадались на моем пути (при Ежове и Берии их стало, насколько я слышал, гораздо больше), и все же искусники и затейники в любой области составляют меньшинство. Но почти на всех лицах гепоушников, наркомвнудельцев, эмгебешников, кто бы они ни были: истязатели — чиновники и чинодралы, с которыми мне доводилось сталкиваться чаще, или истязатели, на которых нисходило вдохновение, артисты или ремесленники, генералы от мордоберии или нижние чины, ветераны или новобранцы, за редчайшими исключениями, отчетливо проступала каинова печать.

На пресс-папье, стоявшем на столе моего нового знакомого, я прочел надписи чернилами: ИСАЕВ. Так я узнал фамилию моего будущего собеседника.

Исаев сел и, устрашающе поиграв глазами, сказал:

— Ну, Николай Михайлович (он хамски отчетливо выговаривал в моем отчестве заударные слоги), вы нам о многом расскажете!..

Исаев стал описывать круги вокруг моих родственников, постепенно суживая их:

— Ну, а еще кто?.. Ну, а еще кто?..

Наконец я назвал тетю Катю и тетю Лилю с Володей.

— А вам известно, что Елизавета Александровна и ее сын Владимир арестованы органами ОГПУ?

— Конечно, известно.

— Ну, вот теперь у нас с вами пойдет настоящий разговор! — обрадовался Исаев. — Как вы думаете, за что их арестовали?

— Я думаю, что это связано с братом Елизаветы Александровны Александром Александровичем Колоколовым, который находится за границей.

— Почему вы так думаете?

— А женщина, которая их арестовывала, спросила, нет ли у них его карточки.

По лицу Исаева прошла тень неудовольствия, из чего можно было заключить, что проболтавшей гепоушнице не миновать головомойки.

— Что вам известно об Александре Александровиче Колоколóве?

— Я его никогда в жизни не видел. Знаю, что во время революции он жил на юге, был мобилизован в Белую армию, затем уехал в Румынию и там работал в коннозаводстве.

— Что вам известно о переписке с ним Елизаветы Александровны?

— Писем его к ней я не читал. Переписывались они крайне редко, а несколько лет назад и вовсе перестали переписываться по инициативе Елизаветы Александровны.

— Почему вы так уверенно это аварите? (Исаев даже не «гакал», а совершенно скрадывал звук «г»).

— Потому что Елизавета Александровна в высшей степени порядочный человек, правдивый, я бы сказал, как младенец.

— А большие суммы он ей посылал?

— По-видимому, ничтожные. Ваши люди могли убедиться, как бедно живут мои тетки: все у них штопаное и чиненое, мебель вот-вот развалится.

— А вам не известно, что когда зять Елизаветы Александровны, муж ее умершей сестры, инженер Васильев ездил в Америку, то он имел свидание с Колоколовым и тот через него передал Елизавете Александровне деньги?

— Мне известно, что Юрий Александрович Васильев ездил в Америку и был только в Америке. Что он виделся с Александром Александровичем Колоколовым — это я первый раз слышу от вас. Если бы он действительно с ним виделся, то Елизавета Александровна и Екатерина Александровна, конечно, мне бы об этом сказали — они никогда не скрывали от меня ничего, что касалось их родственников.

Ответы мои не удовлетворили Исаева. Он стал внушать мне, что и моя тетка, и мой троюродный брат — антисоветские элементы и что мой долг осветить их антисоветскую деятельность, а также и мою, поскольку я тесно с ними связан.

Я сказал, что эта их деятельность мне не известна.

Тогда Исаев со скучающим видом начал говорить, видимо, давным-давно затверженные им и успевшие набить ему оскомину фразы: передо мной, мол, два пути — путь искреннего и чистосердечного раскаяния, и тогда я немедленно вернусь к моей прежней деятельности, и путь заpiresательства, на который я уже встал, в таком случае ОГПУ вынуждено будет принять по отношению ко мне те меры, какие оно найдет нужным. Но еще не поздно: путь раскаяния передо мной открыт.

Исаев несколько раз выводил меня в коридор, бросал мне на ходу: «Посидите, подумайте», исчезал где-то в конце коридора, потом появлялся снова, и допрос возобновлялся.

Наконец он снял телефонную трубку и расстановисто произнес:

— Прием арестованных два... Придите в кабинет номер такой-то за арестованным Любимовым.

Тут только я понял, что я не свидетель, а подследственный, что за мной захлопнулась западня. В голове вдруг стало пусто, я весь словно одеревенел, и только противной, неумимаемой дрожью дрожали колени. За мной пришел конвойный и, командуя: «Направо! Налево! Вниз!» — вывел во двор и ввел в какое-то подвальное помещение. Там что-то с моих слов обо мне записали, сфотографировали анфас и в профиль, взяли отпечатки пальцев, обыскали, отобрали подтяжки, кошелек с деньжонками и ключ от квартиры, пропуск в столовую и нательный крест, а затем отвели в особое помещение, которое, как я узнал после, на языке заключенных за узость немногочисленных камер получило название «собачник». Оттуда было три дороги: для редких счастливицков — на свободу; если дело было для следователей лакомое и требовало частых допросов, то заключенного из «собачника» переводили в так называемый внутренний изолятор, попросту говоря — в тюрьму, находящуюся в глубине двора ОГПУ; наконец, третий путь — если дело не представляло особой важности — вел в Бутырскую тюрьму, а уже оттуда путь лежал опять-таки изредка на волю, а в подавляющем большинстве случаев — в концлагерь или же в ссылку.

Меня заперли в пустой камере, но очень скоро вызвали и повели на допрос. Я обрадовался. Лучше допрос, чем одиночество в камере.

На втором допросе я выказал еще большую несговорчивость. Исаев все требовал от меня сведений об антисоветской деятельности нашего «тройственного союза», состоявшего из моей тетки, моего несовершеннолетнего троюродного брата и меня.

— Вы что же, хотите, чтоб я врал? — спрашивал я.

— ОГПУ во лжи не нуждается.

— Зачем же вы требуете от меня рассказов о том, чего не было?

Исаев злился. Он, видимо, не ожидал, что ему придется потратить столько времени на такого необстрелянного воробья.

— ОГПУ шутить не любит, — пригрозил он.

Я постарался изобразить на своем лице спокойствие, хотя мне все время было страшно: я чувствовал свою полнейшую бесправность, полнейшее бессилие.

— Если вы будете и дальше так вести себя на допросах, то нам придется и вашу мамашу арестовать, — вытянув шею и уставив на меня свои буркалы, подчеркнуто вежливо проговорил Исаев.

В душе у меня все захолонуло, но я сделал каменное лицо. Упаси Бог выдать волнение, а то он сразу поймет, что это самая слабая моя струнка, и примется на ней играть!..

— А террористические разговоры вы когда-нибудь с кем-нибудь вели? — спросил Исаев.

— Никогда и ни с кем.

— Оружием владеете?

— «Военное дело» в институте проходил, но стрелять так и не научился. Военрук поставил мне «удовлетворительно» только за то, что я теорию хорошо знал.

— Террористической литературы у вас нет?

— От отца у меня осталось много революционной литературы: Бебель, Лассаль... Есть в моей библиотеке отцовская книга — «Подпольная Россия» Степняка-Кравчинского. Там описываются покушения на царских сановников,

есть портреты цареубийц: Перовской, Кибальчича, Желябова, Гельфман, Рысакова. Но, по-моему, это террористической литературой назвать нельзя.

— Ну, а все-таки какое-нибудь оружие у вас есть?

— Да произведите обыск на обеих моих квартирах — и в Перемышле и в Москве. Вы пугача у меня не найдете.

— Когда понадобится, произведем... А нам точно известно, что вы вели террористический разговор с вашим троюродным братом Владимиром Орловым.

Я разыграл недоумение. Я сразу понял, что имеет в виду Исаев, но решил, что если я подтверждаю показания Володи, то и меня, и его подведут невесты подо что.

В этом году на другой день после первомайской демонстрации, на которой мы оба были, каждый со своим учебным заведением, мы с Володией отметили, что на Красной площади неважная охрана и что, видимо, племя террористов выродилось, потому что для опытного бомбиста бабахнуть по трибуне Мавзолея ничего не стоит. Мы оба только констатировали факт, без каких бы то ни было комментариев, тревожных или же мечтательных, но сознаться в том, что такой, хотя бы и «мимоходный», разговор все-таки имел место, значило дать в руки Исаеву козырный туз. К счастью, я был наслышан, и не от кого-нибудь, а от известного адвоката Коммодова, как ОГПУ умеет делать даже не из мухи слона, а из блохи гиппопотама. Исаев не зря самое важное приберег к концу второго допроса, когда я был и телесно и душевно измотан, но я напряг все силы внутреннего сопротивления. Я решительно заявил, что такого разговора я с Володией не вел.

Советская власть все время и во всех областях жизни играет в «куча мала». В такую же игру играло и ОГПУ. Был период массового производства «вредителей», в мое время пошла мода на «террористов».

После я узнал, что до моего ареста тот же самый вопрос другой следователь Особого отдела Мацко задал Володе: не вел ли он с кем-нибудь террористических разговоров?

Володя сказал, что нет.

— А вы подумайте хорошенько,— настаивал Мацко.

— А вот это не террористический разговор? — простодушно спросил Володя и рассказал о нашем обмене первомайскими впечатлениями.

— Ну, конечно, это и есть самый настоящий террористический разговор,— подхватил Мацко.

Володя тут же спохватился:

— Но ведь мы никого убивать не собирались, ни на кого покушений не готовили!

Слово что воробей: вылетит — и поймают! — так переиначил народ известную поговорку, когда ОГПУ после кратковременной передышки (1924—1927) вновь ревностно взялось за дело.

Только это неосторожное показание неискушенного сосунка и послужило причиной моего ареста.

— Ну, вы понимаете, Николай Михайлович, что сегодня вы домой ночевать не пойдете,— сказал Исаев и взглянул на меня в упор, чтобы полюбоваться произведенным впечатлением.

В раскрытое окно, выходившее на Большую Лубянку, доносились звонки уже недоступных мне трамваев и больно отзывались у меня в душе. Что бы я дал сейчас, чтобы повисеть на подножке, чтобы меня расплющили в проходе, чтобы битый час ждать на остановке!

Я смертельно устал. У меня было такое чувство, словно я то ли пьян, то ли в бреду,— состояние, когда человек за себя не отвечает, когда он теряет над собой власть. Я боялся проболтаться. И еще боялся, что не выдержу, что подпишу все, лишь бы на меня не пучил глаза жабохряк.

Я поступил, как Борис Годунов в толстовском «Царе Федоре»:

Часть прав моих в пучину я бросаю.  
Но мой корабль от гибели спасаю!

Я сказал: мы были против разрушения московских древностей, нас иногда удивляло большое количество арестов, мы иногда жаловались на нехватку продуктов в магазинах, три года назад я выражал возмущение расстрелом без суда сорока восьмью сотрудников Наркомторга и других организаций. Что же касается «террористического разговора», то тут я уперся как бык.

Если б Исаев не уволок меня так внезапно, если б у меня было хоть какое-то время на подготовку, я бы не швырнул и таких лоскутков, из которых, впрочем, даже Исаевым и Мацко трудненько было бы сшить «агитацию» и «организацию». Да и не находчив я от природы — адвоката и прокурора из меня бы не вышло.

Исаев составил протокол допроса и дал мне его прочитать и подписать. Протокол написан был заезжавшими за линейку каракулями малограмотного человека, понаторевшего лишь в казенных оборотах речи, и изобиловал грубейшими ошибками. Я читал внимательно, Исаев меня поторапливал. Потом началась торг из-за заключительной фразы. Исаев написал, что я часто бывал у своих ныне арестованных родственников и вел с ними разговоры на всякие, в том числе и на политические темы. Я запротестовал против слова «часто» — запротестовал с полным основанием. В институте у меня были вечерние занятия; потом на меня навалились дела по Группкому; еще будучи студентом, я начал заниматься литературным трудом и все реже и реже бывал на Александровской. Исаев уступил и вместо «часто» написал, что я «изредка» посещал своих родственников. Тем самым я лишил возможности Исаева скотить из нас троих «контрреволюционную организацию». Отрицать, что мы время от времени говорили о политике, было бы явной ложью, ибо нет такого человека, который хоть когда-нибудь не обсудил бы с кем-нибудь известия, вычитанного в газете, события, всполошившего всю страну, того, что творится вокруг. Но я решительно отказывался подписать, будто бы присутствовал при том, как мои родственники выражали недовольство политикой партии в деревне и утверждали, что колхозы ведут страну к гибели, и настоял на том, чтобы после слов о нашем недовольстве сносом церквей и монастырей, арестами и пустотой на магазинных прилавках Исаев добавил: «Никаких антисоветских выводов из обсуждавшихся фактов мы не делали, никаких контрреволюционных разговоров не вели». И с облегченным сердцем поставил под протоколом свою подпись. Во время второго допроса мною владело тупое отчаяние, физические и душевные силы у меня ослабели, и я не поручусь, что чего-то не пропустил и не подмахнул из того, что настрочил и подсунул мне на подпись Исаев, но вот эта итоговая черта явственно видится мне и сейчас.

Меня снова увели в «собачник» и заперли в той же самой пустой камере. Я с утра ничего не ел, но голода не чувствовал. Я лег на койку. Глаза мои были сухи. Во рту все запеклось, мне было жарко, душно, и в то же время меня подбрасывало на койке, словно в качку на корабле. На какие-то секунды я забывался. Потом резкий толчок где-то в подсознании: «Я в тюрьме — что же будет с мамой — перенесет ли она весть обо мне — я оставил в издательстве на столе документы — я не успел дописать комментарий к Тирсо де Молина — меня пытаются обвинить в терроре — значит, расстрел? — или долгие годы тюрьмы? Вот в этой «одиночке»? (Я убедил себя, что это одиночная камера, хотя здесь стояло две койки.) Да разве я вынесу хоть неделю сидения в одиночке, разве я вынесу разлуку с мамой?»

В это время щелкнул ключ, дверь отворилась, и в камеру вошел высокий, грузный, шумно дышавший человек. От него пахло вином. Оказалось, что его привели сюда прямо с вечеринки. Он отрекомендовался:

— Инженер Орехов.

Наружность у него была не располагающая, но я обрадовался ему просто как живому существу. «Значит, это не одиночка», — решил я. Мы разговорились. Потом он предложил поспать до утра.

— Стоит ли? — спросил я. — Могут опять вызвать на допрос.

— Нет уж, теперь не потянут, будьте покойны, — возразил Орехов. — Наши с вами благодетели особенно утруждать себя не любят. Потрудились на совесть — и домой. Сейчас небось с жинками балуются.

Ернический его тон меня коробил — уж очень он был не ко времени. Но под действием винных паров Орехов быстро задал храповицкого. Перед утром заснул и я. Утром нас повели умываться и разлучили навсегда. Меня ввели в камеру побольше. У левой стены, от двери до окна, стояли, вплотную одна к другой, койки, между ними и правой стеной оставался узкий проход — только двоим кое-как разойтись. Народу в камере было немного, так что я мог занять отдельную койку. Единственное зарешеченное окно было вровень с асфальтированным двором. На прогулку из «собачника» не выводили — только в уборную и — через двор — на допрос. В двери было, кроме «глазка», проделано отверстие, снаружи задвинутое деревянным щитом. По временам щит отодвигали, и караульный протягивал чашки с жидким чаем, миски с баландой и кашей и ставил их на подставку, приделанную к окну изнутри. Мы по очереди подходили за едой и за чаем. Народу с каждым днем все прибывало. Мы теснились на своих койках, но потом уже теснись — не теснись, а втиснуться было некуда, и новички днем сидели у нас в ногах, ночью валялись на полу.

Початую пачку папирос, которую я принес с воли, я в первый же день роздал изголодавшимся курильщикам, после чего начались такие же муки и для меня. Папирос в «собачнике» не давали. Единственным нашим спасением были курящие новички. Мы мигом выклянчивали все, что у них было, и уже вместе с ними заговлялись до следующего пришедшего с воли курильщика. Одного из караульных, ставившего миски с баландой, я попросил:

— Дайте, пожалуйста, покурить.

— Я не курящий, — с безумственной, хмурой издевкой ответил он, держа в углу рта папиросу.

Вскоре, однако, я убедился, что не только свет, но и лубянская тьма не без добрых людей.

Однажды вечером меня вызвали к коменданту «собачника» для заполнения анкеты — без анкет, как и все советское государство, не обходилось и ОГПУ.

Комендант курил.

Я с решимостью отчаяния попросил его оставить окурочек.

И вдруг комендант посмотрел на меня с такой сердечностью, какой я никак не мог ожидать от служащего в «тайном приказе» у князя-кесаря Вячеслава Менжинского.

— Ну уж, видно, придется целую дать, — сурово улыбнувшись, сказал он и протянул мне портсигар.

— Спасибо, товарищ комендант, — сказал я, — я никогда вам этого не забуду. Если встретимся на воле — все для вас сделаю.

— Ладно, ладно, на воле сочтемся, — ободряюще кивнул он мне на прощание.

Мне было страшно как обидно, что в отобранном у меня кошельке лежал билет на вечер Достоевского, на котором должны были выступать Качалов и Леонидов. На воле я так мечтал об этом вечере, и теперь я тешил себя нелепой надеждой, что накануне или же в самый день концерта меня возьмут да и выпустят на свободу. Но прошел канун, прошел весь день, сейчас уже начался концерт, Качалов, наверное, читает «Кошмар Ивана Карамазова», а я валяюсь на тюремной койке... Еще и сейчас, как вспомню, — в душе закипает детское чувство обиды, точно не взяли на елку.

Кого-кого только не было среди моих случайных соседей по «собачнику»! Я лежал рядом с моим «тезкой в квадрате» Николаем Николаевичем Кукушкиным, человеком редкостной выдержки, ибо проявлял он ее в самые мучительные для заключенного дни, когда его только-только оторвали от воли, когда рана еще свежа и сочится кровью.

Кукушкин находил в себе силы развлекать и смешить и себя, и нас анекдотами, забавными случаями. Если караульный как бы нерешительно поворачивал в замочной скважине ключ, Кукушкин с изысканной любезностью хозяина приглашал его:

— Войдите!

На мой вопрос, где он работает, Кукушкин ответил:

— В учреждении с неприличным названием. И никак мы не можем уйти от

фаллического культа: сперва назывались ЦУНХУ (то есть центральное управление народно-хозяйственного учета) — попробуйте-ка просклонять такое учреждение, — а теперь — ЦСУ (центральное статистическое управление).

В нашей камере пребывали и мой земляк, «калуцкай», «мещовская» мастеровой Кухтёнков, и Апостолици, жирный грек, черные зрачки которого точно плавали в масле, и французский еврей, и юный отпрыск обрусевших поляков Шиманский, и немец, и русский дворянин Лев Львович Кормилицын, и осетин. Когда же к нам ввели еще и казаха, Кукушкин заметил:

— Ну вот теперь у нас в камере полный интернационал. Надо бы по этому случаю спеть: «Добьемся мы освобожденья...»

Кухтёнков рассказывал истории преимущественно из придворной и великосветской жизни. Героями его остросюжетных новелл были королевы, маркизы, графы, но только пересыпали они у него свою речь отборными матюками, и не в сердцах, а так, как русские аристократы пересыпали свою речь французскими словами.

Когда в нашу камеру ввели молодого немца и мы обратились к нему с трафаретным вопросом, кто он и откуда, он ответил с горькой иронией:

— Шпиён, фашист! — сел на койку, поставил локти на колени, голову уронил на ладони, и больше мы за все время не слыхали от него ни единого слова.

Седой осетин с носом, похожим на кривой турецкий кинжал, раскачивался из стороны в сторону и, обхватив руками голову, что-то жалостливо бормотал по-осетински. Постепенно разговорился. Он и его сын служили на Дальнем Востоке, на железной дороге. Обоих арестовали одновременно. Следовательно вызвал прежде отца, подпоил коньячком, а потом сказал: «Подпиши, что ты и сын были китайскими шпионами, и мы вас обоих завтра же выпустим».

Осетин по неопытности, да еще под «градусом», подписал, после чего их обоих, и отца и сына, привезли в Москву, на Лубянку.

— Что я надделал! Что я надделал! И сына и себя погубил! — уже по-русски в отчаянии причитал старик.

У черноволосого и седуемого, с приятными, породистыми чертами Льва Львовича Кормилицына было тонкое лицо и такая выправка, что о нем сразу можно было сказать, что он дворянин по происхождению, в прошлом — офицер. Говорил он так: «Что-с?», «Вы изволили что-то сказать?». Во всем облике этого деликатного, всегда боявшегося кому-то помешать, всегда готового уступить старика была такая хрупкая незащищенность, что при взгляде на него у меня щемило сердце. Как нам с Кукушкиным ни было тесно, мы все-таки втиснули его посредине, а сами лежали теперь на боку. Из разговоров с Кормилицыным выяснилось, что дома у него осталась жена, лежащая больная, и глухонемой, нигде, как и мать, не работающий сын. Сам Лев Львович где-то служил и получал гроши. Оказалось, что мы с ним в дальнем-дальнем родстве.

В одну из ночей Лев Львович спал, лежа ко мне спиной, а от меня сон бежал. Я посмотрел на старчески седые и детски беспомощные завиточки на его шее, и при виде их по мне прошла волна невыразимой нежности к этому старому младенцу, мной овладело бессильное желание сделать для него хоть что-нибудь хорошее, уберечь его от невзгод. Я наклонился к нему и тихо-тихо, чтобы не разбудить, поцеловал его в голову.

А на следующий вечер его вызвали «с вещами», то есть не на допрос, а совсем из «собачника».

— Значит, на волю, Лев Львович, — предположил я.

Я знал с его слов, что кто-то донес одну-единственную невиннейшую его фразу о том, что страну оголодали и что доколе же, мол, это может продолжаться, — в этом состояло все его «дело». Ну, а затем — «социальное происхождение» и служба в царской армии.

Старик с радостной растерянностью засуетился.

Но тут вдруг, недалеко от окна, запыхтел автомобиль.

— Нет, Николай Михайлович, — встревожился Кормилицын, — это «черный ворон». Наверно — в Бутырки.

Я взмахнул «белым покрывалом»:

— Да нет, это грузовик подвез продукты. Ну зачем вас в Бутырки? У вас и дела-то никакого нет,— тоном многоопытного знатока рассудил я.

Мы крепко расцеловались.

Позже я узнал, что Льва Львовича отвезли в Бутырки и что передачи носил ему глухонемой сын.

...На допрос меня водили еще раза три.

Коридоры в коридоры,  
В коридорах — двери...

Исаев ни разу пальцем меня не тронул. Выразился нехорошим словом только однажды и тут же прибавил: «Извините за выражение». К его нехитрым в своем однообразии приемчикам я привык, и они перестали меня пугать. Он делал движение, будто достает из стола нечто такое, что должно привести меня в страх и трепет или же уличить в преступлении тягчайшем, но это оказывалось пачкой папирос или карандашом.

24 октября Исаев еще раз вызвал меня и прочел так называемое «обоснование» моего ареста:

«Будучи антисоветским элементом, гражданин Любимов Николай Михайлович готовил вместе со своим троюродным братом Орловым Владимиром Александровичем тер. акт на товарища И. В. Сталина».

— Да ведь в протоколе ясно сказано, что я никогда никаких антисоветских выводов не делал! — возопил я. — И какой же я террорист? Хорош террорист, нечего сказать! Винтовку в руки взять не умею, из пугача никогда не стрелял. Я же вас просил произвести у меня обыск!.. Нет, этого я ни за что не подпишу!

Исаев досадливо отмахнулся.

— Это вы все потом будете опровергать на допросах,— сказал он. — У вас еще будет время. Эту бумагу мне нужно предъявить своему начальству, чтобы оно знало, что я не зря держу вас под арестом. Она нужна мне, понимаете? А вас она по сути вашей не касается. Вам нужно только подписать ее как доказательство того, что вам известно, за что вы сидите. Ясно?

Я расписался в том, что мне известно «обоснование» моего ареста...

В камеру я вернулся убитый. «Великий утешитель» Кукушкин, которому я рассказал, зачем меня вызывали, пренебрежительно махнул рукой.

— Э, брехня! Не бойтесь! Это же чистая проформа. Они вам еще сорок раз обвинение переменяют и освободить могут. Больше припасть вам пока нечего, а отпустить неохота. Надеются: авось что-нибудь из вас выжмут. Каждый осужденный ставится им в плюс. А в самом этом обосновании ничего грозного нет, уж вы мне поверьте. Я еще в двадцать шестом году тут посидел, только совсем недолго. Тогда сидеть тут было одно удовольствие: народу — никого, хоть русскую пляши... Плюньте с высокого дерева, а потом ногой разотрите...

25-го вечером мне велели «собираться с вещами». После «обоснования ареста» я никаких иллюзий себе не строил. Перспектива мне была ясна: «черный ворон», Бутырки. Я простился с товарищами по «собачнику», где просидел 10 дней.

Последним простился со мной осетин.

— Ну, прощай, Любимов,— сказал он,— артельный ты парень!

И вот я в «черном вороне», на который, когда он проезжал мимо меня по улице, я смотрел с неизменным ужасом и с состраданием к тем неведомым мне людям, которых в нем везли. Настал и мой черед в нем прокатиться...

Среди моих «попутчиков» я не увидел ни одного знакомого лица. Всю дорогу мы ехали в хмуром молчании. Зарешеченная щель, заменявшая окошко, была до того узка, что в нее ничего нельзя было разглядеть. И только когда мы с Кузнецкого повернули на Петровку, передо мною мелькнула освещенная в упор уличным фонарем и заштрихованная решеткой полоска витрины углового двухэтажного магазина (тогда там помещался один из Торгсинов), до сих пор еще не снесенного. И вот тут мне стало так горько, что я почувствовал, как у меня задергались губы. Ведь я же еще несколько дней назад ходил мимо этого магазина, сейчас вдруг ставшего для меня несказанно дорогим, точно это был не

магазин, а мой родной дом. Ходил такой счастливый и не подозревал, что я счастлив! Ни с чем не сравнимое счастье свободы мы начинаем ценить тогда же, когда и здоровье,— стоит нам потерять их. Будничное очарование внешнего мира бросается нам в глаза, когда мы вдруг увидим его частицу сквозь стремительно движущуюся щель «черного ворона». Вот так же больно и завидно было мне потом смотреть во время прогулок по тюремному двору на птиц, беспрепятственно перелетавших за пределы бутырского мира,— до того больно, что ближайшие мои друзья почти силком выволакивали меня из камеры подышать воздухом...

По приезде в Бутырки нас высадили из «черного ворона» в скупое освещенном дворе, выстроили попарно и куда-то повели. Конвоиры, шедшие впереди, то и дело кричали шедшим сзади: «Алё!» Мы поминутно оставались, подолгу стояли, как на демонстрации. Потом нас ввели в огромное помещение с цементным разрисованным, точно в церкви, разноцветными квадратами и ромбами полом. Это был так называемый «вокзал». Сюда привозили «пассажиров» с Лубянки и отсюда увозили на этапные поезда. Нас заперли в одном из боковых тесных «залов ожидания». Стены этого «зала» были сплошь испещрены надписями: заключенные извещали о своей участи то с трагическим лаконизмом, то с похабно-горестной бесшабашностью: «Получила десять лет не за... Манька Волчок».

Дверь отворилась. Кто-то в шинели и в уже опостылевшей мне фуражке с малиновым околышем, обжав взглядом собравшихся в камере, ткнул пальцем в меня и еще в двух парней:

— Ты, ты и вон ты! Выходите!

Мы вышли на «вокзал».

— А ну-ка, вымойте пол! Ведра и тряпки вон там.

Я сроду не мыл полов даже в комнатах родного дома. А тут вокзальной широты и длины помещение! За десять дней полуголодного существования я ослабел; не замедлили сказаться и моя неопытность и моя природная неуклюжесть. Я весь выгваздался, забрызгался, выбился из сил. У меня закружилась голова, и я сел на пол. Надзиравший за нами подошел ко мне:

— Что? Уже скопытился? Эх ты, белоручка! Ну, иди обратно в камеру.

Мои будущие товарищи по несчастью впоследствии разъяснили мне, что мытые «вокзала» — это был чистейший произвол тюремных «нижних чинов», что подследственные — не осужденные, что их не разрешается использовать на физической работе и что я имел полное право отказаться от наведения чистоты и порядка на «вокзале».

Потом меня вызвали к какому-то тюремному бюрократу на предмет заполнения еще одной анкеты.

Просмотрев мою анкету, которую я заполнил сам, бюрократ смерил меня недоверчиво-насмешливым взглядом.

— Ты где ж это «письмоводителем» был?

— А вы читайте внимательней: я — не письмоводитель, я — писатель.

После этого он сразу перешел со мной на «вы». А затем меня с первой партией заключенных снова вывели во двор.

Подходим к одному из тюремных корпусов. И опять

Коридоры в коридоры,

В коридорах — двери,

но только двери с «глазками», как видно — наглухо запертые снаружи. Нас стали разводить по камерам. На каком-то этаже — кажется, на втором,— странно, что забыл этаж! — повернули по коридору направо и остановились возле 64 камеры, слева от лестницы.

Войдя, я остолбенел от многолюдства. Справа и слева — нары. На нарах впритык один к другому — люди. Кто лежит, кто сидит на одеяле или же на голых досках, кто прогуливается по камере между нарами. На стенах развешены узелки и сумки с едой, бидончики, верхнее платье. Прямо против двери — окно с решеткой, выходящее во двор. Между рамами — сверточки со сливочным

маслом и другими скоропортящимися продуктами. У окна — узкий и длинный стол.

Самое мучительное в первых моих впечатлениях от камеры было то, что все эти люди, пока еще образовывавшие для меня одноликую массу и чье многоплеменное разноголосье звучало для меня пока еще слитным гулом, по виду спокойно занимались своим делом: кто читал книгу, кто играл в шахматы, вылепленные из хлебного мякиша, кто разговаривал с соседом, кто напевал. Здесь шла какая-то своя, тюремная жизнь, оседлая, застойная, упорядоченная, принявшая определенные, привычные, повседневные формы. Нет, уж лучше «собачник» с постоянными вызовами на допрос, с ежедневной сменой лиц! Там есть надежда на тот или иной, но по крайней мере скорый поворот в судьбе, а здесь?.. Я не мог понять, как этим людям втерпез читать, играть, петь...

Еще тяжелей стало у меня на душе, когда я узнал, что следствие тянется долго, что три-четыре месяца — это еще благодать, что здесь есть ветераны, сидящие полгода, семь, десять, одиннадцать месяцев. Значит, и меня ожидает такая же доля? Нет, я в этом стоячем болоте долго не выживу. Нет, я этого не перенесу!.. Я зашагал взад и вперед по камере, от стола до двери и обратно, потом в отчаянии присел на краешек нар.

Тут ко мне подошел низкорослый заморыш с черными глазами навывкате, с жиденькими волосами, сквозь которые просвечивала плешь, и густым басом, что не шло к его тщедушному тельцу (невольно думалось: как в нем помещается такой голосина?).

— Вы с Лубянки-два или с Лубянки-четыренадцать? — задал он мне вопрос.

Потом я убедился, что именно с этого вопроса начинаются разговоры с новичком. «Лубянка-два» — это центральное, всесоюзное ОГПУ, а на Лубянке-14 помещалось тогда так называемое ПП (полномочное представительство) ОГПУ по Московской области. Мне до сих пор непонятно, почему это уж так интересовало заключенных. Степень «важности» дела и суровость приговора редко когда определялись тем, какое из этих учреждений «опекало» подследственного.

За этим вопросом обычно следовал другой:

— А давно с воли?

До ареста слово «воля» имело для меня книжный, отвлеченный, поэтический смысл. Теперь у меня с ним связывалось нечто осязаемое, насущное, но недоступное и такое желанное, что при одной мысли о воле у меня спирало в груди.

Осведомившись, кто я таков, незнакомец назвал себя:

— Александр Александрович Сибиряков-Тайгин, журналист.

Я вспомнил, что какая-то статья, подписанная фамилией «Тайгин», однажды попала мне в «Новом мире».

Я вкратце рассказал ему о своем «деле» (мысль о том, что в камере могут быть так называемые «наседки», то есть посаженные осведомители, мне по неопытности не приходила в голову, но в мою бытность в 64 камере «наседок», видимо, и не было) и признался, что у меня гвоздем сидит в голове мысль, как переживет мой арест мать. Сибиряков сообщил, что он сидит за троцкизм, что нераскаявшихся троцкистов остались считанные единицы, что они ушли в подполье, что название их партии — Всесоюзный центр большевиков-ленинцев и что их гимн — не «Интернационал», а «Варшавянка».

— Вихри враждебные веют над нами,  
Темные силы нас злобно гнетут,  
В бой роковой мы вступили с врагами,  
Нас еще судьбы безвестные ждут,—

пробасил он вполголоса, с провидчески мрачным вызовом, производившим, впрочем, трагикомическое впечатление по контрасту с его почти лилипутской фигуркой, и добавил:

— В двадцать седьмом году после ноябрьской демонстрации, когда вся Бутырская тюрьма была забита троцкистами, здесь стены дрожали от «Варшавянки»!

Это была для меня новость. Жалобы Троцкого и Зиновьева на производив-

шиеся в 27 году аресты их единомышленников тогда не попадались мне на глаза. Я знал, что арестовали и арестовывают монархистов, октябристов, кадетов, эсеров, меньшевиков, беспартийных интеллигентов, крестьян, священнослужителей, «бывших людей». Но что арестовывали и арестовывают товарищей по партии — это не укладывалось у меня в голове. И уж потом, когда я обжился в камере и ко мне вернулась способность думать не только о своем положении, моя мысль постоянно возвращалась к первому разговору с Сибиряковым. За что же арестовывали и арестовывают троцкистов? Какие у них средства борьбы? Сходки в лесу, письма, листовки, демонстрации. За что же тогда клеймить жандармов, разгонявших маевки и демонстрации, сажавших за участие в них и за распространение листовок? Почему школьники обязаны проливать слезы над участью горьковской «Матери»? В листовках революционеры призывали свергнуть самодержавие. А троцкисты призывают свергнуть не советскую власть и коммунистическую партию, а только диктатуру Сталина, свергнуть мирным путем, а не силой оружия. И почему никто не пикнул в защиту товарищей, не пикнул никто из самых «гуманных» большевиков — ни Рыков, ни Бухарин, ни Семашко, ни Луначарский?.. Только теперь я вычитал в старых газетах, что и Рыков, и Бухарин, и Томский одобряли аресты своих бывших сподвижников.

Вечером, после ужина, бессонная ночь и неприкаянность — кроме Сибирякова, я ни с кем не познакомился в камере, я был на положении новичка, которому негде приткнуться — довели меня до того, что я опять присел у кого-то в ногах и, уронив голову на руки, в первый и последний раз за всю мою тюремную жизнь заплакал. Вдруг кто-то погладил меня по голове. Я встрепенулся. Подле меня стоял Сибиряков. Он заметил мои вздрагивающие плечи и подошел ко мне.

— Коля, не плачьте! — Его бас прозвучал неожиданно мягко. — Все у вас будет хорошо. И маму свою вы увидите непременно! Вот помяните мое слово!

И тут я будто переродился. Я поверил Сибирякову беспрекословно. Я улыбнулся сквозь слезы и крепко сжал его ручонку. Потом мне в Бутырках не раз бывало и страшно, и горько, и тяжело, я терпел лишения, но с той минуты я больше ни разу не впал в уныние.

На нарах многим не было места. На ночь из-под нар выдвигались деревянные щиты, и новички укладывались на них вповалку. Я лег в пальто, под голову подложил кепку и, истомленный, но и успокоенный, заснул. <...>

И потекли бутырские дни моей жизни...

Утром — поверка. Потом — всей камерой — в правый конец коридора — оправляться и умываться; двое дежурных заключенных выносили за ночь наполнившуюся доверху «парашу». Потом ты получал пайку хлеба, которую нужно было растянуть на целый день, потом — жидкий сладковатый чай. А потом — до самого обеда — делай что хочешь, почти как в Телемской обители у Рабле. На обед — баланда и каша, чаще всего — пшенная. Только 7 ноября нам дали рыбы и белого хлеба. На ужин опять каша и чай. После ужина — вторая поверка. Одно из утренних развлечений — дезинфектор, приходивший опрыскивать каким-то составом «парашу». Мы его с комической почтительностью называли «доктор». Кого-то — чаще всего ранним вечером — вызывали на допрос. Кого-то коридорный, держа в руках синий билетик, днем, часа в 4 — в 5, вызывал: «Такой-то!» «Такой-то» отвечал: «Здесь». — «Имя-отчество?» — «Так-то и так-то». — «С вещами соберитесь». И цвет билета и время дня были дурными знаками: значит, вызывают для объявления приговора, вынесенного заочно Особым совещанием при Коллегии ОГПУ. Ведь тогда нас женило без нас так называемое Особое совещание. Наиболее важные, с точки зрения ОГПУ, дела выносились на Коллегию. И только над лицами, которых Сталин находил для себя нужным судить публично, инсценировался суд с обвинительным заключением, публично даваемыми показаниями подсудимых, показаниями свидетелей, прениями сторон, словом, со всей процедурой всамделишного суда. В республиканских и краевых центрах тоже судили заочно так называемые «тройки». Выслушав приговор, подследственный превращался в осужденного, и его вели в помещение, в котором «набирался» этап, направлявшийся в те края, где, согласно приговору, осужденному надлежало отбывать срок наказания. Иногда вызывали поздним вечером по белому билету. В камере возникало радостно-завистливое оживление: значит,

на волю!.. Дрожащими, непослушными от счастья и от страха руками собирал свои манатки вызванный, а в это время товарищи наперерыв пытались вколотить ему в память адреса своих родных, чтобы он навестил их, и уговаривались, чтобы родные в знак того, что он у них был, положили им в следующую передачу, скажем, две луковицы или одну головку чеснока. Новичков чаще всего приводили утром. Каждый день перед обедом — прогулка по тюремному двору. Часовые во время прогулок не требовали от нас воинского повиновения. Мы ходили «вольнo», не равняясь «в затылок». Из окон других камер заключенные, найдя среди нас своих «однодельцев» или знакомых, что-то кричали, показывали на пальцах, какой у них пункт обвинения. Двадцать лет спустя я узнал, что мне безуспешно делал знаки Виктор Яльмарович — я его так и не заметил. Раз в неделю — баня. В бане наши носильные вещи подвергались выпариванию и дезинфекции. Когда мы возвращались в камеру, здесь тоже едко воняло карболкой. Я до сих пор не переношу этот запах — он стал для меня запахом неволи.

Те, кто посидел предварительно во внутренних изоляторах на Лубянке-2 или на Лубянке-14, утверждали, что в Бутырках хоть и грязнее, и скучнее, и голоднее, но зато здесь сравнительно «по-домашнему». Там каждому заключенному полагалась отдельная койка с чистым бельем, там прилично кормили, выдавали папиросы, но зато там царила пугающая тишина, разговаривать позволялось только шепотом, караульные отдавали заключенным распоряжение вполголоса, на допросы вызывали обычно ночью, когда человек, истомленный бессонницей, только-только уснет; если заключенный высовывался в фрамугу, часовой имел право стрелять без предупреждения. «Я вам не скажу за всю Одессу», как поется в песне, — я вам не скажу за всю Бутырскую тюрьму того времени, но при мне из 64 камеры никого не таскали на допрос ночью, никого не пытали. Ругались следователи на допросах художественно, угрожали, издевались. Бить — бивали, но только — «по мордám», да и то — не слишком часто, главным образом — в тех случаях, когда подследственный, набравшись храбрости, отказывался от своих предварительных показаний, от всего, что он наговорил на себя и на других по неопытности, со страху. В этих случаях его подвергал обработке с помощью угроз, мата и мордобоя целый коллектив следователей, но если смельчак выдерживал испытание, то ему обычно все-таки заменяли прежний пункт обвинения другим, более легким. Словом, частота и тяжесть допросов для большинства тех, кого усылали с Лубянок в Бутырки, оставались позади. В Бутырках угнетали не частые допросы, а напротив — почти полное их отсутствие, томительное ожидание приговора. Заключенные очень скоро усваивали три основные заповеди, по которым надо было жить в советской тюрьме: «Не верь следователю, не бойся его и ни о чем у него не проси». И еще: если следователь кричит и грозит, это лучше, чем если он начинает с медоточивого, изысканно любезного тона, успокаивает, угощает папиросами — три рубля пачка — и предлагает коньячку. Чем мягче стелет следователь, тем жестче потом будет спать подследственному. Так обстояло в ОГПУ в мои времена.

В камерах при мне было самоуправление: на общем собрании заключенных выбирались староста (его могли переизбрать, если камера находила, что он не оправдывает ее доверия) и его помощник. Староста по своему выбору назначал библиотекаря. В обязанности библиотекаря входило раз в месяц посещать тюремную библиотеку и менять книги. Начальство смотрело сквозь пальцы на некоторые виды тюремной самостоятельности. Когда обязанности библиотекаря перешли ко мне, я постарался круг моих обязанностей расширить — из библиотекаря я стал «культурником»: по вечерам читал лекции по русской литературе, читал наизусть стихи, предлагал выступить с чтением стихов или юмористических рассказов другим. Почти каждый вечер у нас устраивались лекции и литературные концерты. <...>

До меня библиотекарем был у нас приемный сын артиста МХАТа-II Новского Владимир Михайлович Поллак. Он был лет на семь старше меня. Мы сошлись с ним на любви к литературе. Он был уверен, что по характеру его дела ему не миновать лагеря, хотя и не на долгий срок, и что скоро его вызовут на этап. Так оно и оказалось: ему дали всего два года самого близкого к Москве лагеря: «Волга — Москва». Он заранее уговорился со старостой, что когда его

вызовут на этап, то обязанности библиотекаря перейдут ко мне. Перед годовщиной Октябрьской революции был «большой этап», и при этом почему-то, сверх обыкновения, ночью. Меня разбудили под утро. Оказалось, что Владимира Михайловича вызвали «с вещами». Мы с ним простились, и я прямо со счита, минуя не ласкавшее обоняния соседство с «парашей», перебрался на комфортабельное место на нарах, слева от входа, близко от окна. Я попал в окружение инженера-строителя Александра Николаевича Коншина, инженера-нефтяника Куприянова, бывшего директора одной из московских поликлиник доктора Романа Леонидовича Беляева и пекаря Вани Кондратьева.

Итак, с жильем я устроился как нельзя лучше.

Передо мной лежит лист пожелтевшей бумаги. Это — список книг, который я составлял на основании пожеланий заключенных перед уходом в библиотеку. Список у меня не нашли при обыске, когда я покидал Бутырки, и я сохранил его на память. Кого-кого только в нем нет! Щедрин и Мережковский, Чернышевский и Арцыбашев, Достоевский и Уэллс, Мельников-Печерский и Эренбург... Ходил я в помещавшуюся в другом корпусе библиотеку под конвоем, еще с одним заключенным — одному мне было не донести. Книги нам меняли заключенные с интеллигентными испитыми лицами, в ватниках с нарукавниками: они отбывали свой срок в Бутырской тюрьме. При обмене книг присутствовал гепеушник в форме, просматривал принесенные книги и драл с нас немилосердные штрафы за малейшие изъязны. Протестовать было бесполезно: поди доказывай, что оторвали корешок или помяли уголок страницы читавшие эту книгу до нас! Штраф потом раскладывался на всех, кто в нашей камере пользовался библиотекой и имел деньги.

Гораздо хуже дело обстояло у меня с едой. Раз в неделю нам разрешалось покупать себе папиросы и съестное (баранки, калачи, соленые огурцы, конфеты) в тюремной «лавочке», куда отправлялся староста с помощником, но деньги у меня отобрали на Лубянке, и покупать мне в лавочке было не на что. Наконец мне вручили квитанцию, где была точно обозначена сумма отобранных у меня денег. Сумма была, однако же, столь ничтожна, что на нее не очень-то можно было раскутиться. К довершению всего, я одну «лавочку» пропустил — так долго шла моя квитанция с Лубянки в Бутырскую тюрьму, и я целую неделю ждал второго похода за снедью. Нам дозволялось сообщать о том, где мы пребываем, родственникам или близким знакомым. Я написал Маргарите Николаевне, что обретаюсь в «Бутырском политизоляторе», как его приказано было тогда величать (при царе, мол, были тюрьмы, а у нас изоляторы), но потом и этот фиговый листочек был сброшен вместе со всеми прочими, вроде «меры социальной защиты» вместо «меры наказания»; всяких там комполка, комбригов, комдивов и комкоров вновь переименовали в полковников и генералов, а народных комиссаров — в министров. Однако мое краткое уведомление пришло на Тверской бульвар через месяц. Еще я очень нуждался в кружке и ложке. Кружка и ложка для заключенного — это все равно что тетрадь и перо для школьника. Мне приходилось клянчить эти необходимые в тюремном обиходе предметы то у того, то у другого. Продуктовую передачу каждый из нас имел право получать раз в декаду. Кроме того, нам можно было доставлять носильные вещи и передавать известную сумму денег раз в месяц. На эту сумму нам выдавались квитанции — иметь наличные деньги заключенным не полагалось. На стене у нас было вывешено расписание передач: по таким-то дням декады получали —

АБВ

(то есть заключенные, фамилии которых начинались с этих букв), затем —

ГДЕЖЗИ  
КЛМНОП

и так далее.

И вот уже раза два получали передачи КЛМНОПы, а мне все нет как нет...

Когда меня арестовали, Маргарита Николаевна была в Ленинграде. Но почему ничего нет от мамы? Зная ее нрав, я мог быть уверен, что, узнав, что со мной случилось, она бросит сестру, бросит работу и прилетит в Москву. Почему же мне нет передач? Значит, она больна?

Или:

Весть помчалась через реки,  
Через города —

и сердце сказало: «Больше не могу»?

Ну, а кроме того, хотелось есть, хотелось весь день. Меня подкармливал мой ровесник, слесарь Женя, но ему самому носила скудные передачи бабушка.

Наконец в один из дней КЛМНОПов, когда я уже отчаялся получить передачу, дежурный по коридору назвал мою фамилию, я в ответ назвал свое «имя-отечество», и мне передали большущий мешище со съестным, кружку, ложку и список принесенного, написанный маминой рукой. Я должен был на нем расписаться. Я написал, как писал потом всегда: «Получил сполна, здоров, благодарю, целую. Николай Любимов». Иной бутырский «цензор» пропускал все, от первого до последнего слова, другой зачеркивал лирику, но так, что мама разбирала ее, третий густо-густо зачеркивал все, кроме: «Получил сполна» и подписи.

Причина задержки с передачей выяснилась потом.

Приехав в Москву, мама сперва обегала больницы и морги — она была убеждена, что я жертва несчастного случая. Нигде не найдя моих следов, она поехала на Лубянку. Справки там давали тогда в ныне не существующем здании, находившемся на углу Лубянской площади и Мясницкой. Мама подошла к окошку и справилась, здесь ли такой-то. Интеллигентный по виду человек (я потом имел удовольствие видеть его и беседовать с ним) посмотрел на нее сквозь пенсне без оправы пустыми глазами, в которых лишь по временам вспыхивали недобрые искры, потом заглянул в какой-то список и с вкрадчивым злорадством объявил:

- У нас находится.
- То есть где у вас?
- Здесь, во внутреннем политизоляторе.

У мамы, воображавшей, что меня уже нет в живых, что я погиб под колесом трамвая или автобуса, невольно вырвалось:

— Ах, здесь, у вас?.. Ну, слава Богу...

У человека в пенсне отвисла нижняя губа от изумления. На подобный эффект он явно не рассчитывал, да и вряд ли когда-нибудь вызывал его своим сообщением.

- А что можно ему передать?
- Справьтесь в таком-то окне.

В списке лиц, имевших разрешение на передачу, меня не оказалось.

Мама опять к человеку в пенсне:

- Там говорят, что моего сына в списке нет.
- Значит, передача ему не разрешена.

— Но ведь он ушел в летнем пальто, а сейчас завернули холода, и денег у него с собой почти не было. Надо же ему передать на питание, на папиросы — он курит...

— Не беспокойтесь, гражданка, — со своей обычной неторопливой вескостью заговорил человек в пенсне. — У нас тепло, кормят сытно и дают папиросы.

А я в это время был в Бутырьках, за внутренним же изолятором не числился ни одного дня, ибо не переступал его порога.

Долго так гоняли маму от окна к окну. В другом окне человек оказался менее твердокаменным. Однажды он посмотрел на маму с подобием сочувствия в глазах и сказал:

— Да вы узнайте повернее в том окне. Может, вашего сына куда-нибудь перевели.

Мама — к человеку в пенсне:

— Там мне опять ответили, что мой сын не числится на получение передачи. Может быть, его перевели?..

Человек в пенсне, глядя на нее в упор, отчеканил:

— Гражданка! Я же вам несколько раз давал точную справку, что ваш сын — здесь, во внутреннем политизоляторе. Но дело в том, что некоторым заключенным передача разрешается сразу, другим — вскоре после ареста, третьим — не скоро, а некоторым... — он выдержал паузу, — и совсем не разрешается...

Но тут одна из страждущих, слышавшая этот диалог, отвела маму в сторону и сказала:

— Они здесь нарочно врут. Поезжайте в Бутырскую тюрьму, узнайте, на какие буквы в какие дни бывают передачи, а потом и поезжайте в свой день прямо с передачей. Примут — значит, ваш сын там. Я так и сделала.

Так поступила и мама. И когда ей вернули ее список с моей припиской, в которой не было зачеркнуто ни одного слова, она впервые со дня получения известия о моем исчезновении, не стесняясь ничьим присутствием, залилась слезами и долго целовала захватанную руками приемщика, цензора, разносчика и коридорного бумажку.

...Как постепенно сквозь утренний туман проступают очертания не похожих один на другой предметов, так из одноликой массы, какую мне вначале представлялось народонаселение 64 камеры, для меня мало-помалу начали вырисовываться лица и фигуры во всем своеобразии выражений, положений, движений, ухваток, ужимок, повадок, улыбок, усмешек, ухмылок, шепота, говора, хохота, гогота, смеха, смешка.

В моем ряду крайнее к окну место занимал похожий лицом на киргиза староста камеры Александр Николаевич Коншин, инженер из Воронежа, до ареста работавший на каком-то крупном строительстве. Его долго мытарили в Воронеже, возили из Воронежа в Усмань, где обыкновенно приводились в исполнение смертные приговоры, вынесенные в воронежском ОГПУ, некоторое время держали его там в страхе смертном, потом снова увозили в Воронеж, наконец, не добившись толку, препроводили в Москву. В общей сложности он сидел около года, но так и не сдался и ничего на себя не подписал. Его жена за это время спустила все, что могла, из вещей и посылала ему тощие посылки. Те из нас, кто получал приличные передачи, старались хоть чем-нибудь его поддержать.

Рядом с Коншиным занимал место угрюмый, несловоохотливый инженер-нефтяник Куприянов. Его сломили, и он сознался во «вредительстве». Сидел он уже месяцев семь и со дня на день ожидал приговора. Больше всего он боялся Ухто-Печорского лагеря. Потом мы случайно узнали, что он получил 10 лет именно этого лагеря.

Рядом с Куприяновым лежал доктор Роман Леонидович Беляев, росту чуть ниже среднего, брюнет с черными усиками, придававшими ему сходство с добродушным тараканом. Ему почему-то клеили «шпионаж», ничего хорошего он для себя не ждал, тосковал по жене и дочке, но не терял не только присутствия, но и веселости духа. Я лежал рядом с доктором. Мы с ним были особенно дружны — дружны теплой дружбой отца и взрослого сына. Он укрывал меня по ночам, делился со мной всем, что ему передавали, вытаскивал меня на прогулку.

— Николенька! На воздух! — с грубоватою ласковостью покрикивал он. — Тебе не надоело тюремным бздехом дышать? Ваня, тащи его!

Моим соседом справа был здоровый — об дорогу не расшибешь, статный, пригожий — по таким девки сохнут — пекарь Ваня Кондратьев. Он сравнительно недавно переехал в Москву и не успел утратить простоватость деревенского малого. От него еще пахло свербигой и коноплей. Видя мою неловкость и беззлбно над нею подтрунивая, он помогал мне во всем, где требовалось применить силу и выказать сметку.

Рядом с Кондратьевым было место немецкого коммуниста Карла Штейнара, в обиходе — Карлуша. Штейнар бежал из Германии от безработицы и, приехав с женой на «родину всех трудящихся» в конце «первой пятилетки», поступил техником на один из московских заводов. Розовые внутри ноздри и белые усы делали его удивительно похожим на кота. Хотелось почесать его за ухом и под подбородком. В общем, он был благодушен, но вспыльчив и азартен в спорах. О том, за что он сидит, Карлуша рассказывал на ломаном русском языке так:

— Меня зовут Гепеу. Зледователь говорит: «Скажи: твой начальник — шпиён, фашист». Вот — доктор, — тут Карлуша указывал на Романа Леонидовича. — Доктор — кароший человек. Нье могу скасать: «Плёхой». И про мой начальник нье мог скасать. Тогда зледователь: «А, нье можешь! Ну, так ты сам — шпиён, фашист. Садис тюрьма...» Ньет, нам Германия такой социализм

ные надо!.. — этой сентенцией Карлуша обыкновенно заканчивал свою краткую повесть.

Карлуша знал несколько строк из одной русской песни и время от времени с чувством мурлыкал:

Збэйтэ окови, дайтэ мнѣ воля —  
Я наутшу вас звобода любит...

Рядом с Карлушей лежал шофер, до ареста ездивший на грузовике. Это была наша в некотором роде знаменитость. По ночам он так громозвучно выпускал ветры, что сам себя этим будил, вскакивал и, спросонку не разобрав, что стряслось, ошоропело мотал головой и протирали глаза.

Рядом с шофером расположился Тарасов, пузатый, с очень глупым лицом старик в сером свитере, специалист по пластмассе. Он только и говорил, что о пластмассе, о пластинках (за это мы прозвали его: Пластмасса) да о своей молоденькой жене Аллочке, в благонравии которой он, по нашим наблюдениям, был не совсем твердо уверен. Этот, в отличие от своего соседа слева, по ночам выводил рулады носом. Порой наше терпение истощалось, и, растолкав его, мы говорили: «Перемените пластинку!»

Рядом с храпуном было место Якова Борисовича Розенфельда, попросту — Яши, «красавца мужчины» с томными, игривыми, плутовскими черными глазами, единственного в нашей камере франта, ходившего в дорогом, цвета хаки, костюме военного покроя и в крагах. Этот костюм поначалу ввел меня в заблуждение, и я принял Яшу за начальство.

Яша Розенфельд был, что называется, малый «компанейский», отличный товарищ. Что было в нем неприятного, так это страсть рассказывать о своих неисчислимых любовных победах — рассказывать с хвастовством и несомненным прильгиванием.

Яша обладал талантом эстрадного певца и этим своим талантом доставлял нам много скорбно-отрадных минут.

Яша не пел «под» Вертинского — он прекрасно пел его романсы и по-своему играл их лирического героя. Побывав много лет спустя на концертах Вертинского, я пришел к заключению, что Вертинский был неизмеримо более тонкий артист, но голос у Яши был не только свежее, но и сильнее и звучнее, чем у Вертинского.

Когда Яша пел, его пошловатость шахер-махера, распространявшего за известный процент портреты вождей и плакаты, и удачливого кавалера исчезала. Он преображался на глазах.

Ваш любовник — скрипач, он седой и горбатый, —

поет Яша, и мы видим этого уroda и проникаемся жалостью к ней, зачем-то связавшей свою жизнь с безобразным стариком.

Он вас дико ревнует, и любит, и бьет, —

это Яша нараспев, с надрывом проговаривает. И вдруг его голос преисполняется певучим, почти неземным восторгом, в котором слышится кипение блаженных слез:

Но когда он играет концерт Сарасате...

Легкая пауза — и опять оттеняющая голосовые переливы скороговорка:

Ваше сердце — как птица...

Скороговорка внезапно обрывается:

...летит — и по-ет!..

Сравнение перестает быть сравнением: в поднебесье взмывает птица, и мы слышим ее самозабвенное славословие.

Особенно нас, заключенных, брала за сердце в Яшином исполнении эмигрантская песня Вертинского:

Молись, кунак, в стране чужой,  
Молись, кунак, за край родной,  
Молись за всех, кто сердцу мил,  
Чтобы Господь их сохранил.  
Пускай теперь мы лишены  
Родной семьи, родной страны,  
Но верим мы: настанет час,  
И солнца луч блеснет для нас.

Репертуар Яши был разнообразен. Не менее выразительно исполнял он и цыганские песни с их заунывно-иступленным, носовым, гортанным, картавым клекотом:

Йе-схали цыга-ане  
Да с ярымарыки,  
Цыга-не с ярымарыки,  
Да ой-ой-ой,  
Ёнэ ста-ановилися  
Ой да пады ябыланикай.

Все мы, принимавшие участие в хоре, тихо подхватывали медлительный припев, мелодия которого залетела к нам Бог весть когда с кофейнолицего, изборожденного морщинами, точно скала — вековыми складками, и точно скала — неподвижного, погруженного в дремотное созерцание Востока.

Но, пожалуй, особенно хорош был Яша в репертуаре Утесова — наверное, потому, что он был одессит, а еще потому, что у него самого были какие-то черты утесовского героя.

Яша нел про Гоп-со-Смыком, а мы посильно изображали джаз. Особенно старался доктор Беляев: он то надувал щеки, подражая какому-нибудь бассовитому инструменту, то складывал губки бантиком, чтобы изобразить пи-скливуу флейту.

Ай, жил-был на Подоле Гоп-со-Смыком,—

горделиво начинал Яша.

Та-рам! —

отвечал ему самодельный джаз.

Славился своим басистым криком...

Та-рам!

Глотка была прездорова,  
И мычал он, как корова,  
А врагов имел мильон со смыком.

Последнюю фразу Яша пел, многозначительно подняв указательный палец.

Гоп-со-Смыком — это буду я!

Тут Яша застывал в величественной позе.

Вы, друзья, послушайте меня:  
Ремеслом избрал я кражу,  
Из тюрьмы я не вылажу,  
Исправдом скучает без меня,—

это и с легкой иронией, и с сознанием собственного достоинства. <...>

Затем Яша превращался в вора из леоновского романа с одноименным названием, но только опять-таки одессита: бывшего красного партизана, красного командира, отвыкшего за время гражданской войны от мирного труда, при нэпе не нашедшего себе места в жизни, возненавидевшего и нэп и нэпманов, знаменовавших для него возврат к старому, постепенно сделавшегося завсегдатаем исправдомов и тюрем.

Голос Яши выражал горечь и бессильную ярость обманутого и дотла прожегшего свою жизнь человека:

С одесского кичмана  
Сбежали два уркана,  
Сбежали два уркана  
Тай на во... во-во-во-во-во-лю...

Товарищ, товарищ!  
Болять мои раны,  
Болять мои раны  
В глыбоке,  
Одна-а заживает,  
Другая нарывает,  
А третья раскрылась на боке.  
Товарищ, товарищ!  
За что же мы боролись?  
За что же проливали свою кровь?  
Они же там танцу-ують,—

поводя плечами, как это делают фокстротирующие, навзрыд негодовал Яша,—

Они же там пиру-ують,  
А ты здесь подавай им сыновьев!

И наконец:

Шел я на малину,  
Повстречались урки,  
И один другому говорит:  
«Мы ж ее поймали  
В кожаной тужурке —  
Там за переулочком лежит».

«Здравствуй, моя Маша,  
Здравствуй, дорогая,  
Здравствуй, моя Маша, и прощай!  
Ты зашухерила  
Все наши малины —  
Так теперь маслину получай!  
Разве было плохо  
У нас на всех малинах?  
Разве не хватало барахла?  
Зачем же ты связалась  
Со всеми лягашами  
И пошла работать в Губчека?»

Последнюю фразу мы повторяли хором — повторяли с особым вкусом и в такт неистово стучали ладонями о стол. Тут иногда в дверь просовывалась голова нашего любимого коридорного, широколицего голубоглазого рыжеусого мужичка — таким я представлял себе тип прежнего «служивого».

— Хорошо вы поете, ребята, только нельзя ли потише? — говорил он. — А то и вам ну-ка достанется и мне как бы не влетело.

И это он не просто вызывал кого-либо в вечерный час: «С вещами соберитесь», — а с неподдельной, нескрываемой радостью шептал на всю камеру:

— На волю! На волю! Скорей! Скорей!

И тьма тюрьмы была не без добрых людей...

Хором пели мы украинские песни, и тогда к нам присоединялись не переводившиеся у нас в камере украинские «хлиборобы»:

Ой, на гори да жэнцы жнуть,  
Ой, на гори да жэнцы жнуть.  
А по-пид горою,  
По-пид зэлэною  
Козаки йдуть.

Струистые извивы знойного марева над изумрудною степью. Цокают в лад копыта сытых коней. Бренчат стремяна. Звенят удила. Чуть покачивается в седлах чубатая черноусая вольница — быть может, далекие предки тех горемык, что изнывают сейчас вместе с нами в неволе.

Когда же мы пели:

Щоб наша доля нас нэ цуралась,  
Щоб краше в свити жилося,—

«хлиборобы» всегда как-то грустно оживлялись, и что-то похожее на робкую-робкую надежду засвечивалось в их сумных очах.

За Яшей Розенфельдом лежал нескладный, большеглазый, носатый Женя, тихий, смирный молчун. Он был круглый сирота, жил вдвоем с бабушкой, воспитавшей его. И он только однажды сказал мне своим протяжным, глуховатым баском:

— Бабушку жалко! Когда меня угонят, кто ее прокормит?

«Дело» его заключалось вот в чем: кому-то он имел неосторожность сказать, что у них в заводской столовой жрать нечего и в магазинах ни фиги нет. Этот «кто-то», придав Жениным фразам более широкий смысл, донес на Женю. К Жене явились с ордером на обыск и на арест и нашли старый заржавленный отцовский револьвер, про который Женя давно забыл. Женю арестовали и предъявили ему обвинение: 58 статья, пункт 8. 58 статья — контрреволюция, пункт 8 — террор.

— Следователь сказал, что года три концлагеря припаяют,— заключил Женя.

Слушая немногословный рассказ Жени, я думал: «Ну что бы Сталину заглянуть в нашу камеру и посмотреть, кого обвиняют в намерении покуситься на его драгоценную жизнь?.. Посмотрел бы он на Женю, на меня... Пусть бы полюбовался, как выглядят теперешние да еще мнимые террористы. Ведь он должен был бы сгореть со стыда! Пусть бы даже он поверил, что мы с Женей и впрямь злоумышленники, но если сравнить нас с поднимавшими руку на царей и великих князей Кибальчицем, Желябовым, Каляевым, так ведь это же срам!.. А впрочем, по Сеньке и шапка!..»

За Женей обитал Сибиряков. Ему никто не приносил передач. Он жил только тюремным рационом, теми крохами, которые он получал из так называемого комбеда (по нашему неписаному правилу все получавшие передачи выделяли частицу для не получавших ни денег, ни передач), да случайными угощениями. Лицо у него было как у покойника, пролежавшего три дня в гробу. Вскоре он заболел, его перевели в больницу, и след его затерялся.

Прямо напротив меня лежал Алеша Гедройц. Была у него еще одна фами-

лия. Русское простонародье дифтонгов и скоплений согласных не терпит. Алешу выкрикали: «Гедройц!» Он называл свое имя и отчество, тогда его спрашивали: «А другое фамилие?» Вот это его другое «фамилие» я позабыл.

У него было милое лицо с девичьи ласковым и застенчивым выражением. И лишь по временам карие его глаза вдруг становились как два острых, раскаленных уголька, и тогда на него было жутковато смотреть.

Он был со всеми ровен, приветлив, однако ни с кем не сходиллся. Чаше всего читал или погружался в невеселое раздумье. Меня к нему безотчетно влекло. Мало-помалу и он почувствовал ко мне доверие. Я подсаживался к нему, и мы говорили с ним о Боге, об искусстве. Он оказался стихийно верующим человеком, пришедшим к вере самостоятельно и уже в тюрьме.

Как-то он сказал, что я — единственно близкий человек ему в камере и он хочет рассказать мне свою жизнь — хочет особенно потому, что не знает, что его ждет, — может быть, и рассказать больше уж никому не придется, а поисповедаться тянет.

Рассказывал он о себе долго. Подробности выветрились из моей памяти. Краски облупились, остались контуры.

Он жил с родителями в Сибири. Отец его умер в гражданскую войну от сыпняка. Матери нечем было кормить мальчика, и она отдала его в детский дом. В детдоме то, что полагалось детям, раскрадывалось служащими, а дети питались впроголодь. Старшие подговорили Алешу принять участие в ограблении попа. Грабители они были неопытные, все вышло не так, как они задумали, священник проснулся, и они его убили. Суд присудил Алешу условно: принимая во внимание несовершеннолетие, пролетарское происхождение и первую судимость... В те годы это была стереотипная формула приговора. Да и убили-то они «нетрудовой элемент». Словом, Алеша оказался на свободе. Закончил среднее образование, поступил в техникум. Опять голодуха, студенческая. И опять он связался с нехорошей компанией. Ограбили сберегательную кассу в одной из среднеазиатских столиц (если память меня не подводит — в Ташкенте). И тут не обошлось без «мокрого дела»: убили постового милиционера, и опять случайно — заранее обдуманного намерения у них не было. На сей раз, несмотря на то, что ограбление было совершено с невероятной дерзостью, грабителей не нашли. Алеша сказал, что ему не для чего передо мной таиться, не для чего себя хотя бы в малой мере обелять, что он говорит мне чистую правду: после ограбления сберкассы он дал себе слово никогда больше на этот путь не вступать. Он окончил техникум, поступил на работу, женился на своей однокурснице (я запомнил ее имя — Галя), ничего не посмев ей сказать о своем прошлом, и за это сейчас он себя казнит, как и за то, что, не имея морального права, связал ее жизнь со своей. У него есть маленькая дочка, которую он любит даже больше Гали. Спусти несколько лет после ограбления сберкасс, когда он стоял на трамвайной остановке в Москве, его задержали. Оказалось, бывшие его товарищи, засыпавшиеся по другому делу, заодно признались на допросе и в ограблении ташкентской сберкасс и в числе участников назвали и Алешу, жившего под другой фамилией. Алеша на первом же допросе во всем сознался.

Когда я слушал Алешу, мне вспомнились слова Троцкого из его статьи о Есенине: «Сорвалось в обрыв незащищенное человеческое дитя».

Сколько таких детей, как Алеша Гедройц, столкнула с обрыва революция!..

Особенно было тяжело Алеше, что судьба нанесла ему удар, как раз когда семейное его счастье было в самом цвету, когда вошедшая в его жизнь большая любовь, казалось, смыла с него присохшую кровь и грязь. Однако уже здесь, в Бутырках, он постепенно пришел к сознанию, что кровь должна быть рано или поздно искуплена и что очищение его началось только в тюрьме, после того как Бог наказал его за душегубство.

Как-то в необычное время, когда уже поздно было вызывать на этап и рано — на волю, дверь приотворилась, и коридорный крикнул:

— Гедройц! С вещами соберитесь!

Алеша помертвел, и на мертвенно-бледном его лице двумя раскаленными и острыми углями загорелись глаза. С лихорадочной поспешностью собрал он свое добришко. Я подбежал к нему. Мы стиснули друг друга в объятиях. Он

оторвался от меня и, втянув голову в плечи, двинулся к двери. Мелькнул его вещевой мешок, вот он обернулся и помахал мне рукой, дверь захлопнулась. Что его ожидало, что судил ему Бог — это осталось для меня тайной. Но долго еще заключенные сокрушенно качали головами и все повторяли:

— В нехорошее время его взяли! В нехорошее время!..

Рядом с Гедройцем расположилась целая компания жрецов однополой любви. Среди них наиболее характерен был Галкин, призывно вилявший бедрами, после умывания с женски кокетливой грациозностью откидывавший голову и встраивавший прямыми русыми волосами.

Педерасты тоже оказались жертвами беззакония. До поры до времени им жилось на советской Руси вольготно-весело, никто их не трогал, у них даже происходили сборища в частных домах, заменявших им клубы. Так, педерастические журфиксы были у одного из артистов Театра имени Немировича-Данченко. Ну что бы сказать им на манер нашего коридорного: «Ребята! Нельзя ли потише?» Натурально, они разбежались бы, как разбегаются от яркого света по щелям тараканы. Но нет: никаких предостережений они не получали.

В «Известиях» от 10 сентября 33-го года был напечатан «подвал» под названием «Мариус Ван дер Люббе». Автор этого подвала скрылся под псевдонимом «Юр» (Радек?).

В статье автор, ссылаясь на «Коричневую книгу», утверждает, что Ван дер Люббе, обвинявшийся в поджоге рейхстага, гомосексуалист и что «эти его патологические наклонности» «интимно связали его с некоторыми деятелями национал-социалистического движения».

Статья кончается историческим экскурсом:

«Во второй половине прошлого столетия немецкая аристократия была уже весьма основательно разложена и деморализована. Все виды порока, в том числе и гомосексуализм, широко практиковались среди них (очевидно, подразумевается: среди аристократов.— Н. Л.). Более того, гомосексуализм был ими даже возведен в своеобразную теорию».

Автор не может обойтись без цитаты, как того требует обычай советской публицистики и критики, из «классика марксизма» — из полушутливого письма Энгельса Марксу от 22 июня 1869 года:

«Педерасты начинают сплачиваться и полагают, что они составляют силу в государстве... победа их неминуема...»

Гитлеровская пресса ответила на это в таком духе, что, мол, ква-ква, сама какова — у вас-то что под самым носом деется?.. И пошла охота в до той поры заповедных педерастических пущах. Артистов драмы, оперы, оперетты, балета, писателей, конферансье, бухгалтеров — всех выловили едва ли не за одну ночь, поелику же статьи, карающей за гомосексуализм, в советском уголовном кодексе не существовало, то им наспех пришивали кому что.

За Галкиным и К<sup>0</sup>, наискосок от нас с доктором, расположился «колхоз», объединявший трех инженеров — Шлыкова, Никольского, Брауэра — и экономиста-плановика Гекова. Эти четверо старожилов складывали свои передачи в «общий котел». Преимущество «колхозного» хозяйства перед единоличным было для всех очевидным: у четырех членов «колхоза» никогда не было недостатка в продуктах.

Геков являл собою личность ничем не примечательную. Шлыков, представительный мужчина средних лет, аккуратист, в отличие от почти всех своих сожителей по камере не опустившийся, следивший за тем, чтобы все у него было в порядке, начиная с прически — он долго расчесывал по утрам в уборной свои волнистые черные с проседью волосы, — сразу отпугнул меня своими рассуждениями о том, что хотя мы тут и безвинно страдаем, но когда идет такое грандиозное переустройство всей жизни в стране, идет такая коренная ломка, то ошибки неизбежны. Смысл его рацей, которые я объяснял только предельной его осторожностью, сводился к пословице, коей многие следователи ОГПУ цинично утешали подследственных: «Лес рубят — щепки летят».

Адольф Самуилович Брауэр принадлежал к поколению евреев, в чьих движениях — в быстром повороте шеи, во вздроге плеч, которым словно хотелось, чтобы голова спряталась между ними, отчего за спиной словно вырастал горб,

в молящем наклоне головы набок, в судорожном махании рук — проглядывало что-то запуганное и трогательно незащищенное.

Я испытывал к Брауэру, этому вислоухому, длинноносому, губастому еврею, выбившемуся из простонародья, что было отпечатано на его лице, ту же острую и нежную жалость, какую вызывал у меня в «собачнике» русский дворянин Лев Львович Кормилицын. Мне почему-то всегда хотелось от чего-то укрыть его, от чего-то уберечь. В камере царил нерушимый интернационализм, юдофобством у нас и не пахло. Мне было жаль его за то, что он такой некрасивый, за то, что он так страдальчески улыбается. А еще я жалел его потому, что у него, наверное, было невеселое детство, исполненное лишений и унижений. Я жалел не только самого Адольфа Самуиловича Брауэра — в нем я жалел его предков, тех, кто всю жизнь должен был чего-то бояться, как боимся теперь мы, — жалел тех самых «Мошек» и «Хаек», ту еврейскую бедноту, которую с оружием в руках защищал от осатанелых погромщиков монархист Шульгин, о чем он рассказывал в «Днях».

Глядя в честные, доверчивые глаза Брауэра, я гнал от себя всякую мысль о вырождаках, которые вкупе с Лениным создали не первое в мире рабоче-крестьянское, а первое в мире фашистское государство, по чьей милости сидел в Бутырках не только я, но и тот же Брауэр: о Троцком (Бронштейне), Каменеве (Розенфельде), о Стеклове (Нахамкесе), о Свердлове, обогрившем руки в крови девушек-царевен и мальчика-царевича, о Володарском (Гольштейне), не думал о Зиновьеве (Радомысльском) и об Урицком, об этих двух петроградских «ежовых» де Ежова, об екатеринбургском «комиссаре юстиции» Янкеле Юровском, застрелившем Николая Второго в подвале, о тех, кто вместе с латышами облепил ЧК-ОГПУ. Я забывал о том, с каким злорадным упоением лазари кагановичи не оставляли камня на камне от белокаменной и златоглавой Москвы с малиновым звоном ее «сорока сороков», да еще и хвастались этим в своих докладах и выступлениях. Я забывал об авторе паскудной «Библии для верующих и неверующих» Минее Израилевиче Губельмане, нацепившем на себя залихватски русопятскую маску — Емельян Ярославский. Я вспоминал петроградского адвоката Гуровича, в 1922 году с пеной у рта защищавшего митрополита Вениамина.

Впоследствии из книги Шульгина «Годы» я вычитал следующее: один еврей, знавший, что Шульгин в газете «Киевлянин» вступился за Бейлиса, сообщил ему: «Есть у нас, евреев, такой, как у вас, митрополит. Нет, больше! Он на целый свет... Так он приказал... Назначил день и час... по всему свету, где только есть евреи, что веруют в Бога, в этот день и час они молились за вас!» Приехав в Киев после войны, я узнал, что игуменья киевского женского монастыря, рискуя угодить на виселицу, держала во все продолжение оккупации в монастырском тайничке несколько евреек с малыми детьми. В Киеве же меня познакомили со священником Глаголевым, по виду невзрачным человечком, сыном профессора Киевской духовной академии гебраиста Глаголева, в качестве эксперта, в сущности, спасшего Бейлиса, ибо за ним было решающее слово, ибо он доказал, что все эти разговорчики о «ритуальных убийствах» христиан, якобы совершаемых евреями, — злостный вымысел. Но он-то был официальный эксперт, а из Москвы добровольцем прикатил защищать Бейлиса еще один священник. А сын эксперта, священник, к которому я с особым благоговением подходил под благословение, всю оккупацию продержал еврейского юношу в алтаре, иной раз даже пряча его под престолом, если боялся, что в алтарь может войти кто-нибудь, кому он не доверял. Он считал, что за доброе дело Господь простит ему то, что он прячет иноверца там, куда всем посторонним, даже единоверцам, вход воспрещен, где никому, кроме священнослужителей, нельзя прикоснуться к престолу.

Так что вот, давайте вспомним Достоевского: «Но да здравствует братство!»

... Мы с Брауэром, встречаясь глазами, всегда улыбались друг другу.

Ему тоже припаяли «вредительство» — что же еще могли припаять инженеру? Свое положение заключенного он переносил безропотно, только беспокоился о близких.

— У меня в семье нехаашо, — говорил он, начисто исключая из своего произношения звук «р». — Все больные. Что с ними будет, если меня надолго ушлют?..

С Юрием Александровичем Никольским — с Юрочкой, как я его очень

скоро стал называть, — меня связала, по выражению Радека, «интеллектуальная» дружба, возникшая на почве любви к литературе, к музыке и на почве безоговорочного неприятия советской действительности — неприятия, под которое тюрьма подвела наипрочнейший фундамент, ибо здесь, за кулисами, нам открылась вся машинария сталинского театра, ибо здесь обнаружили невидимые снаружи пружины в механизме сталинской власти. Юрочка, лет пять прослуживший на заводе высококачественной стали, делился со мной своими наблюдениями и соображениями инженера, делился своим опытом заключенного. Рассказывая, он с какой-то интеллигентски бравадирующей выделанностью матерился, что не шло к его женственной внешности, к его шапке вьющихся светлых волос и васильково-синим глазам.

— Я все на себя подписал, — говорил он. — Посидите полгода в одиночке — и вы тоже подпишете. Однажды мой следователь ночью выводил меня на «расстрел». Прodelал надо мной с помощью караула почти всю церемонию, как над петрашевцем. А уж револьвер во время допросов наводил постоянно. Раз вытащил из ящика кинжал, приставил к моей груди, потом отвел и говорит: «С каким удовольствием я вонзил бы этот кинжал в грудь своего классового врага!» Вы числитесь за Лубянкой-два? Ну, а я — за Лубянкой-четырнадцать. Фамилия моего следователя — Аленцев. Представьте, врач по образованию. Мы сидели на Лубянке-четырнадцать в одной камере с доктором Холиным. Прямо с воли, еще тепленьким, он попал на допрос к красивой молодой латышке. Вообразите: Холин — чеховский интеллигент чистойшей воды, ни дать ни взять — «Дядя Ваня». А молодая красивая женщина обращается к «Дяде Ване» с таким приветствием: «Я тебя ... твою мать, туда загоню, где ты десять лет ни одной живой ...ды не увидишь». Потом мы узнали, что так она всех своих подследственных оглоушивает для первого знакомства. Холин разрыдался. Она и так и сак. Холин рыдает, слезы текут по бороде. Он и от мужчины-то подобных словес отродясь не слышивал, а тут красавица женщина повела с ним такой светский разговор! Латышка велела увести его в камеру. Холин тут же написал заявление, что следовательница такая-то недопустимо грубо с ним обошлась, что она ругается нецензурными словами, что он ни на какие ее вопросы отвечать не станет и просит передать его дело другому следователю. Просьбу Холина уважили — имейте в виду: следователя иногда меняют, если подследственный проявит настойчивость, — дали ему моего Аленцева. Холин свет увидел. Аленцев называет его «коллегой», по имени-отчеству... Ну, а когда Холин заупрямился: я-де никого не собирался прирезать на операционном столе, да что вы, помилуйте, за кого вы меня принимаете, врачебная этика, мирозерцание потомственного русского интеллигента и прочая тому подобная беллетристика, — вот тут-то он и пожалел о своей латышке с красотою ее слога. «Какой ты профессор? — кричал ему Аленцев. — Дурак ты ... твою мать, а не профессор!» Рраз по морде, два по морде! За бороду — хват! «Стань в угол! Повернись спиной! Повернись лицом! Повернись спиной!» И так — часами. Не выдержал мой «Дядя Ваня» — сдался, подписал, что кого-то из вождей собирался на операционном столе прикончить.

Украинцы выказывали упорное трудолюбие и выносливость на родной земле. Как только их из земли вырывали, они тотчас же засыхали. Работать в концлагере, «на чужого дядю», хотя бы этот «чужой дядя» давал обещание освободить их досрочно, если они будут из кожи вон лезть, они не могли. Они убегали, их ловили, или же они сами, не выдержав голода и холода скитаний, «объявлялись», и опять все начиналось для них сызнова: тюрьма, этап, лагерь.

Если к нам в камеру вводили украинца, то мы уж так и знали, что на вопрос:

— Ты откуда?

Он ответит:

— Тикав.

Соль нам выдавали без ограничения, только это был «бузун», его приходилось растирать. И вот украинцы бесперечь ели бузун, распухали; их клали в больницу. Лица у них были как бы сплошь в синяках.

...20 ноября отпраздновал я в Бутырской тюрьме день моего рождения. Стукнул мне двадцать один год. Вскоре после этого вечером, после ужина, я начал читать лекцию о ком-то из русских классиков и только разошелся —

— Любимов! Без вещей соберитесь.

Ну, значит, на допрос! Месячный отдых — и опять в меня уставится своими буркалами ряшка Исаева!..

В первые мои бутырские дни я жаждал допросов — лишь бы вода куда-то двигалась, а не стояла, — а теперь мне так же не хотелось идти к следователю, как не хочется из теплой комнаты, угретоу, вылезать на мороз.

Повела меня через двор в другое здание молодая латышка.

Мы с Исаевым поздоровались.

— Ну как поживаете? — насмешливо спросил он.

— Ничего, — угрюмо ответил я.

Он начал что-то писать. Я облокотился на стол.

— Уберите локти со стола, сядьте подальше.

Я закурил.

— Курить после будете.

Тут Исаев возобновил разговор о моем «терроризме».

Я решительно заявил, что террористических разговоров с Орловым не вел.

Исаев, почти не повышая голоса, начал внушать мне, что я всецело во власти ОГПУ, что ОГПУ может расправиться со мной любым способом и что я даже не в состоянии себе представить, что меня ожидает, если я буду и дальше гнуть свою линию.

Я молчал. Внутренний голос шептал мне три заповеди заключенного: «Не верь, не бойся и не проси». Да и запугивания Исаева были на сей раз при всем их мелодраматическом пафосе какие-то неопределенные.

— Ну что ж, тогда я вам сейчас устрою очную ставку с Орловым, — объявил Исаев с таким видом, как если бы он собирался вздернуть меня на дыбу.

Ввели Володю. Мы с ним поздоровались. Исаев предупредил нас, что мы не имеем права переговариваться.

Началась очная ставка.

Вопрос к Орлову:

— Когда был у вас с Любимовым разговор террористического характера?

— Не помню.

— Как не помнишь? Ты ж мне оварил, шо второго мая этого ода?

— Не помню, — повторяет Володя.

— Любимов! Выйдите в коридор и ждите, пока я вас позову.

В коридор до меня доносятся крики Исаева. Спустя некоторое время вхожу. Договорились: второго мая 1933 года.

Вопрос к Орлову:

— Где был этот разговор?

— Непомню... Не то у нас на квартире, не то мы встретились случайно на улице.

— Как не помнишь? Ты ж мне оварил, шо у вас на квартире.

Опять я выхожу, опять крики, опять Исаев меня зовет. Помирились Исаев с Володей на том, что разговор происходил у Орловых, на Александровской площади.

— Какой был разговор?

— Точно не помню.

— Как не помнишь?

И опять я выхожу, и опять крики, и опять меня зовут.

Володя диктует:

— «Я сказал Любимову, что на Красной площади во время демонстрации плохая охрана и что поэтому легко совершить тер. акт против вождей».

— А что сказал на это Любимов?

— А Любимов ничего на это не сказал.

Вопрос к Любимову:

— Был такой разговор?

— Такого разговора я не помню.

— Не помните, или его не было никогда?

— Такого разговора не было никогда.

— Очень хорошо! — воскликнул Исаев, и это восклицание можно было истолковать так: ну вот теперь-то мы за тебя, голубчик, возьмемся!..

Он дал прочитать и подписать протокол сперва Володе, потом мне. Я прочел. Слово «никогда» в моем последнем ответе было написано отдельно: «Ни когда». Мы оба расписались. Володе увели.

— Ну что ж, Николай Михайлович, будете сидеть,— неожиданно мягко и как бы с сожалением заговорил со мной Исаев: дескать, я тут ни при чем, пеняйте на себя.

Я молча пожал плечами.

— Пойдемте,— сказал Исаев и, выйдя в коридор, потрепал меня по плечу.— Подумайте, Николай Михайлович, молодой светлой оловой и... бросьте вашу спесь!

Затем он отдал распоряжение отвести меня обратно в камеру.

В камере вокруг меня сгрудились самые близкие мои друзья: Беляев, Никольский, Гедройц, Брауэр, Коншин, Яша Розенфельд, Ваня Кондратьев, и те, с кем я был не так уж близок. Выслушав меня, все в один голос сказали, что дело мое подходит к концу, что после очной ставки меня на допрос, по всей вероятности, таскать уж не будут, что я «сорвал» следовательно очную ставку, что я и себе и моему однодельцу облегчил положение, что по канве нашего дела следовательно при всем желании особенно замысловатых и ярких узоров не вышить и что дадут нам, судя по всему, не много.

Судьба потом ни разу не свела меня ни с кем из сокамерников. Все, наверно, погибли в разное время и от разных причин... А как бы мне хотелось встретиться с наиболее близкими мне — доктором Беляевым, Юрочкой Никольским, Яшей Розенфельдом, Адольфом Самуиловичем! Не наговорились бы...

Эту ночь я спал спокойным и легким сном...

Свет в камере горел всю ночь. Читать надоедало, а засыпал я с трудом, и чего только, лежа на нарах, бывало, не передумаешь, кого из родных и знакомых не вспомнишь!

Признаться, я боялся концлагеря. Боялся, что не вынесу физического труда. А еще боялся, что там не будут давать книг и журналов. И без Художественного театра я не мог себе представить свою жизнь.

Неожиданно вспомнился мне давно позабытый сон раннего моего детства: я у себя в саду, собираю малину. Оборачиваюсь — на меня, притаившись в самой глубине малинника, ой какими страшными глазами смотрит чужой человек и вот-вот бросится на меня!.. Теперь мне казалось, что этот человек похож на Исаева.

И так же внезапно я вспомнил, что еще раньше тетя Соня как-то гадала мне по моей руке — руке пятилетнего ребенка — и нагадала, что когда мне будет лет двадцать, я заболею опасной болезнью, такой опасной, что врачи откажутся лечить меня, но что я все-таки выздоровлю. Теперь мне думалось: вот она, эта болезнь! Только поправлюсь ли я? Выведет ли меня из темницы «мой» святой, освобождающий от «уз и пленения», — Николай Чудотворец, к которому я особенно часто обращался с «умной» (мысленной) молитвой на сон грядущий?..

Разные мысли лезли мне в голову по ночам.

<...>

...Вот уже и свои именины отпраздновал я 19 декабря в 64 камере Бутырской тюрьмы, а на другой день почувствовал себя неважно: познабливало, все вокруг теряло очертания, расплывалось, и людей, и вещи я видел сквозь багровую дымку, режущее болело горло. Поставили термометр: 38 с чем-то. Врач объявил, что это — ангина и что меня переведут в больницу. Мне смерть как не хотелось расставаться с людьми, рядом с которыми мог хоть на время забывать, что я в тюрьме. Я утешал себя, что ангина — пустяк и что через неделю я увижу вновь уже родные мне лица Романа Леонидовича, Юрочки, Адольфа Самуиловича, Александра Николаевича, Яши...

Ваня Кондратьев собрал мое имущество, а его оказалось немало: в предвидении этапа мама все подносила мне теплые вещи,— и я перешел в больничный корпус.

...Отдельная койка с чистым бельем. Возле койки — столик. На коридорном белый халат. И кормят здесь лучше. Два раза в день обходит палаты женщина-врач. Ставят нам градусники две медсестры, одна — русская, юная миловидная

брюнетка, другая — пожилая латышка с плоским и широким, как поднос, лицом. Все три бездушны. Похожи не столько на медицинских работников, сколько на весовщиц или на приемщиц в мастерских. Мы для них — вещи, за целостность и сохранность которых они несут ответственность.

Меня положили рядом с чернобородым, очень густо обросшим мужчиной, похожим на умную и печальную обезьяну. Это был староста палаты, армянин Бабаев.

Вместо обычных вопросов: за какой Лубянкой я числюсь и как давно с воли, он спросил меня:

— Вы — взрующий?

Я ответил утвердительно.

— Я тоже взрующий. Только взра меня и поддерживает. Вы заметили, что в тюрьме даже коммунисты не выносят глумления над религией? Как кто-нибудь начнет рассказывать антирелигиозный анекдот — они говорят: «Нэ надо!»

В двух словах Бабаев рассказал о себе:

— На меня донес мой друг-приятель, с которым я всём делился. Вы знаете: мы, кавказцы, народ радушный, для нас гостеприимство — прэжде всего, и вот в благодарность он меня прэдал. Я был с ним аткравэнен, не скрывал, что многим недоволен — прэследованием религиозных убэждений, напимэр, и он все мои слова сообщил. А для меня потеря свободы хуже смэрти. Я не могу жить в нэволе. Если б не взра в Бога, я бы пакончил с сабой...

В доброте Бабаева я убедился скоро. Заметив, что я никак не могу согреться, он отдал мне свое одеяло. Только успев получить передачу, пошел от столика к столику с бидоном разливать по кружкам молоко, себе оставил на доньшке. Потом всех до одного оделил бутербродами.

Бабаев не выносил неволи и не выносил хамства. Больные пользовались преимуществом — ходить в уборную не стадом, а когда кому понадобится. Одному из больных, постучавшему в дверь, коридорный грубо отказал в его просьбе — дескать, подождешь, успеешь. Тогда по праву старосты с коридорным вступил в переговоры Бабаев. Коридорный его обругал. Мы решили всей палатой написать жалобку корпусному начальнику.

Явился Лодочка, которого так прозвали потому, что он был всегда пьян и шел, словно покачиваясь на волнах. Он вошел к нам в палату с нашей жалобой в руках и расшумелся:

— Вы по какой статье сидите? По пятьдесят восьмой? Значит, вы контр-революционеры. Писать жалобы не имеете полного права. Это формальный бунт с вашей стороны.

Он повернулся с видом, ничего доброго нам не сулившим, и, пошатываясь, вышел из палаты.

Этот вечер был одним из самых тягостных вечеров, проведенных мною в тюрьме. Рядом, уткнувшись в подушку, глухо рыдал Бабаев, которого я не сумел успокоить и убедить, что, как бы ни вели себя с нами Лодочки, они не в состоянии унижить наше достоинство.

А лежавший напротив меня украинец все причитал, словно из «Думы про Опанаса»:

— Идэ ж мой домик? Идэ ж моя пара волов? Идэ ж мой садок вишневый? Идэ ж моя жинка Олэна Тимохеевна?

А победу все-таки одержали мы. Грубиян коридорный после этого столкновения куда-то исчез.

26 декабря я получил передачу. Небольшая температура у меня еще держалась. Я просился обратно в камеру — врач сказала: «Не раньше, чем через несколько дней». После ужина я забылся в полудремоте. Вдруг кто-то назвал мою фамилию. Мне показалось, что я слышу этот голос во сне.

— Любимов! — громче повторил тот же голос.

Я открыл глаза. В дверях стоял знакомый мне коридорный, похожий лицом на официанта из плохого ресторана.

— С вещами соберитесь, — сказал он и скрылся.

Все стали уверять меня, что это — на волю: и час такой, и больных, мол, на этап не берут, и коридорный будто бы держал в руке белый билет, на который

я от волнения не поглядел. Я склонен был думать, что, пожалуй, и впрямь на волю. Но едва я вышел в коридор, как из соседней палаты показался Володя. Я и обрадовался и огорчился. Я слышал, как перед тем, как отправить однодельцев по этапу в концлагерь, их соединяют.

И началось для нас многочасовое томление духа. Сперва — ожидание в больнице. Когда нас собралось несколько человек, мы под конвоем перешли в другое здание и остановились перед закрытыми дверями в соседнюю комнату.

Начали появляться новые лица. В этой небольшой своего рода «приемной» стало тесно от людей и вещевых мешков. Все мы недоуменно, озадаченно и встревоженно переглядываемся, перешептываемся: «Куда? Зачем? На волю? На этап?» И только один из спрошенных мною ответил уверенно:

— Да что вы! Какой там этап! Не тот час, и это же не «вокзал». Нынче будем дома. В крайнем случае, вольную высылку могут дать.

Наконец нас стали по одному вызывать в соседний кабинет. Вот там держали недолго — только нам, ожидающим, каждая лишняя минута была невмоготу. Вышедших из кабинета куда-то уводили.

Дошла очередь и до меня. Мне объявили, что я свободен, но что утром мне надлежит явиться на площадь Дзержинского, 4 за документами на высылку, в чем я должен был тут же дать письменное обязательство.

Слова «за документами на высылку» не произвели на меня никакого впечатления. Только сейчас я поверил своему счастью, в которое не смел верить до последней секунды: нынче ночью я увижу маму и Маргариту Николаевну, нынче ночью я выйду из тюрьмы, а там хоть на край света!

Поверхностный обыск, и вот я и один молодой красноармеец — на воле, мы вправе идти куда нашей душе угодно — и без конвойного, следующего по пятам.

Стоял лютый мороз, а я второпях не надел на себя ничего зимнего, да и жаль мне было ворошить Ванину мастерскую укладку. Мне было жарко. С незалеченной ангиной я шел по Новослободской в кепке, в летнем пальто нараспашку и в летних ботинках без калош. Красноармеец помог мне дотащить вещи до Страстной площади. Тут наши пути разошлись. Кое-как допер я узилищи до дому, позвонил. Долго никто не открывал. Было часа три ночи. Но вот послышался испуганный голос Насти Юрьевской (ее называли так в отличие от бывшей домработницы Маргариты Николаевны — тоже Насти):

— Кто там?

В тоне ее слышалось: «Опять за кем-то пришли! Уж не за Юрием ли Михайловичем?»

— Настя! Это я! Коля!

Настя отворила дверь и, даже не поздоровавшись со мной, кинулась будить мою маму, спавшую в коридорчике на моей кровати.

— Елена Михайловна! — донесся до меня Настин шепот. — Вставайте! Вам радость! Вам радость!

Маму точно ветром сдуло с кровати. Из своей комнаты выскочила в одной сорочке Маргарита Николаевна... Неудержимые слезы текут по улыбающимся лицам. В узком коридоре все еще стучит по шкафам Герин хвост... Неурочное чаепитие... Рассказы, расспросы до утра. То, что мне предстояло покинуть Москву, пока еще слабо доходило до сознания, почти не омрачало радость встречи.

Утром мы с мамой пошли на Лубянку. Вот тут и мне довелось познакомиться с человеком в пенсне без оправы.

Первым делом он вернул мне отобранный у меня при обыске кошелек с крестиком, ключом от квартиры и подтяжками, а затем вручил бумагу, где было сказано, что я постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 23 декабря 1933 года по статье 58<sup>а</sup> через 17 приговорен к трем годам высылки в Северный край с явкой в Архангельск.

58<sup>а</sup> через 17 — это означало не террор, а подстрекательство к террору.

Выехать из Москвы мне предписывалось завтра.

Я попробовал возразить: мне надо хоть как-то устроить денежные дела, мне не на что ехать, и потом, меня выпустили прямо из больницы, с температурой.

— Поезжайте, Любимов. А то мы вас по этапу отправим...

В холодной пустоте стальных глаз сверкнули злые огни.

«Не верь, не бойся, но и не проси...»

Я отошел от окна.

Мама уже успела рассказать мне, что все это время она хлопотала за меня в Обществе помощи политзаключенным.

Однажды она ехала в трамвае. Какая-то девушка уступила ей место. Вглядевшись в лицо девушки, мама чудом узнала ее. Она видела ее всего один раз, мельком, при входе в мой институт. Я их познакомил. Это была Леля Фельдштейн, та самая Лелька, с которой мы так ловко удирали с антирелигиозных вечеров на Страстной и под Пасху в церковь.

Она дала маме свой адрес и телефон.

Михаил Соломонович Фельдштейн, ее отец, был юрисконсультom в Обществе помощи политзаключенным, а возглавляла Общество первая жена Горького — Екатерина Павловна Пешкова. Ежов это учреждение разогнал, но до ежовщины оно делало большое и благое дело. У Екатерины Павловны были связи, были прямые ходы к членам Коллегии ОГПУ. Общество хлопотало за заключенных, добивалось более мягких приговоров. Сыграло ли оно какую-нибудь роль в моем приговоре — судить не берусь, но что Екатерина Павловна и ее помощник, приятель Фельдштейна, Михаил Львович Винавер, привлечший Фельдштейна к работе в Обществе, а в ежовщину, как и Фельдштейн, сгинувший в недрах НКВД, добились того, что я был освобожден от этапа в Архангельск, это я слышал из уст самой Екатерины Павловны. <...>

Мы с мамой пошли к Екатерине Павловне вместе. Похожа она была на учительницу провинциальной гимназии. Глаза у нее были ясные. Смотрела на посетителей сквозь очки с пытливой благожелательностью. Прежде всего я поблагодарил ее за помощь. Затем рассказал об утреннем походе на Лубянку.

Выдержанную Екатерину Павловну всю передернуло от возмущения.

— Ну, положим, — сказала она, — не было еще такого случая, чтобы не выздоровевших отправляли по этапу. У вас же совсем больной вид. Садитесь вот за тот стол и напишите, чтобы вам отсрочили выезд в Архангельск по болезни, что вас выпустили прямо из тюремной больницы с повышенной температурой и что вам нужно устроить ваши материальные дела.

Я написал заявление и передал ей.

— Что же вы просите два дня отсрочки? Мало! — заметила она. — Просите больше.

Я попросил пять дней. Екатерину Павловну и это не удовлетворило.

— Просите десять дней. Надо — с запросом!

Я написал третье заявление.

— Завтра в это же время приходите ко мне за ответом.

На лестнице мы столкнулись с еще, если возможно, похудевшей и пожелтевшей, одетой, как нищая, тетей Катей. При виде меня она вся затряслась от рыданий и обвила меня за шею руками. От нее мы узнали, что тете Лиле за давно уже прекращенную переписку с братом приклеили 58<sup>е</sup>, то есть — шпионаж, и приговорили к трем годам Мариинского концлагеря. Володе дали все то же, что и мне, но, приняв во внимание его несовершеннолетие, один год скостили.

На другой день Екатерина Павловна мне сообщила:

— Вам обещана отсрочка на десять дней. Завтра зайдите в ОГПУ — вам должны дать официальное разрешение.

На следующее утро человек в пенсне — безмолвно и почти не глядя на меня — протянул мне мое заявление с благоприятной резолюцией.

Дни летели стремительно и словно во мгле. Мы с мамой были у жены Бабаева, у жены Беляева. Я увидел дочку Романа Леонидовича Оленьку, худенькую девочку лет шести, без кровинки в лице, тихую не по-детски. Она родилась у них поздно, и Роман Леонидович, заждавшийся ребенка, души в ней не чаял. Она была особенно дружна с отцом. И она все эти восемь месяцев ждала, что вот-вот отворится дверь и войдет папа, который — непонятно куда и непонятно почему — так надолго уехал. Большие ее глаза смотрели недоуменно и ожидающе.

Зашел я и в «Academia». Грустно мне было смотреть на заменившую меня девушку, сидевшую за моим столом. <...>

... Мама и так уже поневоле «зажилась» в Москве: сначала под предлогом опасной «болезни» сына, потом под предлогом, что ей надо делать операцию на глазу (эту легкую операцию, с которой можно было и не спешить, ей делал профессор Одинцов, снабдив ее потом оправдательными документами), но уж к концу зимних школьных каникул ей необходимо было вернуться в Перемышль, а ей хотелось во что бы то ни стало поехать со мной в Архангельск и посмотреть своими глазами, как я там устроюсь, и мы, запасшись адресами, где бы можно было найти пристанище на самое первое время (адресами нас снабдил знакомый Фельдштейнов, брат доктора-гомеопата Постников, успевший побывать в ссылке в Архангельске, а затем, как и гомеопат, погибший в ежовщину), выехали из Москвы раньше установленного для меня срока.

Маргарита Николаевна дала мне на дорогу «образок святой», некогда висевший над кроватью Ермоловой.

... Вот уж промелькнул под окном вагона фонарь проводника, нехотя скрипнули, всхлипнули буфера, зазмеились в разных направлениях рельсы и вот уже глянул в окно сплошной синий загородный мрак. А колеса отстукивали: «Прощай, Москва! Прощай, Москва! Прощай, Москва!»

*Москва, декабрь 1968 — январь 1969*

Продолжение следует

Публикация и подготовка текста Б. Н. ЛЮБИМОВА

ЯКОВ ДЫМАРСКИЙ *Гул истории*

\* \* \*

Зыбь, ты великая.

*Ф. И. Тютчев*

Человек сам себе не хозяин.  
Ни работник, ни царь, ни поэт.  
В еривани, рязани-казани  
он татарин, еврей, домосед.

Он подходит к окну. От рождения  
и до смерти он смотрит в окно,  
воплощая собой отчуждение  
от немого цветного кино.

Он, четырежды дурень и увалень,  
и без слов понимает сполна:  
поднимая свой жизненный уровень,  
лизет стекла людская волна.

Поросла допотопной травой,  
постоянно качает права.  
Он нырнул бы в нее с головою —  
не нужна там его голова.

Голова — персональное горе,  
его корь, его боль, его сыпь...  
Что там плещет? Житейское море!  
Может статься, великая зыбь.

\* \* \*

Когда очередной взволнованный пророк  
уводит свой народ из гибельного плена,  
он озабочен тем, что рабства постепенно  
(не сразу и не вдруг) забудется урок.

Он ненавидит мудрость стариков,  
традиционность вдовьих причитаний,  
и путь убожества, лишений и страданий  
рассчитан им на несколько веков.

По пустякам не отверзая уст,  
он вдоль времянок движется к пустыне —  
один, как перст. От века и поныне  
в его глазах стоит горящий куст.

\* \* \*

Тело спеленуто туго,  
Дух и свободен и свят.  
Проголосила округа  
Десять столетий подряд.  
Красным струящимся криком,  
Искренним синим стыдом,  
Долготерпеньем великим  
Славен отеческий дом.  
Вот куда стопы Христовы  
Все-таки вышли, вот где  
Первопрестольное слово  
Держит пространство в узде.  
Третья империя, третий  
Вечно расхристанный Рим,  
Сквозь оцепленье столетий  
Рвущийся к чадам своим.  
Смертные люди России,  
Вам не бессмертья молю,  
Но упаси от насилия  
Бедную землю мою,

Господи. Это равнина —  
Родина, это — вина  
Вечно гонимого сына,  
Чашу изгоя до дна  
Пьющего. Это — свобода  
Выбора крестной из мук.  
Это — горчайший — исхода  
Не исчезающий звук.  
Это — надежда на встречу  
Первых с последними. Здесь  
Предвосхищенье, предтеча,  
Свет. А затем уже весть:  
Прииде Сын Человечий,  
Скорбно посмотрит окрест,  
Молча на слабые плечи  
Примет отечества крест.  
Следом века и народы,  
Выйдя на сход мировой,  
Узрят соборные своды  
Над головой.

\* \* \*

Как он похож на человека,  
Так он прилипчив и речист.  
Любимец волкодава-века,  
Из пессимистов — активист.

Ахейский мальчик, неужели  
Прошел телятником Тобол,  
Всей судорогой птичьей шеи  
На бритву брадобрея шел!

Единственный поэт советский,  
Историк собственных щедрот.  
Какой обидою недетской  
И верой искорежен рот.

Ценил тамбовскую трехверстку,  
А взял билет за Енисей.  
И гнул судьбу, как подразверстку.  
И затонул, как Одиссей.

\* \* \*

Отблистал золотой винодел,  
И серебряный век отзвенел,  
И стальной всенародной войной  
Прокатился родной стороной.

Сколько можно блистать и звенеть,  
И погибель свою предвещать?  
Теплой бронзой в саду зеленеть,  
Наши слабые души смущать...

В этом веке мы трижды мертвы.  
Трижды скошены наповал.  
Иоанн не сносил головы —  
На бессмертие уповал.

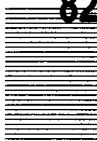
Заплетается... не понять...  
Нечем, Ваня, и незачем, крыть.  
Головы, хоть убей, не поднять,  
Трижды сомкнутых уст не раскрыть.

\* \* \*

Я шутки шутил.

*Ник. Олейников*

Послушайте, если хотите,  
не в меру печальный рассказ,  
а после спокойно катите,  
валите себе в Арканзас.  
Теперь мы раздеты, разуты  
и голодны. Правда, не все.  
Припомнились обэриуты  
в своей первозданной красе.  
Ряды их не то, чтобы стройны,  
не то, чтобы каждый герой.  
Их взоры порой беспокойны,  
особенно зимней порой.  
Когда ж зацветают цветочки,  
и хочется листик листать,  
и птички, как некие точки,  
спешат многоточием стать,  
тогда (как сказал математик —  
зануда «и только тогда» —  
ученые!.. как понимать их...),  
покинув свои города,  
идут они в чистое поле,  
и в хвойный, и в смешанный лес,  
где смотрят на воле до боли  
на рост заповедных деревьев.  
И там (вы уже догадались  
«и только» добавить к «и там»?)  
такие мерещатся дали,  
какие, пожалуй, китам  
и прочим летающим птицам,  
и гадам, чей вымощен путь,  
не снились. Такое приснится  
тому, кто не может уснуть.  
Кто ходит от двери — до двери,  
от двери до двери, от две...  
и в ком допотопные звери  
попарно живут в голове.  
О как же они разнополы!  
Как трудно им рядом во тьме  
различные формы глагола  
держат постоянно в уме.  
И все им не так. И не все их  
устроит в сиянии дня.



За них безнадежно-веселых  
зазря умирала родня.  
Все-все ивановы, казаки,  
евреи, немецкий народ  
не любят их жалкие враки,  
а любят, чтоб наоборот.  
Чтоб рядом стихи и стихийность,  
немного торчало белье...  
Верните мою беспартийность,  
изгойство верните мое.  
Зачем мне, мычащему, гласность  
и суетный курс биржевой,  
верните мне только согласность  
с самим безымянным собой!  
И вот. Ничего не осталось.  
В душе отвращения груз.  
И личность так страшно распалась,  
совсем, как Советский Союз...  
Я знаю, что вы прослезились,  
прослушав печальный рассказ.  
За тех мы уже помолились,  
а вы помолитесь за нас.

\* \* \*

Над куполом флаг опустили,  
из сердца достали иглу.  
Ну, что — отлегло? Или... или,  
вторую предчувствуя мглу,  
сведишь, как вторично мертвеет  
по-братски спешившее жить,  
как фразу «никто не умеет...»  
корректирует на слове «любить»?  
О как ты рвалось, ретивое,  
с поспешно продетой оси,  
о как не хотело покоя  
в бездонной советской ночи.  
А разве не ты отзывалось  
на каждый хлопок полотна,  
и всякая малая малость  
тобой разделялась сполна?  
Нет! что-то совсем не людское  
присутствует в нашей беде,  
безграмотное, воровское,  
невиданное нигде.  
... Кремлевские звезды погасли,  
покинул свой пост караул,  
над замершей площадью Красной  
прошел исторический гул.  
До самых далеких окраин  
теперь он идет не спеша.  
Что, Каин, уже содрогнется  
твоя, и не только, душа.

ГЕОРГИЙ ДЕМИДОВ

# Интеллектуал

(ПРИЗНАК КОШИ)

## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

19 февраля 1993 г. исполнилось шесть лет со дня смерти Георгия Георгиевича Демидова — человека очень трудной, трагической, но такой типичной для людей его поколения судьбы.

Родился Георгий Георгиевич в 1908 году в семье питерского рабочего. Когда мальчику исполнилось пять лет, семья переехала на Украину и к началу гражданской войны очутилась в маленьком провинциальном городке Лебедине Сумского уезда. Детство и ранняя юность Георгия Георгиевича прошли в самой гуще событий тех лет — белые, красные, зеленые, Махно и Петлюра, местные гетманы всех мастей грабили изобильную украинскую землю. Многодетной семье Демидовых жилось очень трудно — отец с 1914 года был на фронте. Георгий был старшим сыном, и на его плечи после ухода отца на фронт легли заботы о младших братьях и сестрах. Но учебы не бросал и очень рано проявил способности к изобретательству. Свой первый официальный патент на изобретение он получил в возрасте 21 года. В 1928 году поступил в Харьковский университет на физико-химический факультет. Одаренного студента заметил профессор Ландау и с третьего курса забрал к себе в лабораторию. Физика стала делом жизни. Демидов защитил кандидатскую диссертацию, когда его однокурсники еще готовили дипломные работы. Арест и восемнадцатилетняя каторга поставили крест на его научной карьере.

Арестовали его в феврале 1938 года, а в сентябре он уже был на Колыме. На «общих» работах провел более 10 лет — добывал руду, мыл золото, стрелял моржей и т. д. В июле 1946 года получил второй срок — еще десять лет. Эту историю описал Варлам Тихонович Шаламов в рассказе «Житие инженера Кипреева».

В конце сороковых годов по колымским лагерям разыскивали выживших ученых-физиков для работы над атомной бомбой. Попал под это распоряжение и Демидов. Но уже после доставки его в Москву выяснилось, что он не «ядеририк», а электрофизик. «Добывать» срок его отправили в Инту (Коми АССР). Здесь он дожился до освобождения, переехал в г. Ухту и стал работать на Ухтинском механическом заводе. В 1958 году был реабилитирован.

Опять занялся изобретательством и уже в 1956 году получил звание «Лучшего изобретателя Коми АССР». Его портрет висел на центральной площади Ухты в ряду лучших людей города, о нем писали газеты.

Но и он писал — только нечто иное. Еще на Колыме он поклялся себе выжить, чтобы описать ад сталинских лагерей: «...Я хочу донести будущему на проклятое прошлое, вернее, участвовать в написании такого доноса...» — написал он моей матери в 1963 году.

Он сдержал слово. Написанное не прятал, давал читать друзьям и знакомым и в конце концов привлек к себе пристальное внимание Комитета госбезопасности. Его пробовали уговорить изменить тематику, предлагали членство в Союзе писателей и большие тиражи, если будет писать о «другом». Демидов отказался, и тогда началась травля. Его портрет был снят с центральной площади, фамилия перестала упоминаться, хотя изобретения и рацпредложения продолжали приносить прибыль.

Выйдя на пенсию, Георгий Георгиевич поселился в г. Калуге и по 15—16 часов в сутки сидел за пишущей машинкой. Его произведения ходили в самиздатовских списках.

Понимая, что находится «под колпаком», Демидов четыре экземпляра своих

*произведений (из 5 машинописных и переплетенных) передал мне и близким друзьям в другие города. В августе 1980 года одновременно по всем этим адресам, включая квартиру Георгия Георгиевича, были произведены обыски и все рукописи арестованы. Забрали все до последней строчки, не осталось ни одного черновика.*

*В начале 1987 года, за несколько дней до смерти, посмотрев фильм «Покаяние», совершенно потрясенный отец сказал: «Кажется, можно обращаться с просьбой вернуть...»*

*Уже после его смерти я обратилась в ЦК, к Александру Николаевичу Яковлеву с просьбой помочь мне вернуть отцовские произведения. В июле 1988 года рукописи были мне возвращены.*

*Я совершенно убеждена, что для моего отца возможность быть прочитанным и услышанным была важнее всего на свете. Доведись ему договориться об этом с Всевышним, и он отдавал бы по году жизни за каждую изданную страницу своих произведений.*

*Читая иногда слишком пространные пояснения о специфике лагерной жизни, сегодняшний сверхграмотный в этих вопросах читатель должен помнить, что написаны они в шестидесятые годы, когда даже мысль об их издании казалась бредом.*

В. ДЕМИДОВА

84

Если при переходе через критическую точку производная функция меняет знак на отрицательный, то функция в данной точке имеет максимум.

(Первый «признак Коши»)

Из учебника математики

На воле одни с оттенком некоторой презрительности, другие — уважения прозвали руководителя университетской кафедры математического анализа тогда еще малоизвестным словом «Интеллектуал». Уж очень широк был у молодого профессора математики круг познаний и интересов. Он был прекрасным аналитиком и талантливым виолончелистом, игравшим в самодельном симфоническом оркестре при Доме ученых. Интересовался множеством предметов, не только смежных с математикой, но и весьма от нее далеких, как философия и история, например. Несмотря на то, что его можно было встретить в гимнастическом зале и в группе туристов-оборванцев где-нибудь на горной тропе, некоторые считали его «рафинированным интеллигентом», комплимент для советского человека более чем сомнительный. Прилагательное «рафинированный» не только не исключало, но скорее даже подчеркивало, другое прилагательное, считавшееся почти неотторжимым от понятия «интеллигент» — эпитета «мягкотелый». Предполагалось, и нельзя сказать, что не без известной доли резонности, что избыток образованности опасен для дела революции. В отличие от пролетариата, не отягощенного никакими сомнениями относительно ее исторической оправданности, русская интеллигенция, даже в лице новых своих представителей, все еще несла на себе груз политических, этических и всяких иных сомнений. И хотя обычно это никак не отражалось ни на практической деятельности интеллигентов, ни на их гражданской честности, угрюмо подозрительное отношение к ним особо трагическим образом сказалось на судьбе советской интеллигенции в «черном» 1937 году. Тогда погибли многие, если не все, из числа лучших ее представителей.

Оказался среди них и Интеллектуал. Теперь, впрочем, член бригады навалыщников-откатчиков, работающих на руднике сопки Оловянной, именовался уже проще — Ученый. Из всех знаний и умений, которыми обладал бывший профессор, практически теперь требовалось только одно — умение напрягать волю, чтобы мобилизовать до возможного предела слабеющую энергию мышц во время работы. А вне ее противостоять принижающему действию каторжного быта и не опуститься до уровня почти животного, как это происходило здесь едва ли не со всеми. Главным способом противодействия отупляющему влиянию каторги ученый считал постоянную «гимнастику ума», столь же здесь необходимую, как гимнастика в обычном понимании этого слова необходима для

людей нефизического труда. Здесь он был превращен в «мускульную машину», то нагружающую кусками взорванной породы тяжелую вагонетку, то толкающую эту вагонетку по рельсам, то разбивающую кувалдой особенно крупные камни. Поэтому, занимаясь этим, Ученый придумывал для себя задачи вроде таких: какой формулой можно было бы определить объем вон того клиновидного камня? Или как выразить аналитическую кривую прихотливого изгиба рельсов на повороте откаточного пути? Решал он эти задачи обычно в уме, но в особо трудных случаях писал иногда затейливые математические знаки на стене гранитной штольни куском более мягкой породы.

Конечно, его за это считали тут «чокнутым», как, впрочем, почти всех ученых, но не презирали и не глумились над его странностями. Во-первых, Ученый, как оказалось, мог, когда нужно, и постоять за себя. Во-вторых, и это было самое главное, он в отличие от большинства своих собратьев-интеллигентов был всегда собран и подтянут и работал лучше не только их, но и многих людей физического труда, крестьян и даже бывших шахтеров. Он пережил едва ли не всех, с кем два года назад был привезен прямо с материка в лагерь проклятой богом и людьми Оловянной. Трудно было сказать, что помогло бывшему «рафинированному интеллигенту» побить столь трудный рекорд. То ли унаследованное от предков-крестьян необычайно выносливое сердце, то ли еще более необычайная сила воли, то ли привычка смолоду к физическому труду. Государственная стипендия в середине двадцатых годов была явлением не частым, если социальное происхождение студента вуза не было кристально пролетарским. Поэтому многие из таких зарабатывали себе на пропитание разгрузкой вагонов на железнодорожной станции, пилкой-колкой дров по дворам и тому подобным нелегким трудом. Немаловажное значение, особенно в условиях лагеря при Сопке, как называли тут гору Оловянную, имело и увлечение Ученого в прошлом горным туризмом. Опыт, приобретенный им на Кавказе и Алтае, неожиданным образом пригодился ему на Колыме.

Скорее всего, конечно, что не какое-нибудь отдельное из этих качеств и навыков бывшего ученого, музыканта и спортсмена, а все они, вместе взятые, помогли ему поразительно долго не скатываться на путь наименьшего сопротивления к лагерному кладбищу. Он до конца сохранил сознательную волю к жизни там, где у большинства его товарищей по лагерю оставался уже только животный инстинкт жизни, униженный и чаще всего нецелесообразный. Собираение селедочных головок на помойке, например, или питье для заглушения голода невероятного количества воды не отдаляет, а приближает смерть от дистрофии и связанных с ней болезней.

Не было, однако, таких «сивок», которых не могла бы, и скорее рано, чем поздно, укатать крутая горка под названием Оловянная. Она была крута не только в переносном смысле расположенным в ее недрах каторжным рудником и обслуживающими этот рудник лагерями с почти невыносимыми условиями быта заключенных. Сопка была крута и в самом прямом смысле тем своим склоном, по которому ежедневно поднимались на ее вершину заключенные работники рудника. Почти все входы и спуски в его многочисленные шахты, карьеры и штольни располагались на этой вершине или в непосредственной близости от нее.

С точки зрения профессионального альпиниста Оловянная отнюдь не являлась особенно трудным объектом. Обычная для здешних безлесных угрюмых гор продолговатая сопка средней высоты. По вертикали от подножия до вершины эта высота едва тянула на какую-нибудь тысячу метров. Склон, по которому совершал свое ежедневное восхождение лагерный развод, был настолько «спокоен», что по нему удалось даже проложить рельсы бремсберга, канатной железной дороги, обслуживающей рудник. Но добавьте к высоте сопки еще метров триста подъема на пути от лагеря, расположенного километрах в трех от ее подножия, оледените ее склоны осенней и весенней гололедью, завалите их сугробами снега зимой, ударьте в лицо ежедневным «покорителям Оловянной» ураганным ветром высокогорной пурги, обожгите их пятидесяти — шестидесятиградусным морозом, помножьте все это на число дней в году и вы получите далеко еще не полное представление о трудностях «рекордов», побиваемых

подневольными альпинистами. Ежедневные подъемы и спуски были, конечно, только дополнением к четырнадцатичасовому каторжному труду на руднике. Впрочем, многие считали, что дело обстоит наоборот и что этот труд сам лишь дополнение к ежедневному «покорению вершины». Сумма, как известно, от перемены мест слагаемых не меняется, и даже у самых выносливых из «покорителей» окаянной сопки от непривычного высокогорного климата и непомерной нагрузки на сердце развивались болезни, связанные с его расширением. Они-то и сводили в могилу тех из «альпинистов», которые еще раньше не умерли от изнурения и недоедания и не погибли в бесчисленных катастрофах на руднике. О технике безопасности здесь знали только понаслышке и почти о ней не заботились. Было бы нелогично делать крупные производственные затраты ради тех, на чью жизнь здесь в среднем отпускалось не более полутора-двух лет. Почти ежедневно кто-нибудь из совершающих восхождение, а в иные дни и двое, и трое из них на этот раз уже не могли «взять» возделенной вершины. Не достигнув ее, они падали, чтобы больше никогда уже не подняться. Не помогали не только мат и угрозы конвоиров, но даже их сапоги и приклады.

86  
Когда лагерный развод добирался до подножия Оловянной, в дни с низкой облачностью уходившей своей вершиной в серые облака, начальник конвоя выкрикивал команду сделать короткий привал. Повторять эту команду ему никогда не приходилось. Вся тысяча человек, а иногда и только триста, это зависело от числа месяцев, прошедших со времени последнего пополнения лагеря — тут же валилась на снег или камни. И хотя все знали, что отдых не продлится более пяти минут, большинство сразу же погружалось в сон. Хроническое недосыпание было здесь едва ли не большим бедствием, чем обычная нехватка питания. За вычетом часов работы на руднике, времени на подъем и спуск с Сопки, сборы на развод и стояние у вахты, получение хлеба и баланды, бестолковые поверки и частые «шмоны», на сон у работяг «основного производства» оставалось в иные сутки не более шести-семи часов. А так как о выходных днях для заключенных здесь не было речи, то возместить вечную «недоимку» по части сна удавалось только в дни освобождения от работы по болезни. Но получить такое освобождение было тут очень непросто. Для этого, как гласила невеселая лагерная шутка, надо было принести в санчасть «голову под мышкой».

Поэтому насколько охотно выполнялась команда «Садись!», настолько же неохотно люди пробуждались от мгновенно охватившего их свинцового оцепенения. Они тяжело поднимались на ноги, нередко только после конвоирского пинка и начинали мучительный подъем на гору, на который уходила едва ли не большая часть их слабеющих физических сил.

На этом участке пути конвоиры не окружали колонну заключенных, как обычно, а пропускali ее вперед, чтобы самим замыкать шествие. Если и всегда-то они были больше погонщиками, чем охранниками, то при подъемах на Сопку превращались уже исключительно в погонщиков, притом невероятно свирепых. Иначе было нельзя. Развод на склоне Оловянной имел злостную тенденцию растягиваться едва ли не на всю его длину. В то время как голова «колонны» достигала уже вершины сопки, ее хвост плелся в доброй версте от этой вершины, даже при условии непрерывного понукания и толчков прикладами в спины отстающих. Тех, кто валился наземь, вохровцы методически извивали. Делалось это собственно, не для того, чтобы заставить упавшего подняться на ноги и продолжать путь, такой надежды почти не было — а в назидание остальным. Если дышащего как запаленная лошадь доходягу, или даже совсем почти не дышащего, не дубасить сапогами и прикладами, то много найдется охотников симулировать полное бессилие или сердечный припадок, чтобы быть отправленными в санчасть. Лагерные врачи разберутся, конечно, действительно ли заключенный не мог двигаться дальше, или только «придурился». Но обратно на сопку его уже не пошлют, а это для симулянта немалый выигрыш. А вот если такая удача обойдется ему в отбитые легкие или сломанное ребро, то ни ему впредь, ни остальным ээкам, заниматься подобной симуляцией будет уже неповально. А что касается тех, кто и в самом деле не мог продолжать восхождение, то большинство таких умирали, а остальные превращались в совершенных уже

инвалидов, не имеющих ни малейшей ценности как рабочая сила. Следовательно, и церемониться с ними уже нечего. В этом рассуждении была своя логика.

В течение почти года, хотя он был далеко не самым молодым из здешних заключенных, Ученый одним из первых достигал места, где лежали и хватали раскрытыми ртами разреженный воздух те, кому и на этот раз удалось одолеть подъем. Но постепенно «сепаратор Сопки» отбрасывал его все дальше от головы колонны, и теперь он плелся даже не в ее середине. Сердце, про которое он шутил прежде, что не знает толком, где оно находится, давало себя знать все сильнее и чаще. Одолевала слабость, саднящая боль в груди, ощущение нехватки воздуха. Чем ближе к хвосту колонны он карабкался на гору, тем чаще наблюдал, как кто-нибудь рядом с ним останавливался и хватался за сердце. Потом человек медленно опускался на склон, глядя помутневшими глазами вслед тем, кто, тяжело отрывая от земли ноги, продолжал путь дальше. Чаще всего эти глаза выражали только физическую боль, но иногда еще страх и смертную тоску. В углах рта у некоторых выступала пена. Оглянувшись, Ученый видел, как к упавшему, не торопясь, подходят охранники. Теперь он уже и слышал иногда, как пнув для начала скрючившегося на земле человека сапогом, кто-нибудь из них кричал на него ненатурально грубым голосом, как пастух на скотину: «А ну, кончай придуливаться!»

Перспектива такого конца не столько страшила, сколько возмущала Ученого своей бессмысленностью. Стоило родиться на свет на редкость одаренным человеком — теперь, в своем нынешнем положении он считал себя вправе давать себе такую оценку — многого достигнуть и к еще большему стремиться, чтобы таким нелепым, противоестественным образом погибнуть среди угрюмых гор, где-то на самом краю света. Он всеми силами на протяжении последних двух с лишним лет старался отдалить этот конец, веря в какое-то чудо, невозможность которого отчетливо понимал. Но вера в чудо органически присуща попавшему в безвыходное положение человеческому существу, так же присуща ему, как рефлекс защиты себя ладонями от падающей скалы. Эта вера проявляется не только в большом, но и в малом, подчас почти смешном своей наивностью. Разве он не знал, например, что в санчасти их лагеря нет почти никаких лекарств, когда пошел вчера к лагерному лектому, бывшему ветврачу, просить дать ему чего-нибудь против усиливающихся день ото дня перебоев сердца. Ветеринар не стал даже прикидываться, что проверяет жалобу больного выслушиванием этого сердца, и порошок дал. Такая легкость отпуска лекарства и его чем-то очень знакомый вкус навели недоверчивого пациента на мысль капнуть в свой порошок разбавленной соляной кислоты, выданной тем же лектомом его соседу по нарам. Эта кислота да еще отвар кедра-стланника были в их лагере единственными медикаментами, имеющимися в достатке. Смесь бурно вспенилась. Так и есть — сода! Как у чеховских сельских эскулапов, ставка на психотерапевтический эффект.

Но если психотерапия при помощи соды не удалась, то тем более была необходима теперь его обычная «отвлекающая терапия» при помощи мышления о чем угодно, кроме, конечно, мыслей о своей судьбе. Она отвлекает от этих мыслей и помогает забыть о боли и даже о том, что физические силы неумолимо иссякают. А вот запас тем, на которые можно размышлять во время этих восхождений, продолжающихся не меньше часа, практически неиссякаем. Можно думать, например, о том, что по мере подъема на сопку все яснее, что окружающие ее горы кажутся хаотическим образованием только внизу. Вообще понятие хаоса в чем-нибудь порождается всегда недостатком знаний о природе и законах этого явления. Отсюда же видно, что сопки, особенно дальние, вытянуты в цепи, как бы набегающие друг на друга и порождающие мысль о волнообразном движении. Это движение нельзя считать застывшим, так как горообразовательные процессы, особенно в этих местах, все еще продолжают. Его, наверно, даже можно было бы выразить. Пусть несколько абстрагированной, математической формулой. А противовес представлению о Хаосе — признаку капитуляции разума перед непознанным, математическое отображение явления означает высшее торжество этого разума. Кажется, Лауэ сказал, что математика дарит человеку радость наслаждения истиной в ее наиболее чистом виде. Но эта истина лишена красок, звуков и всего того, с чем связана всякая реальность. Этот горный

ландшафт, например. Он наводит на мысль о мертвых планетах, чем-то глубоко чуждом и враждебном человеку. Этого не выразишь формулой. Здесь нужна музыка. Если архитектура — это «застывшая музыка», как было сказано уже очень давно, то горы имеют на такое определение еще большее право. Только симфония здесь должна неизбежно перемежаться с какофонией. И какое же из этих начал должно подчиняться другому? Это зависит уже от восприятия мира творцом музыки. В отличие от математических выкладок, абсолютно объективных по самой своей сущности, здесь, возможно, и даже обязательно, субъективное начало. Без этого самое понятие искусства было бы лишено своего смысла.

Кому-то из мудрецов, склад ума которого, вероятно, был совсем иным, чем у физика Лауэ, принадлежит мысль, что музыка тем и хороша, что мешает логически думать. Так ли это? Вернее, так ли это всегда? Создатель проэктивной геометрии, математик Бальи находил законы этой геометрии, играя на скрипке. Математический и музыкальный центр мозга, по-видимому, близки друг к другу, если только не совпадают. Среди профессиональных музыкантов математиков, правда, нет. Это объясняется, вероятно, специальным характером предмета математики и трудностью освоения его техники. Зато много музыкантов-любителей высокого класса среди математиков. Оркестр, в котором он играл, почти сплошь состоял из математиков и физиков. Гениальный физик Эйнштейн прекрасно играет на скрипке. Виолончелист оркестра Дома ученых в иные периоды не сумел бы, наверно, достаточно определенно ответить на вопрос: кто в нем преобладает, математик или музыкант? В своей ранней молодости долго не мог ответить на этот вопрос и великий физик Макс Планк.

Многие, начиная со времен древних греков, пытались найти математические законы музыки. Он сам, в порядке некоего «хобби», пытался разработать, хотя бы в самом общем виде, математическое выражение фуги. Приятели шутили: «Я алгеброй гармонию поверил». Шутка казалась обидой. Приписываемая Пушкиным своему Сальери попытка подменить интуицию гениального музыканта чем-то вроде конструирования музыки по готовым формулам — всего лишь поэтический прием. Ведь и сама математика, если говорить об ее непроторенных путях, создается за счет все той же интуиции. Представление об ее творцах как о людях сугубо рационалистического ума — плод невежественного и плоского мышления. Познание Истины ради самой Истины не носит примитивно рационалистического характера уже потому, что заранее известно: всякое открытие ставит больше проблем, чем решает их. Познание человеком законов мира часто сравнивают с открыванием ребенком куколок деревянной «матрешки». Ему такое сравнение кажется не совсем удачным. Куколки, по мере того, как разбирается забавная игрушка, оказываются все меньше по размерам. Вложенные же одна в одну загадки природы, наоборот, становятся все масштабнее, все глубже, все труднее для разрешения. Может быть, следовало бы заменить ребенка в подобном сравнении, скажем, червем-древоточцем, помещенным в самую маленькую из матрешек. Пытаясь раскрыть тайну строения окружающего его мира, этот червяк буравил бы одну за другой крепкие деревянные оболочки. И, конечно, находил бы, что они становятся все толще, все объемистее, все труднее для одоления. Обладая он хмурым и дотошным умом шекспировского Гамлета, червяк-исследователь пришел бы, наверно, к тому же выводу, что и герой знаменитой трагедии: «Много есть на свете, друг Горацио, такого, что и не снилось нашим мудрецам...»

Однако от размышлений на отвлеченно философские темы мозг начал утомляться почти так же быстро, как «мышечный мешок» сердца от физических нагрузок. Надо занять его работой полегче. Например, вычислением энергии, затрачиваемой каждым из этого вот «развода», чтобы добраться до вершины сопки. Задача эта элементарная. Надо помножить средний вес заключенного — его можно принять равным всего пятидесяти килограммам, больше сейчас тут мало кто весит — на высоту подъема в метрах. Получится пятьдесят тысяч килограммометров механической работы. Чтобы выразить ее в привычных калориях, нужно разделить этот результат на механический эквивалент тепла, который, грубо округляя, можно считать равным четыремстам. Получится, что восхождение на сопку только от ее подножия обходится даже предельно исхуда-



вшему человеку в более, чем тысячу двести калорий. Это больше половины «калорий», заложенных в хлебном пайке, получаемом теми из заключенных, которые выполняют производственные «нормы». У не выполняющих дневной «план» их урезанный паек едва покрывает расход энергии на одно только это «восхождение». Вот почему сердце, даже у самых молодых и сильных из привезенных сюда, скоро начинает работать, как мотор, в баке которого иссякает горючее. Но это уже тема, запретная для размышлений.

На столбе справа, одном из двадцати, установленных вдоль линии бремсберга и несущих провода, питающие токком двигатель лебедки, жирно выведен его номер — 531. Номер опоры в начале рельсового пути на сопку 517, позади осталось почти две трети длины склона. Но будет правильнее определять соотношение пройденного и оставшегося пути не по его длине, а по энергии, затрачиваемой на подъем. Тогда получится куда менее благоприятный результат, сопка с высотой становится круче. Самое трудное место восхождения на нее находится между опорами № 533 и № 534. Склон там пересекает скальное образование, напоминающее естественный карниз или барьер, протянувшийся параллельно вершине сопки. Подъем на месте этого выступа так крут, что для спрямления линии бремсберга в вертикальной плоскости в нем сделана выемка. Подниматься по этой выемке было бы, конечно, гораздо легче, но заходить в нее во время восхождения на сопку целого развода заключенным не разрешается. Они могли бы задерживать движение по бремсбергу вагонеточных поездов.

Чертов барьер является «критическим» участком кривой подъема и с чисто математической точки зрения. Выражение функции этой кривой никому, конечно, не известно. Но несомненно, что ее первая производная где-то, именно здесь, меняет свой знак с плюса на минус. То есть удовлетворяет математическому признаку максимума всякой аналитической функции. Этот признак найден французским математиком прошлого века Коши и долго назывался его именем. Для каторжника, знающего математику и все менее уверенного, что при очередном восхождении он сумеет преодолеть этот максимум, «признак Коши» стал с некоторого времени чем-то вроде мрачного символа. Конечно, это плод его нынешнего угрюмого праздномыслия. Но и того еще, что большинство смертей, которыми так часто сопровождается восхождение на Оловянную, происходит на этом участке подъема. Возможно, что и давно покойный маркиз Огюстен Луи Коши, имея он возможность наблюдать почти ежедневно происходящие здесь трагедии, усмотрел бы в них не только лишнюю иллюстрацию к своей теореме. Выдающийся аналитик в математике, он был крайне консервативен в своих политических взглядах. Он считал, что попытки насильственного преобразования общества, с какими бы благими намерениями они ни производились, неизменно пагубны, так как нарушают установления самого Бога. Наивное убеждение верующего человека и клерикала. Но так ли уж далеко оно от истины, если рассматривать его с не слишком предвзятой точки зрения?

Эта непредвзятая точка зрения, склонность проверять «своим умом» то, что проверять запрещено, более других людей свойственна профессионалам мыслительной работы. Вроде него самого, например, в обществах с авторитарной формой правления она считается опасным посягательством на монополию немногих думать за всех. Отсюда и извечная война единоличных диктатур и деспотий с собственной интеллигенцией. Она началась еще в Древнем Египте, красной нитью прошла через историю императорского Рима, не говоря уже о средневековых, полутеократических европейских государствах с их инквизицией. Но первым, кто поставил эту войну на продуманную, рационалистическую основу, был, наверное, древний китайский император Цинь-ши Хуан-ди. Для начала эпохи абсолютно единоличного управления он повелел в своей империи умертвить всех философов. И притом такими способами, как утопление в нужниках, например. Это чтобы отбить охоту к критическому мышлению даже у тех, кто отягощен избытком ума и знаний. Цинь-ши Хуан-ди жил более двух тысяч лет тому назад. Технические приемы старого богдыхана устарели. Но не его политические принципы. Иначе профессор математики не карабкался бы на эту сопку вместо того, чтобы заниматься теорией расходящихся рядов.

До барьера, перевал через который становится для него все более трудным, остается всего один интервал между опорами. Всего одна двадцатая общей

высоты сопки. А между тем она равна высоте двенадцатизэтажного дома. И взбираться на эти дважды поставленные друг на друга многоэтажные дома приходится не по удобным лестницам, а по осклизлым, местами еще покрытым тающим снегом камням. Конец мая — один из самых неблагоприятных периодов для восхождения на здешние горы.

Богато иннервированный «мышечный мешок», который люди так долго считали вместилищем своей души, в общем-то, значительно трусливее ума. От одного приближения к круто вздымающемуся участку склона сердце начинает ныть особенно сильно, норовя совсем размагнититься в самый неподходящий момент. Поэтому нужно думать не о близком максимуме крутизны, в которой максимальной становится и нагрузка на почти отказывающее сердце, а о той же «музыке гор», например. С этой высоты уже совершенно очевидно, что здешняя горная система имеет ясно выраженный, волнообразный характер, хотя и весьма сложный. Значит, и выражать его надлежало бы средствами полифонической музыки и среди них — фуги. При некотором напряжении воображения он уже сейчас слышит мощные, накатывающиеся друг на друга волны звуков. Вначале они должны изображать столкновение и борение между собой громадных масс мертвой материи. Затем проникновение в их первозданный хаос некоего организующего начала. Постепенно это начало переходит к своему торжеству, пока еще не окончательному. Борьба сил, слишком могучих, чтобы замечать человека, все еще продолжается. Трагическая «тема» этого человека едва пробивается сквозь раскаты воображаемой полифонии. Сегодня она — совсем слабый, какой-то молящий звук. Это потому, что человек уже почти исчерпал свои силы в борьбе с враждебными силами. И одна из этих сил — сила тяжести, ставшая почти неодолимой. Это она не позволяет ему оторвать от скалистого грунта дрожащих, подкашивающихся ног. Это благодаря ей сердце от бешеных вибраций, когда оно, кажется, готово выскочить из своей тесной клетки, переходит к почти полным остановкам. В такие моменты не только ноги, но и все тело как будто обмякает, становится ватным. В глазах темнеет, по лицу и груди как будто кто-то проводит жесткой скребницей. И все время не хватает воздуха, хотя он дышит уже, как рыба на суше, широко открытым ртом. Мимо бредут люди, полусогнувшиеся, лишь с огромным трудом передвигающие ноги, с такими же, как у него, открытыми ртами. Ну да, он поднялся до высоты, где кривая подъема удовлетворяет признаку максимума Коши. Неужели сегодня он уже не сумеет преодолеть этот максимум? Проходят последние из карабкающихся на сопку заключенных. За ними следуют уже свирепые стражники с их винтовками.

Но, может быть, еще можно предельным усилием воли заставить себя и на этот раз преодолеть проклятый барьер? Может быть, к нему явится даже второе дыхание, нередко выручающее спортсменов на, казалось бы, безнадежных для них состязаниях.

Но второе дыхание не приходило. Сквозь застилавшую глаза мглу стало видно, как качается высоченная, гораздо выше Оловянной, соседняя сопка. Кто-то дал этому угрюмому, голому конусу нелепое для него название «Вакханка». Но сейчас гора как будто решила оправдать это название. Пьяно качнувшись несколько раз, она упала. Место ее бурого склона с красноватыми промоинами заняло совсем близкое, разлохмаченное облако. Ранней весной облака всегда такие, тяжелые и набухшие. Ранней, конечно, по здешним понятиям. Где-то уже отцветает сирень, а здесь эти облака, осклизлый снег и что-то еще, чего он никак не может вспомнить...

Все стремится к состоянию наименьшей энергии. Все, кроме биологических систем, пока они живы. Он тоже жив, так как думает о том, что же является еще одним характерным признаком весны в этих проклятых краях. Ну, конечно! Добротные яловые сапоги. На них недавно сменили валенки здешние вохровцы...

— А ну, поднимайся, хватит придуриваться! — удар носком тяжелого сапога по силе и точности не уступал удару по мячу опытного футбольного бомбардира. Боль от него проникла даже сквозь слабеющее сознание. Но тут же и погасла вместе с этим сознанием, клочковатым, почти черным облаком наверху и высшим рядом, темными фигурами. Второго удара Ученый уже не почувствовал.

АЛЕКСАНДР ПУТКО

## Эпиталама по-фронтовому

РАССКАЗЫ

Саша Путко был моим другом. Поэтому трудно в короткие строки, предваряющие публикацию его рассказов, уместить все, что хотелось бы сказать о нем.

Изысканная словесность не была в строгом смысле слова его профессией, хотя он состоял в Союзе писателей и первая его книга вышла в 1959 году. Думаю, что с таким же успехом Саша мог стать художником — он хорошо рисовал, недурно писал маслом, вполне «товарно» резал по дереву, камню...

Мог он стать и актером... Впрочем, он им был — еще мальчиком зарабатывал хлеб для семьи, снимаясь в кино на студии «Союздетфильм». Кое-кто, наверное, помнит картины режиссера Льва Кулешова с его участием — «Сибиряки» и «Клятва Тимура». Вместе со студией он оказался в начале войны в эвакуации в Ашхабаде. О том времени и о тех людях Саша написал очень интересную мемуарными подробностями повесть. Надеюсь, что она будет в скором времени напечатана в «ДН». В 1943 году, семнадцати лет от роду, Александр Борисович Путко стал курсантом Орловского пехотного училища. Через несколько месяцев он уже младший лейтенант. При форсировании Днепра сумел переправиться на тот берег и уже там был ранен. Это был его последний бой. На этом его долгая (три месяца на передовой в пехоте — очень много) война закончилась. А восемнадцать Саше все еще не исполнилось...

Потом была учеба на военного фармацевта, работа на армейском аптечном складе. Так что мог стать и офицером интендантской службы. Однако из армии он уволился и поступил почему-то в юридический институт. Но профессией его стала журналистика. Саша был репортером-ассом. Десятка три лет работал в Радиокomitee, на Иновещании, которое с полным правом можно было бы назвать Академией электронной журналистики — практически каждый мало-мальски известный радио- и тележурналист прошел через нее, и многие считают себя учениками Александра Путко.

В последние годы Саша активно сотрудничал с «Известиями», «Независимой газетой», «Курантами». Но оставался радиорепортером. Он и умер в трамвае, по пути на Пятницкую, отвозя в студию магнитофонную запись очередного, может, сотысячного по счету, своего репортажа. Случилось это 29 сентября 1992 года, за три недели до дня рождения, когда ему исполнилось бы 67 лет.

...В предисловии к циклу, из которого выбраны публикуемые рассказы, Александр Путко писал: «В этой книге ничего не выдуманно, кроме фамилий. Это кусок моей жизни, сотканный из воспоминаний и снов. А в снах, как известно, сплетается все виденное и пережитое». Значит, так оно и было.

ЕВГ. БЕНЬЯШ

## Как хоронили старшего лейтенанта Жарикова

Уважаемая Лида! С фронтовым приветом санинструктор Маша Евсикова. Пишу вам из хирургического полевого передвижного госпиталя № 5248. Собиралась сразу написать, как похоронили мы вашего мужа старшего лейтенанта Жарикова. Но на передовой времени не было. А потом, как ранило меня слепым осколочным в колено, состояние не позволяло. У меня гангрена началась. Думала — все, не жить мне на белом свете, но врачи спасли, выходили. Теперь только пальцы болят на ноге, которой у меня нет. Глаза

закрою, и кажется, каждым пальцем пошевелить могу. Называется это галлюцинация чувствительности, а по-медицински — фантомные боли в ампутированной конечности.

Похоронку на старшего лейтенанта Жарикова вы, наверное, давно получили и первое свое неутешное горе перенесли. Хотя, как это можно перенести, не представляю. Я все никак не могу поверить, что не увижу больше Ваню Жарикова и не будет уже больше ничего, что у нас с ним было.

А ранило его навывлет в грудь под деревней Малые Васичи. Километров пять южнее. Пока выносила я его из-под огня, он еще дышал и кашлял кровью. И если б смогла я быстрее, может, и спасли бы врачи нашего Ваню, старшего лейтенанта Жарикова. Он всегда говорил: главное — успеть. Как в воду глядел! Я себя и сейчас виню и страдаю от мысли, что не донесла его быстро до БМП<sup>1</sup>. Но какой он здоровенный и тяжелый был! А тащить его пришлось на плащ-палатке по болоту, по кочкам, через камыши, и обстрел продолжался очень сильный из минометов. И когда мы добрались, Ваня уже дышал еле-еле. Лицо у него стало белое, а губы посинели. Так и умер он, не мучаясь долго. И не сказал на прощание ни одного словечка. Наверное, и не понимал, что я при нем находилась до последней его минуты.

Документы, его награды и все ваши письма я собрала и храню при себе в целости. И фото, где вы с маленькой Настенькой сняты в парке у фонтана, я тоже берегу, чтобы вам переслать по почте, если это письмо найдет вас и вы мне ответите. Настенька на Ваню очень похожа. Это он мне всегда с гордостью говорил. А когда нашла я фотографию у него в кармане, то и сама увидела. И вас я такой же представляла по его рассказам.

Хоронить его я там не дала. Место сырое, кругом болота. У нас и позиции огневые в воде находились. Окапываться там невозможно никак. Бсйпы деревья валили и за ними в камышах держали оборону. Для орудий и минометов гати устраивали. БМП чуть выше располагался. Земля там вроде потверже и посуше. Но копнешь на штык, и опять вода хлюпает. Убитых так и клали в жижу эту. По совести говоря, не закапывали, а затапливали. Смотреть на такие похороны было невозможно!

Но Ваню класть в болото я не позволила. И пришлось мне сильно поругаться с новым ротным, а до этого бывшим командиром первого взвода лейтенантом Поликарповым. Он говорит: «Нет у меня похоронной команды, чтобы старшего лейтенанта Жарикова в тыл на сухую землю доставлять. Не могу я с переднего края ни одного человека снять. Не имею права! Хороните здесь без разговоров!» Но я его и при Ване не очень-то боялась. Он и слова не смел сказать, знал, что Ваня меня в обиду не даст. А без Вани я и вовсе ничего не боялась — мне уже все равно было. «Вот тебя мы здесь и похороним, — говорю я ему. — Или думаешь, ты заговоренный?» От этих моих слов его перекосило, но людей он так и не дал. Снимать с передовой, и правда, нельзя было: немцы, того и гляди, опять в атаку пойдут. Не зря же они без перерыва по нашим позициям молотили. Все больше из минометов. И тяжелая артиллерия голос подавала.

Ладно. Взяла я двоих санитаров из БМП, сама уговорила, без начальства. И понесли мы Ваню на носилках дальше в тыл на взгорье, где посуше.

Место там вовсе лысое, насквозь простреливалось. Надо бы дожждаться, когда стемнеет, но санитары торопились: на БМП у них работы много — раненые то и дело прибывают. Пришлось нам ветками обвязаться и камышами для маскировки. И для Вани веток погуще наломали, укрыли. Так и понесли вверх от куста к кусту. Где ползком, где перебежками. Немцы заметили нас, открыли беглый огонь. Залегли мы среди кочек, не шевелимся. Один санитар уперся. «Дальше, — говорит, — не пойду. Нет смысла погибать из-за старшего твоего. Он же мертвый, ему все равно, где лежать. Давай здесь и закопаем». Тут я напустилась на санитаря. «Как же так? — говорю. — Мужик ты или не мужик? Совесть-то, — говорю, — у тебя есть?»

А мины вокруг шлеп да шлеп. Как мы целы остались, и сейчас объяснить не могу.

<sup>1</sup> Батальонный медпункт.

Могилу выкопали в березовой роще — сухой и чистой. Там немцы нас увидеть уже не могли — кустарники закрывали. Только шальные мины падали, и то не близко. Похоронили мы Ваню честь по чести. И даже пальнули потом, когда я вернулась на позицию. Залпом пальнули из всех винтовок по немцам. Вроде салюта.

Место, где покоится наш Ваня, я хорошо запомнила. Если доведется нам встретиться когда-нибудь, я вам это место покажу.

Что еще сказать? Воевал он, как положено настоящему боевому командиру, и погиб как герой за нашу Родину. Его все в роте уважали и любили — и бойцы, и командиры. Любили за смелость, за удалой его характер. А уж как я его любила! Не какая-то была ему ППЖ, а до конца верная боевая подруга.

Теперь я инвалид. Как жить дальше, не знаю. И обе мы с вами горькие вдовы. На том и остаюсь Маша Евсикова, сержант медицинской службы.

## По кресту

Младший лейтенант Бахметьев знал, что Раиска — женщина безотказная, и все же дрейфил.

Дождавшись темноты, он вышел из душевной палаты во двор госпиталя, где среди составленных в ряд повозок прохаживался часовой, знакомый боец из команды выздоравливающих.

— Счастливо дойти, не заблудиться, товарищ младший лейтенант, — сказал он заговорщицким смешливым полусшепотом.

Опираясь на палку, Бахметьев прошкандыбал за сарай, где размещалась прозекторская, а попросту говоря, мертвецкая, и увидел стоящую в стороне вошебойку, похожую на цистерну. Чуть дальше смутно темнел Раискин фургон.

Бахметьев все сделал, как учили ребята: встав на цыпочки, тихонько постучал в оконце, завешенное для светомаскировки. А когда дверь, скрипнув, отворилась, проворно, не чувствуя боли в ноге, преодолел три ступеньки и нырнул в пахнувшее теплом и карболкой нутро фургона.

— Проходил мимо, дай, думаю, загляну, чайком погреюсь, — буркнул он с напускной грубоватостью, осипшим от волнения голосом.

— О-о! И ты туда же! — не то с удивлением, не то с насмешкой покачала головой Раиска и оглядела его так, словно впервые увидела.

При скудном трепетном свете коптилки она не казалась такой уж могучей и рослой. На ее широком лице не было видно морщинок и набрякших под глазами мешков. В распахнутом вороте гимнастерки белела полная шея.

В полутьме за ее спиной виднелись бутылки, должно быть, с жидким мылом, какие-то фанерные барабаны, приставленные к ним палки с квацами, большие резиновые сапоги и прочее нехитрое банно-прачечное имущество. В небольшом свободном пространстве под завешенным оконцем стоял низенький шкафчик, одновременно служивший столиком, а дальше — втиснутая между штабелем ящиков и стенкой койка, застеленная солдатским одеялом.

— Если я не вовремя... — нерешительно пробормотал Бахметьев, делая неловкий шаг назад.

— Садись, чего уж, — Раиска пододвинула ногой табуретку. — Чай поспел. Пить будем.

Наклонившись, отчего обозначились ее крепкие икры и бедра, обтянутые юбкой, она достала из шкафчика эмалированные кружки, жестяную коробку с заваркой и фунтик с сахарным песком. Сняла с керосинки котелок с бурлящей водой и сыпанула в него из горсти заварки.

— Сейчас настоится, — сказала она, присев на край койки. — На улице свежо. Днем жара, а к вечеру — пар изо рта.

— Осень, куда ни крути, — поддакнул Бахметьев, радуясь, что разговор какой-никакой клеится, и в то же время понимая, что пути к отступлению нет, неминуемое должно совершиться.

— Нога-то сильно болит? — спросила Раиска, держа котелок нечувствительными к горячему пальцами и наливая чай в кружки.

— Заживает,— все с той же напускной грубоватостью ответил Бахметьев.— Скоро комиссия.

— Обратно на передовую?

— Может, не сразу. Прошлую партию в запасной артдивизион направили. Значит, недельку-другую в тылу прокантуются.

— Дай-то бог! — вздохнула Раиска, шумно прихлебывая чай, глядя на Бахметьева сочувственно и с любопытством. Слыхала она, что всех выписывающихся из госпиталя направляют в запасные части, которые перебрасывают южнее, под Сталинград. Видно, и этот младший туда угодит.

Бахметьев пил, дуя на кипяток, обжигаясь, по-детски вытягивая трубочкой губы.

— Лет-то тебе сколько? — спросила Раиска, положив на его плечо большую тяжелую руку.

— Скоро двадцать,— ответил он обиженным голосом.

Годик, а может, и два прибавил, подумала Раиска.

— Зовут тебя как?

— Константином,— Бахметьев хмурил куцые брови, чувствуя неловкость от ее тона и от того, что поглаживала она его по плечу скорее как мать, чем любовница.

— Костенька, значит,— поставив кружку, она поднялась.— Допивай, Костенька, ложиться пора. Время позднее, а я ведь тебя до рассвета выгоню.

Она стащила через голову гимнастерку и, оказавшись в майке, стала вынимать шпильки из волос. Бахметьев видел совсем близко ее голое плечо, поднятую полную руку с крупными метками оспин и темную подмышку. Дыхание у младшего лейтенанта перехватило. Раиска задула копилку. В крошечной тьме он стал торопливо раздеваться, не помня себя, обрывая пуговицы, с грохотом уронив палку.

— Иди сюда, Костенька! — позвала она шепотом.

Он шагнул на ее голос и повалился вперед, в живое, жаркое и безумно желанное...

Потом лежал, уткнувшись лбом в ее плечо, медленно приходя в себя, ошеломленный тем, что произошло и как все это оказалось просто.

— Я тебя буду помнить всегда,— пробормотал он полусонно, прижимаясь щекой к ее груди — большой и мягкой.

— Глупенький,— она с улыбкой погладила его по шелковистым волосам.— По первому разу все так говорят. Зачем тебе меня помнить?

— Я люблю тебя,— пробормотал он, уже не слыша своего голоса.

— Скажешь тоже — люблю! — тихо, чтобы не потревожить его, прошептала она с горькой улыбкой.— Вся любовь твоя по бумажке с крестиком! Думаешь, не знаю, как вы там в палатах тянете бумажки, кому выпадет идти ко мне? Да ладно, я не в обиде. Мне ведь всех вас жаль, дурачков несчастных...

Она что-то еще говорила, поглаживая его по голове. Но Бахметьев не слышал — он спал крепко и безмятежно.

## Горько!

Свадьба эта, затеянная старшиной Жигуном и стариком Остапычем, представлялась Витьке каким-то несуразным, диким озорством, о котором потом будут вспоминать со смехом. Если, конечно, доведется дожить до этого «потом».

Самогон был мутный, противный, куда хуже водки. И даже луковица, которую Витька схрупал с ожесточением, не отбила обжигающей горечи и отвратного запаха, подступающего с отрыжкой. Кося глазом, он поглядывал на внучку хозяина Настю, сидящую рядом с Жигуном,— остроносую, блеклую, безучастную. «Надо же, невеста! Ну и ну! Вот учудил старшина так учудил!»

Жигун, выпивший больше всех и ничуть не захмелевший, тыкал коротким тупым пальцем себе в грудь, в брякающие медали:

— Я, отец, с первого дня воюю. От самого Витебска драпал до Москвы...

Выговор у него сибирский, с оканьем. Смоляной чуб на лбу слипся от пота.

Остапыч согласно кивал облезлой головой и, стараясь угодить старшине, суетливо пододвигал ему тарелку с остывшей картошкой:

— Ну-ка, доненька, налей ласковым гостям-освободителям ще маненько...

Настя послушно наклонила бутылку над сдвинутыми стаканами. Ее руки — белые, бесплотные, присыпанные веснушками, выполнив работу, тут же убрались под стол на колени.

— Чтоб мы живы были! — поднял стакан Гришка Гуревич.

— За всю войну отоспался! — довольно ухмыльнулся Коробочкин — второй номер минометного расчета.

Пили с бесшабашной удалью, словно и не помнили позaproшлой ночи, когда их 313-й полк форсировал Днепр. Это Жигун сообразил сорвать ворота с какого-то сарая. Так и плыли, вцепившись намертво в мокрые доски. А вокруг ухали взрывы, взметалась столбами кипящая черная вода и не было ничего, кроме ужаса и ожидания неминуемой гибели.

Витька смутно помнил, как выбрались они на берег, сняв с досок части разобранного миномета, как оказались в этом селе и повалились на глиняный пол в первой же хате на окраине, еще не созная, что Днепр позади, что остались они живы — четверо из всей батареи. Беспамятство это было или сон?

Очнувшись утром. Через село с грохотом проходили танки, переправленные по уже наведенным понтонам. Наступление продолжалось. А остатки 313-го полка, первым преодолевшего водную преграду, должны были влиться в новую часть второго эшелона. И, стало быть, выпало им два дня отдыха. Кто бы посмел мечтать о таком на передовой, да еще в наступлении!

Помнилось Витьке, как наутро внучка хозяина поставила на стол чугунок с картошкой, как, поев, они снова провалились в сон. То ли привиделось ему, то ли, на самом деле в хату ломились какие-то связисты. Но старшина отшил их, наврав, что помещение занято минометчиками по приказу самого полковника Коробочкина. И те ушли. А Коробочкин — не полковник, конечно, а всего лишь ефрейтор, второй номер расчета, — ничего не подозревая, храпел на полу у печки. Разбудил всех Гришка Гуревич, истонно заоравший во сне: «К берегу гребь!..»

Теперь отоспавшийся, согретый горилкой Гришка сосредоточенно смотрел на мигающий огонек «фигасика» — самодельного светильника, изготовленного из медной снарядной гильзы. И вдруг затянул неведомую никому песню: «Пою тебе, бог Гименей! Ты соединяешь невесту с женихом!..»

— Завел волынку! — Жигун неодобрительно мотнул головой. — Вот у нас на свадьбах как запоят, запляшут — дым коромыслом, пол ходуном!

Затеялась эта шальная свадьба нынешним утром. Старик Остапыч зазвал старшину в закуток, пристроенный к хате, и они долго там толковали, дыма цигарками. Потом позвали Настю и все трое направились в центр села к дому, у которого теснились повозки, стоял замызганный «виллис», а за тыном под брезентовым навесом дымила походная кухня. Скоро возвратились — мужчины довольные, повеселевшие, а Настя, как и прежде, унылая, безучастная, закутанная в большой платок. Пришла и скрылась с глаз. А Жигун объявил ребятам, что к вечеру Остапыч добудет горилки и они справят свадьбу.

— Чего-о? — вылупил глаза ошарашенный Витька. — Ты, часом, не спятил?

— Все свое имущество вместе с хатой Остапыч заложил. Четверть самогону ставит! — Жигун перешел на шепот. — Грех отказываться.

— А как же она? — Витька оглянулся на окно, задернутое занавеской.

— Согласна! За такого орла какая баба не пойдет? — Жигун победно выпятил широченную грудь. — В общем, женюсь, где моя не пропадала!

И с деланной удалью хлопнул пилоткой оземь.

— А как же юридически? — недоумевал Гуревич. — Ведь документ нужен, регистрация...

— А как же! Дежурный в штабе справку оформил. Мы его уломали: выручай, говорю, любовь у нас с первого взгляда. А завтра, сам знаешь, дальше топтать — как говорится, в бой за Родину, за родного нашего товарища Сталина. Мужик, слава богу, попался свой в доску, все усек. Листок из блокнота выдрал и справку настрочил. Так, мол, и так: «Ввиду боевой обстановки свидетельствую брак...» Расписался и печать прилепнул «Для пакетов». Жалко ему, что ли?

Пели «На закате ходит парень» и «Калитку». Потом привалил сменившийся с дежурства лейтенант — тот самый, что справку выдал. Бравый, усатый с двумя медалями и «Звездочкой». Сразу видно, бывалый, все ему нипочем. Остапыч поднес гостю стакан. Тыльной стороной ладони лейтенант огладил усы, произнес: «Горько!» Выпил и, с шумом выдохнув, затолкал в рот холодную картофелину. Гришка Гуревич расчувствовался и сказал лейтенанту, что он порядочный человек, очень благородный и настоящий боевой товарищ.

Угомонились за полночь. Коробочкин храпел на своем месте у печки. Гришка заснул за столом, уронив на руку кудлатую голову. Лейтенант принял «посошок» и, пожелав всем спокойной ночи, удалился.

Старшина скинул сапоги, стащил через голову гимнастерку. Хмельным тяжелым взглядом наблюдал, как Настя убирала со стола. Видно было, что она медлит, тянет время. Жигун, стоя босой ногой на приступке, упорно ждал. Понимая, что он от своего не отступится, уже без надежды она спросила чуть слышно:

— Я пиду?

— Еще чего! — мрачно ответил он, переводя тяжелое дыхание. — Законная, как говорится, жена и «пи-иду»!

Взобрался на печь и завоzilся там, пристраиваясь. Настя покорно задула светильник, полезла к нему.

А Витька не мог заснуть. Его мутило. Он вышел из хаты на свежий воздух и в темноте чуть не наткнулся на Остапыча, сидевшего на ступеньке крыльца, сгорбленного, с накинутым по-бабьи Настиным платком. Ночь была промозглая, сырая — стояла поздняя осень. Но старик, видно, не чувствовал холода, сидел неподвижно, уткнув лицо в ладони.

— Ой, мука, мука! — голос его прозвучал глухо, со стоном.

— Зачем все это? — спросил Витька.

— Да куды ж нам диваться? — ответил Остапыч, мешая русские и украинские слова. — Спасибо, найшовся добрый человек, беду нашу прикрыв.

— Это старшина-то добрый? Жигун?

— Справка, конечно, ерунда. А все же який-никакий документ. На новом месте, може, сгодится.

— Хотите уехать отсюда?

— Нам, сынок, тут оставаться невозможно. Люди-то знают. Хоть и жалиють Настеньку, сиротинушку мою, а молва все равно пиде... С дитем она...

— Как же это получилось?

— Нимци у нас стояли. Уж як я молив ихнего унтера Риделя. В ногах валявся. А им шо? Забава...

Старик задохнулся от боли, умолк.

Далеко-далеко погромыхивали взрывы. За два дня линия фронта отодвинулась километров на двадцать. Не удержавшись на Днепре, враг отступал на запад почти без боев.

— Но ведь немец родится! — воскликнул Витька. Хмель вылетел у него из головы.

— Ни! — старик покачал головой. — Людина буде!

В темной невидимой высоте над их головами слышался ровный гул моторов. Ночные бомбардировщики летели в сторону Пятихаток.

## Каша

— По-моему, готова, — сказал Костя Гузеев, поводя острым клювастым носом.

Был он невысок ростом, хил и всегда голоден. При виде пищи напрягался, по его иссушенному лицу с бурыми тенями в глазницах пробегала судорога, а в тусклых глубоко запрятанных зрачках загорался волчий блеск.

При дележе хлеба он замирал и, словно замороженный, следил за движениями ножа, в такт им шевеля кадыком. Получая на раздаче свой черпак супа,

обязательно заглядывал в котелок соседа — не плеснул ли тому сука-повар погуще и пополнее? Работая в наряде по кухне, как-то стянул кусок комбижира и тут же на моих глазах проглотил не жуя.

Все мы не были сыты скудным тыловым пайком, но умели сдерживать себя. Не роняли достоинства, не суетились, протягивая повару котелки, не сглатывали слюну, глядя на пайку соседа. Костя собой не владел, за что и прозвали его Крохобором.

Теперь, раздувая ноздри, он ходил вокруг кастрюли, стоявшей на чугунной печурке, раскаленной до рубинового свечения. В кастрюле уже разварился и загустел пшениный концентрат. Не выдержав, Костя достал из-за обмотки ложку, быстро обер о гимнастерку и зачерпнул с края. Проглотив, удовлетворенно проурчал:

— Хороша кашка, да мала чашка!

— Тебе хоть лохань поставь, все одно мало будет,— хмуро отозвался Гаврилов — начальник караула, или попросту карнач.

— Так ведь на всех! — в голосе Кости прозвучала тоска.— Это же по десять ложек на душу, никак не больше!

— Тебе положено девять — одну ты уже попробовал.

Мы сидели и лежали на полу, постелив под себя шинели, в душной полутемной караулке. За стенами простирался оцепенелый от холода и разрушений Харьков. Порывистый ветер гнал по улицам сухую поземку. Город только начинал оживать после освобождения от оккупантов.

Окно нашей комнаты, забитое фанерой и кусками железа, света не пропускало. Лишь багровые отблески печного пламени пробегали по лицам отдыхающих караульных и пришедших к нам в гости девчат-регулирующих.

— Ще б горилки трохи,— пошутила моя подружка, чернявая Галя и кокетливо, но не рассчитав силу, мощно толкнула меня плечом.

— Горилки, небось, во всем городе не найдешь,— с грустью сказала Костина Любка — маленькая, верткая, как раз под рост ему. Это она где-то раздобыла и принесла нам здоровенный, в полкирпича, брикет пшениного концентрата.

— Я бы эту кашу один умял,— сказал Костя как бы в раздумье.

— Зараз? — насмешливо спросил Гаврилов.

— За двадцать минут.

— А если не управисься?

— Вот... Часы ставлю,— нашелся Костя.— Павел Буре...

Он торопливо достал из кармана массивные часы с цепочкой. Воцарилась тишина. Девчата притихли, с интересом прислушиваясь к неожиданному разговору.

— Ты это серьезно? — Гаврилов еще давал шанс обернуть все шуткой. Но Костя замотал головой.— Во дает! — сержант с любопытством разглядывал часы, прикинул их на вес на широкой своей ладони.— Ну, как, братцы, проучим Крохобора?

— Да хрен с ней, с кашей,— послышалось из углов.— Пускай рубает. Проучить обязательно надо!..

А Костя, должно быть, опасаясь, что ребята передумают, схватил кастрюлю и, сев по-турецки, поставил ее перед собой.

Гаврилов засек время:

— Начинай!

Хватив полную ложку, Костя сморщился:

— Горячая, сволочь!

— Обождем,— уступчиво кивнул Гаврилов, показывая свое благородство.— Пускай остынет.

— Оця каша у нього вухами пиде! — озорно шепнула Галя, прижимаясь ко мне и жарко дыша в ухо. Ее большая нетерпеливая рука перебирала пуговицы моей гимнастерки.

Мы знали: судьба свела нас не надолго.

Шла третья зима войны. Бои гремели где-то далеко за Днепром. Наши войска уверенно гнали немцев на запад. Пришло время перевести дух, подумать о будущем, позаботиться о кадрах для армии. Сталин дал приказ: раненых

бойцов, имеющих образование семь классов и выше, направлять по излечении из госпиталей не в маршевые подразделения, а в училища. Так и попали мы в эту калечную запасную роту, размещенную в старом харьковском здании. Наш командир — лейтенант, тоже выписанный из госпиталя, сильно хромал, по ночам не спал, скрипел зубами от боли. Да и мы все были ему под стать: у кого рука на перевязи, у кого голова бинтом обмотана так, что ушанка не налезает. Предполагалось долечиваться по пути в училище.

Было в той роте нас человек сто пятьдесят, собранных из разных госпиталей. Отлучаться из расположения, разумеется, не разрешалось. Но мы шастали по соседним домам, по окрестным заснеженным дворам в поисках съестного или чего-нибудь годного к обмену на съестное. Лишь в одном армейский порядок соблюдался неукоснительно: ежедневно десять человек назначались в караул — три поста по три смены. Десятый — карнач. Охранялись входы в здание с улицы и со двора.

В караул рвались все. Обычно через часок-другой после смены приходили гости — девчата-регулирующие. Их подразделение находилось неподалеку — на улочке за церковью. Как они между собой договаривались, не знаю, но каждый раз приходили новые. Может, очередь установили, а скорее всего, определялось службой. У них ведь, как у нас в карауле: дежурства, смены. Девчата все были как на подбор, крепкие, румяные. Кормили-то их получше нашего — по строевой норме, с американской тушенкой.

Как-то само собой получалось, что в полумраке, толком даже не разглядев друг друга, мы ухитрились разбиваться парами. И не было случая обиды или ревности при образовании этих кратковременных союзов. Не было грязных насмешек, сальных солдатских шуток, казалось бы, столь уместных в подобной ситуации. И, может быть, совсем покажется странным, но была во всем этом если не чистота, то какая-то целомудренность. Мы в свои восемнадцать — двадцать лет пытались урвать хотя бы малую толику того необходимого каждому человеку, что было отнято у нас войной. Не потому ли каждая девушка, приходя к нам в караулку, считала своим долгом постирать временному дружку портянки, пришить свежий подворотничок. Это придавало случайной связи видимость настоящего семейного тепла.

А завтра новая смена. И у них, и у нас. И только чудом могло случиться, что в следующий раз, когда я снова попаду в караул, здесь окажется моя сегодняшняя зазноба Галя. Скорее всего, она в это время будет размахивать флажками в клубах морозного пара где-нибудь на развилке дорог и кричать простуженным голосом навстречу слепящим фарам: «На Мерефу визьми вправо! Швидче проежай! Кому говорю, мать твою, мамочку!..»

Да и продержат ли нас здесь еще неделю? Придет завтра команда грузиться — и прощай, Харьков, прощай, Галя, навсегда! Уж мы-то знали, как война путает карты, и привыкли вперед не загадывать, жить минутой.

Но вернемся к той истории с кашей. Прошло несколько минут. Костя осторожно зачерпнул ложкой, попробовал. Вроде остыла слегка, можно приступать к делу. Ему самому не терпелось поскорее начать.

Глядя на стрелки часов при свете неровного печного пламени, сержант махнул рукой:

— Валяй!

Костя ел кашу ложкой за ложкой с удивительной быстротой, побрякивая от удовольствия.

А что, подумал я, когда на треть кастрюля опорожнилась, смолотит он нашу кашу за милую душеньку. Ей-богу, сожрет и не подавится. Ишь, как уминает — проворно и без передыху.

— Силен мужик! — послышался восторженный девичий возглас из темноты.

Вскоре, однако, стали мы подмечать, что Крохобор снизил темп. Не стало у него прежней быстроты и размеренности движений. И глотал он уже с меньшим удовольствием. А слопал не более половины кастрюли.

Вот и прыжку пришлось расстегнуть на пояс. Привалившись спиной к стенке, он тяжело дышал, но продолжал есть. Ложку за ложкой.

— Ось, бедненький! — сочувственно шепнула мне Галя.

Он съел еще несколько ложек, остановился и спросил, тяжело отдуваясь:

— Сколько времени прошло?

— Одиннадцать минут, — Гаврилов услужливо повернул к нему часы циферблатом. — Да ладно, не торопись. Мы — люди добрые. Накинем тебе, так и быть, еще пяток минут. Кушай, милый, на здоровье!

Теперь уже шла настоящая борьба. Каждую ложку Крохобор проглатывал с трудом. Видно было, что каша распирает его, подступает к горлу. А он, преодолевая отвращение к ней, неимоверными усилиями впихивает в себя еще одну ложку, затем еще одну и еще...

Теперь уже всем было ясно: кастрюлю ему не одолеть, и мы только дивились его упорству, понимая, что развязка наступит вот-вот. И она наступила.

Крохобор бессильно опустил ложку. Какое-то время он сидел неподвижно, выпучив глаза и сосредоточенно уставившись в одну точку. И тут его начало рвать. Каша хлестала из него струями на колени, на живот, в кастрюлю... Он содрогался, рычал, его выворачивало. Он пытался удержать этот поток руками, но каша прорывалась, лилась сквозь пальцы.

— Как же это я! — жалобно простонал он.

— Убрать! — гаркнул в бешенстве Гаврилов. — Немедленно убрать свою блевотину, скотина!..

Мы молча смотрели, как Костя вытирал пол снятой с себя гимнастеркой. Потом в натальной рубаше, накинув на себя шинель, жалкий, несчастный, но никак не вызывающий сочувствия, спустился на первый этаж к единственному во всем доме действующему крану и стал стирать на морозе ледяной водой гимнастерку. А его Любка — та, что принесла концентрат, видно чувствуя свою вину в случившемся, помогала ему как могла.

Озябшие, возвратились они наконец в караулку.

— Пустите его к печке, — жалобно попросила Любка. — Он совсем окоченел.

— С чего бы это? — ехидно оскалился Гаврилов. — Поел, все видели, неплохо. А на сытый желудок мороз не страшен.

— Как она, кашка-то, была на вкус? — спросил кто-то. — Не пересолена?

— Да он и распробовать не успел — не в то горло пошла!..

Насмешки неслись со всех сторон, но Крохобор словно не слышал их. Его бил озноб.

— Отдай часы! — сказал он вдруг не своим, каким-то незнакомым хриплым голосом, обращаясь к Гаврилову.

— Чего-о? — изумился тот. — Ах, часы тебе? — и показал кукиш.

— Отдай! — повторил Костя и, словно в беспамятстве, сжав кулаки, двинулся на карнача.

— Во, дает! — оскалился сержант и легким тычком кулака отбросил Крохобора к противоположной стене.

— Сволочь ты! — в бессильной злобе выкрикнул Костя. — И вы все живоглоты! За часы человека угробите!..

— Слышали? — по лицу Гаврилова катились желваки. — Это он-то нас живоглотами!.. Мразь несчастная! Нужны нам твои ходики! Вот, гляди!..

Откинув чугунную дверцу печи, швырнул часы в огонь.

И вдруг все слышали сдавленные рыдания. Закрыв лицо ладонями, Люба всхлипывала все громче.

— Что же вы, гады, делаете! — с трудом проговорила она сквозь слезы. — Ведь это болезнь у него... От голода! Он рассказал мне все... Ленинградский блокадник. Один из всей семьи выжил. А часы отцовские были. Последняя память! Кто же вы после этого?..

Мы молчали. Нам было мерзко.

## Венок Григолу Робакидзе

АКАКИЙ ЦЕРЕТЕЛИ

### Григол Робакидзе

Пустой кувшин на сорок черпаков  
Увидел человек;  
Крикнул в него. Услышал я,  
Что кувшин отозвался теми же словами...

И тотчас вспомнились мне  
Кое-какие юноши:  
Выкрикивают во весь голос  
Все, что только ни расслышат.

*Подстрочный перевод*

100

В то время еще не был выдуман графоман, поэтому я и обратился к образу кувшина. С тех пор минуло много времени. Тогда я был еще безусым юнцом и только вступал в сад жизни. Нынче же, когда минуло с того времени больше полувека, и на пороге глубокой старости со дня на день ожидаю я прощания с земной жизнью, то вновь повторяю это старинное высказывание. Только вместо «кувшина» скажу «графоман»... И вправду, на протяжении полувека редко удавалось мне встретить грузинского интеллигента, чтобы он не смахивал на графомана. Много хороших слов произносили они, но — не было в них искорки души!.. Это были лишь отголоски чужих высказываний, хотя у юношей хватало в избытке и таланта, и способностей. Так кто, или же что виновато в их несчастье? То стечение обстоятельств, что мешает им идти по верному пути. Им вольно или невольно преграждают этот путь, сеют на нем колючки и тернии, а кружной и извилистый усыпают розами, чтобы, как сказано в одной из сказок, тот путь привел бы их обратно домой.

Не так давно я спросил у одного вполне образованного и талантливого адвоката, который даже держал достойные публичные речи: отчего, мол, ты чужаешься государственной службы? А оттого, мол, что останусь без куска хлеба, служа отечеству! Я думаю, так ответил бы мне любой адвокат. Что им до судьбы родной страны! Если они пойдут на службу, то вынуждены будут делать то, что им прикажут. Вспомните ту мачеху из сказки, что морила голодом бедняжку падчерицу, если та не плевала каждый день на могилу родной матери...

Вот уже более полувека я думаю об этом. Быть может, все это мне лишь мнится, но я все же остаюсь при своем мнении. И если это правда, то почему не разорвалось до сих пор мое сердце и я еще верую в будущность своей страны? И вот что я отвечу: однажды царь Соломон выехал на охоту. Было ненастье. Погнали зайца. Бедняжка, окруженный со всех сторон, наострил уши и припустил во весь дух по хляби. Соломон, увидев, как проворно скачет заяц, приказал гончим прекратить травлю: если, мол, он так резво бежит по хляби, то как бы он несся по твердому большаку.

Тот заяц — народ, гончие — те, кто хочет поработить его, хлябь — время и обстоятельства. Сегодня жизнь Грузии пошла наперекосяк, но придет время и на смену злу придет добро, и признаки этого прорастают уже сегодня. Но чтобы увидеть их, нужен талант. Много довелось мне видеть необразованных, но способных на истинные чувства людей, и как же дивился я их талантливости! Еще не иссохло дерево нашего народа: сильны у него корни, и если на растущих вкривь ветвях возобладал шиповник над розой, это еще не есть свидетельство смерти. Придет время, когда сильные и молодые корни возродят к жизни новые ветви, и неотделим будет плод от зерна. Признаки этого увидел я и говорю с радостью: в эти дни Григол Робакидзе прочитал публичную лекцию о философии Фридриха Ницше. Я на ней присутствовал, и свершилась моя мечта. Своими глазами узрел я то, о чем мечтал всю свою жизнь: грузинского интеллигента, мыслящего самостоятельно. Было совершенно очевидно, что каждое его слово истинно и выстрадано. Лектор предстал мне первой ласточкой, приносящей весну. И я вижу теперь, что настает после продолжительной зимы весна грузинской интеллигенции, и я, воспарив до седьмого неба, говорю радостно: будь благословенно, грядущее!

## Ли́ра Ака́кия

Говорят, что перед смертью лебедь заливается песней,  
И в сладкогласной песне исчезает судьба его существа.  
Странна эта песнь, первая и последняя,  
В ней отражается небесный простор, в ней же вырисовывается преисподняя,  
Двусмысленная, двуголосая, исполняемая единым голосом:  
Она есть хвала творчеству, соединяющая небо и землю,—  
Это и колокола сущего мира, и отзвуки потусторонних сил.  
Лебедь, с мечтой о твоей песне и я жажду умереть, как ты.

*Подстрочный перевод*

101

Поэтическая песнь, в которой Акакий воспел ненаглядные луга Грузии, сродни лебединой. «Двусмысленная, двуголосая», ибо «в ней отражается небесный простор, в ней же вырисовывается преисподняя»; горькая и в то же время сладостная... И что удивительно... в мировом океане каждая индивидуальная волна связана с каждым изменением Вселенной, и тот, кто зачерпнет ее дрожащей пригоршней вплоть до последней капли, тот непременно вместе с жизнью той волны изведает жизнь всего океана. И так повсюду. Несравненный Сандро Боттичелли, который своими божественными кривыми провозглашал Красоту, находил ее в сладостном блаженстве и в любви, и в муках, и в преступлениях. Зачем? Затем, что в жизни Вселенной исток каждой капли есть вселенский ручей, где все связано воедино...

И Акакий двусмыслен, словно бы тот лебедь... Боги щедро наградили его: красотой, знатностью, богатством, талантом... Он и вправду был «любимцем богов и людей». Он не ходил, он всегда проносился — ибо много было в нем божественного огня. Муза его была нежной, трепещущей, и неведомо было ему, что есть насилие — ибо ярко отсвечивали его крылья огнем вдохновения. И творил певец, вечно свободный и вдохновенный. И само существование его поэзии было истинным... Он жил жизнью цветов, которым неведома печаль увядания, ибо они знают: «Одни уходят, а другие приходят в прекрасные сады». Он жил жизнью веселых детей, которым неведома мысль об исчезновении с лица земли, ибо они знают: «На морском берегу бескрайних стран они вновь встретятся для игр...» И жил певец радостной жизнью, и смеялся он чистым смехом, который дорого доставался кому бы то ни было в мире...

Но зоркому взгляду в этом смехе виделось и нечто иное: там, где в уголке его мраморных уст витала чарующая улыбка, мелькало и очертание крыла черной грусти. Что это было? Тень ли печали о прекрасной дочери Иверии — тень грусти, что так хмуро обволакивала сияние поэта? Да! Это была тень прекрасной дочери Иверии, что добавляла печали в улыбку поэта. И «грустная улыбка печали» порождала легкую иронию Акакия, приглушенную иронию романтизма: я-то весел, но за моим весельем таится туманная печаль, я выразил в своем творчестве то, что желал, но за высказанным таится невысказанное и немое, более истинное и непреложное — вот что таил он: острую иронию, иронию синеватого цветка.

Здесь кроется исток творческой природы Акакия: грустная улыбка, вот ее начало... Но раскроем саму эту природу.

Одна из девяти муз покорила сердце поэта: это была шаловливая, жизнерадостная, легкокрылая дева, оглашающая прекрасные окрестности своим омузыкаленным смехом. И Акакий, очарованный этой девой, оживлял поэтическое слово музыкальным потоком... Я и сам имел случай приобщиться к мигу его вдохновения: в гостинице как-то мне послышались звуки его голоса, чтение, в котором трудно было вычленить обычные слова — словно бы тихая песня без слов. Потом я понял, что это присуще поэзии Акакия: сперва зов музыки, как говорил Шиллер,

а потом уже — «поэтическая идея». И вправду: природа Акакия непознаваема, она скорее стихийна, нежели целенаправленна... В его творческой лаборатории все происходит само собой: словно бы у поэта завязаны глаза, а рукой его водит Муза-невидимка; словно бы он творит во сне свои цвета и образы; словно бы во сне расплетает он клубок своих замыслов... Акакий — сама природа, но не грозная и гневная, непреклонная и суровая, а легкая и парящая, звонкая и кипучая... Лишь один из многочисленных примеров:

Нива, рай работника, слава крестьянина, нива!  
 Лучи зари облачили тебя и роса омыла;  
 Грибной дождик оросил тебя, зазеленела ты изумрудами...

*Подстрочный перевод*

Вот этот утренний ветерок — и есть Муза Акакия — что проносится над всходами красоты и распевает сладкоголосую колыбельную... Да, Акакий легкий, словно бы даже полый, но не забывайте, что, по словам Ницше, — все божественное парит легким шагом, и, прислушайтесь, в аллитерациях приведенного стихотворения звучит словно бы сама нива: кана, нана, ниави, мамма, гадагвана, жужуна, агамцвана (*გრუზ.*). Еще сильнее другое его стихотворение: «Отточим, братья, серпы». Здесь все зовет в пляс: такова магия поэтического слова. Сильна она в отрывке из «Торникэ Эристави»:

Пред свиданием счастливым радостен Этери лик.  
 То румянцем боязливым озарится он на миг,  
 То сияет дивным светом. Так, прекрасна и горда,  
 Золотая пред рассветом, солнца заждалась звезда.  
 И любовное томленье светлой вестницы деля,  
 Словно излучала пенье вдохновенная земля.  
 Ветерок благоуханный, шелест листьев, шелест трав.  
 Мир звучит сплошной осанной, звуки все в себя вобрав.  
 В чашу блещущей слезою пала яркая роса.  
 И тогда простор вселенной соловей в избытке сил  
 Песнею благословенной, пробудившись, огласил.  
 Но внезапный гром, обрушась, мир ликующий потряс.

*Перевод С. Спасского*

Это не стихи, а гимн природе. Удивителен здесь один штрих, приобщающий нас к космической загадке: Солнце — это отрок, огненный отрок, а заря — дева, трепещущая в ожидании. Примечательны и технические приемы: неодушевленное и немое здесь сравнивается с одушевленным и говорящим, нежная заря с красавицей Этери (предчувствие возможностей новой поэзии)... Лицо Этери окрашивается розовым чувством — зарей, и в глазах ее сверкает желание, дабы с распростертыми объятиями встретить пленного жениха, огненного отрока. Солнце... Это главный пассаж: все остальное лишь благозвучие голосов и цветов, способствующее разворачиванию симфонии, в которой слышится перхули<sup>1</sup> природы — неистовый, пьянящий, очистительный...

Такова поэтическая природа Акакия... Последуем далее!

Акакий напоминает нам Пушкина... Вл. Соловьев писал о том, что, быть может, Данте или Гете были гораздо более великими поэтами, чем Пушкин, но Пушкин из них самый поэтический. Почему? Ответ на этот вопрос даст Дм. Мережковский: «Высокая степень культуры может быть опасной для источников поэтического чувства, удаляя нас от того ночного, бессознательного и произвольного, во что погружены, чем питаются корни всякого творчества. Музы любят утренние сумерки, подстерегают первое пробуждение народов к сознательной жизни. Для возникновения великого искусства необходима некоторая свежесть и первобытность впечатлений, молодость, даже детскость народного гения». Истинные слова, Гомер тому подтверждением. Именно в утренние сумерки был окутан русский гений, когда рождал Пушкина. Русское слово раскрывается Пушкиным, истинный исток русской литературы — это Пушкин; Толстой и Достоевский наследники Пушкина, да и сама модернистская поэзия России есть дальнейшее воплощение Пушкина. Деяния России воплотились в Петре I, русское слово — в Пушкине: слово Пушкина — ответ на деяния Петра (Мережковский)...

<sup>1</sup> Хороводный грузинский танец.

Поэтическая природа Акакия напоминает Пушкина: Акакий — творец грузинского слова; и Акакий полон свежести и первобытной воспламеняемости... Но здесь кончается сходство и начинаются различия... Природу и истоки этих различий следует искать в истории... Каждая нация — есть творческая идея, обратившаяся в плоть: она развивается и воплощается, проходя сквозь веки истории. В процессе этого она прозревает, достигает познания, обретает язык, оттачивает чувства. Это есть первое рождение нации. Но возможно и второе ее рождение... Пути истории странны и извилисты, в силу различных причин нация может и углубиться на время в сон: у нее туманом застилаются глаза, заплетается язык, обмякает воля... Проходит время, и она просыпается от продолжительного сна: вновь узнает самое себя, вновь обретает язык, вновь прозревает, вновь твердеет ее воля... Это есть второе ее рождение...

Двумя этими рождениями можно объяснить различие между Пушкиным и Акакием. Пушкин — первенец русского гения, Акакий — вторые роды гения грузинского; Пушкин явился на утренней заре российской жизни; Акакий пришел тогда, когда Грузию окутал вечерний сумрак. Русская душа не видела Солнца до явления Пушкина, — она лишь предчувствовала явление огненного отрока, — и Пушкиным было встречено восхождение огненного колеса России; грузинская душа наслаждалась Солнцем до прихода Акакия — при Акакии оно уже закатилось, и Акакий с грустью дожидается его восхода.

Пушкин — первое слово выступившего народа; Акакий — второе слово народа пробужденного; Пушкин с радостью открывает сердце настоящему, Акакий с грустью вглядывается в прошлое; поэтический голос Пушкина — ликование свободы, звуки Акакия — печаль и скорбь; Пушкин поет и радуется; Акакий причитает и плачет; Муза Пушкина вольна и многокрасочна; Муза Акакия горько усмехается, она грустна и одноцветна. Пушкин ощущает Россию как свое существование в бытие, и творчество его раскрывается в его гении, Акакий ощущает себя осколком Грузии, и искусство его обрывочно — не раскрывается в гениальной целостности.

В природе Пушкина осознанное и неосознанное гармонично слиты, в природе Акакия неосознанное подавляет осознанное, и гармония рвется...

И совершенно очевидно, что Пушкин гораздо сильнее Акакия. Акакий был обречен на многое, но не сумел реализоваться. Почему? Проясняет это следующая параллель: Руставели и Акакий...

Истинное рождение грузинского самосознания произошло в XII веке. Воплощение энтелихии (творческой формы силы) есть Руставели; своим талантом Руставели выразил гений грузинского народа, энтелихия народного духа слышна прежде всего в слове — и Руставели есть несравненный творец грузинского слова. Страдания человека состоят также в том, что его внутренние переживания не находят соответствующего выражения. Форма трудно сопрягается с содержанием. Идея требует образа, ищет его, но, находя, тотчас отказывается, не соглашаясь с ним. В нем, как в кривом зеркале, она находит свой образ искаженным — и разбивает она то зеркало, и отправляется на поиски нового образа... Бог часто обретает образ, но столь же часто обращается идолом — вот истинная мука жизни мира. Истинным творцом является тот, кто достоверно отображает содержание, кто находит для идеи истинный образ... В этом смысле Руставели творец непревзойденный: он находит для мыслей свои, точные слова, предстающие в своей истинной плоти. Совершенство творения и полнота совершенного у Руставели прямо-таки божественны. Руставели — потенциал грузинской духовной культуры: в нем запечатлено предельное явление грузинского гения.

Таков Руставели — солнечный цветок Грузии, грузинского духа. Если XII век это пора цветения Грузии, то XIX представляет собой мучительную попытку возрождения. (Перерыв в развитии грузинской духовной традиции в средние века представляет собой значительный предмет для изучения истории грузинской культуры.)

В это время грузины прозревают, но они еще не скинули пелену тьмы с глаз, они подступают к черте самопознания, но не преодолевают ее, они обретают язык, но не опаляют слово огнем; они обретают волю, но не реализуют ее... И главное: Грузия, как единое целое, как живое существо, не существует — на ее месте звенят осколки.

Акакий лишь одно из воплощений этой трагедии, непознанное воплощение... Он подсознательно чувствует, что плоть грузинской души разбита, — и пытается из пепла возродить ее призрак... И призрак этот парит, словно синяя птица... И Акакий оберегает ее каждую минуту. Этот призрак — дочь зеленых иверийских полей — предстает ему в разных обликах: Нино, Кетеван, Тамар... Этот призрак есть сказка или легенда, — но для поэта она реальнее, чем мелочное и трезвое настоящее... Что стало бы с ним? Конечно же, его талант не вышел бы победителем из испытаний... Так оно и случилось: в то время, когда каждый из нас ощущает

излом творчества Акакия, в его поэзии сверкают отблески гения. Это тайна феномена Акакия.

Попытаемся разобраться и понять это положение. Рассмотрим стихотворение:

О, этот вечер, тихий, приятный,  
Приправленный сладостной негой!  
Что странно, в небесную высь,  
К раю устремляется душа,  
Дабы обладающую надеждой, гордую  
Человеческую природу предупредить,  
И где разум ошибается и жжет,  
Там лишь сердце способно чувствовать...  
И вот чувствую и я, что есть небо,  
Полное ощущением каких-то сил,—  
И этот мир — повсюду  
Преклоняется с благодарностью перед создателем...  
Взгляните на эту луну, окутанную лучами,  
Сердце словно бы переполняется сладостной печалью.  
Сверкающие, щебечущие звезды водят хоровод...  
Величие силы, хвала создателям,  
Это их тайная песнь!  
Вся природа подпевает им во славу...  
Язык цветов — легкое дыхание запахов,  
Журчание воды, шелест листьев  
Вторит свадебной песне природы,  
Сливается с ней, поднимаясь ввысь,—  
И теперь я чувствую, внушаем тайной силой,  
Что есть в человеке образ Божества...<sup>1</sup>

Сердце поэта чувствует тайну природы. Примечательно одно обстоятельство: и здесь Акакий предстает предшественником новой поэзии. «Щебечущие звезды» — прямо-таки модернистский образ! И далее — они не только поют, но и танцуют, водят хоровод... Или еще: язык цветов — это дыхание запахов. И так — повсюду! Вся природа внемлет воплощению Божественного в природе — такова интуиция поэта... Но зададимся вопросом: что есть эта таинственная и странная сила, которая влечет подчас человека из этого бесконечного мира и раскрывает его истинные величие и образ? И поэт спрашивает самого себя:

Что возвеличило меня? Кто дал ощутить эту таинственную божественную силу?  
Затемненная Адамовым грехом победа победоносно преобразила меня?..

Вот величайшая проблема, разрешение которой еще ожидает человечество. Но путь ее разрешения уже указан. Мудрый Платон так определяет любовь: любовь есть освобождение в прекрасном. Как бы мы ни толковали это туманное определение, одно неизменно: любовь сопутствует лишь прекрасному. В мире нет подобия только безобразному: случайное и переходящее лишь пена. Любовь сопутствует совершенству и бессмертию. Но что есть бессмертие и совершенство в этом мире?! Чем объяснить явление любви? Правда, все сущее в этом мире несовершенно и смертно, но сама Вселенная не такова, она не создана раз и навсегда, она все время меняется, в ней есть Божественное (Логос). Она перевоплощается и постепенно совершенствуется... Но эта странная сила, которой доступно узреть совершенство в пропасти и бессмертия в смерти, эта сила есть Любовь... И сила эта стремится к рождению прекрасного... В XIX веке так же писал о любви Генрик Ибсен. Арнольд любит Ирэн, но не в ее истинном образе, а в том, который ей предстоит обрести — бессмертным и полноценным... Арнольд скульптор, в камне высекает он и ввергает в жизнь долгожданный образ женщины и нарекает его символически: «День восстания из мертвых!..» Задумаемся над тем, какой ответ дает на этот вопрос нам поэт! Именно такой, какой дан Платоном и развит Ибсеном. Послушайте!

О, Любовь! Посредник неба и мира!  
Ради единого блаженного мига которой готов я  
пожертвовать собой.

<sup>1</sup> Здесь и далее — подстрочные переводы.

Ты и только ты, божественный талант, невыразимый  
человеческим языком,  
Тобой я, поэт, окрылен и воспарен...  
И я готов как лебедь исполнить перед смертью  
сладкоголосую песнь;  
Коснуться святых струн небесным бальзамом и исполнить  
песнь на века...  
И время не властно над этим чувством:  
Ты поешь той, кого Всевышний озарил лучами красоты,  
Той, кого он наградил престелью розы, нежностью фиалки  
и голосом соловья.  
Когда неопытным юнцом я преданно служил ей,  
То представлял себе Нино, Тamar, Кетеван.  
И ныне, старец с холодной душой, служу тебе как впервые.  
Словно бы юнец я нынче, а некогда был старцем.

Разъяснения излишни! Огонь любви возгорается в сердце поэта лишь от красоты... Благодаря ей обретает поэт пламенные крылья. Она заставляет звучать струны его души. Это благодаря ей прорастает в его душе цветок лебединой песни. И когда возлюбленная исчезает, тогда поэт ищет ее могилу всюду, где похоронена красота... «Сулико»... Поэт ищет могилу возлюбленной и тревожно вопрошает: «Где же ты, моя Сулико?» Он встречается с розой, расцветшей в терновнике, и роза склоняется в знак сочувствия и проливает, как слезу, небесную росу... Он встречает укрывшегося в листве Соловья — и на вопрос поэта тот отвечает жалобным посвистом. А ветерок, озорной и кокетливый, шепотом радует его: «Вот та, которую ты ищешь...» Могила возлюбленной всюду, где схоронена красота... Поэт сам роет эту могилу и возрождает лунный призрак своей возлюбленной. Он возникает в терновнике нежным побегом розы, он отзывается отчаянным пением соловья в листве, он мерцает в синем небесном просторе, словно алмазная грань звезды... Любовь есть все сущее... И поет поэт!

105

С завязанными глазами в теплой клетке сидит Соловей,  
Он очарован, и даже зима кажется ему весной...  
Он видит цветущие райские кущи и бутоны роз;  
И по-прежнему поет сладкозвучные песни...  
По телу его пробегает дрожь, он устает и тает в огненном  
порыве...  
И слаще яви эта обманчивая мечта...  
В старости подобралась к его сердцу любовь...  
Он опутан этой гипнотической и коварной силой...  
Он видит возлюбленную в ореоле лучей, подобную небу;  
Смотрит на нее, и юность вновь возвращается к нему...  
Струны его души звучат, словно чонгури<sup>1</sup>.  
И словно лебедь, он в последний раз перед смертью затягивает  
свою песнь:  
Тебе я служил, тебе же и служу, моя надежда и икона!  
И только твой образ храню в своем сердце...

Чонгури — единственный тайный поверенный поэта. Он никогда не расстанется с ним, ни в радости, ни в горе. Поэт скрашивает звуками чонгури одиночество своей души — и покидает его одиночество...

А муки творчества его в том, что не удастся ему эти крылья расправить. Природа его гениальна, но не довелось ему оставить нам свое целостное «наследие». А осколки сверкают повсюду. Возьмем хотя бы легенду о происхождении музыки. Здесь поэт проявил силу, однозначно свидетельствующую о его гениальности:

Слышал я, будто бы на могиле сироты произрос тростник  
И устремился ввысь, покачивая станом,  
Дабы донести до небес горечь и тяготы нашей жизни.  
Но в это время нагрянул ураган, насланный злой силой,  
Дабы погнуть его, смести с лица земли,  
Дабы увидел его затем пастух, взял в руки маленький нож  
И вырезал из него свирель, чтобы вдыхать в нее душу  
в минуту печали

<sup>1</sup> Грузинский музыкальный струнный инструмент.

И чтобы рыдала и стонала она, улаждая луга и горы...  
Это соблазнительный голос первого пастуха!  
В нем слышится зов Неба и Земли, слитый воедино...

В этом отрывке полностью раскрывается поэтическая индивидуальность Акакия, его творческая особенность. Пламя его гения почти достигает прозрения. Идея и форма здесь нерасторжимы: символический образ есть само вдохновение. А это высочайшее искусство. Приглядитесь: перед нами могила сироты. Этот образ одним штрихом поведал нам о страданиях человеческой жизни: человек вечно одинок и уносит свое одиночество в могилу... Но печаль его не умирает: она тлеет в могиле, словно искорка в пепле. Придет время, и она возгорится: скорбь разверзнет могилу и прорастет на ней стройный тростник, чтобы вознести до небес думу мира людского... Здесь естественно рождается другой образ, еще более значимый... Ведь около тростника по-прежнему обретается зло: пронесся ураган (образ хаоса) и вырвал с корнем прекрасный тростник... Далее возникает и третий образ, еще более сильный (борьба хаоса с космосом)... Но тростник все же не умирает: скорбь умершей сироты услышана сиротой живой — пастухом... Он вырезает из тростника свирель, и она оживает у него под руками: скорбь сироты вылилась в музыку... Здесь подводится черта череде образов — музыка возбладала над всем, а затем и создала единое целое: сирота, скорбь, тростник, пастух, свирель; одним штрихом создается изумительный фрагмент...

Поэт Акакий и есть именно тот пастух, который из обломка тростника сотворил свирель и наградил ее голосом.

1916 г.

С грузинского.  
Перевод ДИНАРЫ КОНДАХСАЗОВОЙ

ГРИГОЛ  
РОБАКИДЗЕ

## Из лирики

С ГРУЗИНСКОГО. ПЕРЕВОД ВЛАДИМИРА ЕРЕМЕНКО

### *Сбор винограда*

В ложе давильни — сдавленный норов.  
Сонм виноградин смятых и новых.  
Голени полных хмелем танцоров  
В теплых потеках ало-багровых.

Прутья корзины. В сумраке рваном  
Зрак винограда, брошенный плакать.  
Днищем черпалки с черным изъямом  
Дети взрывают сладкую мякоть.

Грозди-рубины жемчугом шиты.  
Строй тростниковый тихо змеится.  
Трепетных листьев своды и плиты...  
В тесной прохладе голос томится.

Слышу: «Моя ты. Что же ты, что ты?!»  
Тает дыханье в шорохе зноя.  
Звук поцелуя. Зовы, как соты:  
«Чья же я, милый, чья же еще я?»

107

### *Адонела*

В лес влечет нас шепот-птица.  
Там, во мгле, игла таится.  
Тише, тише,  
Адонела.  
Берегись, ступай умело,  
Чтоб случайно не задела.  
Адонела,  
Адонела.  
Синим омутом тумана  
Пала ночь. И дышит пьяно.  
Тише, тише,  
Адонела.  
Чтоб от смутного удела  
Синь очей не оскудела.  
Адонела,  
Адонела.  
Ветер лист связует странно  
С дрожью девичьего стана.  
Тише, тише,  
Адонела...

Чтоб под взглядом не темнела  
Белизна нагого тела.  
Адонела,  
Адонела.  
Ветка тщится, чуть минуем,  
Спутать кудри поцелуем.  
Тише, тише,  
Адонела.  
Чтоб с повадкой звериной  
С головы украсть единый  
Волосок твой  
Не посмела.  
Ночи возгласом не раним.  
У ее подола канем.  
Тише, тише,  
Адонела.  
Чтоб веселье одолело  
У рассветного предела,  
Адонела,  
Адонела...

*Собственный тост*

Отчего зевает разум,  
 Кислый сплин ли пал на веки?  
 Или тешит слух рассказом  
 Тот, кто только что из Мекки?  
 Взор зовущий мне послали,  
 Сотворенный на обмане...  
 Не очнусь в его подвале,  
 Омрачится Пиросмани.  
 Грудь Менады чту, как меру.  
 Мойра глянет — и немеем.  
 Да простят меня: Гетеру  
 Ныне предпочту обеим.  
 Жаль, безумцы изобильны.  
 Небезумные случайны.  
 Счесть безумие бессильны  
 Те, кому вверяют тайны.  
 Саакадзе с Иоанном  
 Ждут подать мне чашу яда.  
 Имерети — лечь туманом  
 Погребального обряда.  
 Если конь мой под рукою  
 Для безумной скачки ожил,  
 К Богу возоплю с тоскою,  
 Попрошу, чтобы стреножил.  
 В сердце — свет. Ни капли мрака.  
 Рядом братья. Смотрят смело.  
 Все же убоюсь, однако,  
 «Вздор», — сказать про Сакартвело.

*Паоло Яшвили*

Полон силой волшебной, словно дервиш Ирана,  
 Пытан солнечной страстью, веришь в Светлую Ризу.  
 В мутном гаме кофеен зрил ты вольно и пьяно.  
 Стих точеный поднес ты от Парижа Тавризу.

Ценишь жест властелина — сей обряд филигранный.  
 А кривлянья паяца отвергаешь, суровый.  
 Близок облик твой странный непокорной основой  
 Потрясению кентавра, распаленного раной.

Ты в поэзию вторгся под разбойную ноту.  
 Скольким тронам твой возглас повелел накреститься!  
 На ходу самоцветы расшвырял без заботы.

Взмыл снаряд над пращею засвиставшею птицей.  
 Сердцем принял одно лишь опьянение слова  
 Белый рыцарь, летящий, не щадя вороного.

*С. Дж.*

Чудо — глаза твои, звезды в гагатовой чаше.  
 Диво — глаза твои, стих красоты ненаглядной.  
 Ты улыбнешься, и дрогнут нагория наши.  
 Ты опечалишься — тень на лозе виноградной.

Пристален взглядом, прекрасный, как горная птица,  
Ястреба ты мне напомнил, готового к бою.  
Знаешь, как женщина никнет, пьянея тобою?  
Знаешь, как солнце приходит тобой насладиться!

Вьюга мгновений твои заметает гагаты.  
Неодолимое, близится время утраты.  
Время жестоко, и неотразима атака.

Мнет и срывает побеги блаженства, глумится.  
Смерть над тобою помедлит, взирая из мрака.  
И поцелуями уравновесит ресницы.

### *Молитвенный сонет*

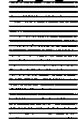
*В. Гаприндашвили, П. Яшвили, Т. Табидзе, Г. Табидзе*

Кладезь печали, безмолвие каменной Эдды.  
Помыслы жгучие, рвущие душу на части.  
Чаша прозрачная, лес бессловесной беседы.  
Дрема сгоревшая: тусклые уголья страсти.

Неги соцветия. Белые в редком мерцанье.  
Голос желанный не слышен. Не в нем ли улада?  
Гомон божественный — издали, в жар ожидания —  
Жажду смирил. И душа избегает распада.

Боже незыблемый, вольный, высокий и мирный,  
В душу, как в чашу, пролейся струею эфирной.  
Хрупкое сердце мое без тебя изнеможет.

Только дыханьем касаешься — нега такая!  
Полон молитвою каждый листок моей дрожи.  
Вижу тебя в одночасье, лишь веки смыкаю.



### *Тимур. Из драмы «Карду»*

Сизые холмы.  
Ржавая трава.  
Вытекший зрачок  
Выжженных полей.  
Ночи волчий рык.  
Высохшей тоски  
Изнуренный лоб —  
Родина моя.  
. . . . .  
Кровь воспламенится  
От нашего злого огня.  
И семя взъярится,  
Иные желанья кляня.  
Завеса повиснет  
В зрачках. И отчается слух.  
Дыхание стиснет  
Пожарища близкого дух.  
Лишь губы сожмутся  
По воле безлунных минут,

Берлоги висков  
Встрепенутся  
И дрему стряхнут.  
Коней заторопим  
И небу предстанем — зверьем.  
И выпустим кровь им,  
И заговор в жилы вошьем.  
Огнем над полевой  
Промчимся по пыльным полям.  
Как смерч безголовый —  
Ни сна, ни пристанища нам.  
Горя и сгорая,  
Безумием выстрелим путь.  
Чтоб не было края,  
Который не перемахнуть.  
Пространство кренится  
У пьяного барса в глазах.  
Во век не отыщется прах,  
Случись оступиться.

Я добыл ее у кипчаков.  
 Зов гнал меня.  
 Самку барса перебросил через коня.  
 Драгоценный стан распыл на седле —  
 Он стыл и горел.  
 И видение белых бедер узрел.  
 Колени вздымались.  
 Как запруженная река.  
 Поцелуй — укусы.  
 Ласки — удар клинка!  
 На щеках пожар.  
 На губах — песок.  
 Я упругий живот ее губами иссек.  
 Подтащил к обрыву.

В реку столкнул.  
 Не спеша, огладил коня вдоль скул.  
 Вытер кровь с ладоней о гриву.  
 Капля безумия попала в висок коню!  
 В неподкованных копытах —  
 Пламени клочок!  
 Криком крови, покуда не изнемог,  
 Я как плетью сек  
 Бессловесный мрак.  
 Криком крови сек,  
 Пока не иссяк,  
 Хрипом досаду и страсть оплавав.  
 В месяц барсов  
 Я добыл ее у кипчаков.

110

### *Канон Земли*

#### *хорал из мистерии «Крест из лозы»*

Грузия одета благостью Господней.  
 Не иссохнут груди у земли незрячей.  
 Все щедрее солнце и дарит свободней  
 И гumno и зелень нежностью горячей.  
 С крепкими ступнями дуб широкогрудый  
 Спит, плющом спеленут в синие пелены.  
 Желудей разбухших лаковые груди.  
 Кабаны заходят в тень огромной кроны.  
 Нежно-изумрудны волны кукурузы.  
 Полные орехи в сладостном припадке.  
 Все благословенно: и плоды и узы.  
 Женщины молотят спелые початки.  
 Тучная давальня с затворенным зевом,  
 Как дракон в кровавом месиве по брови.  
 Чтоб копье Георгий не занес над чревом,  
 Испивает лужи виноградной крови.  
 Вестник дуба — желудь. Винограда бремя.  
 Чистого початка тело золотое.  
 Налитая пашня. Пышущее семя.  
 Камнем вросший в землю бык у водополя.  
 Пьет, возжаждав, словно кнут ему неведом.  
 Смуглый виноградарь мудро правит стадом:  
 Первый — бык Цихара<sup>1</sup> и корова следом,  
 И бычок-подросток скачет с нею рядом.  
 Медленно темнеет. Слышен лай собаки.  
 Вот возня в овчарне стихла постепенно.  
 Толстые наседки квохчут в полумраке.  
 Нас, уставших за день, ждут родные стены.  
 И мужья, и жены, и отцы и дети —  
 Всех обнимет Матерь, души пеленая.  
 В сон приходит тайно мысль в минуты эти:  
 Да хранит земля нас! Теплая, родная...

<sup>1</sup> Сказочный, фольклорный персонаж.

## «Может быть, я Вас не понял...»

ПОЧТОВЫЙ РОМАН ИСААКА ДУНАЕВСКОГО  
И ЛЮДМИЛЫ ГОЛОВИНОЙ (РАЙНЛЬ)

*Кто-то заметил, что письма Чехова похожи на его рассказы. О письмах Дунаевского можно сказать, что они похожи на его песни, а особенно — на его притягательную инструментальную музыку: увертюры, вальсы, симфонические миниатюры — романтические, возвышенные, радостные...*

*Сегодня, впрочем, Дунаевский подвергается обстрелу именно за солнечность. Не так давно в популярном сатирическом журнале появились такие строки:*

Когда по ночам лютовали аресты,  
Но, стоны глуша, ликовали оркестры,  
Царил Дунаевский, веселый маэстро,  
О счастье народа песней пленя,—  
Тогда за кого принимали меня?

.....  
Меня принимали за дурака!

*В своем раже дискредитировать и сокрушать лакировочное искусство 30-х—50-х годов мы начинаем путать Дунаевского с Бабаевским, то есть перестаем отличать талантливые, романтические произведения от бездарных, неуклюжих приспособленческих опусов. Гораздо проще поставить на одну доску роман «Кавалер Золотой Звезды» и кинофильм «Кубанские казаки» (по формальным признакам они вполне заслуживают этого), нежели попытаться выяснить, почему «Кавалера» не читали даже из-под палки, в то время как «Кубанские казаки» всегда шли в переполненных залах, а мелодии Дунаевского из этого фильма (например, «Ой, цветет калина») сразу же стали народными.*

*Трагедия Дунаевского состояла в том, что он верил Сталину. Но композитор отлично понимал: даже в кровавых бунтах 30-х годов жизнь не могла полностью остановиться. Он знал, что люди страдали не только от наветов и пыток, но и от неразделенной любви. Дунаевский видел, что люди не разучились радоваться жизни — солнцу, весенней траве, новому производственному рекорду (а почему бы и нет?), появлению сына или дочери, хорошему спектаклю, и именно э ту жизнь он воспевал. Так рождались крылатые мелодии «Нам песня строить и жить помогает», «Как много девушек хороших», «Широка страна моя родная», «Ох ты, сердце, сердце девичье», «Каховка, Каховка, родная винтовка» и всеми ныне поносимый великий «Марш энтузиастов». Так рождались его лучшие инструментальные сочинения, в том числе знаменитая увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта». Так впоследствии родился «Вольный ветер» — единственная советская оперетта, которую музыковеды поставили в один ряд с творениями Оффенбаха, Штрауса, Легара, Кальмана... Можно ли было упрекнуть Дунаевского в односторонности? Пожалуй, да. Но только не в приспособленчестве...*

*Ну а был ли Дунаевский свободен в своем становлении и развитии как художник? Здесь хотелось бы процитировать слова Игоря Золотусского о «слепоте несвободы»: «Это катаракта, которую только сильные могут содрать со своих глаз. Да и то при условии, что она может покрыть глаза сильных. Крупный талант не слепнет, я не знаю примера, чтоб он сломался, стал петь не свою песню,— могли быть минуты слабости, но родовая черта таланта не слабость, а сила». Думаю, что эти прекрасные слова вряд ли могут быть догматически применены к музыкальному искусству. Как известно, талантливая музыка всегда многозначней словесного текста, для которого она предназначена, а иногда даже вступает в противоборство с ним. Хороши бы мы*

*Печатается с сокращениями. Купюры, сделанные Л. Райнль, выделены квадратными скобками. Полностью «роман в письмах» будет опубликован в «Приложениях» к «Дружбе народов».*

были, вздумай воспринимать гениальную музыку Шостаковича сквозь призму верноподданнического текста его кантаты «Над Родиной нашей солнце сияет» или эффектного финального хора из кинофильма «Падение Берлина» — «Сталину слава!». А чудесные мелодии Дунаевского — почему же их до сих пор «заслоняют» тексты типа «Эх, хорошо в стране советской жить!», «Золотыми буквами мы пишем всенародный Сталинский закон», «Нам нет преград ни в море, ни на суше»?.. Если «родовая черта таланта не слабость, а сила», то сила Дунаевского в том, что он прославлял Жизнь наперекор царившей Смерти, то есть пел с вою песню, а не чужую.

Вернемся, однако, к письмам композитора. Часть его эпистолярного наследия вошла в сборник «И. О. Дунаевский» (М., 1961) и в однотомник избранных писем (Л., 1971). В различных периодических изданиях продолжают появляться фрагменты новонайденных писем. И все же огромное количество писем еще не собрано и не издано. Любопытно отметить, что, за немногими исключениями, Дунаевский переписывался преимущественно с женщинами. Конечно, у него было немало преданных друзей среди мужчин, но переписка с ними носила, как правило, или деловой, или шуточный характер. И лишь перед женщинами композитор с неистощимой торопательностью раскрывал глубокие тайники своей души.

Без переписки Дунаевский не мыслил своей жизни, и подчас случайное письмо, полученное от кого-то, могло дать новый творческий импульс. Но пустой переписки композитор не терпел. В каждом письме искал прежде всего содержательность. «Я не понимаю, к чему тратить время на письма, — писал он своей корреспондентке из Николаева А. Л. Перской, — если люди в самом деле не заинтересованы друг в друге? Вот почему в письмах я ищу пытливого отзвука на многое, что меня интересует в самых разнообразных людях. Вот почему я стремлюсь углубить даже письменные отношения, сделать их содержательными и интересными»<sup>1</sup>.

При каких же обстоятельствах возникла переписка Исаака Осиповича Дунаевского и Людмилы Сергеевны Головиной (в замужестве — Райнль)?

В 1937 году двадцатилетняя студентка химического факультета МГУ, очарованная музыкой из кинофильма «Цирк», написала композитору письмо, в котором объяснилась в любви к его музыке и попросила прислать ноты. К этому времени Дунаевский уже успел привыкнуть к излияниям восторженных поклонников, но именно в Людмиле он интуитивно разгадал родственную душу подлинного друга — буквально с первого же непритязательного письма.

Уже во втором письме Дунаевский пишет ей «родная» и «милая», остроумно используя арию из своей оперетты «Ножки», чтобы смягчить впечатление от слишком быстрого употребления этих эпитетов. Одновременно эти «родная» и «милая» смягчают критическую реплику по поводу и интерпретации Людмилой «Лунного вальса». Рефрен же «в другой раз» не оставляет сомнения, что Дунаевский стремится укрепить эту дружбу.

А Людмила отвечает ему с очаровательным трогательным кокетством, за которым угадывается легкая влюбленность в музыкального кумира молодежи тех лет.

Дунаевский и вполне определенно (хотя как бы мимоходом, весело) предостерегает ее от утопических мечтаний, от того, чтобы она не обманулась и не влюбилась по-настоящему, и п а н и ч е с к и боится ее потерять.

К этому времени семейное счастье, казавшееся незыблемым, медленно, но верно начало разрушаться. Со второй половины 30-х годов композитор фактически перестал быть мужем Зинаиды Сергеевны, с которой прожил более десяти радостных лет<sup>2</sup>. Шло время. Скажу, забегая вперед, что впоследствии у Исаака Осиповича образовалась новая семья. Но положение по-прежнему оставалось двусмысленным, жизнь все так же шла через ухабы: формально он не расторг брак с Зинаидой Сергеевной. О неустроенности быта Дунаевского мы узнаем из его же письма к Л. С. Головиной-Райнль от 29 ноября 1947 года: «Мой сын уже большой! Художник! Ему 15,5 лет. Но жизнь моя сложна и мучительна. В 1945 году — 15 января — у меня родился второй сын от другой, моей фактической жены. Зовут его Максим. По-латыни *maximus* значит самый большой. И это действительно одно из самых больших и самых мучительных моих переживаний... все это страшно неустроено, раздвоено...»

Нужно сказать, что в 1937 году, когда началась переписка Дунаевского и Людмилы Головиной, жизнь юной студентки тоже была далеко не безоблачной: жертвами репрессий

<sup>1</sup> Архив А. Л. Перской.

<sup>2</sup> З. С. Михайлова (в замужестве — Дунаевская) — танцовщица, принимавшая участие в балетных спектаклях К. Голейзовского.

стали ее отец и дядя — известный пролетарский поэт Василий Князев (автор песни «Никогда, никогда, никогда, никогда коммунары не будут рабами!»).

Переписка длилась более пятнадцати лет. Были длительные перерывы, когда они теряли друг друга — их разлучала война, а также обстоятельства личной жизни. Возможно, некоторые письма покажутся слишком интимными. Но они представляют собой ценнейший художественный документ, раскрывающий личностное очарование двух людей, чья любовь-дружба была возведена в высшую степень человеческой духовности (некоторое «балансирующее» на острие здесь вполне естественно). Поразительна фраза Дунаевского: «Мои чувства остаются неподнятыми Вами». Не непонятыми, а неподнятыми! В контексте письма открытость чувств композитора необычайна, это открытость в сочетании с огромным доверием к своей корреспондентке.

Письмами Дунаевского Л. С. Райнль распорядилась с потрясающей простотой. Вот что мне рассказал музыковед Д. М. Персон, в свое время опубликовавший фрагменты нескольких писем: «Полные копии писем, без малейших сокращений, Людмила пересылала мне из Арамиля в Москву. Пересылала небольшими партиями — по мере того, сколько успевала перепечатать за неделю. Потом приехала в Москву с оригиналами: «Сличите с копиями, я не пропустила ни одной запятой». — «Людмила, — говорю я ей, — тут, знаете ли, такие вещи... неужели вы не боитесь посторонних глаз?» — «Боюсь, — отвечает. — Даже перед машинисткой было неловко — она могла подумать, что я нарочно рекламирую себя в таком виде. Но еще больше боюсь прикоснуться хоть к одной букве... Понимаете, это уже не принадлежит мне. Это, мне кажется, уже достояние нашей культуры... Вот в своих письмах я многое убрала, уничтожила. А в его письмах — не могу. Когда будете публиковать, сокращайте сами, что хотите, о моей репутации не думайте — лишь бы не навредить Зинаиде Сергеевне... А потом эти письма в нетронутом виде я подарю какому-нибудь музею...»

Таким образом, сама Л. С. Райнль во многом помогла разрешить вопрос об этичности публикации ее переписки с Дунаевским. Тем более что в письме к Д. М. Персону от 19 января 1957 г. она, так сказать, документально подтвердила свое решение: «Переписка эта носит большей частью личный характер, но мое мнение таково, что раз она существовала и тем более занимала такое большое место в жизни И. О. [...], то выбросить все личное — значит обеднить образ И. О., не показать его внутреннюю красоту»<sup>1</sup>.

Итак, перед нами настоящий «роман в письмах». Причем под словом «роман» я имею в виду не только взаимоотношения мужчины и женщины, но и литературоведческий термин. Это повествование со сложным сюжетом, развернутым во времени, где есть и завязка действия, и развитие событий, и кульминация, и очевидная неизбежность печальной развязки...

В 1955 году, после смерти композитора, Людмила Сергеевна приехала в Москву, и З. С. Дунаевская вернула ее письма (кроме двух первых, потерявшихся, и двух последних, оказавшихся среди бесконечного количества других бумаг). Таким образом, в руках у Л. С. Райнль оказалась почти вся переписка. Вернувшись в Бобровку, где она работала инженером на заводе искусственного волокна, Людмила Сергеевна пережила страшное потрясение, после которого долгое время находилась в состоянии полусна-полусмерти. Об этом она рассказала в письме к Д. М. Персону от 5 марта 1957 года:

«Вы, конечно, при встрече обратили внимание на мой несколько странный вид. Все, что на мне было, — все это не мое, чужое, а сама я тогда только начала оправляться от этого ужаснейшего потрясения, которое граничило у меня с сумасшествием. Дело в том, что 4 октября прошлого года, ночью, сгорел дом, в котором я жила. Сгорел со всем имуществом, спасти не удалось ничего. Сгорела и моя несчастная парализованная мать. Дети, раздетые и разутые, выскочили из огня первыми и благополучно. Я, уже в бессознательном состоянии, задохнувшаяся и обожженная, вывалилась из окна. А больная мать осталась. Несколько минут растерянности все решили. Спасти ее не удалось, вытащили уже обугленный труп. Вот и все. Сохранившаяся переписка по случайности находилась у меня на заводе»<sup>2</sup>.

Людмила Сергеевна пережила Исаака Осиповича почти на четверть века — она умерла в декабре 1979 года, в возрасте 62 лет. Зная, что болезнь неизлечима, она успела распорядиться своим архивом, в том числе перепиской с Дунаевским. Нужно сказать, что после пожара архив Людмилы Сергеевны стал вновь как-то незаметно расширяться: она хранила письма В. В. Князева, начала переписываться с А. И. Хачатуряном и другими известными

<sup>1</sup> Архив автора.

<sup>2</sup> Там же.

композиторами и писателями. «Лично я считаю, что мой архив б е с ц е н е н,— писала она за несколько месяцев до смерти другу студенческих лет А. Е. Иванкову,— то есть очень дорого стоит, поэтому ни о какой компенсации не может быть и речи — конечно, я все передам в дар, безвозмездно...»<sup>1</sup>

Александр Ефимович Иванков мне рассказывал: «После смерти Людмилы Сергеевны наследники передали мне письма Дунаевского. Выполняя ее волю, я подарил их Государственному центральному музею музыкальной культуры имени Глинки. Что же касается писем самой Людмилы Сергеевны, то ее дети — дочь и два сына — на семейном совете пришли к выводу, что они не представляют какой-либо художественной ценности. И решили их уничтожить. И действительно уничтожили — сожгли письма своей матери... Те самые письма, которые случайно уцелели во время пожара...»

В удрученном состоянии работал я в музее имени М. И. Глинки, снимал копии с писем Дунаевского. Конечно, письма композитора сами по себе были содержательными и прекрасными, но без ответных писем Л. С. Райнль все же чего-то не хватало.

В 1987 году умер Д. М. Персон. Его вдова, Мелитина Михайловна Бернер, выполняя волю покойного, передала мне небольшую часть архива. Имеет ли смысл описывать мои чувства, когда, разбирая бумаги, я вдруг нашел пакет с авторскими машинописными копиями писем Л. С. Райнль к Дунаевскому? Значит, Людмила Сергеевна на всякий случай сняла копии и со своих писем и передала их Персону. Воистину — рукописи не горят!

Искать ее первые два письма было бессмысленно — очевидно, сам Дунаевский их не сохранил. Но существовали еще два последних письма, которые композитор не успел приобщить к остальным. Недавно я нашел и эти письма Л. С. Райнль — они оказались в ЦГАЛИ (ф. 2062, оп. 1, ед. хр. 510).

Так сложился этот удивительный «роман в письмах».

[Ленинград, 30 мая 1937 г.]

Тов. Людмила Головина!

Ваше милое письмо я получил и благодарю Вас за теплые строчки.

Увы! Все, что Вы просите, пока не предназначалось для фортепианного исполнения, и даже у меня не существует в фортепианном изложении, а только в партитурах. Но так как Вы правы в том, что многие просят у меня эти вещи, то придется сделать фортепианные изложения этих вещей, но для этого нужно время и... Ваше терпение. Если Вы обладаете им, то пишите, куда Вам можно будет послать, так как близятся каникулы, и люди в это время передвигаются с места на место. <...>

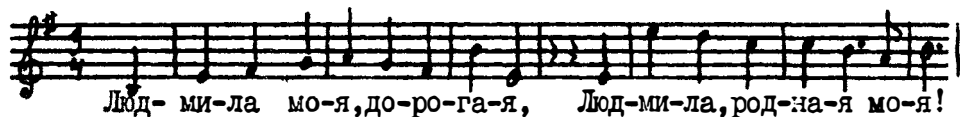
Будьте здоровы.

Жму Вашу руку. И. Дунаевский. <...>

Не бойтесь меня, я не страшный!

Ленинград, 28/VI —37 г.

Темп вальса.



Этот кусочек из моей оперетты «Ножи» вполне подходит к случаю, хотя не годится ни по форме, ни по содержанию к моим чувствам в данном случае.

Слово «родная» — это очень большое слово, ну а милой я даже хочу Вас назвать.

Так вот, милая Людмила! Теоретик из Вас плохой. Никакой ошибки в «подозрительном» для Вас такте «Лунного вальса» нет<sup>2</sup>. Там действительно должно быть ре-бемоль, а не ре-чистое, так как ребемольный аккорд разрешает предыдущую гармонию. Кроме того, если Вы будете играть, как Вам хочется, то Ваше ре войдет в противоречие с ре-бемолем в басу.

<sup>1</sup> Архив автора.

<sup>2</sup> Речь идет о «Лунном вальсе» И. О. Дунаевского из фильма «Цирк».

Нет! Придется на этот раз примириться Вам с авторской орфографией. Я это категорически требую, так как мои корреспонденты из уважения ко мне должны соблюдать м о и гармонию.

Я думаю, что Вы ничего не будете иметь против того, чтобы я заменил Ваш экземпляр «Лунного вальса» другим, лучшим. Вообще с моими произведениями делается черт знает что. Издательства, желая удовлетворить спрос, печатают мои песни на всяких бумажных отбросах любых цветов. Я очень негодую на это, но они говорят, что на миллионные тиражи нет хорошей бумаги. Но Людмила Головина должна иметь произведения Дунаевского на хорошей бумаге.

Все, что Вам не хватает, я Вам в ближайшие дни вышлю. Постараюсь выслать печатный сборник, если удастся заполучить его в издательстве. Он вышел небольшим пока тиражом.

Я буду рад (без кавычек) Вашему посещению, если Вам придется быть в Ленинграде. И мне «ужасно» хочется посмотреть, что Вы из себя представляете. Почему? Об этом в другой раз. Ваши письма мне нравятся. Почему? В другой раз. А пока потрудитесь не задерживать ответа. Я здесь до 15—16 июля, после этого еду на юг. Маме Вашей передайте мой привет и скажите, что я легко «вдохновляюсь», если есть от чего.

Людмила! Будьте здоровы, отдыхайте хорошо. Жму Вашу руку и шлю свой нежный привет.

И. Дунаевский.

115

[9 июля 1937 г.]

Чтобы не быть ошибочно понятой, начну издадека, что, надеюсь, и послужит мне оправданием.

Домой я выехала в виду непредвиденных задержек лишь 8-го июля. Москва провожала меня неприветливо: было пасмурно и все время лил дождь. Но чем ближе приближалась я к югу, тем ярче и солнечнее становилось вокруг. Казалось, все в природе пело: и солнце, и звонко-зеленая степь, и прозрачный воздух, напоенный ароматом полевых трав и цветов. И вся эта гамма ощущений как-то бессознательно осязалась и воплощалась, была неразрывно связана с такими же бодрыми и солнечными песенками Дунаевского (да не будет композитор в претензии за такое сравнение).

От станции пришлось ехать 30 км легковой машиной, и это еще более поднимало настроение. Над дальнейшим опускаю занавес... Скажу только, что после первых приветствий мне дали Ваше письмо. Я с нетерпением разорвала конверт, затем... Ни за что не догадаетесь, что я сделала затем. Я села за стол, положив рядом письмо, и за все время трапезы не притрагивалась к нему, лишь изредка поглядывая плотоядно на него.

Кончив кушать, ушла в свою комнату и только там медленно извлекла письмо из конверта и прочла его. Меня сразу же очень тронуло то, что оно не было отпечатано на пишущей машинке. Ваши вопросы, заданные самому себе и оставшиеся без ответа до «другого раза» (?), как и следовало ожидать, заинтриговали меня. Как долго мне придется ждать этого «другого раза»?

Да, забыла поблагодарить Вас за ноты. Правда, они все у меня есть, но мне ценен сам знак внимания.

В «Лунном вальсе» покоряюсь Вашим требованиям и авторитету, хотя, нужно сознаться, убедить меня полностью Вам не удалось. Ведь когда я беру речистое в скрипичном ключе, я беру такое же ре и в басовой партии. Хотя, правда Ваша, теоретик я очень плохой, и даже больше — совсем почти незнакома с теорией. Кстати, о знакомстве. Уж, видно, суждено мне первой делать шаги в этом. Скажите же, как обращаться к Вам, ведь я не знаю Вашего имени, а по фамилии называть все время как-то неудобно.

Простите за бессвязное письмо, но сейчас поздно, а с дороги, да еще плюс после ванны и хорошего ужина — ужасно хочется спать. Но клянусь своей бородой — или (что звучит солиднее) клянусь маршем из «Цирка» — буду стараться, чтобы последующие письма были интереснее.

Пока желаю Вам спокойной ночи, разве может что-либо соперничать сейчас с хорошей постелью!

Да будут удачи сопутствовать Вашей поездке на юг.

Людмила. <...>

Из другой комнаты доносится хорошая музыка, а мне еще надо оторвать ноги от пола и подняться с кресла, чтобы выключить лампу и бухнуться в постель.

Dixi!

(по-латыни это значит: нет больше пороха в пороховницах).

Ленинград, 23/VII—37.

Я с удовольствием прочитал Ваше очаровательное, живописное письмо. Пожалуй, в нем самом Вы ответили на то, о чем я обещал Вам сказать «в другой раз». Я получаю очень много писем. Помимо обычной остроты и любопытства, связанных с перепиской со многими неизвестными корреспондентами, я ищу в этих письмах отзвуки нашей жизни. <...> Конечно, не на все письма я отвечаю. <...> Но если я улавливаю в письме нечто такое, что отвечает моей огромной пытливости, то я проникаюсь к этому корреспонденту чувствами нежности и веду с ним переписку до той поры, пока его письма отвечают основной идее переписки.

Для того чтобы я был правильно и исчерпывающе понят, надо многое говорить о себе. <...> Сейчас скажу кратко: художник должен, как губка, впитывать людей и окружающую действительность. Мне 37 лет, я прожил, как мне кажется, интенсивную и не лишенную хорошего содержания жизнь. И тем не менее я никогда не говорю про новые явления, что я их уже где-то видел, где-то и когда-то испытал. В каждом человеке есть что-то новое. А особенно в новом, юном советском человеке, формирующемся иначе, на другой закваске, чем формировались мы, люди среднего поколения. (Вы заметили, что я из деликатности не сказал о себе: «Люди старшего поколения».)

Так вот, милый человек, в письмах скрещиваются самые разнообразные струи, мысли, желания. Многое в них покрыто пылью и плесенью старого, многое сверкает радостью и полнокровием нового, нынешнего. Ваше письмо отличается вторым признаком, и оттого оно мне дорого и приятно. Впрочем, это предварительное впечатление, которое Вы в дальнейшем еще должны подкрепить.

Вы совершенно правильно заметили разницу между машинкой и собственным почерком. Но тут дело не только в этом, а в том, что нашу переписку я буду вести без участия секретаря, а это, в свою очередь, значит, что эта переписка становится моим глубоким личным делом. <...>

«Песня о стрелке» («Пиши, не забывай») и «Застольные куплеты» отправляются Вам одновременно с этим письмом<sup>1</sup>. Слова «Стрелки» весьма «философичны». В общем, исполнение этой песни требует большой изящной простоты и выразительности.

Ну, милая Людмила, буду кончать. Если среди буйного и сосущего восприятия отдыха и природы Вы вспомните меня, то напишите о себе побольше. Не смущайтесь тем, что я уезжаю. Вся корреспонденция будет мне переправляться. Так что обязательно пишите, пока не получите моего адреса, на адрес ленинградский.

Сердечно и нежно приветствую Вас. Жду Ваших нужных строк. А я, в свою очередь, обещаю об очень многом и об очень интересном с Вами разговаривать. <...>

Будьте здоровы, счастливы. Отдыхайте хорошенько.

И. Дунаевский.

Р. S. После того как написал свое письмо, еще раз прочитал Ваше.

Сообщаю для сведения: 1/Зовут меня Исаак Осипович. 2/«Dixi» по-латыни значит «сказал». То есть, как у нас говорят, «Все!». А порох Ваш тут ни при чем. Когда латынь была в почете у древних, человечество еще не додумалось до этой штуки.

Я надеюсь, что Вы поймете, что я шучу и что не собираюсь заниматься уроками лингвистики. Ваше письмо так обаятельно, что мне начинает казаться мое письмо слишком серьезным и нудным. Если это и Вам покажется, то это будет очень для меня неприятно. Тем более что по свойству своей натуры я умею и смешить.

Dixi! («Есть порох в пороховницах!»)

Москва, 1 августа 1937 г.

Милая, хорошая Милочка! Ваше письмо получил в Ленинграде за два часа до отхода поезда. Спешу Вам написать хотя бы несколько слов. Я в Москве, откуда сейчас еду дальше в Севастополь, потом морем куда глаза глядят. <...> Когда будете возвращаться в Москву, напишите, где в Москве Вас разыскать.

«Ужасно» хочу Вас увидеть, какая Вы.

<sup>1</sup> «Песня о стрелке» — из кинофильма «Веселые ребята» (стихи В. Лебедева-Кумача). «Застольные куплеты» — из кинофильма «Искатели счастья» (стихи В. Волженаина).

За латинское замечание не сердитесь — это я хотел сам хвастнуть давно растерянным знанием этого языка. <...>

Сердечно Вас приветствую и крепко жму руку. Я бы поцеловал Вас, да... Впрочем, целую крепко.

Вы — хорошая. Вас поцеловать даже просто нужно.

Ваш И. Дунаевский.

[Первая половина августа 1937 г.]

При первом взгляде на Ваше письмо я хотела разразиться гневом. Как?! Чем больше я пишу, тем меньше Ваши письма! И я уже решила написать Вам лишь несколько строк, проверить, правильно ли подмечена обратная зависимость в размерах писем. Но... оказывается, слишком рано погорячилась. Вы отвечаете на мои мысли и полностью разбиваете первоначальное впечатление.

Вы путешествуете морем — счастливец! Я никогда не плавала на морских пароходах, хотя у моря бывала не раз. Вы часами будете просиживать на палубе на каком-нибудь соломенном кресле, томясь от безделья, — вот этим-то я и воспользуюсь! Вы, милостивый государь, как-то обещали мне написать подробнее о себе. Извольте же исполнить данные обещания. Отдерните край занавеса и дайте взглянуть на Вас поближе. Вы не смеете (!!!) отказываться! Меня очень интересует Ваша жизнь, вся, начиная с Ваших родителей и кончая днем, когда Вы получите это письмо.

То, что я умею шутить, я Вам, кажется, доказала. Но Вы меня не знаете серьезной, а таковой я бываю очень часто. Вот, например, — мне о ч е н ь хочется с Вами познакомиться, но... в то же время я боюсь этого. Вы, возможно, составили себе мнение обо мне, не совсем совпадающее с действительностью. Возможно, я представляю Вас иным, чем Вы есть на самом деле. Так вот, я боюсь разочарования — и Вашего, и своего.

Видите, я очень откровенна. И всегда после такой откровенности в письмах, при последующих встречах даже со знакомыми, бываю очень дикой, потому что мучительно стесняюсь того, кто хоть немного заглянул мне в душу. <...>

В Москву я еду числа 15-го августа, нужно устраиваться с общежитием. <...>

Жду от Вас какой-нибудь экзотической карточки, например — что может быть оригинальнее! — Вы верхом на дельфине! Seriously, была бы очень рада, если бы Вы подарили мне свою карточку. Это было бы знакомством на расстоянии.

Мила.

<...> С нетерпением жду ответа.

Все больше и больше начинают нравиться «Колыбельная Мери» и «Лирическая» из «Искателей счастья», особенно вступление<sup>1</sup>.

Ленинград, 3/IX—37 г.

Это, миленькая моя, не фокус писать письма, когда свободна и делать нечего. Теперь я понимаю Ваше «геройство», когда Вы от скуки в Щербиновке частенько брались за перо и писали неведомому композитору. А вот попробуйте писать, потому что хочется, потому что есть потребность, не взирая на занятость, усталость и прочее. Видимо, на это Вас не хватило. Письмо Ваше<sup>2</sup> нудное, такое же, как, наверное, и Вы были в тот момент. Очевидно, желание спать оказалось сильнее желания писать. Думаю, что проще было бы сразу завалиться в постель. Я не сержусь на Вас, но Вы мне испортили настроение. <...>

(Ага! Всыпал! Будете теперь знать!)

Я еще Вам о ч е н ь серьезно скажу: не надо заменять праздничную приподнятость и вполне понятную остроту нашей переписки формальными вежливыми отписками. Это, сударыня, сделали Вы, и Вам надлежит в этом немедленно сознаться.

Пожалуйста, не язвите насчет расточительности моих поцелуев. В том и сказывается вся отвратительность Вашей ужасающей натуры, что Вы чудесный и светлый мой порыв готовы немедленно разменять на банальные колкости.

Ничего! При встрече мы с Вами посчитаемся. <...>

В Москву я вряд ли выберусь раньше 9-го. Десятого проеду в Киев, но от утра до

<sup>1</sup> В кинофильме «Цирк» две колыбельные песни: «Спи, мой бэби» («Колыбельная Мери») и «Сон приходит на порог» (обе на стихи В. Лебедева-Кумача). Лирическая песня из фильма «Искатели счастья» — «Ох ты, сердце, сердце девичье» (стихи В. Волженина).

<sup>2</sup> Со своего письма от 1 сентября 1937 г. Л. С. Райнль копию не сняла.

8-часового [вечернего] киевского поезда есть время, чтоб взглянуть на Вашу злобную старческую физиономию. Ждите моей телеграммы о дне выезда. <...>

Бесконечно сердитый  
И. Д.

Целовать Вас больше никогда не буду (даже в письме!).

Москва, 6/IX—37 г.

Ваше письмо заставило меня вначале искренно расхохотаться, потом мне стоило уже труда удержать на лице улыбку, и, наконец, я рассердилась. Так вот благодарность за то, что эти два дня я никуда не отлучаюсь из дома и жду Вас, жду минутами, часами. Бегаю по два раза в день на почту и совершенно не могу углубиться в занятия. И сегодня (когда выяснилось, что Вы не приедете) отказалась идти на танцплощадку (сколько самоотречения-то!), лишь бы сейчас же ответить Вам; а Вы... Вы носите написанное уже письмо два дня в кармане и не только не удосужитесь бросить его в ближайший почтовый ящик, но и отдать для этой же цели тому же секретарю!

А я вот сегодня, лежа на нашей импровизированной тахте и держа в руках учебник (увы, только держа), услышала, как за стеной запели Вашу песенку и... Впрочем, не буду продолжать, не стойте Вы этого.

Это, миленький мой, не фокус приезжать в Москву, когда этого требуют дела, когда это необходимо. А вот попробуйте приехать, потому что хочется, потому что есть потребность (взглянуть на старческую физиономию), не взирая на занятость, усталость и прочее. Видимо, на это Вас не хватает. <...>

Несколько слов о нашей переписке. Почти всегда я пишу Вам, находясь в приподнятом настроении. ПОЧТИ всегда Вы не обманываете моих ожиданий. <...> Но меня часто грызет мысль, что пишете Вы не мне одной, а очень многим. Может быть, отчасти это и было причиной того, что я написала Вам такое письмо. Этим неудачным маневром я думала вызвать Вас на более длительный разговор. Увы, невинная хитрость не удалась. Вы не пошли на эту удочку. <...>

А все-таки мне доставляет удовольствие мысль о том, что Вы меня не представляете, не можете сейчас видеть, а я вот беспрепятственно разглядываю Вас. И Ваш пристальный взгляд не попадает в цель, он мертв. Хотя, нужно сознаться, при писании первых страниц этого письма я держала Вашу карточку перевернутой возле себя.

В заключение... Впрочем, заключение сделаете сами.

Dixi!

Мила.

Ленинград, 9 сентября 1937 г.

Во-первых, я категорически отвергаю Ваши обвинения: письмо свое я отправил немедленно. Я вынужден сказать, что мои деловые (уже не говорю о других) корреспонденты мечтали бы о такой моей аккуратности. Во-вторых, не думайте обо мне дурно и знайте, что я пишу не всем одно и то же. В-третьих, поговорим немного о романтике.

Моя жизнь довольно красочна, хотя и утомительна. Сюда я причисляю все разделы моей работы, взаимоотношения с людьми, радость творчества, удовлетворение удачей и гордость успехами; сюда я причисляю художественное честолюбие, щекочущее самолюбие и прочее, прочее, прочее. И все-таки, когда приходят Ваши письма, то в моей, казалось бы, и без того довольно ярко освещенной жизни становится еще светлее. <...> Я глубоко дорожу всяким проявлением ко мне теплоты и внимания. Я думаю, что это вследствие того, что я скромнен. Знаете, ведь бывают люди, которые выходят на поверхность жизни и забывают это правило. <...>

Я же чувствую признательность за каждое такое проявление, откуда бы оно ни исходило. Судите сами: где-то в глуши тайги, в захолустье Омского края или Харьковской области простые человеческие души хоть на минуту освещаются моими теплыми строчками — ответом на их теплоту. Письмо от композитора Дунаевского, песни которого они поют и любят, мне кажется, является для них чем-то отличающимся от их нормального ощущения.

Но каким образом могло случиться, что Вы вдруг ни с того ни с сего потеряли чувство сравнения и решили себя причислить к одной из многих, которым я пишу. Вы, право, меня обижаете, потому что судите обо мне как о конторе по сбыту чувств и флирта или, чего хуже, по кружению голов двадцатилетним девушкам.

Каким образом случилось, что Вы не разглядели в моих письмах того, что называется

романтикой? <...> Стоит ли мне еще сознаваться в том, как нетерпеливо жду я Ваших писем, как они влияют на мое настроение, как своими телеграммами мне хочется ни на один лишний час не оставлять Вас вне правильного ощущения моих подлинных настроений?

Вы видите, я сказал больше, чем надо. Мы с Вами об этом поговорим подробно и лично. Но... не испытывайте мою душу: перелететь к Вам по воздуху я сегодня не смогу, и Вам придется Ваш свободный вечер провести без меня.

Что касается моего приезда, то я еще Вам надоем в мои частые московские пребывания. Мне удивительно хорошо при мысли, что Москва приобретает для меня новый и... острый интерес.

Людмила! Пишу Вам это с огромной тревогой. Мне не нравится, что Вы не танцуете, что Вы держите учебник, ничего не понимая в нем. Мне хотелось бы, чтобы это было шуткой, на которые Вы так щедры. Боже упаси, если я воткнусь тяжелым (хоть и приятным) камнем в Вашу радостную жизнь. Об этом Вам надо подумать. Я хочу Ваших слов, Ваших чувств, Вашей теплоты, но при одном условии: чтобы это было Вашей радостью.

Если все, что я пишу, повергнет Вас в недоумение, учтите краску стыда, залиющую мое лицо, и простите меня, дурака, попавшего пальцем в небо. <...>

Мой нежный, нежный привет Вам, моя хорошая.

Ваш И. Д.

Ревакино, 16/IV—41 г.

Дорогой Исаак Осипович!

Позвольте, хотя и с некоторым опозданием, поздравить Вас с великой, вполне заслуженной наградой — званием Сталинского лауреата. <...>

[...] Помните ли Вы меня, Исаак Осипович? Вашу «старую знакомую» Людмилу Головину, с которой у Вас одно время была оживленная переписка, окончившаяся знакомством? Так вот, за эти два-три года огромные перемены произошли в моей судьбе: я вышла замуж, и у меня десятимесячный сын. Замужество мое оказалось неудачным: влюбившись без памяти в человека, ставшего моим мужем, я недостаточно хорошо узнала его характер, а последний оказался очень тяжелым. Год пролетел как во сне, а потом... не буду перечислять всего, что мне пришлось вынести, достаточно уже того, что наша совместная жизнь в дальнейшем для меня невыносима. Муж не хочет развода со мной и грозит отнять у меня ребенка в случае моего ухода. Я не хочу прибегать к помощи суда, но положение мое очень тяжелое. Будь бы жив папа, он помог бы мне во всех отношениях. Но вот уже два года, как наша семья распалась: брат учится в Ростове, а мама переехала ко мне на постоянное житье. И вот под давлением всех перечисленных обстоятельств я решилась на... побег от мужа. Уладив с работой, я «снимаюсь с якоря» и переезжаю куда-нибудь подальше от Ревакино [...]

[Ленинград, 27 апреля 1941 г.]<sup>1</sup>

Тула, 7/V—1941 г.

Добрый день, мой дорогой друг!

Да будут все дни Ваши добрыми и хорошими. <...>

Из Ваших рассказов я могла понять, что и Ваша личная жизнь сложилась не совсем удачно. По-моему, это особенно несправедливо по отношению к Вам, которого любит вся страна, который нужен стране. Я, например, останусь признательной Вам на всю жизнь с того самого момента, когда Вы так мило и сердечно ответили на мое первое письмо. Вы — это то необычное, что иногда бывает в жизни некоторых людей.

Ну, пока все.<...>

Подписываюсь по-прежнему Мила.

Моя новая фамилия — Райнль. <...>

Москва, 22/X—1947 г.

Милая, хорошая Людмила! Как я рад, что нашел Вас, что могу Вам снова писать. Так получилось, что я прозевал Вас, ибо Вы дали мне для свидания такой короткий срок, что ни

<sup>1</sup> Дунаевский отозвался взволнованным письмом. «К сожалению, — пишет в своих воспоминаниях Л. С. Райнль, — письмо Исаака Осиповича, такое теплое и сердечное, у меня не сохранилось».

повидать Вас, ни дать Вам знать о своей радости я не мог. <...> Да и жизнь тогда, помню, какая-то была сумбурная, полная забот и переживаний. <...> Были годы тяжелого раздумья, душевного одиночества, обиды и разочарований, когда никому не писал, не отвечал. Не хотелось... По сравнению с моим ленинградским периодом все как-то осело на одну ступень, жизнь в творчестве, в обществе приобретала новую окраску, исчезло кипение, задор, когда я находился в переписке и общении со всей страной. Меня многие забыли, а может быть, и потеряли мой след. Война и здесь внесла свои опустошения. Мой почтовый ящик большей частью наполнялся газетами и журналами, а не письмами моих далеких и близких, знакомых и незнакомых друзей. Вы — чуткая, хорошая душа. Я никогда не переставал думать о Вас таким образом, когда мысль бродила по жизни. Может быть, именно поэтому не стоит долго останавливаться на большом, но печальном периоде моей жизни. Скажу только, что я не изменился, ничто во мне не изменилось. Но... «делателям погоды» в сфере муз[ыкального] творчества понадобились кое-какие изменения в расстановке сил. Вот и все, собственно говоря. Захотите — расскажу подробнее. Надеюсь, что мы с Вами продолжим теперь и наше знакомство, и нашу светлую переписку. Так вот, вылезши из этого периода и сохранив нетронутой свою творческую гордость и честь, а заодно, конечно, и человеческое достоинство (высший дар!), я, по окончании крупной и напряженной работы над моей опереттой «Вольный ветер», почувствовал потребность в ответе на многие письма, лежавшие у меня по два-три года. <...> И вдруг... наткнулся на Ваше письмо. Почти с безнадежностью я написал <...> и уехал отдыхать в Хосту (Сочи). Приехал вчера, и — Ваше письмецо, которого я совсем не ожидал. Вот теперь спешу ответить, спешу так, как спешат писать только своим возлюбленным. (Я надеюсь, что Вы меня правильно поймете и не обидетесь.) Спешу и потому и, если хотите, главным образом потому, что грустью и горечью веет и от Вашего старого письма, и от нового. Я ведь ничего не знаю. Вы пишете о тяжелой болезни Вашего сына и больше о себе не хотите ничего писать. Где Вы, почему Вы, что Вы, кто Вы, как Вы? Почему Саки? Почему Вы кочуете? <...>

Потом так: мои письма как луч света, воспоминания обо мне освещают душу.

Людмила! Значит... темно? Очень темно?

Но в таком случае имеете ли Вы право, уже садясь за письмо ко мне, ограничиваться несколькими строчками, ничего не говоря о себе, о своей жизни, самочувствии и т. д.? Я думаю, я хочу думать, я буду просить Вас посвятить меня, если возможно, в эти вопросы. Что с Вашим сыном?

Мне хочется, чтобы Вам было хорошо. Есть на свете очень мало людей, судьба которых меня глубоко трогает. И среди этих людей — Вы, моя родная! Мне хочется, чтобы Вам было хорошо. И если Вам плохо, то доставите ли Вы мне радость помочь Вам всем, что в моих возможностях? Вы должны хорошо меня понять:

Вы — это моя смешливая, чудесная, заборная корреспондентка. Ваши письма — все у меня хранятся. И если Вы вспоминаете нашу переписку, наше короткое личное знакомство как светлый период Вашей юности, то знайте навсегда, что Вы — тоже часть моей юности. Только юности другой — творческой. Вы — часть того периода, когда моя творческая сила была всепобеждающей [...]. Об этом ушедшем и невозвратимом не надо жалеть. За это только надо благодарить судьбу. Но именно тогда, в тот период, я мог с душевной просветленностью восторгаться Вашими светлыми письмами; именно тогда я мог с замиранием всего существа искать на автомобиле Ваш адрес где-то в Останкино, в корпусе студенческих общежитий, искать свою милую незнакомую корреспондентку Людмилу Головину. Это вовсе не был авантюризм, поиски легких приключений, фрайерство знаменитого человека. Нет, боже упаси! Это именно была улыбка жизни, полнота жизнеощущения, радость жизни! <...> Может быть, эта непорочная наша связь и есть именно та радость, лежащая над всем житейским у меня и у Вас, что освещает наши души. Я не знаю, как это называется, и я не знаю, ревнуют ли мужья и жены к такого рода явлениям. Но я знаю, что это прекрасно, когда люди сохраняют в своих душах нерасплескиваемую энергию радости соприкосновения пусть маленьких, но громадных по своему свету кусочков общей священной слитности. <...>

Судьбе все-таки было угодно, чтобы мы снова нашли друг друга [...].

Я сейчас ничего больше не хочу Вам писать. <...> Я буду счастлив получать Ваши письма и обещаю, что самой большой радостью будет для меня отвечать на них. <...>

Ваш И. Дунаевский. <...>

Саки, 3/XI—47 г.

Мой дорогой друг!

С невыразимым волнением прочла я Ваше чудесное письмо. Ваши теплые дружеские слова принесли мне какое-то моральное облегчение, даже посветлело (и потеплело) вокруг. Благодарю Вас от всей души за это письмо, строчки которого навсегда запечатлелись в моем сердце, благодарю за участие, которого я никогда не забуду.

Исаак Осипович, так много хотелось бы рассказать Вам, но какое-то душевное оцепенение и усталость сковывают все желания. Постараюсь хоть вкратце посвятить Вас в свою жизнь.

Уже два месяца, как мой сынишка (7-ми лет) лежит, не вставая, в постели. У него воспалительный процесс левого тазобедренного сустава, болезнь очень тяжелая и затяжная. <...> Сейчас, когда диагноз установлен, мне удалось даже достать очень редкое и дорогое лекарство для него — пенициллин — и дня через два должны начать лечение. Я очень надеюсь на это лекарство и многого жду от него.

Постараюсь ответить хоть на часть Ваших вопросов.

Война застала меня в Тульской области...<sup>1</sup>. Спустя два месяца после начала войны у меня родилась дочь — Татьяна — и я окончательно порвала всякие отношения с мужем. Он оказался нехорошим человеком, но так как я его любила первой и, возможно, единственной любовью, то чувство это исчезло не сразу, а вытравливалось постепенно и очень мучительно. Подумайте, все пять лет (с 40-го по 45-ый год) мы жили в одном доме, работали в одной школе! Он ничем мне не помогал, мне было очень тяжело и морально, и материально, и если бы не мама, ухаживавшая за детьми и бывшая вообще моим верным помощником, мне не вынести бы этих ужасных лет войны. Сейчас я с удивлением вспоминаю эту жизнь. Кроме работы в школе, я занималась тяжелым физическим трудом — вручную обрабатывала и огораживала огород в 0,15 га, кормивший нас, пилила, колола дрова, таская их из лесу на себе, и еще многое другое. И при этом голод. Помню одну ужасную весну, когда из продуктов ничего не было, и при такой тяжелой физической работе приходилось питаться буквально пойлом: сваренной на воде крапивой, забеленной немного молоком, без хлеба. <...>

После окончания войны сердобольные соседи начали делать попытки через подрастающих детей помирить нас с мужем. С огромным трудом мне удалось уволиться с работы (глубокой осенью), и я попала в Москву, где мне предложили большой выбор мест для работы. После пяти лет этого ужаса я мечтала о глухом местечке, где было бы тепло, сытно и меньше всяких житейских забот. Таким образом, я и попала в Крым. <...>

Так вот, стойко выдержав всю тяжесть войны, я здесь почувствовала себя усталой и физически, и душевно, одинокой и, не смейтесь, старой. <...> Мне хочется, чтобы отношения между нами излучали радость. Вы эту радость мне даете, а я не могу ответить тем же, это очень больно.

Ну вот, излилась хоть немного и, наверное, испортила настроение Вам. <...>

Исаак Осипович, все, что Вы пишете о себе, мне очень интересно и дорого, верьте, я ценю Вашу откровенность. О Вашем печальном периоде, если не хотите — не пишите, я поняла Вас. Но одну вещь для меня Вы должны сделать: я жажду Вашей музыки и прошу Вас выслать мне все, что возможно иметь в фортепианном изложении. И еще небольшая просьба, хотя мне и совестно писать о ней: вложите в эту посылочку несколько спиралек для электроплитки на 220 вольт и немного белого стрептоцида (лекарство для Юрика) — здесь даже этого достать нельзя!

Благодарю Вас за добрые пожелания, боюсь, что они невыполнимы. Ах, если бы Вы отыскиали меня хоть на полгода раньше, многое могло бы не случиться! Ваше же молчание я сочла за нежелание продолжать дальнейшее знакомство.

Позвольте и Вам пожелать такого счастья, какого Вы заслуживаете.

Людмила.

Москва, 12/XI—47 г.

Дорогая Людмила! Я ездил на несколько дней в Ленинград по делам постановки моей новой оперетты «Вольный ветер»<sup>2</sup>, поэтому немножечко опаздываю с ответом на Ваше письмо. Я его внимательно, очень внимательно прочитал. Да, Вы правы — оно меня очень расстроило и взволновало. <...> Мне больно и жалко, что человек, такой хороший, пылкий

<sup>1</sup> Л. С. Райнль со всей семьей оказалась в оккупации.

<sup>2</sup> Премьера «Вольного ветра» в Москве состоялась 29 августа 1947 г., в Ленинграде — 2 декабря того же года.

и радостный, каким Вас готовила юность для будущей жизни, обязательно должен попасть именно в житейскую пакость, выбираясь из которой, он должен познать всю горечь человеческих обид, несчастий и разочарований. Ну что ж! Как говорят французы: *c'est la vie!*<sup>1</sup>

Жизнь, жизнь! Остается только верить в хорошее и ждать. Скучное это занятие, но необходимое. А еще более необходимая вещь — это опыт. Он умудряет человека и позволяет ему избегать ошибок. Сейчас по всему видно, что философские разглагольствования не могут Вам помочь в том безрадостном состоянии, в каком находится Ваша душа. Мне хочется только молиться всем богам, чтобы она просветлела и чтобы Вам стало хорошо. <...>

В жизни моей (а мне скоро 48) было несколько встреч с женщинами, которыми я горжусь, свойства и содержание которых, собственно, и составляют свойства и содержание самой моей жизни, моего творчества, моих убеждений и моего общего морально-этического облика. Я говорю «встреч с женщинами», но имею в виду вообще романтические переживания, начиная с периода юношеских, даже детских лет, когда моими «женщинами» были лучистоглазые девочки и девушки.

Воспоминания об этих замечательных переживаниях моей жизни [...] и впредь останутся для меня дорогими. Но в годы моей зрелости я пережил несколько встреч иного порядка. Я имею в виду встречи с незнакомыми людьми, то есть переписку с некоторыми девушками (именно девушками!), характер и формы которой довольно своеобразны и интересны. <...> Эти письма начинались с хороших, человечески простых выражений восторгов по поводу моего творчества. Надо Вам сказать, что в те годы я получал огромное количество подобных писем и, конечно, не мог на все отвечать. Но какие-то письма по совершенно трудно объяснимым причинам вдруг останавливали мое внимание. <...> Что же в этих встречах-переписках было такого, что осталось в моей душе дорогим воспоминанием? Это была радость! Хорошая, буйная, молодая радость, несшаяся ко мне и поддерживаемая мной. Это была, во-вторых, прекрасная дружеская сердечность. <...> И, наконец, это было интересное и своеобразное «воспитание душ», тянувшихся ко мне через мою музыку. <...> Может быть, это своего рода себялюбие, но мне дорого и близко все, что хоть маленьким кирпичиком строило мое человеческое «я». И человек, давший мне радость сознания, что «я есть», что окружающая жизнь может быть чертовски хороша и светла, — этот человек всегда останется у меня в душе.

<...> Не подумайте, бога ради, что я являюсь каким-то профессионалом в вопросах «душевной помощи по почте всем нуждающимся». Вы бы меня этой мыслью глубоко оскорбили. Важно понять то, что все эти чудесные люди, о которых я Вам пишу, в сущности, физически, житейски (Вы понимаете?) не нужны были мне, как и я им. И не романтика отношений нужна была нам. <...> Важно было познание больших и хороших чувств и мыслей, которые в о б щ е существуют и к которым человек в о о б щ е должен стремиться. <...>

Мне казалось принципиально важным, что моя «смеющаяся Людмила» существует для всех, в том числе для меня. И я думал, что чем больше таких Людмил будет на свете, тем лучше будет жизнь и... мои песни. Вот почему я любил Вас и Ваши письма, как люблю жизнь и солнце. <...> Наши «отношения» не переросли и не могли перерасти в «жизненное счастье» по вполне понятным причинам. Но вот видите, жизнь подтвердила, что мы бесконечно рады друг другу.

Я Вам так пространно пишу об этом, чтобы и самому понять, и Вам дать почувствовать, как важно и нужно иметь людям, кроме говядины и баранины, так же и человечину. <...>

И я хочу всеми моими силами охранять Вашу душу. Это дружба? Пожалуйста, называйте. Вы мне пишете: «Мой дорогой друг!» Конечно, друг! Но, мне кажется, не только. Может быть, и меньше, а может быть, и больше... Слова у нас явно измельчали. Ну, хватит, а то запутаемся. <...>

Желаю Вам самого лучшего и прежде всего выздоровления Вашего сына. Пожалуйста, пишите побольше. <...>

И еще одна просьба: я совсем забыл Ваши черты. Не пришлете ли Вы мне Ваше фото, хоть какое-нибудь? Пожалуйста.

Передайте привет Вашей матушке, которую я не имею чести знать.

Ваш И. Дунаевский.

<sup>1</sup> Такова жизнь!

[Саки, 24 ноября 1947 г.]

Милый, дорогой Исаак Осипович! — Вот видите, я уже не решаюсь называть Вас другом, несмотря на то, что Вы мне близки и дороги, как лучший друг. А ведь друг бывает ближе, чем родственник по крови человек. Да к чему далеко ходить? Вот Вам горький пример. Мой единственный братец все время писал нам хорошие письма, пока учился в институте и я помогала ему. Сейчас же он крепко стоит на ногах, одинок, как «вольный ветер», и... пишет очень редко и скупно. Я, конечно, никогда не унижусь, чтобы просить его о помощи, это можно сделать только в отчаянную минуту, но должен же помнить он хоть о своих обязанностях по отношению к матери!

Моё [теперешнее] состояние по сравнению с тем тупым отчаянием, когда я написала Вам предыдущее письмо, можно сравнить со «смехом сквозь слезы». Я радуюсь, несмотря ни на что. Главные причины этого — перелом в болезни сына и... Ваши письма, излучающие тепло и бодрость. Кстати, пишу Вам на работе, чтобы не затягивать ответ. В комнате одни рамы, не топлено и холодно так, что временами приходится откладывать ручку и согревать руки. Поэтому и почерк такой корявый, а чтобы это не слишком бросалось в глаза — пишу помельче. За окном падает первый снег, и всё вокруг светлеет. Как радовалась я в детстве первому снегу и как сейчас не рада!

Сынншке моему настолько лучше, что он начинает даже ходить. И аппетит появился, только, к сожалению, трудно достать что-либо питательное для него. В нашем курортном городишке в единственном «Коммерческом магазине» (!!! — так гордо звучит только название) нет даже хорошего какао. Но, главное, пенициллин помог.

⟨...⟩ На днях мне посчастливилось услышать монтаж Вашей оперетты по радио<sup>1</sup>. ⟨...⟩ Музыка просто блестящая, замечательна песенка моряков, как всегда, удачны лирические арии и дуэты, очень мелодична ария матери. Это не пристрастие, нет. ⟨...⟩ Да возьмите в пример песни других советских композиторов — они так же быстро забываются, как и входят в моду, в то время как Ваши песни живут и здравствуют, несмотря ни на какую «погоду». Ваша «Песня о Родине» стала неофициальным гимном народа. И мне было очень приятно констатировать тот факт, что большинство песен, певшихся во время праздника, принадлежат Вашему перу. Кстати, Ваши торжественные поздравления с 30-летием Октября прозвучали для меня похоронным маршем, отпевающим мою юность: я ведь ровесник Октября, правда, не Октябрьской, а Февральской революции. И 15 февраля мне уже будет 31 год. Я так подробно пишу об этой печальной дате, потому что мне было бы очень приятно прочесть в этот день Ваши дружеские слова.

⟨...⟩ Знаете, я все же эгоистка: мне было приятно читать, что из наиболее интересных корреспонденток я осталась у Вас одна. Ну что ж, женщина всегда остается женщиной и любит первенствовать, если не может быть единственной. ⟨...⟩

Как поживает Ваш сын? Он, наверное, уже совсем большой. Вы ничего не пишете о своей жизни, а я не решаюсь спрашивать, хотя мне иногда и хочется это сделать. ⟨...⟩

Ваша «смеющаяся (несмотря ни на что!) Людмила».

24/XI—47 г.

Москва, 29/XI—47 г.

Моя дорогая, милая Людмила! Хоть Вы уже и старая (шутка ли — 31 год!), но Вы для меня остаетесь Людмилой молодой, радостной, смеющейся девушкой, тем более что я просто не знаю, забыл, не знал и раньше Вашего отчества. ⟨...⟩ И, читая Ваши письма, я чувствую себя влюбленным в Вас, как и раньше, в те давние дни, которые так живо стоят в моем сознании и воспоминания о которых, такие теплые и хорошие, Вы оставили, увы, без гроша внимания. (Меняю перо!)

И вот сейчас, хотя и чувствую себя свиньей перед Вами, я спешу написать Вам под свежим впечатлением прочитанного письма. И заверяю Вас: это письмо мое нужно мне не меньше, чем Вам, потому что мне хочется Вам писать. Я чувствую себя свиньей, потому что мне обидно, что в выздоровлении Вашего сына я не сыграл никакой роли. И что пока я собирался выслать Вам стрептоцид, Ваш Юрий взял да и стал поправляться. А пока я соберусь выслать Вам спиральки, да еще какие-то мудреные, с пломбами, так Вы останетесь совсем без пищи. И истощавшая, голодная, Вы перестанете меня радовать своими письмами. Нет, нет! Я серьезно возьмусь за практические, житейские заботы о Вас, хотя и не приспособлен к ним.

<sup>1</sup> Речь идет об оперетте «Вольный ветер».



Я бесконечно рад, что Ваш сын поправляется. <...> Я вообще ужасно рад всякой Вашей радости. Это не слова! Это глубокая правда. <...>

Посторонний человек может принять такие слова за любовь. А ведь мы с Вами бесполое, платонические корреспонденты. Любовь? Гм! Черт побери, как это называется! Может быть, я хочу, чтобы Вы были полностью увлечены мной? Может быть, я хочу, чтобы Вы светились великолепными ощущениями «транспространственного» общения со мной? Вы понимаете, Людмила, о чем я говорю? Я искренне и правдиво хочу, чтобы Вы взлетели из мрака и отчаяния. Это не игра в чувства. Это — опора для будущих взлетов и жизненных побед! Это — опора для Вашей измученной души. Вы — чудесная! В каждом слове Вашем я чувствую превосходного человека. И я протягиваю Вам на расстоянии все, что заключено в моем существе, и отдаю Вам в распоряжение. Я хочу, чтобы Вы хотели жить и любить. <...>

В Вашем письме Вы отказались назвать меня другом. Значит, Вы так поняли мое письмо? Значит, Вы трусили и отступили? Ведь Ваше последнее письмо и холоднее и абстрактнее предыдущих. Вы прошли мимо моей трепетной горячности, хотя в Вашем письме есть много замечательного. Но оно от Вас, а не от нас. Вы не ответили на мои мысли, чувства и строчки, хотя хвалитесь, что выучиваете на память мои письма. И мне жаль, что мои чувства остаются неподнятыми Вами. Жаль не потому, что Вы можете не принять меня, а потому, что, мне кажется, именно в этом состоит та особая наша взаимность, которая составляет радость ни с кем не делимого, можно сказать, тайного общения наших душ. Что именно в этом общении и есть то особое ожидание чего-то замечательного, что составляет самый потайной и самый неведомый уголок твоей жизни. Всё! Всё, всё я сказал. Ничего не желаю больше говорить.

Но я хочу, чтобы Вы дорого ценили свою душу и свою любовь. И хочу научить Вас сильно любить. И хочу, чтобы в каждой Вашей реально осязаемой привязанности к человеку была доля нашей реальной, но глубочайшей близости. Поняли? И чтобы эта близость Вас оберегала, вдохновляла и... спасала от несчастий. И кто знает? Вы несколько лет тому назад ушли от меня, забыли наши письма и... потерпели фиаско. В тяжелую пору Вашей жизни мы нашли друг друга. И кто знает?.. Может быть, эти письма будут Вам нужны в Вашей жизни.

Людмила! Я сейчас немного взнервлен, и оттого, может быть, и письмо мое несколько возбужденное и сумбурное. Я обещаю больше не писать Вам в подобном стиле. Но я сказал Вам то, что хотел, и могу теперь к этому больше не возвращаться. <...>

За похвалы моей музыке — благодарю. О «Вольном ветре» — отдельно. О песнях — отдельно. То, что Вы любите мою музыку, — доставляет мне большую радость. Но «Вольный ветер» — это успех особого рода, и я Вам о нем скажу в особом письме.

Мой сын уже большой! Художник! Ему 15,5 лет<sup>1</sup>. Но жизнь моя сложна и мучительна. В 1945 году — 15 января — у меня родился второй сын от другой, моей фактической жены<sup>2</sup>. Зовут его Максим<sup>3</sup>. По-латыни *maximus* значит самый большой. И это действительно одно из самых больших и самых мучительных моих переживаний. [...] Все это несколько поуспокоилось, но... все это страшно неустроено, раздвоено.

Я Вам напишу об этом подробно и особо.

Я нежно целую Вас и оберегаю во всех моих думах о Вас, которые уже становятся моим бытием.

Думаете ли Вы так же обо мне?

Ваш любящий друг и фантаст. И. Д.

Р. С. Письмо было мной перечитано на следующий день. Оно не было отправлено. Мне показалось, что это письмо уклонилось от пути наших взаимоотношений. Я еще раз прочитал Ваше письмо. Я понял, что я не должен отправлять такое письмо. Но... отправляю. В этом — дружба. <...>

8/XII—47 г.

Милый друг, получи я Ваше письмо десять лет тому назад, и переписка оборвалась бы: Вы бы меня спугнули. Сейчас же я не убегаю и даже отвечаю на Ваше письмо, несмотря на то, что уши и щеки у меня до сих пор горят. Изменяю своему обыкновению и пишу Вам сразу же, под горячую руку.

<sup>1</sup> Впоследствии Евгений Исаакович Дунаевский стал художником.

<sup>2</sup> Зоя Ивановна Пашкова.

<sup>3</sup> Максим Исаакович Дунаевский, современный композитор.

Я чувствую себя глубоко виноватой перед Вами, в чем — не спрашивайте, напишу когда-нибудь позже, только не сейчас. Сейчас же мысли так разбегаются, что я лучше буду писать по порядку затронутых Вами вопросов.

Первым долгом — у меня к Вам большая просьба на будущее, я надеюсь, я почти уверена, что Вы ее исполните: никогда и ни в чем не идти против моих желаний. Хорошо?

Посылаю Вам в этом письме свое фото, самое «свеженькое». <...> Знаете, внешне я переменялась сразу же после замужества и узнала это только по фотокарточкам: у меня как-то посерьезнели и погрустнели глаза. <...> Раньше же я могла улыбаться и смеяться зачастую без всякого повода — просто потому, что на душе хорошо и ясно.

Мне кажется, Исаак Осипович, что Вы не совсем верно представляете себе мой разрыв с мужем, если называете его фиаско: мой бывший муж не женат до сих пор, несмотря на то, что он умен и интересен. Ему уж больше так не любить, как он любил меня. Разлад начался с его невозможной, ничем не обоснованной и глубоко меня оскорблявшей ревности. Это было просто болезнью: он ревновал меня к прошлому, к будущему, к грустной песенке, даже к вещам. Постепенно этот моральный садизм принял невозможные размеры. Но я знаю, что и до сих пор какое-то чувство ко мне у него сохранилось. И если бы я смогла его простить и поверить в перемену его характера, все было бы иначе. Но я этого н и к о г д а не смогу сделать. <...>

И если бы наша с Вами переписка не прекращалась, многое могло быть иначе. <...> Я, не чувствуя себя такой одинокой, не наделала бы глупостей, которые трудно поправить теперь.

<...> Должна Вам признаться, что Вы смутили меня, и чем более я вдумываюсь в Ваше письмо, тем менее его понимаю. И еще скажу, что эта наша «транспространственная» близость, с одной стороны, волнует меня, доставляя какое-то неведомое наслаждение, а с другой — мучает сознанием какой-то своей греховности, как тайный порок. Ну вот, выговорила то, что думаю и я, теперь писать уже легче. А сказать Вам то, что я думаю, даже самое затаенное, я должна была обязательно: не только потому, что считаю Вас своим другом, но еще и потому, чтобы Вы не писали мне письма «по заказу» — интересные, благовоспитанные и пропущенные Вашей собственной цензурой; чтобы в письмах были Ваши истинные мысли и думы и чтобы Вы знали, что со мной можно говорить не только как с девочкой, но и как с товарищем (а в дружбе я больше всего ценю товарищество). <...> Я чувствую, что доросла до этого «звания», и если раньше благоговела перед вами, как перед старшим и знаменитостью, то теперь могу прямо посмотреть в глаза, как человеку. Вот этими «атавизмами» девической застенчивости можно объяснить то, что в моих письмах Вы не находите ответа на свои мысли и чувства. Да к тому же не в моих привычках распинаться о чувствах. <...>

Ну что ж, кончаю, страшно перечитать... <...>

Ваш друг  
Л.

Москва, 26 декабря 1947 г.

Милая Людмила! <...> Сел писать Вам, чтобы хоть успеть попасть к Вам на Новый год своим сердечным поздравлением, полным большой и теплой дружеской нежности к Вам. <...>

Ваше письмо я долго обдумывал. Я могу сказать Вам две вещи: 1) Вы — превосходный человек с очень хорошей душевной конструкцией (редкое явление!). 2) Вы изволили совершенно точно заметить, что в нашей переписке и наших отношениях есть какое-то неведомое наслаждение и ощущение... тайного порока. Если эти выражения и не совсем верны, то мысль, безусловно, правильна, и в этом отношении Вы мое предыдущее письмо с его мятущимися чувствами поняли правильно. Да иначе, пожалуй, и не могло быть. <...> Но я не могу сейчас писать о Вашем письме. Ответ за мной! <...>

За фото очень благодарю Вас. Видно, что это не совсем Вы. Моя душа и моя мысль фотографируют Вас несколько иначе, и я не сомневаюсь, что настоящее Ваше фото близко к моему снимку. Вы не думайте, что я Вас изображаю какой-то необыкновенной красавицей. Нет, я даже помню Вас в прошедшие годы: Вы были совсем не красивая. Впрочем, Вы одна из самых красивых женщин, которых я встречал когда-либо. Позвольте на этом кончить коротенькое письмо и пожелать Вам еще раз счастливого Нового года. <...>

Ваш И. Д. <...>

15/I-48 г.

Дорогой Исаак Осипович!

Боюсь, что Вы меня несправедливо обвиняете и ругаете за долгое молчание. Я не виновата, ей-богу!

Наступающий Новый год я встретила неудачно. В своем поздравительном письме, которое мне было очень приятно получить (получили ли Вы мою телеграмму?), Вы мне забыли пожелать здоровья, и вот результат: 1 января у меня в семье было трое больных — дети и мама, застудившиеся в предпраздничной суматохе. У детей подозревали даже воспаление легких, и несколько дней и ночей мне пришлось провести у их постелей. Затем слегла и я: грипп плюс переутомление. <...>

Из газет узнала, что «Вольный ветер» уже поставлен на сцене театра (как мне хотелось бы быть вместе с Вами на премьере!). <...> Если верить пословице, то обещанного три года ждут, но один уже прошел, и я надеюсь, что не пройдет и двух лет, как я получу желанные ноты. Не правда ли? <...>

Исаак Осипович, почему Вы так долго не пишете? Неужели всегда дела будут заслонять собой все остальное? Или Вы относитесь к этим письмам как к развлечению и не испытываете потребности в писании их? Мне скучно и даже грустно без Ваших писем, хотя душу и согревает мысль, что Вы существуете и, может быть, иногда думаете обо мне.

Будьте здоровы и счастливы.

Людмила.

Москва, II/IV—48 г.

Маркиз бросился к ней в объятия и нежно прижал ее русую головку к своей богатырской груди, не в силах промолвить хоть одно слово после долгой и томительной разлуки. А графиня стояла, затаив дыхание, и слезы радости катились по ее румяным, цвета утренней зари, щекам. Птички пели в саду, приветствуя восход дневного светила.

*Герцог Ровиго. Собр. сочинений, том IX, издание 1790 г.*

Это, конечно, придуманный мной эпиграф в духе сентиментальных романов восемнадцатого столетия. Но несомненно одно: маркиз — это я, Вы, конечно, графиня. Птицы остались безусловно на своих местах с тех давних пор.

Так начну я свое письмо в тайной надежде (хитрец!) шуткой замаять чувство стыда перед Вами за долгое молчание. Улыбнется, дескать, и простит. Могу представить Вам заверенную по всем правилам справку о пребывании моем в гастрольных концертных поездках. <...>

Но, увы, не могу представить Вам справки о том, что, сотни раз вспоминая о Вас, я чувствовал свою вину перед Вами, ибо Вы могли подумать бог знает что по поводу моего молчания. Если хотите, верьте мне без справки; если не хотите, дуйте на человека, который полон к Вам самых нежных чувств, но который достоин сожаления и сочувствия в его безграничной занятости в поездках. <...> Может быть, каменное сердце графини смягчится, если она узнает, что ее маркиз, горячо любимый маркиз, имел грандиозный успех у широких зрительских и слушательских масс и еще раз убедился, что [...] любовь народа к нему, маркизу, осталась незыблемой.

...На румяных щеках графини появилось нечто вроде улыбки... Ведь она так верила в него и... не ошиблась...

Итак, прочь шутки! Три дня в Москве оказались вполне достаточным сроком для того, чтобы узнать все сплетни и пакости, привести в порядок очень маленькую часть дел, связанную с бытом, увязнуть в модных сейчас экономических вопросах моего Ансамбля, который я, вероятно, не смогу предохранить от сокращения, и, воспользовавшись воскресеньем, засесть с утра за давно и душевно желанное письмо к «ней». Знайте раз и навсегда, что причиной молчания у меня в отношении Вас бывает часто невозможность написать такое длинное письмо, которое хотя бы немного исчерпало все, что мне хочется Вам сказать. Мне всегда кажется, что скомканным письмом я Вас обижу больше, чем молчанием. А ведь долгов у меня (помимо н о т) накопилась уйма. Ни одного письма к Вам (верьте!) я не закончил. Сколько сокровенных тем и мыслей, событий и фактов я должен Вам описать и рассказать! Я еще даже не рассказывал Вам о себе, о прошедших годах переживаний, я не рассказывал Вам об общественных событиях, касающихся и волну-

ющих меня. А нарастают все новые и новые. Я не рассказал о своем впечатлении от Вашего декабрьского письма, которое я снова перечитал и по которому мы с Вами должны открыть прения. Когда же все это сделать? Или объявить «Людмилину декаду»? «Воскресника» одного не хватит. <...> А как на двух-трех листиках описать все мысли и переживания, то есть поступить в духе той товарищеской дружбы, о которой Вы пишете? Разве, к примеру, Вам не хочется знать обо мне все? Именно все, начиная хотя бы с описания многих незабываемых встреч в поездке? Например, встреча с 2.000 студентов в Одессе? Хочется? А вот я не напишу, потому что мне еще надо сказать Вам, что на улице прекрасное весеннее солнце, что оно гармонирует с моей радостью по поводу того, что я пишу Вам, и что через три-четыре дня Вы перестанете на меня сердиться, и что еще через максимум четыре дня я буду держать Ваше письмо в своих руках, письмо, полное нежности и прощения. Как обидно мне, что среди вороха накопившихся писем я не нашел дома хотя бы одного Вашего, самого важного, которое я всегда распечатываю первым. А разве Вам не хочется, чтобы я описал свои мысли по поводу событий на музыкальном фронте? Хочется? А вот я не напишу, потому что мне еще надо сказать Вам, что «Вольный ветер» утвержден на Сталинскую премию и что со дня на день это должно быть опубликовано. Где же все обнять и все рассказать, когда надо сейчас кончать вступление к новому письму (опять долг!) и крепко поцеловать Вас, пожелав здоровья и всего самого лучшего. Да! Поцеловать! В цитированном выше романе герцога Ровиго дальше сказано:

...Маркиз прижался губами к ее глазам, помутневшим от тоски и давно неизведанного счастья. Птички пели торжественную поэму любви. Солнце уже давно взшло, опалая своими лучами алебастровые плечи графини, застывшей в поцелуе...

Вот видите? Вы, конечно, рассудительно скажете, что, вместо всей этой болтовни, «он» мог бы давно уже кое-что рассказать интересное из обещанных тем. Но моя болтовня является свидетельством сам не знаю откуда пришедшего хорошего настроения, которым я хочу заразить и Вас — на случай, если мое письмо застанет «графиню» в невозмутимом и безразличном состоянии духа.

Ваш И. Д.

До очень скорого письменного свидания!

[Саки, 20 апреля 1948 г.]

Мой дорогой, горячо любимый маркиз!

Правда, в горячей любви графиня маркизу никогда, конечно, не объяснялась, но чувство его не обмануло: он действительно любим. И, откидывая прочь Вашу милую уловку, <...> пренебрегая всеми условностями (все так необычно в наших отношениях!), я могу действительно признаться в любви не только к композитору, но и к человеку (не к мужчине). И я иногда немного грущу о том, что моего чувства и моей преданности Вам никогда не узнать и не оценить в полной мере, потому что Вы — баловень судьбы, а истинное чувство всегда проверяется в беде. Другое дело, если бы Вы были несчастны, одиноки, забыты и покинуты всеми, но этого, слава богу, никогда не будет, поэтому печаль моя светла и прозрачна, как слеза ребенка, и неизменно переходит в радость (вот где диалектика-то!).

Знайте, что я на Вас не только дуться, но и обижаться никогда не буду, так как я понимаю Вас и ценю каждый знак внимания с Вашей стороны, горжусь им. Ну вот, хотела написать шутивное письмо, а вышло такое серьезное! <...>

Вы все время дразните мое любопытство и желание знать все о Вас — берегитесь, я буду платить Вам тем же. Хотите, я заинтригую Вас? Да? Ну так вот — первый сюрприз: письмо это Вы получили с опозданием потому, что только вчера я приехала из Москвы! (Могу представить не только справку, но и железнодорожный билет.) <...>

Я, кажется, начинаю верить в приметы. <...> Стоило Вам умолкнуть (а я действительно неплохо объясняла себе это молчание), как на меня посыпались удары судьбы.

23-го марта я проездом была в Москве и испытывала почти непреодолимое желание позвонить Вам и послать свой, быть может, прощальный привет. Обстоятельства помешали этому. Потом, живя так близко от Вас, я десятки раз в день удерживалась от искушения услышать Вас, подходила к телефону — и уходила. <...>

Ну вот, хочется ли Вам узнать, что произошло со мной, чем была вызвана эта поездка, как я убереглась от б о л ь ш о й опасности, почему сейчас больна и пр., пр.? Тем более что некоторую роль сыграли в этом и Вы. Я обещаю Вам обо всем рассказать подробно, но только после того, как Вы расплатитесь со всеми долгами. <...>

Не обижайтесь за краткость письма — я очень слаба.

Так как целовать себя я Вам не разрешала, то примите обратно свой поцелуй...

Ваш друг. <...>

Москва, 2 мая 1948 г.

Конечно, человеческий род имеет большое количество типовых разновидностей. Но я имею все основания предполагать, что инженер Людмила Райнль, проживающая в г. Саки, в Крыму, представляет собой уникум, давно ждущий научного исследования.

Вы совершенно достойны моей вступительной тирады, так как поступили: а) не как милый человек; б) не как друг вообще; в) не как любящий друг в особенности. Но самое странное это то, что Вы поступили к а к ж е н щ и н а. Какие бы ни были у Вас причины, чтобы не повидать меня, будучи в Москве,— самый факт никогда мною прощен Вам не будет. Я это говорю вполне серьезно. Вы пишете о большой опасности, которой Вы подвергались. Тем более! <...> Я допускаю, что Вы в Москве не были лишены и без меня дружеской помощи и участия. Это, в свою очередь, подчеркивает тот факт, что наши отношения и наша дружба стали окончательно литературными<sup>1</sup>.

<...> Ну что же? Займемся литературой. Предупреждаю читательницу, что все нижеизложенное не является вымыслом, а сюжет построен на фактах, действительно имевших место.

День 1 Мая (поздравляю Вас!) выдался на редкость удачным. Радио сообщило, что такого теплого 1 мая не было с 1886 года. Так вот в этот день я, как обычно, пользуясь отсутствием телефонных звонков и всяких дел, собирался серьезно поработать. Но, увы! В 9 часов утра сообщили мне, что обворовали мою дачу. А в 1 час дня сообщили об ужасно трагической смерти моего хорошего приятеля и соратника по песням, поэта С. Алымова<sup>2</sup>. <...> Я не могу сказать, что Алымов был вполне моим другом. <...> Но мы творили вместе, и, видимо, в этом все дело. <...> Вы, наверное, знаете такие песни, как «Пути-дороги», «Мечты солдатские», «Новогодний вальс». <...> Я лишился с в о е г о поэта, так хорошо понимавшего меня, очень любившего во мне и ценившего мою душу, мое творческое устремление. Я осиротел. Был у меня в прежние годы Лебедев-Кумач. Сейчас он очень болен, работает мало. Да и по-человечески он значительно бледнее Алымова. Повисли в воздухе мои творческие мечты. <...>

Вот, Людмила, какие дела! Я не буду расстраивать Вас дальше своими настроениями. Есть и радостное в жизни, да о нем писать не хочется. Кстати, несмотря на постановление Сталинского комитета об оперетте «Вольный ветер», правительство мне премии не дало. Пять минут продолжалось мое огорчение, уступив место философскому взгляду на вещи. <...> Самое смешное, что 19-го меня поздравлял с премией сам председатель Комитета искусств, газеты уже забрали мое фото, и вдруг... Ну, неважно! Пусть печалются нищие творческим духом. Я не для премии работаю. Пока голова на плечах, я не унываю. Успех «Вольного ветра» огромен. Разве это не премия? <...>

Засим желаю Вам всего лучшего, здоровья, всяческих радостей. Целую Вас крепко, сержусь на Вас, но всегда люблю Вас и Ваши письма, которые буду ждать с нетерпением.

Умоляю поскорее написать! Не держите писем в кармане! Некрасиво!

Ваш И. Д.

Р. С. Уже свернув письмо и положив его в конверт, я, перед тем как запечатать его, решил прочитать снова Ваше письмо. Я почувствовал, что Вы не совсем виноваты, а главное, что в своем ответе, увлекшись переживаниями, опустил то, очевидно, о ч е н ь с е р ь ь з н о е, что грозило Вашей жизни. Я почувствовал, что несправедлив к Вам: может быть, то очень важное, что Вы пережили, в ы н у д и л о Вас избежать свидания со мной. Я не осуждаю Вас, потому что я очень Вас люблю, люблю все Ваше, люблю давно и как-то странно устойчиво. С тех давних лет, когда Вы впервые улыбнулись мне Вашим чудесным первым письмом. С тех давних лет, когда я так романтично разыскивал Вас. И это живет,

<sup>1</sup> На полях этого абзаца рукою Дунаевского написано: «Все это очень жестоко! Характер такой (пишу после перечитывания)!»

<sup>2</sup> С. Алымов был сбит автомобилем.

живет. Странно, ведь я люблю и любил женщину, близкую мне, дорогую и сейчас. Но почему я так бываю одинок и мне не хочется делить ни с кем своего одиночества? Почему сегодня я так дорого бы отдал за свидание с Вами, моим фантастическим другом? Может быть, Вы боялись вспугнуть реальностью мир наших «волшебных» отношений?

Пойду и напьюсь! Во имя Вашей жизни, Вашего счастья. Мне грустно...

Москва, 16 мая 1948 г.

Людмила, дорогая, что с Вами? Это ни на что не похоже! И все потому, что Вы не докладываете мне о Ваших действиях, живете, совершенно отбившись от рук. Я просто ахнул от тревоги и боялся распечатывать конверт, написанный рукой Вашей мамы<sup>1</sup>. Разве можно так пугать? <...>

Что у Вас? Я немного понимаю в медицине, но мастит — это воспаление грудных желез, бывающее у кормящих женщин... Вы — кормящая женщина? Когда Вы родили, от кого, кого? Как постыдно осознавать, что так называемый друг не считает нужным сообщать об очень важном, что случается в его жизни. <...> Я теперь не верю ни на грош всем Вашим уверениям в дружбе. И не смейте мне о ней больше говорить. Обращайтесь ко мне, пожалуйста, официально и извольте немедленно написать, как Ваше самочувствие. Вы не подумайте, что я в любую минуту прощу Вас. Только Ваши большие и чуткие поступки могут вернуть Вам мое, увы, потерянное отношение и прощение. Вот как я с Вами буду поступать. И в качестве иллюстрации моей суровости я посылаю Вам мой новейший, несколько кокетливый портрет.

Если у Вас есть любящий и любимый человек, пусть он ревнует Вас, как Отелло.

В этом письме я Вас целовать не буду — Вы не заслужили моей ласки.

С совершенным почтением, милостивая государыня.

И. Дунаевский.

26/V—48 г.

<...> Ну что ж, начну с фактов, а потом попытаюсь объяснить их. Во-первых, сегодня исполняется два месяца моему младшему сыну Сергею, во-вторых, я бесконечно рада, что опасность для меня миновала и дело не дошло до операции, в-третьих, передо мной лежат два письма: отца моего ребенка и Ваше, и я отвечаю Вам первому.

<...> Подумайте только, два года тому назад я была веселой и беззаботной, как птица! На Перекопе, где началась моя производственная работа, я сразу же попала в компанию молодежи, милых и интеллигентных людей. <...> Были счастливы и резвились, как дети. И вот случилось так, что из Симферополя к нам приехал монтажник для установки стационарного киноаппарата в нашем клубе. <...> Сама не знаю как, против моего желания, начался молниеносный роман. Как будто дурманом меня опоил. <...> Но главное — это дети. Он сумел их так расположить к себе, что они в нем души не чаяли, как и моя мама (первое время). Я поверила, что он будет для них настоящим отцом, лучшим, чем их родной отец. И несмотря на то, что я н и к о г д а не могла ответить утвердительно на его вопрос — люблю ли я его хоть немного, — несмотря на то, что многое в нем было противоположно моим представлениям о мужском идеале и вызывало во мне какое-то органическое отвращение, я поверила и удивилась его необыкновенной любви. <...> Что он был когда-то женат и имеет ребенка, я знала давно от него, но он вдруг осознал, что до самого последнего момента жил вместе с женой, с которой решил, правда, расстаться, так как она была неверна ему, но которую все-таки бросил только тогда, когда полюбил меня. После этого признания, когда он плакал у моих ног, все сомнение, недоверие и отвращение к нему всколыхнулось во мне с новой силой. И я стала так обращаться с ним, разрешать себе такие поступки, что мне теперь стыдно о них вспомнить. <...> Он терял мое уважение и в то же время поражал силой своего чувства, какой-то собачьей преданностью. Из Перекопа, где не было подходящей для него работы, он по моему совету переехал в Саки, откуда непрерывно звал меня к себе. Я же в это время серьезно подумывала о том, чтобы навсегда разорвать с ним всякие отношения. Но дети уже научились звать его отцом и очень любили его, это и решило мои сомнения. В Саках началась та же история. <...> Эта жизнь продолжалась года полтора, пока я невольно не оскорбила его так ужасно, что он сделался больным от ревности. <...> Как он ревновал к Вашим письмам! И однажды даже унизился до того, что спросил, от кого я получаю письма, так действующие на меня (я

<sup>1</sup> В этом письме М. Головина сообщает Дунаевскому по просьбе дочери, что та больна и лежит в больнице.

помню, что когда я читала одно из Ваших писем, он в это время смотрел на меня, и я почувствовала на своих щеках проступивший румянец).

Мы последнее время все думали о переезде в другое место. <...> Было решено, что Игорь (мой муж) поедет первым, устроится. <...> Но я-таки допекла его окончательно, и он из Москвы прислал мне прощальное письмо. <...> Поступок был, правда, некрасивый, так как я ждала ребенка от него, но мое сердце вдруг пронзила такая острая жалость к нему, тем более что я была вполне согласна с его письмом и чувствовала свою вину перед ним, что я, недолго думая, собралась и поехала в Москву накануне родов. <...>

В Москву я доехала благополучно, где меня на день задержала его тетка, а ночью уже отвела в родильный дом. И вот, вдали от всех близких, родился у меня сын. Тяжело мне было, но не хотелось никого видеть. <...> Все это время, пока не приехал из Данилова Игорь, посещала меня только его тетка. <...> Мы объяснились и решили пожить некоторое время отдельно. <...> В Москве нас очень приглашали на завод возле Свердловска, возможно, туда и поедем и попробуем жить по-новому. Во всяком случае, я постараюсь быть ему примерной женой: если уж этот нежеланный ребенок родился, то я не хочу лишать его отца. <...>

Вот теперь Вы можете судить меня как хотите. И можете решить, могла ли я в таком состоянии и положении стремиться увидеться с Вами, тем более что вы несколько долгих месяцев молчали, и это совпало с отправкой Вам моего злополучного фото, что не могло не внушить мне некоторых мыслей. Кстати, я должна поблагодарить Вас за Ваш замечательный портрет — время, очевидно, не властно над Вами.

Вот исписала убористо четыре листа и так мало сказала! <...> Вы знаете, когда я впервые вышла из больницы и зашла в парк, я увидела сочную, свежую траву между покрытыми свежей листвой деревьями и благоухающими кустами сирени, и мне вдруг захотелось, как девчонке, покувыркаться в этой мягкой траве. Только большая слабость и сознание, что я все-таки мать трех детей, удержали меня от этого легкомысленного поступка. <...>

<...> Так смените же гнев на милость, не браните больше Вашу бедную «смеющуюся Людмилу». <...>

Москва, 5 июня 1948 г.

Прочитал Ваше письмо. Тут уж подлинно скажешь: ...М-да-а-а-а!

Но давайте по порядку. Прежде всего я очень рад, что Вы выздоровели, и, как бы там ни было, прошу принять мои поздравления с рождением сына. Это существо ни в чем не виновато, и давайте пожелаем ему здоровья и хорошего роста. Я немного растерян в своих мыслях и не знаю, выражать ли Вам сочувствие или, честно говоря, ругать Вас.

С одной стороны, передо мной трудный и мучительный, полный тревог и смуты путь человека. С другой — совершенно неожиданное для меня опровержение всех моих представлений о нормальных человеческих характерах, чувствах и взаимоотношениях. А самое главное, Вы предстаете передо мной с таких сторон, о которых я не догадывался и которых, прямо скажу, я не хотел бы знать о Вас. Не то, что Вы разрушили свой образ, живший у меня так нерушимо и целостно до дня Вашего первого письма. Не то, что Вы сами поставили смеющуюся Людмилу в кавычки, тем самым приглашая и меня это сделать. Нет, нет, мои ощущения сложнее. И если я в чем-нибудь разочарован, то это только в том, что мне Ваши переживания казались издали более возвышенными, чем на самом деле. Людмила чудесно и обаятельно смеялась, и я хотел бы, я думал, что горе ее и все мучительные трудности, все пережитое ею за долгие годы,— все это будет светиться тем необычным и чудесным светом, отличающим поэтическую, содержательную натуру, какой Вы являетесь передо мной в Ваших чудесных письмах. <...>

В поисках простого человеческого счастья нельзя губить свою душу, нельзя унижать себя и других, как это Вы сделали; нельзя метаться из стороны в сторону, поддаваясь соблазну дешевого оригинальничания.

Все, что Вы мне описали, свидетельствует лишь о том, что Вы просто плохо знаете и себя и людей. Странно, что неумение определить свои подлинные чувства Вы возвели в некий образ жизни и мышления, в систему взаимоотношений. Не зная, для чего Вам это нужно, Вы чуть ли не из спортивных помыслов увлекаете человека. Не зная, любите ли Вы его, Вы отдаетесь ему. Не зная будущих путей Ваших взаимоотношений, Вы сходите с ним для брачной жизни. Измучив человека довольно оригинальной системой

обращения, происшедшего только оттого, что Вы не знали, заслуживает ли он Вашей любви и доверия, Вы, после того, как он Вас покинул, рискуя своей жизнью и жизнью будущего ребенка, бросаетесь в путь за ним, за этим человеком, отцом Вашего ребенка. И сейчас, устав от надуманной Вами же борьбы, Вы склоняетесь перед фактами, каковые неумолимо существуют.

Извините меня, мой странный друг, за то, что Ваши мучительные переживания, Вашу боль и слезы, Ваши физические муки я так сухо и, может быть, жестоко вложил в простую, до ужаса простую схему. Но Вы не сможете меня опровергнуть, потому что всю свойственную Вам романтичность и поэтичность, которая Вас не покидает даже при описании, по сути дела, этически отталкивающих вещей, Вы сами разменяли на... пошлость. Вся ведь штука в том, что за красивой природой, за искрящимся смехом, за вальсированием на асфальтовой дорожке, за полнотой мимолетных желаний и капризов, за сладостью тревожащих тело снов идет жестокая, обыкновенная жизнь с ее уплатой по гамбургскому счету.

В том-то и великая трудность человеческого поведения и такта, чтобы сделать переход из мечты в явь возможно более возвышенным и незаметным для внутренних эстетических чувств.

Что же осталось от брызг Вашего обаяния, юмора, радости и солнца, которыми Вы щедро наделяли окружающих Вас и встречаемых Вами людей (в том числе и меня)?

Осталась простая, бедная женщина с тремя детьми, собирающаяся с мужем в дальний, неизведанный путь борьбы за обыкновенное существование.

За все счастье, за все радостное и хорошее, что Вы мне дали своим существованием, своей перепиской со мной, я плачу той болью, которую нанес мне Ваш удар — Ваш последний рассказ. Это не боль жалости к Вам, это не боль разочарования. Это боль протеста против всего того, что Вы сделали с собой. И несмотря на то, что любое наше письмо я не променяю на все Ваши перипетии, я так же, как и Вы, принимаю факты такими, какие они есть. И поэтому, а также и потому, что люблю Ваш привычный образ, я от всего сердца желаю Вам счастья и... покоя. <...>

<...> Мне очень больно, что в Ваших переживаниях Вы всячески избегали обращения ко мне, которого Вы называли другом. Вы хотели не вмешивать меня в Вашу земную жизнь, оставив мне сферу Ваших «небесных полетов». Это очень гордо и красиво, но... я не могу поблагодарить Вас сейчас за это, потому что мне пришлось выпить сразу большой кубок Ваших житейских страданий. И, может быть, если бы я пил вместе с Вами по каплям, моя дружеская любовь, мой разум спасли бы Вас от многих ошибок. <...>

Напишите мне обязательно, куда Вы едете и как мне писать Вам, если Ваш муж позволит нам переписываться. Убедите его в том, что это совсем не опасно для его семейного благополучия.

Ваш И. Д.

Если будете в Москве, я обязательно хочу Вас видеть. <...>

Р. С. У меня завелась привычка: после написания Вам письма снова перечитывать Ваше. Так я сделал и в этот раз. Вы пишете, что ждете моего ответа и совета с тревогой.

Что я могу Вам теперь посоветовать? <...> Судя по Вашим собственным высказываниям, Ваши отношения с мужем изрядно покалечены уймой ненормальных элементов. <...> Мне кажется, что если вы оба не проявите достаточной воли и разума к тому, чтобы постараться вытянуть и развить все лучшее, что, несомненно, существует у вас по отношению друг к другу, то вы не уживетесь. Мне также кажется, что если Вы идете в жизнь с человеком как на смирение, сохраняя в душе Вашего мечтательного и поэтически рвущегося куда-то беса, то добра из этого не выйдет. Разные характеры — это полбеды, а вот если в душе звучит разная музыка мира, любви и природы — это уже плохо и добра не сулит. Консерваторий для обучения такой музыке не существует. Увы!

Ваш И. Д.

Людмила! А все-таки УМ — великая вещь. Сейчас Вы должны пользоваться только им.

[Арамилъ Свердловской обл.] 24/VIII—48 г.

Дорогой Исаак Осипович!

Я себя сегодня чувствую так, как будто бы проснулась после длительного тяжелого сна, во время которого мне и приснились все мои злоключения. И пробудившая меня музыка была музыкой Ваших мелодий. <...>

Уже без прежней боли я перечла Ваше последнее письмо (письмо, которым Вы меня так глубоко ранили) и еще раз убедилась в силе Вашей логики и анализа. Во всем почти Вы правы, Ваши выводы, правда, беспощадные для меня, помогли мне лучше разобраться в себе самой. Одним только словом нанесли Вы мне пощечину незаслуженно — никогда я не была и не буду пошлой и вообще органически не перевариваю пошлость. Ну, к этому разговору когда-нибудь еще вернемся, сейчас могу только сказать, что, следуя Вашему мудрому совету, взялась за ум и самоанализ. О результатах напишу позже, когда сама буду уверена в них. <...>

Желаю Вам здоровья, счастья и радости.

Л.

Москва, 31 августа 1948 г.

Дорогая Людмила! Ваше письмо вернуло мне веру в Вас, которую я было начал терять. Вы даже не могли предполагать о тех переживаниях, которые я испытывал в связи с Вашим долгим молчанием. Ведь Вы исчезли, не указав в последнем письме адреса. Таким образом, мне казалось, что я снова Вас потерял. <...>

<...> Чувство большой человеческой горечи я сменил на «все равно» и запрятал глубоко-глубоко затаенную надежду, что Вы снова дадите о себе знать когда-нибудь. <...> Так я с Вами попрощался и хотел уже как-нибудь в свободный часок собрать Ваши письма и связать их в пачку как «законченное дело о жизни, дружбе и странном конце хороших взаимоотношений двух рабов божьих, имярек».

Но вот Вы и появились с... Востока. Я подумал сейчас о том, что сказал бы, читая эти строки, Ваш близкий, любящий и любимый человек, например, муж? Имел ли бы он право ревновать Вас? <...>

Ваш образ не мешает и не мешал мне любить, увлекаться и жить, как хочется. Я не «крутил» с Вами романа по переписке, я не ревновал Вас. Наши жизни идут параллельно, не мешая друг другу. И все-таки эти пересечения наших путей, эти иногда нечастые письма всегда создавали такое ощущение, что есть в моей жизни «НЕКТО и НЕЧТО», о чем, хочешь не хочешь, а думаешь, чего, хочешь не хочешь, а ждешь. И это «нечто», такое радостное, такое нужное, всегда было покрыто в душе облачком грустной лаки и нежной благодарности. Вот, пожалуй, я на этом закончу свое затаенное вступление, сам испугавшись, как бы не случилось, что, развивая мысли о своих ощущениях, я и впрямь могу доказать, что можно и следует ревновать и такому «нечто». <...>

Я, конечно, несказанно радуюсь, что в Вашем письме прозвучала прежняя Людмила. Но Вы, вероятно, слишком высокого мнения о моих способностях видеть все на расстоянии. Конечно, я могу себе представить, как хорош сосновый бор на Урале. Я могу себе представить также, что новая работа может захватить и что ради нее можно забросить и «домашние дела». Но все же Ваше письмо требует серьезных комментариев, и я думаю, что Вы не замедлите их мне дослать. <...>

Я Вас не собирался преднамеренно оскорблять, обвиняя в пошлости. Я Вас слишком хорошо чувствую, чтобы считать пошлой. <...> Но знайте, что самый лучший, самый светлый человек опошляется, если он летает ниже своих возможностей и если в этом низком полете он кричит: «Как мне хорошо!» А оказывается, что он сам себя обманывает, врет сам себе. И это есть пошлость. <...> В Вас, Людмила, есть подлинная и вместе с тем ясная и простая поэзия. Вы должны в жизни, как бы сказать, жить стихами. Поэтому и подпускать к себе Вы должны людей только таких, которые это понимают. <...> Крылья у Вас целы! Целы! Пригладьте немного помятые перья и пойте во весь голос во славу жизни и неиссякаемой красоты!

О себе мало что могу сказать. Все по-прежнему. <...>

Желаю Вам счастья, здоровья и радости, моя Людмила, мой друг.

Ваш И. Д. <...>

Москва, 19 декабря 1948 г.

Уходят недели, за неделями — месяцы, а Ваших писем нет. Я еще в начале сентября ждал письма Вашего в ответ на мое. Может быть, оно затерялось? Проверил по атласу СССР. Арамилъ — город, расположенный чуть к юго-востоку от Свердловска. Значит, это не такая безысходная глушь, какой она мне раньше представлялась. <...>

<...> Ваше молчание начинает меня и удивлять и серьезно беспокоить. <...> Если Вы получите это письмо, черкните мне хотя бы пару слов, даже если эта пара слов будет

Вашим нежеланием со мной переписываться. Тогда я просто буду знать, что ждать Ваших писем мне уже не надо.

В качестве вознаграждения за сообщение, что с Людмилой и почему она молчит, я Вам в любом случае вышлю много своей музыки, которую я для Вас собрал. <...>

И. Д.

[Арамилъ, 27 декабря 1948 г.]

И как перлы в загадочной бездне морей,  
Как на небе вечерней звезда,  
Против воли моей, против воли своей —  
Ты со мною везде и всегда!.. —

сказал Апухтин и я.

Милый друг!

Вот, не писала Вам так долго, а не прекращала ни одного дня душевного общения с Вами. Как странна и удивительна общность наших чувств в нашей необычной дружбе! Когда я читала Ваши строки о «некто» и «нечто», мне казалось, что я читаю свои мысли по отношению к Вам. Одно сознание, что Вы существуете и иногда вспоминаете обо мне, наполняет мою жизнь особым содержанием.

Ну вот — после таких признаний я вряд ли решусь предстать когда-нибудь перед Вашими сиятельными очами.

Теперь о том, что было причиной моего молчания. Почти два месяца я боролась за жизнь своего малыша, сына, который был мне почти безразличен и, во всяком случае, лишним в моей жизни и который теперь мне так дорог. <...>

Я знаю, мне опять достанется от Вас за это. Я понимаю, что так друзья не поступают, что нужно делиться и хорошим, и плохим, но Вы — необычный друг, и я никогда не могу себя заставить относиться к Вам запросто, как отношусь к товарищам своих детских лет. К тому же Ваша жизнь так отличается от моей «борьбы за существование», что Вы не сможете себя представить на моем месте. И то, с чем приходится мне поневоле каждодневно сталкиваться, может произвести на Вас впечатление «житейской грязи», от которой мне всегда хочется оберечь Вас. И еще дьявольская гордость, вернее, ложный стыд мешают просто сказать, что мне сейчас плохо живется. Возможно, это потому, что я с детства избалована. Но должна сказать, что я — заведующая химической лабораторией завода, правая рука главного инженера завода — принуждена урезывать себя и семью во многом для того, чтобы приобрести нужную вещь, не говоря уже о предметах комфорта, которые сейчас для меня недоступны. Приходится, например, только мечтать о хорошем радиоприемнике и довольствоваться репродуктором.

Между прочим, в Крыму, когда у нас был радиоприемник, я как-то слышала Ваше выступление по радио с обработанными Вами негритянскими песнями. Помню, что на меня очень действовал Ваш голос, взволновал и смутил меня так, что я почувствовала, что краснею, и сердце ускоренно забилося. Это — от одного звука Вашего голоса... [А] что было бы при встрече! Я бы или окончательно смутилась и потерялась, или бы излишней развязностью попробовала перебороть себя.

Ну вот, начала письмо в мажорном тоне, а кончаю в минорном. <...>

Ваше последнее письмо принесло мне большую радость, которая живет во мне и сейчас. Это письмо убедило меня в том, что я для Вас кое-что значу даже теперь, когда Вы узнали все мои недостатки. Правда, мне было бы еще приятнее, если бы Вы не доказывали, что ревновать к Вам не следует. Кстати, нет нужды Вам сейчас об этом беспокоиться, так как я живу одна, без мужа. Переписка с ним оборвалась. <...> Решив, что я теперь для него пожертвую всем, он потребовал от меня, чтобы я своих детей отдала их отцу. <...> Убедившись же в том, что дети у меня на первом плане и для него я ими никогда не пожертвую, он умолк, по-видимому, навсегда. Мне это особой боли не принесло, так как я во всем обвинила только себя. Обидно лишь за сынишку. <...> Ну, о нем довольно. Меня сейчас гораздо больше интересует, как и где Вы отдохнули. Надеюсь, хорошо?

Близится Новый год, а это мой любимейший праздник. Как хотелось бы мне встретить его вместе с Вами! <...>

Ночь с 18 на 19 янв[аря] 1949 г.

Пишу под звуки радио — муз[ыкальная] картина «Садко» Р[имского]-Корсакова. Хорошо!

Брал с собой в Ленинград Ваше письмо от неизвестного числа декабря. (О, женщина! Вам трудно поставить дату! Что же будут делать потом всякие искусствоведы, которым придется ломать себе голову над «научным» вопросом: «Когда было написано письмо Людмилы Райнль к покойному композитору?»)

Я уже побывал в Ленинграде и хотел Вам еще оттуда написать. Но, увы, закружился в вихре всяких званных обедов и ужинов, во время которых «нагружался» до отказа. Но не думайте, что я [именно] по этим «делам» ездил в Ленинград. У меня действительно были очень важные дела. Кстати, я наконец-то смог повидать свой «Вольный ветер» в ленинградской интерпретации («Садко» окончился), о которой много слышал (начался эстрадный концерт — радио выключаю!). <...> Я не могу передать Вам оваций зрительного зала, узнавшего о моем присутствии. Это был триумф, глубоко взволновавший меня. Вообще поездка была содержательной. За мной ходили репортеры, мои речи и встречи записывались на пленку и т. д. Да, конечно, жизнь у меня другая, чем у Вас, и Вы это изволили правильно констатировать. Но... Как же Вы неправы, утверждая, что мне не понять Вас! Я не только хорошо Вас понимаю, я физически ощущаю Вашу жизнь, полную забот, тревог и лишений. Я уже думал над глубокой несправедливостью судьбы, обрушивающей на Вас столько тяжестей. Я никогда не могу избавиться от сопоставлений Вашего образа, такого, каким он мне предстал в далекие прошлые годы, с тем, что сейчас есть. И мне кажется, что где-то совершена Вами большая ошибка, от последствий которой Вы не можете избавиться. Вы вся — умная, чудесная, светлая! Ваш свет и Ваша (пускай сейчас немножко скептически грустная) улыбка пробиваются даже сквозь тьму настоящей Вашей жизни. <...> Я скажу Вам без всяких преувеличений: Вы очень интересный человек! <...>

Я уже и раньше много Вам писал о том странном и необычайном месте, которое Вы занимаете в моей душе. Ведь с обычной точки зрения, я Вас не люблю, по Вам не тоскую, не мечтаю о Вас как о женщине. <...> Но вместе с тем именно Ваши свойства, глубина Ваших переживаний, глубокое душевное Ваше обаяние сделало меня Вашим постоянным «спутником», не теряющим, поскольку это от меня зависит, Вас из виду, глубоко переживающим Ваши невзгоды и печали. Ваше человеческое, незаурядно человеческое создало во мне ту прекрасную привычку ждать Ваши письма, как ждут свиданья с любимой, писать Вам так, как вдохновенно пишут только тем, кто очень хорошо всё чувствует и очень хорошо всё понимает. <...> И на основе моих ощущений, моих представлений о Вас я могу сказать, что Вы заслуживаете большого и радостного счастья. Придет ли оно к Вам? Зазвенят ли Ваши письма ко мне когда-нибудь этим большим человеческим счастьем? Ах, как я хочу этого! Может быть, даже больше, чем Вы сами. Потому что Вы могли потерять у себя веру в будущее, а я у Вас ее не потерял, не могу потерять. Вы для меня — чуть-чуть оторванная от реальности, от «житейской грязи» (как Вы пишете) — сохраняетесь в том виде, в том образе, который Вы сами, вероятно, утратили. И вот сохранность Вашего образа, его чистота и обаяние, которое я пронес за годы нашего «письменного знакомства», — она-то и составляет силу моего воздействия на Вас. Хочу я или не хочу, вольно или невольно, но я Вам показываю Вас такой, какая Вам нужна. [...] Мне трудно выразить ясными словами всё то, что есть у меня в душе для Вас. Но почему-то уверен, что я прав. <...>

Меня глубоко взволновало Ваше письмо. Ни один архилюбящий человек не напишет таких писем! Но каково же мне читать о всех ужасах, обидах и боли, которую Вы переживаете и пережили? <...> Мне хочется по-человечески Вас пожалеть и по-человечески Вам помочь. Любование «философией чувств» вещь хорошая, но за этим всем стоит простая жизнь с ее простыми потребностями. <...> Я бесконечно ценю Ваше трогательное желание уберечь меня от житейской вульгарности. Но я ведь с ней все равно сталкиваюсь. Поэтому снимите меня на некоторое время с пьедестала «неприкосновенности» и поймите, что я обыкновенный, простой человек, желающий, кроме романтики, и проникновения в жизнь во всей ее наготе.

Поэтому я, ломая Вашу гордость, хочу у Вас спросить: что стоит друг, если он при виде горя и печали друга только причмокивает языком от сочувствия и не делает ничего, будучи что-либо в состоянии сделать? Надеюсь, что Вы мой вопрос поняли. И я прошу Вас принять мою помощь. Это для меня ничего не составит, а Вам, я знаю, это необходимо.

Кроме того, разрешите мне в качестве новогоднего подарка прислать Вам деньги на покупку радиоприемника, который Вам даст возможность слушать и мою музыку среди другой.

Я жду с нетерпением Вашего скорого письма. А пока я хочу Вам пожелать так много хорошего, как может желать только искренне преданный человек.

Людмила! Верьте! Любите жизнь! Помните, что я этого хочу. <...> А чтоб Вы совсем рассмеялись от неожиданности, я крепко Вас обнимаю и целую, худую и некрасивую. Для моих чувств Ваши габариты не имеют никакого значения. Вы для меня всегда остаетесь обширной и красивой. Вот как!

Ваш И. Д.

1/II—49 г.

Милый друг,

вместо ожидаемой Вами улыбки я расплакалась над Вашим письмом. Я очень ценю Вашу деликатность, но мне стало так грустно...

Относительно Вашего предложения могу сказать Вам (только Вам я решаюсь сказать об этом откровенно), что я нахожусь в мучительном раздумье: быть или не быть?

<...> Чем ближе становитесь Вы мне, чем теснее незримые нити связывают наши души, тем менее мне хочется, чтобы среди этих нитей была материальная зависимость. <...>

Другое дело — радиоприемник. Тут уж искушение слишком велико, а я ведь только слабая женщина! Приходится сознаться, что мне это вдвойне приятно, потому что он будет всегда напоминать о Вас. Но позвольте заметить, что, собираясь сделать подарок, не спрашивают о том разрешении. <...>

Меня немного удивил Ваш призыв — любить жизнь. Неужели у Вас создалось такое мнение обо мне, что я не ценю жизнь? Наоборот, я страстно люблю жизнь, такую, какая она есть. И чем больше мне лет, тем больше я ценю жизнь, только, к сожалению, мне не удается занять в ней то место, которое хотелось бы. Моя работа, правда, по-своему интересная, тяжелая трудовая жизнь в сельской местности (вот что значит Бобровка) целиком поглощают у меня время и силы, но не захватывают полностью. Гораздо сильнее меня влечет к себе другое, недоступное по разным причинам: я очень люблю искусство — музыку, х о р о ш и й театр, литературу, живопись. В свое время я подвизалась на всех этих поприщах, но всегда неуверенность в себе, своих силах мне мешала. <...> Также очень люблю танцы и спорт и занималась ими с детских лет. В Москве, в годы студенчества, увлекалась легкой атлетикой, коньками, лыжами, акробатикой, художественной гимнастикой. Была хорошим спринтером и выступала на первенство Москвы по гимнастике. Недурно рисовала, писала. На сцене рискнула выступить сравнительно недавно, в Крыму (удалось преодолеть свою застенчивость) и с довольно шумным успехом (у нас был хороший режиссер). В общем — задатков было много, а ничего не вышло. Всею виной — мой характер и воспитание. И главное, как Вы очень чутко заметили, была совершена ошибка, непоправимая ошибка, за которую расплата — моя жизнь. Эта ошибка — мой первый брак, распявший мое человеческое достоинство до такой степени, что я перестала себя уважать. Потом — годы войны, годы тяжелой и упорной борьбы за жизнь, свою и близких мне людей. После войны — вторичная ошибка, происшедшая тоже от жадности жизни и любви, и потом уже жизнь не для себя, заботы не о себе. Даже вечерами, вместо отдыха, стараешься взять какую-нибудь дополнительную работу. А если бы не эти земные цепи, я бы еще взлетела, да еще как! Ведь я сейчас и зрелее, и умнее, и жаднее к жизни, чем когда-то!

Но... Об это «но» часто приходится спотыкаться. Ведь добровольные цепи — самые прочные в мире. <...>

Ну, я сегодня что-то чересчур разболталась и расхвасталась о себе, всею виной Ваше письмо. Теперь я его уже перечитываю не с таким волнением, как в первый раз, но все же я хочу сказать, что никто и никогда так не играл струнами моей души, как Вы, и никогда ни у кого цель этой игры не была благороднее Вашей, хороший Вы мой! Вы для меня являетесь путеводной звездой, никогда не меркнувшей на моем горизонте. Так сияйте же всегда на моем жизненном пути, освещая все извилины его и согревая душу.

А теперь я хочу в отместку Вам, готовому оборвать шуткой самый торжественный момент, отплатить тем же: не кажется ли Вам, что наши дифирамбы несколько напоминают известную басню Крылова «Кукушка и петух»?

И разрешите мне узнать — все ли месяцы этого года Вы намерены провести в Москве; если нет, то в какие из них Вы будете отсутствовать? Это на случай, если мне удастся съездить в Москву. <...>

Л. <...>

12.III.49 г. Москва.

Милая моя, славная Людмила!

<...> Слишком часто в нашей жизни личное стало зависеть от общественной атмосферы. Ваше письмо от 1 февраля, такое нежное, ароматное, проникнутое глубоким доверием ко мне, требовало и соответствующего ответа. Для этого мне надо было отделить свою душу от всех внешних впечатлений, от всех бурных событий, пробежавших новой грозой и ливнем на нашем творческом горизонте. Мне нужно было бы погрузить себя в Вашу жизнь, в Ваши думы и чаяния, отдать свою душу Вам, забыть дикий вой дерущихся, сумятицу мелких инстинктов и самолюбий, страшную силу новых, далеко не осознанных мыслью и чувством постулатов и проблем высокой политики в искусстве и творчестве, к которому я имею честь или несчастье принадлежать. Признаться, я такого отделения души своей в этой обстановке не смог сделать, как и не смог отрешиться для Вас от окружающей жизни. <...>

Сложный Вы и противоречивый человек! Мне всегда нравилось Ваше парение, отмечавшее Вас как художественную натуру. С тех первых писем, когда зародилось мое большое и удивительное любопытство к Вам. <...> «Смеющаяся Людмила» — это был почти полный синоним всего моего творчества. В Вас я видел стык мой с жизнью, связь мою с душой молодежи. Смотрите! Из всей громадной моей переписки довоенных лет осталась только переписка с Вами. Сколько разных чувств и ощущений она вызывала во мне! От почти шального и опьяняющего романтического приключенчества (чудесные никогда не забываемые поиски Вас в лабиринте студенческого городка, гостиница, музыка!) через светлую радость одного лишь восприятия Вас и всего Вашего, через тоску по Вашим письмам; когда Вы исчезли в кошмарном бреде военного времени, через самые письма, полные большого и содержательного общения, — к прекрасной и особенной по духу дружбе, а может быть, и... любви, не знающих никаких целей, никаких интересов, кроме целей и интересов возможно жаднее, возможно глубже пить из этого чистого, не загрязненного ничем и никем родника чувств, настроений и мыслей. Я уже Вам когда-то раньше писал, что я не знаю, да мне и неинтересно знать, как всё это называется. Может быть, если бы наши жизненные орбиты сошлись, то в этой точке возник бы замечательный по богатству человеческий союз! Может быть, если бы наши орбиты сошлись, то произошла бы яркая вспышка романтических чувств, одуряющая попойка страсти и... наши пути давно бы разошлись, оставив в наших душах, завоевывал, играл Бетховена почти продажным женщиной, чтобы проследить, как это на них действует, лепил себе кумиров из ничтожеств и проходил мимо [подлинных] кумиров из опасения, что они — ничтожества!

Вы никогда не сможете представить себе, как я удивлен, как скорблю я о том, что Вы не смогли создать себе жизнь, достойную Вас. <...> Что значит жажда жизни и любви, о которой Вы пишете? В чем она у Вас проявилась? <...>

Я тоже мог за свои 49 лет говорить неоднократно о жажде жизни и любви. Я эту жажду претворял в реальные факты, делал много хороших и дурных поступков; имея много денег, вкушал, как называется, от древа добра и зла, любил по полчаса и по десять лет, дружил, обладал, сам отдавался, завоевывал, играл Бетховена почти продажным женщиной, чтобы проследить, как это на них действует, лепил себе кумиров из ничтожеств и проходил мимо [подлинных] кумиров из опасения, что они — ничтожества!

Но упиваясь радостью, плача от горя, стыдясь себя за мимолетные похоти, проклиная себя за боль и муки, доставляемые другим, я держал всегда свою генеральную линию жизни в полной целостности и неприкосновенности. Этой жизни я не искал в случайностях, а создавал ее закономерно силой и глубиной реальных чувств, а не кажущихся привидений. И если в жизни моей случились драматические нескладности, давящие на меня по сию пору, то виной этому не пресловутая жажда жизни и любви. <...>

А Вы? Вы пытались себе создать жизнь (вернее, реальное бытие) на основе тех случайностей и призраков, к которым влекла Вас Ваша жажда. В этом Ваша страшная ошибка, от которой Вы должны себя решительно впредь предостеречь! Я говорю это, потому что мне чудится каким-то двадцать шестым чувством, что Вы склонны снова

пустить Вашу жажду на волю стихий. Ч то единственно Вы приобрели огромной ценой? Счастье матери! Но как оно у Вас болезненно, это счастье, в вечных страхах за жизнь родного маленького существа! <...> Вы уничтожили Вашу юность, молодость и теперь выколачиваете тяжелым трудом средства для существования, в то время как Ваши призраки-негодяи канули куда-то, предоставив Вам расплачиваться за все! Как рано Вам приходится сдавать в архив воспоминаний то, что могло бы еще жить и трепетать явью и полнокровной реальностью! Я никогда еще так сурово не осуждал Вас, и никогда еще мне так не хотелось, чтобы Вы нашли свое счастье в жизни! Как Вы его заслужили! И как Вы не сумели его поймать! Людмила! Простите меня за мою горячность! Вы очень хорошая! И не винить Вас мне хочется, а помочь Вам обрести свое достоинство и не швыряться больше собою. И если бы я умел молиться, я помолился бы за Вас, за Ваше здоровье, за здоровье Ваших близких людей, за Вашу любовь, за любовь к Вам, за Ваше счастье, за Ваши успехи, за Ваше благополучие, за нашу неуываемую дружбу и радость взаимного общения, за... Вашу жажду жизни и любви (но в моем понимании)!

Сейчас прямо под стать кончить лозунгами: «Да здравствует...!» и т. д. <...>

Я крепко, несчетное число раз целую Вас. (Я сошел с ума! Что сказала бы княгиня Марья Алексеевна!)

Я нежно, нежно целую Вашу душу!

Ваш И. Д.

Приемник у Вас скоро будет. Я просто ждал, пока Правительство снизит цены! И, видите, дождался! Ура!

Людмила! Я Вас люблю! Не смейте мне отвечать взаимностью!

Р. С. <...> Вообще Вы ужасный человек, и я начинаю убеждаться, что люблю Вас и ценю только потому, что не имею никакого представления о подлинной свирепости Вашей натуры.

Что? Съели?

Ваш И. Д. <...>

## 2.IV.1949. Москва

Мой милый, дорогой друг!

Что же Вы замолкли? Или что-нибудь случилось? Или Вы снова погружены в свои тяжелые и многообразные дела? Или Вы снова что-то «сотворили» с собой и боитесь выдать себя каким-нибудь неосторожным словом? Или Вы сердитесь на меня за мое последнее письмо? Я часто передумываю, не причинил ли я Вам какой-нибудь боли своими назойливыми рассуждениями и философствованием. Но я всегда не ошибался, доверчиво полагаясь на Ваше прощение, ибо мои письма к Вам всегда были искренними, идущими от глубин моего сознания и нежных чувств к Вам, от ласкового бережения Вашей чудесной и светлой души. Нет! Вы не можете на меня сердиться! Почему же Вы умолкли? Мне не хватает Ваших писем. Вы об этом забыли? Что с Вами?

Ваш И. Д.

## 8/IV—49 г.

Мой нежный друг!

Вообще не следовало бы в таком настроении, как у меня сейчас, писать Вам, но, во-первых, я не знаю, когда оно пройдет у меня, а во-вторых, принимайте меня такою, какая я есть,— не все же Вам читать о приятных вещах!

Я сержусь на Вас за только что полученное письмо, а не за то, которое Вы имеете в виду. О! То письмо я получила поздно вечером, вернувшись домой усталой и продрогшей после двухнедельной командировки из Свердловска. Я читала его, задумываясь почти над каждой фразой, около двух часов и потом почти до утра проворочалась в постели, не в силах уснуть. <...>

Ваши фразы: «Я Вас люблю. Не смейте мне отвечать взаимностью!» — диаметрально противоположны друг другу. Разве не естественно для любящего человека ждать взаимности и желать ее? Правда, в своих письмах Вы не раз говорили о своей дружеской любви ко мне, даже спрашивали как-то, думаю ли я так же о Вас. В последнем же письме прозвучала новая нота: Вы за прещаете мне отвечать взаимностью. Это — противоестественно. Может быть, я понимаю Вас, но мне хочется, чтобы Вы сами разъяснили этот парадокс. Я же обещаю не говорить Вам о своей любви до тех пор, пока Вы сами не будете меня просить об этом!

Я сержусь на Вас за Ваше предположение о том, что я что-то «сотворила» с собой и боюсь выдать себя неосторожным словом. Ваше двадцать шестое чувство Вас на этот раз обманывает: пока Вы, невидимый, со мной, я надежно защищена от всех случайностей и призраков, защищена нашей дружбой, хотя ей, кажется, уже тесно в рамках этих понятий. И уж, конечно, если бы даже что-либо и случилось, я бы не стала бояться выдать себя, а, наоборот, чистосердечно Вам во всем призналась. <...>

Я вообще начинаю бояться, что Вы, готовый даже молиться о моем благополучии и счастье, можете невольно причинить мне сильную боль. Так мне подсказывает мое простое шестое чувство. <...>

Я должна согласиться с Вами, что моя жажда любви была не созиданием, а просто ожиданием чего-то чудесного. Я спала с открытыми глазами и ждала волшебного принца, который должен прийти и пробудить меня своим поцелуем к жизни. Сейчас, к сожалению, я уже уверовала в то, что мое счастье утеряно, как и счастливая сорочка, в которой я родилась. И я скромно мечтаю лишь о более спокойной работе и жизни, культурной жизни с хорошей книгой, театром и музыкой. <...>

Кстати, Ваше сердце, сердце любящего друга, не подсказало Вам, как мне было плохо? Когда у меня не было просто ни физической возможности, ни желания написать Вам? <...> Если Вы не хотите потерять свою Людмилу навсегда — вырвите меня отсюда!

Ну вот, начала «о здравии», а кончаю «за упокой». <...>

Исаак Осипович, Вам, как другу, от которого я не скрываю ничего, я должна признаться в некоторых фактах, начинающих меня серьезно тревожить. Ваши письма, наше общение, вначале просто приятное, постепенно становится мне жизненно необходимым. Я могу это сравнить с воздухом, необходимым экипажу подводной лодки, напрягающему для спасения своей жизни все усилия, в то время как тело наливается усталостью, как свинцом. Это мне уже начинает мешать жить и работать. Больше всего пугает тот факт, что, глядя на Ваш портрет, я нахожу Вас красивым, в то время как раньше критически относилась к Вашей внешности.

Подумайте, чем это может кончиться, и прекратите это наваждение. Сама я это сделать уже не в силах.

Я нежно целую Ваши глаза.

Ваша Л.

Р. С. Пожалуйста, не затягивайте ответ. Мне очень хочется уловить Ваше дыхание, Ваш резонанс на мое письмо. <...>

Сержусь, но... люблю!

Л.

Москва, 12 апреля 1949 г.  
Как всегда,— ночь...

Поговорим о странностях любви...

А. Пушкин. «Гавриилиада»

Что с несомненностью я установил в Вашем письме, которое сегодня получил?

- 1) Что Вы — брюзга несносная!
- 2) Что Вы только теперь начинаете чувствовать ко мне ту дружескую любовь, о которой давно пишете мне!
- 3) Что, вероятно, под влиянием ужасающей дикости и скучности обстановки даже я начинаю казаться Вам красивым!
- 4) Что Вы должны научить меня искусству точного видения на почтительном расстоянии. <...>

Задачу на сей раз Вы ставите передо мной трудную, но так как это делаете Вы, то у меня нет ни малейшего желания уклониться от ответа. Он затруднен еще тем, что в первый раз за всю нашу переписку, за все время нашего знакомства я боюсь, что я Вас не понимаю.

«Не смейте отвечать мне взаимностью!» Нет! Это не парадокс!

Между нами громадная разница. Я — будем говорить грубо и, конечно, далеко не точно — «благополучный» человек, имеющий в жизни, как говорят, все, что может иметь человек — славу, деньги, положение, не одну, а даже две семьи, не двух, а, кажется, трех любящих женщин, в разной степени вращающихся в моей жизненной орбите — кто

в прошлом, кто в настоящем. Да, я благополучно сижу на пороховой бочке, не взорвавшейся до сих пор исключительно благодаря моему умению «творить жизнь» и благодаря удивительной «способности» моей отдавать час расплаты за счет трагических противоречий, разрывающих жизнь и целостность всех участников (прошлых и настоящих) этой житейской драмы (или комедии, как угодно!). Удивительные способности мои к подобной жизни зиждятся на моем неиссякаемом оптимизме и... материальном благополучии. А знание людей, с которыми приходилось и приходится сталкиваться, порождает умение лавировать с большими или меньшими потерями вот уже в течение более чем 15 лет среди разных бурь и подводных рифов.

Мой оптимизм в свою очередь зиждется на моем творчестве, путь которого изобилует большими успехами, дававшими мне своего рода «неприкосновенность личности». Эта картина блистательного внешнего «величия» при бурной и полной всяческих мук и терзаний, но богатой эмоциями жизни, продолжается и поныне, хотя двойственность и глупость моего бытового здания не может долго и безнаказанно продолжаться без грядущего и неминуемого обвала. Вам не должно показаться странным, что именно благодаря такой жизни я обладаю почти полнотой той свободы для себя, которая делает мои дела, привычки, потребности и привязанности лишены почти всякого контроля со стороны. Одним словом, при обычных и «нормальных» путях, связывающих любящих и любимых людей, я сохраняю нетронутым свой внутренний мир, которым я безраздельно распоряжаюсь. Даже мой кабинет, эта «экстерриториальная зона», находится там, где живет женщина, перед которой я не подотчетен, и не живет та женщина, при которой этот кабинет не был бы экстерриториальным.

Вот в этом внутреннем мире, к безраздельному господству в котором я привык, в нем-то и живут наши с Вами отношения. Вы не единственная, с которой я вел дружескую и содержательную переписку в разное время. Но Вы -- единственная, которая сумела так прочно стать большой частью этого мира, которая сумела породить во мне такое крепкое чувство ласковой и нежной привязанности, глубокой дружеской заинтересованности в Вас, которую, в сущности, я так мало лично знаю. Я уже Вам об этом неоднократно писал и признавался в гораздо более ясных и красивых выражениях. Но часто шутя по поводу наших «транспространственных» отношений, я никогда не считал их «романом по переписке» и меньше всего думал о возможности их превращения в реальные романтические взаимоотношения. Нет! Это была и есть дружба, бескорыстная и бестелесная. И я имел право сказать от имени дружбы этой, что я В а с л ю б л ю. И, клянусь, я не погрешил против истины, против моего внутреннего мира. И если я Вас потеряю, я буду долго и горестно оплакивать эту потерю, хотя Вы в моей обиходной жизни не играете никакой роли, так же, как я в Вашей. Наши отношения — это мир мечтаний и фантастики, соприкасающихся с реальной жизнью только потому, что мы, кроме того, реальные и живые люди, спрашивающие и отвечающие, болеющие и смеющиеся, заинтересованные друг в друге и во всем том обычном, что каждого из нас окружает. Теперь возьмем Вас.

Вы -- совсем другое дело! Будучи в совершенно ином положении, в совершенно других условиях, будучи изрядно потрепанной сложившейся жизнью и одинокой, — Вы могли до поры до времени согласовывать свои отношения с той версией, которую я им придаю. Вы не считали нужным слишком задумываться над «забавной» формой нашей дружбы, потому что Вы получали от нее то, чего Вам не доставало: участия, внимания, большей или меньшей чуткости, а главное -- хорошего человеческого отношения (совершенно реального!). Частенько, после очередного письма к Вам, я задумывался, не слишком ли я затягиваю «романтическую нить» нашей переписки, не увлекаю ли я Вас в ту сторону, где начнется разрыв между фактами и желаниями. И пока этого не было, пока Вы отвечали мне хорошей теплой дружбой, пока мои глаза и мое фото Вас не тревожили, я понимал и радостно приветствовал Вашу взаимность, понимаемую мной только в определенном смысле.

Но в самое последнее время я почувствовал другое. И это другое позволило мне сказать: «Я запрещаю Вам отвечать мне взаимностью». Ибо я не могу хотеть, чтобы Вы полюбили меня, как женщина любит мужчину. И в сегодняшнем Вашем письме я прочитал и Вашу собственную тревогу. Я ощутил Ваше желание большего. Вы сами пишете о тесноте рамок. Вы сами пишете, что «это» начинает мешать Вам работать и жить. Вы пишете о жизненной потребности Вашей в общении со мной, в письмах моих. Если будет Ваша воля, я никогда не лишу ни Вас, ни себя этой радости общения.

Но наваждение, которое вы просите м е н я прекратить, ибо В ы сами не в силах это

сделать, звучит для меня тяжким укором, так как чувствую, что один я виноват в нарушении Вашего покоя.

Смешно запрещать человеку любить, если он хочет любить. И мне... радостно читать Ваше «люблю». Любите меня крепко, сильно, если сможете любить от имени нашей прекрасной и нежной дружбы, если сможете сделать эту любовь затаенной частью Вашего внутреннего мира, частью Вашей мечты, радостно вздымающей Вас, а не мешающей жить и работать. Но Вы, Вы... Ведь Вам хочется простого, реального человеческого счастья, а не мистических формул и путешествий к звездам.

Может быть, я Вас не понял. Может быть, Вы подшутите надо мной за все мои напрасные излияния. Я этого очень желаю. Я желаю, чтобы наши отношения дружеской любви вернулись на старое место, откуда их сдвинуло такое простое и естественное право человека **ж е л а т ь**.

Я хочу, чтобы я мог целовать Ваши глаза и душу без Вашего головокружения и тревоги. Я хочу говорить и слушать искреннее «люблю» и придавать ему только один смысл, не мешающий жить, не угнетающий, а радостный от сознания существования двух людей, сплетенных давней и чудесно расцветшей сознательной человеческой дружбой.

Моя дорогая Людмила! Мое славное и нежное существо! Мне очень, очень грустно... Больше я Вам сегодня ничего не скажу. Благодарю Вас за все, что Вы мне даете, за вдохновение моей мысли, за мои чувства.

Помните, что я считаю не только дни и часы, но и минуты в ожидании Вашего ответа.

Ваш И. Д.

21 апреля 1949 г.

Как долгой ночью ждет утра  
Больной, томясь в бреду,  
Так дни все эти от тебя  
Я милой вести жду...

Мой милый, дорогой друг!

Наконец-то я дождалась Вашего письма! Вначале я его просто боялась распечатать. С каким трепетом я принялась за его чтение и какие разнородные чувства вызывало оно во мне! Мне хочется, чтобы Вы поняли меня, как всегда, с исчерпывающей полнотой.

Действие первых страниц Вашего письма было подобно ушату холодной воды, вылитой на мою бедную голову (не знаю — заслуженно или незаслуженно). Но, оказывается, эта вода не погасила огонек в моей душе, а он как бы очистился, стал гореть ровнее и спокойнее.

Я очень, очень люблю Вас. Читали ли Вы Стендаля «О любви»? Если нет — прошу Вас, прочтите. В этой книге Стендаль классифицирует разновидности любви и говорит о зарождении и кристаллизации любви. Чем длительней стадия кристаллизации (видите, и в понятии любви употребляются химические термины!), тем устойчивее, возвышеннее любовь.

Моя любовь выдержала очень длительную кристаллизацию с момента нашего письменного знакомства. От преклонения перед Вами как перед любимым композитором, через самое глубокое уважение к Вам как к человеку — к сильной и нежной привязанности. Сознание этого было подобно вешним водам, которые вначале бежали маленькими ручейками, а потом в какой-то непременно долженствующий наступить день — хлынули сразу, бурным потоком, все сметающим на своем пути.

Вы очень верно всегда и во всем меня понимаете, но... Маленькое но все же существует.

Мне хочется рассказать Вам прекрасную сказку, читанную мною так давно, что воспоминание это смутно, как сон. За точность пересказа я не ручаюсь.

Молодой человек, увидя в диковинном саду девушку, влюбляется в нее. Он проникает в сад, добивается знакомства с девушкой и постепенно сближается с ней. Многое в ней для него непонятно и странно: ее легкие прикосновения оставляют на его руке следы, подобные ожогу. Оказывается, отец девушки, ради науки, подвергает опытам единственную дочь. С детства он приучает ее организм к сильному яду, дозы которого постепенно увеличивает. Этот яд, безвредный для нее в силу привычки, становится опасным для окружающей жизни: цветы от прикосновения девушки вянут, животные погибают. Ее дыхание, ее поцелуи опасны даже для человека, которого она полюбит. Она чувствует себя отверженной. Молодой человек, постоянно общаясь с ней, становится

невосприимчивым к яду, приобретает иммунитет. Отец предоставляет им свободу, наблюдая в стороне за последствиями их общения. Он опять экспериментирует.

Когда молодой человек узнает от отца правду и убеждается в том, что и он такой же отверженный и опасный для окружающей жизни, то приходит в ужас. Огромной ценой удастся ему достать флакон жидкости, уничтожающей действие яда. Скрывая свою обреченность, он отдает этот флакон любимой, чтобы спасти хотя бы ее. Девушка выпивает противоядие... и умирает на руках возлюбленного, который остается вдвойне одиноким. Оказывается, организм девушки настолько привык к яду, что нейтрализация его действия является смертельной, своего рода [тоже] ядом.

Все это потребовалось мне рассказать для того, чтобы сравнить действие Вас и всего Вашего на меня. Я настолько пропиталась, свыклась со всем тем, что исходит от Вас, что жизнь без нашего общения для меня невысказана. Я не могу и не хочу прекратить это общение. Это — непрерывный источник моей большой радости. Но меня встревожило то, что я слишком много стала думать о Вас. Если раньше сознание того, что Вы существуете, думаете иногда обо мне, дорожите моими письмами, было достаточно для поддержки во мне бодрости духа и это не отражалось, не мешало (наоборот!) моим житейским делам, то теперь думы о Вас мешают мне сосредоточиться даже на деле. Спустя два-три дня после отправки письма к Вам я начинаю торопить время в ожидании Вашего ответа. Это меня пугает. Я многое передумала за последнее время о возможных путях развития наших отношений и пришла к выводу, что прекраснее и светлее нашей необычной дружбы-любви ничего не может быть. Всекие другие отношения будут уже не то. И если бы Вы даже питали ко мне другие чувства, то и тогда я считала бы нечестным с своей стороны желать коренной ломки Вашей обычной жизни. Что могла бы я дать взамен? Свою изломанную жизнь? Я бы никогда не согласилась (ради Вас же), даже если бы Вы меня просили об этом, связать свою жизнь с Вашей какими-то цепями, кроме естественной привязанности. Мне слишком дорого Ваше счастье, чтобы думать только о себе, хотя иногда (очень редко!) у меня появляется такое эгоистическое желание, чтобы в один прекрасный (или ужасный) момент Вы потеряли бы все: и славу, и положение, и материальное благополучие. Только тогда Вы смогли бы убедиться в истинности отношений окружающих Вас к Вам как к человеку.

С каким торжеством, с какой гордостью я прочла строки Вашего письма о том, что в Вашем внутреннем мире я занимаю такое большое место, что в нем — «я владею, я люблю!». Это же гораздо больше, чем плотская любовь, грубо выражаясь. Сочувствую Вашей жене: будь я на ее месте, я бы к таким взаимоотношениям, к такой любви (ибо это все-таки любовь!) ревновала бы несравненно более, чем к какой-либо случайной физической близости. Вы не принадлежите ей целиком, Вы лучшей частью своего существа — мой. А кто из этих Ваших любящих женщин может любить Вас так, как люблю я?!

Кстати, я прошу Вас сказать, меня ли Вы считаете в числе тех трех женщин, которые любят Вас, или нет?

Так вот, грустить не надо, Вы ни в чем не виновны. Радуйтесь — и Вы доставите этим радость мне.

Я надеюсь, что тревога моя пройдет, но... голова безусловно будет кружиться от Ваших поцелуев, даже письменных, и губы будут гореть жадной ответных поцелуев.

К прежним формам наши взаимоотношения вернуться уже не могут. Разве можно дважды вступить в одну и ту же реку? Это же диалектика жизни.

Я могла бы упрекнуть Вас в том, в чем неоднократно упрекали меня раньше Вы: что наши отношения уходят в мир фантастики и нереальности, в литературшину, — теперь же Вы сознательно прячетесь за эти ширмы. Если бы Вы подшивали к «делу» «входящие» и «исходящие» — угрызения совести мучили бы Вас несравненно больше. Но я не упрекну, потому что очень хорошо понимаю Вас, даже то, чего Вы не договариваете, и еще потому, что в сердце моем живет сейчас радость, ясная и чистая, как умытый росой цветок.

А теперь я попрошу Вас достать романс Чайковского «День ли царит», сыграть его и прочувствовать заново его чудесную поэзию мелодии и музыку стихов. Я посвящаю его Вам, мой родной. <...>

Я посылаю Вам «смеющуюся Людмилу» и даже не одну, а две, потому что мне хочется сделать Вам что-либо приятное. Одно из этих фото (вырезанное) льстило мне даже в те далекие времена, когда оно было сделано. Второе — отражает действительность 36-го года. Свое настоящее фото вышло сразу же, как только оно у меня появилось.

Я чувствую угрызения совести за то, что задержала ответ на целые сутки, в то время

как Вы его ждете (я знаю как!). И я радуюсь тому, что еще успею получить к чудесному весеннему празднику Ваше нежное и такое нужное мне письмо.

Не правда ли, Вы доставите мне эту радость?

Ваша Л.

26.IV.49 г. Москва.

Моя дорогая Людмила! <...>

Кумир мой, вылепил тебя таким гончар,  
Что пред тобой луна своих стыдится чар!

*Омар Хайям*

Вы — чудесная! И только Вы могли написать такое письмо! И я это знал, и я в это верил, когда с трепетом раскрывал Ваше письмо.

И я чувствую, что мне не удастся так поэтично ответить Вам, как Вы того заслуживаете. Потому что я не так чист, как Вы. Потому что, пройдя большой путь «атмосферного общения» с Вами, я, право, и сам запутался в вечных и вдохновенных прыжках из нереального в реальное и обратно. И порой мне самому начинало казаться, что губы могут по-настоящему гореть от письменных поцелуев, а мысль где-то греховно вертится вокруг, казалось бы, невинных строчек любви и привязанности. Нет! Не ушат холодной воды я хотел вылить на Вашу голову! Я попытался сам разобраться во всем, во всей необычности наших отношений. Ваша тревога побудила меня к этому, и какой-то внутренний голос заставил меня предостеречь нас обоих. От чего? Ах, я и сам не знаю от чего. Была хорошая, нежная сказка — повесть о дружбе двух людей, жизнь которых не пересекается, не скрещивается в одной точке. И хотелось эту сказку сохранить, уберечь от реальности. Вы красиво и просто сделали это. Мало того, Вы не побоялись двинуть эту дружбу на ступеньку выше, дальше. И столько простой и трогательной человечности во всем этом! И в сущности, не все ли равно, как, где и почему сливается нереальное с реальным?! Не мистифицируем же мы друг друга! В Вашем письме бьется жизнь, и она требует таких форм, какие ей угодны. <...> Я всегда хотел Вашей радости и счастья. Мне хотелось, чтобы Вы его обрели на «нормальных» жизненных путях. И меньше всего я был бы удовлетворен, если бы в Вашем успокоении было что-то от обреченности. Мол, не вышло в жизни, давай помечтаем. Коль губы не горят от реальных поцелуев, пусть будут бумажные. Нет! Я хочу думать и верить, что сила нашей дружеской привязанности будет подлинной силой жизни, исцеляющей, оберегающей, вдохновляющей.

<...> Много лет я люблю Вас какой-то странной, глубоко человеческой и вместе с тем нереальной, но бесконечно нежной любовью. И если в Вашей сказке есть мораль, то она сводится к простому закону инерции. <...>

Не ядом я отравлял Вас и не этим постепенным отравлением создана у Вас атмосфера привычности. Издавна ставшей для меня любимой заповедью в отношении к Вам — была заповедь нежной и любящей ласки. Вы мне изменяли, Вы отходили надолго от меня, я же — никогда. Вы увлекались, любили, страдали, болели — все это Вы прятали от меня не потому, что Вы боялись доставить мне какое-либо беспокойство, а потому что просто я исчезал из Вашей жизни как компонент Вашей души. <...> Я вас разыскал однажды, и я бы разыскал Вас еще столько раз, сколько бы мне потребовалось. И я Вас снова поставил на виду своей жизни. А подумайте, что мне было до Вас? И разве жизнь моя, как она есть, как она течет, не могла бы обойтись без Вас? Ну, была смеющаяся девушка, и не стало ее! Погрустим, может быть, напишем песню о ней и пожелаем счастья этой девушке на ее пути! Но где-то, когда-то (не знаю, где, и не знаю, когда) родилась в моей душе ласка к Вам, и без нее мне стало не хватать в жизни чего-то важного и значительного. Эта ласка рождала дружбу, дружба рождала привычность, а доверие, которое Вы мне почти всегда оказывали, когда появлялись снова на горизонте, порождало желание, чтобы у Вас всегда находилась часть моей души, так нежно любящая вас. Эти слова — наверняка ничто по сравнению с истинным теплом моих чувств к Вам. И Вы совсем недавно писали мне, что не замечали моих глаз на портрете. А теперь... Вы не хотите расставаться, Вы не представляете себе, чтобы Вы лишились этого тепла.

Вот тут и мораль рассказанной Вами сказки. Только содержание ее не в яде, а в животворящей ласке и нежности дружеской любви. Я не прячусь, как Вы пишете, за ширмы «литературщины» и «трансцендентальности» отношений. Я только хочу, чтобы Вам было хорошо. И раз Вам хорошо, то мне больше ничего не надо. Я хочу, чтобы от

меня не было Вам больно. Поэтому я писал: «Не смейте меня любить!» Потому что то, что хочет жить, рвется наружу к обыкновенному солнцу — то не может довольствоваться мечтой, как бы она ни была привлекательна. <...>

Мечта, она дополняет жизнь, но не заменяет ее. К Вашей мечте, к Вашей любви, построенной тем глубоким внутренним миром, который мы бережем как зеницу ока, к этой мечте я хотел бы, чтобы Вы добавили себе хоть кусочек хорошего человеческого счастья. Тогда я знал бы, что мы как-то и чем-то сравнялись, хотя подлинного счастья мне как-то не приходилось ни от кого получать. И тогда я мог бы действительно и в реальности при первом случае зажечь Ваши губы поцелуем, прижать Вас к себе нежно и страстно.

Но .. может быть, тогда, когда Вы получили бы кусочек этого кажущегося счастья, Вы снова забыли бы меня. Ибо мечта, право же, всегда уступает самой обыкновенной яви.

Целую Вашу чудесную душу и благодарю за все, за все, моя маленькая.

Ваш И. Д.

Жду Ваших писем, как манны небесной.

P.S. «День ли царит» — сыграл. Я его знаю почти наизусть.

P.S. II. Стендаля «О любви» не читал. Постараюсь прочитать.

P.S. III. Деньги на радиоприемник послал. Волнуюсь, хватит ли. Пожалуйста, если купите, сообщите.

143

[7 мая 1949 г.]

Милый друг, я в отчаянии, что обстоятельства и люди мешают мне разговаривать в Вами так, как мне хочется, так, как я люблю. Для этого мне необходимы уединение и тишина, а я их лишена в настоящее время. Ночью же меня сваливает с ног физическая усталость — я и так сплю урывками. Но сегодня письмо, начатое на работе, я постараюсь закончить, даже если бы мне для этого не пришлось спать совсем, так как разговор предстоит серьезный. Эта ночь — наша, потому что завтра я уезжаю по рекламации, присланной нам одним из наших заводов-потребителей. Мне предстоит дипломатическая борьба с целой администрацией завода, и хуже всего то, что я не уверена в своей правоте. Это — та пороховая бочка, на которой я сижу со своей работой. Я Вам писала как-то о возможности для Вас потери меня, но Вы меня не так поняли: я имею шанс сесть на скамью подсудимых. Я не могу подробно написать Вам об этом. Все дело в качестве нашей продукции. Как начальник лаборатории, я несу уголовную ответственность за нее. <...> Это дорого обходится для моих душевных и физических сил, нельзя же все время жить нервами. <...>

Правда, есть у меня такая возможность — договориться о моем переводе в Хотьковский научно-исследовательский институт (пригород Москвы). Был у нас научный работник оттуда, обещал мне свою протекцию. Но для этого мне необходимо самой съездить в Москву. В служебную командировку меня туда не пошлют, так как не хотят отпускать отсюда и прекрасно понимают, почему я рвусь в Москву. Значит, придется ждать отпуска — июля месяца. Но... есть еще одно «но», о котором придется говорить с Вами.

Ваши деньги на радиоприемник я получила, благодарю, на эту сумму можно купить очень хороший радиоприемник. И у меня большое искушение — поехать в город и выбрать там что-либо подходящее, я просто наголодалась по музыке. Но... есть ли смысл покупать сейчас радиоприемник, когда я чувствую, что здесь мне не жить? <...> А эта сумма как раз окупилась бы моей июльской поездкой в Москву. Как быть? Предоставляю решение этого вопроса Вам, я подчинюсь, каким бы оно ни было. К сожалению, самостоятельно отсюда мне не выбраться. Даже если я пожертвую старым другом пианино — мне некому его продать здесь, к тому же оно имеет непрезентабельный вид. (Меняю перо и тему!)

Перечитала еще раз Ваше письмо. Вы несправедливы, когда говорите, что я уходила от Вас, изменяла Вам. Все обстояло несколько иначе. Последнее, что я получила от Вас в Москве (вместе с билетами в Колонный зал на Ваш концерт), была записка такого содержания: «О том, когда и где мы встретимся, я извещу Вас». Принадлежа к натурам довольно мнительным, всегда недовольным собою, я не хотела нашего знакомства, так как боялась, что Вы разочаруетесь во мне — проклятая засенчивость всегда мешала мне так свободно излагать свои мысли, как я это делаю в письмах. И учтите, что мне тогда не было 20-ти лет, и я еще никого не любила! Не дождавшись никакого известия от Вас, я уверилась в правоте предполагаемого. Прошло несколько лет, я полюбила первой пылкой юношеской любовью, была счастлива и... испытала все муки и ужасы своей раздавленной, втоптанной в грязь любви. Когда-нибудь я расскажу Вам об этом подробнее. Тут-то я и написала свое

отчаянное письмо Вам, человеку, который мог помочь мне уйти от моего унижения. Вы ответили мне, но... война разъединила нас, мое второе письмо повисло в воздухе. Потом, после войны, опять-таки я разыскиваю Вас. <...> И я в тот момент была такой энергичной, так жаждала жизни. Никто не верил, что у меня двое детей, и мои друзья находили, что я выгляжу лучше, чем до замужества. И вот — последние три года моего вторичного замужества и мой третий ребенок взяли и мое здоровье, и остатки моего обаяния (ибо оно все-таки признавалось за мной). <...> И все-таки чем-то еще я привлекаю к себе некоторые сердца —

На закате ходит парень  
Возле дома моего.

«Парню» лет 50 с гаком, у него жена, взрослая дочь, но он ведет себя как робкий, влюбленный юноша. Он стал здесь уже притчей во языцех, и мне не дают прохода подшучиваниями о нем. Но он вздыхает и молчит, и единственно, что позволяет себе, — зовет меня своей Радостью. Ну вот, я и отвлеклась в сторону! <...>

Станный народ мужчины — Вы пишете, что если бы я могла добиться для себя хоть кусочка хорошего человеческого счастья, то только тогда, при удобном случае, Вы могли бы зажечь мои губы поцелуем и прижать [меня] к себе нежно и страстно. Но если это так, то такого случая никогда не будет, могу сказать об этом заранее. Я никогда не бросалась словом «люблю» и Вам сказала его второй раз в жизни, почти через десять лет после первого раза. О каком же еще счастье может быть речь?

Но если бы даже и случилось это чудо, если бы я полюбила мужчину, принадлежала ему, то никакой другой мужчина не смог бы зажечь ни моих губ, ни крови своими самыми страстными поцелуями. <...>

Хочется мне признаться Вам еще в одной вещи: я не так чиста, как Вам кажется. Когда Вы пишете, что целуете мою душу, я представляю себе, что Вы целуете мое сердце, которое трепещет под прикосновением Ваших губ, как пойманная птичка, и... я зацеловала бы Вас до смерти в такой момент!

В моем саду мерцают розы белые,  
Мерцают розы белые и красные.  
В моей душе дрожат мечты несмелые,  
Стыдливые, но страстные!<sup>1</sup>

Ваша Л.

17.V.1949. Москва.

Ну вот, сумасшедшая Людмила, я пишу Вам, надеясь, что Вы уже вернулись из Вашей дипломатической поездки живой и невредимой, а главное — не посаженной на скамью подсудимых. Бросайте скорее Ваш малоприятный пост и переезжайте в это самое Хотьково, под Москву. Выгоды такого переселения не требуют комментариев. Вспомните, если сможете, Ваше последнее письмо, потому что я буду отвечать Вам по порядку написанного.

Деньги, посланные на приемник, необходимо, конечно, использовать на поездку в Москву. Таким образом, я надеюсь Вас увидеть в Москве и заодно в один из знойных июльских вечеров дать Вам возможность проявить свою «письменную прыть» в реальности и «зацеловать меня до смерти».

Я продолжал и продолжаю считать, что на протяжении нашего знакомства Вы исчезали, Вы уходили, Вы изменяли. Несомненно, что в периоды Вашего личного душевного наполнения Вы не нуждались во мне. Это, может быть, и естественно, но не для нашей дружбы, не для характера наших отношений. И дело вовсе не в том, что Вы меня однажды разыскивали. («Кто ищет, тот найдет!») Дело в том, что даже в последнее время, уже после переселения Вашего на Урал, Вы опять надолго пытались от меня улизнуть. И это я опять притянул Вас за уши, как провинившуюся школьницу.

Я не знаю, красивы ли Вы по внешности. Я вглядывался в Ваши фоточерты и так и не понял, соответствуете ли Вы моему обычному вкусу как женщина. В то время как я виделся с Вами в Москве — передо мной была девочка, и я тогда не задумывался над своими, так сказать, физическими ощущениями. Мы прошли с Вами солидный «переписочный» стаж, и для меня вопросы Вашей красоты стоят в несколько ином разрезе. Я считаю, что Вы

<sup>1</sup> Строфа из стихотворения К. Бальмонта «В моем саду» (цикл «Трилистник»).

очень красивы, и я никогда не расстанусь с привычным для меня Вашим образом, ибо этот образ создан большим и содержательным процессом познания самого важного и самого глубокого в человеке. Пусть это абстракция, нереальность, но какой бы Вы ни были в самом деле, Вы для меня будете такой, какой Вас никто не увидит, и не видел, и не видит. Потому-то я и пишу Вам «моя». И я совсем не принадлежу к тем странным мужчинам, о которых Вы пишете. И ничего странного в моих рассуждениях и ощущениях нет. По-моему, я Вам уже как-то писал, что, принадлежа другому, любя другого, Вы не должны, не можете убрать меня из того внутреннего, таинственного мира, который принадлежит только Вам и мне. Я никогда не откажусь от реальных чувств и реальных наваждений л ю б о й категории, если Вы их во мне зажжете. Но я не буду считать это какой бы то ни было изменой моим житейским нормам и привязанностям. Изменять — это значит отдавать другому то, что ему не принадлежит. Вы никогда не сможете с о м н о й изменить Вашему мужу или возлюбленному. Ибо если Ваша супружеская или любовная преданность покроет Вас всю, с душой, с телом, с внутренним миром без остатка, тогда я вообще исчезну из Вашей жизни и никак не смогу быть объектом для измены. Но как бы ни была горяча Ваша любовь к мужчине, я до тех пор могу зажигать Ваши губы и сердце, Вашу мысль и чувства, пока я царствую в отведенном мне месте Вашего внутреннего мира и пока это место безраздельно принадлежит мне <sup>1</sup>.

Ерунда и преувеличение, когда говорят «вся», «весь»! Это удел пылких, но не очень разбирающихся в себе натур. Никогда человек полностью никому не принадлежит, потому что это «полностью» редко когда подлинно завоевывается любимым человеком. Вот именно, как раз наоборот: преимущество любимого (а в дальнейшем и его беда!) заключается в том, что ему о т д а ю т э т о к а ж у щ е е с я «все», потому что так просто хотеть, чтобы оно казалось, что «все» отдаешь. Но ведь мало о т д а в а т ь все, надо, чтобы и брали все. А для того, чтобы все захватить, надо иметь не только аппетит, но и возможность переварить это. Тут-то люди и давятся, не будучи в состоянии все пожрать. И выходит, что постепенно, а иногда и скоро любящий человек убеждается, что его партнер уже икает от пресыщения даже половиной того, что ему дали. Вот тогда-то и появляется необходимость все несъеденное, не взятое глубоко спрятать в душе и... ждать волшебного принца. Это и есть тот внутренний мир, куда Вы уже не впустите даже и того, уже наловившегося Вашего любимого и любящего. Но Вы охотно впустите туда любого человека, который окажется способным затронуть какие-то глубокие струнки этого Вашего мира. И Вы сами не заметите, как Вы из этого будете делать тайну не из боязни измены, а из боязни быть непонятой тем, с которым Вы делите Вашу жизнь, Вашу постель и воспитываете Ваших детей. Такова логика жизни! <sup>2</sup>

В применении к нам я могу сказать, что Вы не измените Вашей любви, если пойдете по пути Ваших ощущений и желаний, диктуемых тем особым положением, которое я занимаю в Вашем существе, как и Вы в моем. Кто знает, может быть, в том маленьком кусочке, который у каждого из нас принадлежит друг другу и который как будто ничему не обязывает в житейском смысле, — может быть, в нем заложена такая эмоциональная энергия, которая и больше и сильнее любой супружеской верности. Этот кусочек нашей жизни и нашего существа очень полон, вернее, наполнен чувствами, так ревниво и тщательно сберегаемыми друг для друга. Поэтому я и писал, что мне легче захотелось бы поцеловать Вас, а может быть, и обладать Вами, если бы Вы принадлежали другому. Во-первых, это поставило бы нас в равные условия. Во-вторых, это было бы только простым изъятием того, что мне давно принадлежит. Именно мне, и никому больше! <...> Но Вы безусловно неправы, говоря, что если бы Вы полюбили человека, то мой поцелуй был бы исключен. Это неверно вообще! Но это могло бы быть только в том единственном случае, <...> если бы все наши отношения оказались бы неправдой, вымыслом, блефом, боящимся соприкоснуться с подлинной жизнью.

Теперь по поводу Ваших гневных упреков на мой «железный занавес». Мы с Вами так хорошо всегда беседуем, я засиживаюсь над письмами к Вам так долго, что, право, не остается желания писать о «всем прочем». Да и, насколько помнится, я Вам о своей жизни

<sup>1</sup> Эту «концепцию измены» Дунаевский продолжает развивать в неопубликованном письме к Р. П. Рыськиной от 31 июля 1949 года:

«Лечь в постель с другим мужчиной — не есть измена другу. Измена другу будет тогда, когда Вы почувствуете, что отдаете кому-то другому не только свою реально выраженную любовь, не только свое тело и огонь дыхания, а и тот внутренний лабиринт, который открывался Вами в часы полного раскрытия души и мысли для высокой и свободной от всего земного беседы». (Архив адресата)

<sup>2</sup> На полях этого абзаца Л. С. Райнль написала: «Потрясающе!» (В машинописной копии.)

писал еще в Саки, а по поводу работы частенько сообщаю отрывочные сведения. «Вольный ветер» обязательно пошлю Вам. Конечно, не весь, а отдельные номера. <...>

... Небо уже совершенно светлое, а я все пишу Вам. Как я люблю весну! Если бы Вы знали, как я люблю весну!

Я еще хотел бы о многом Вам написать и, верьте мне, напишу. Не упрекайте меня заранее и не сердитесь. Я все обещаемое выполняю.

Будьте счастливы и здоровы.

Крепко, крепко целую Вас.

Ваш И. Д.

<...> P.P.S. Слушайте, Людмила! Принимайте ухаживания Вашего 50-летнего с «гаком» парня, кружите ему голову, но только не выходите за него замуж. Вообще не выходите замуж! Это ведь не гарантия счастья.

Любите, увлекайтесь, будьте счастливы в чувствах и всегда немножко любите... меня. Я у Вас должен быть чем-то вроде дрожжей для вкусного теста.

И. Д.

[Арамель, 31 мая 1949 г.] <sup>1</sup>

4/VII—49 г.

Где же ты, мой желанный? <sup>2</sup>

Милый друг, чем прогневила я Вас, что Вы наказываете меня так жестоко? Вы лишаете меня самого дорогого, затаенного, принадлежащего только нам и никому больше — общения с Вами. Мне не хватает Вас, Ваших писем, Вашей животворящей ласки.

Я не знаю, чем объяснить Ваше долгое молчание — идет уже второй месяц, как я отправила Вам письмо, на которое стала с нетерпением ждать ответ уже через несколько дней после его отправления. Вполне вероятно, что Вы очень загружены, что Вас сейчас нет в Москве, что Вы не чувствуете той душевной собранности, которая Вам необходима для писания писем мне. Главное, конечно, чтобы с Вами ничего не случилось, что Вы живы, здоровы и по-прежнему жизнерадостны. Но все это — не оправдание для того, чтобы не писать мне. Я не хочу требовать, но Вы знаете, чем являетесь Вы для меня. Вы — олицетворение всех моих лучших чувств и идеалов. Знайте же, как ни страшна мне мысль о смерти, но разочарование в Вас для меня было бы страшнее.

Ваше молчание имеет некоторые последствия: я не стала настаивать на том, чтобы отпуск мне дали в июле месяце. Теперь он отодвигается, возможно, на август. К чему скрывать? Мне эта поездка в Москву больше всего необходима из-за встречи с Вами. Переезд под Москву, конечно, тоже очень желателен, но трудно осуществим — слишком тяжело сейчас мне подниматься с места.

Ничто в мире не изменится, все останется на своих местах, но я хочу видеть Вас, говорить с Вами, хочу проверить — жизненна ли наша «транспространственная» близость, хочу знать — где истина. Я в жизни всегда искренна, Вам же открываю дверь в свою душу настежь: «Приходи, приходи...» <sup>3</sup>

Ваша Л.

5.VII.1949 г. Москва <sup>4</sup>.

Если с Вами что-нибудь произошло, если Вы даже тяжело больны, то существуют чужие руки других людей, которых можно попросить написать другу. Мне кажется, что трудно простить такие паузы, как, вероятно, и трудно будет Вам объяснить их.

И. Д.

9.VII. 1949 г. Москва.

Моя дорогая Людмила! Если бы это были не Вы, мой хороший, светлый и чуткий друг, то я подумал бы, что меня сознательно обманывают, чтоб оправдать собственную вину.

Я был ошарашен, получив Ваше письмо, где Вы меня упрекаете за молчание. А некоторое время тому назад я послал Вам коротенькую записочку с тем же упреком.

<sup>1</sup> По иронии судьбы именно это решающее ответное письмо, которое могло бы перевернуть судьбу обоих, затерялось в дороге.

<sup>2</sup> Ариозо Кумы из оперы П. И. Чайковского «Чародейка».

<sup>3</sup> То же ариозо.

<sup>4</sup> Дунаевский, естественно, еще не успел получить письмо Людмилы от 4 июля.

Ровно два месяца отделяют сегодняшний день от дня получения Вашего последнего письма. Я подумал, что могло случиться [невероятное] такое чудо, что я затерял Ваше письмо, то есть что я мог среди других писем не обратить внимания на такой родной и всегда ожидаемый круглый маленький почерк. Нет! Ваше последнее письмо прибыло ровно два месяца тому назад. <...>

После этого письма, на которое я ответил сразу и подробно, я от Вас не получал **ничего** до вчерашнего дня.

Значит: или 1) Ваше промежуточное письмо пропало, или 2) мой ответ пропал.

Во всяком случае, я снова пользуюсь поводом сказать Вам, что никогда и ни при каких обстоятельствах я просто не смог бы не писать Вам. Ожидая Вашего ответа, я тем самым ждал и результатов Вашей дипломатической поездки, и уточнения даты июльского приезда, и вопроса о Вашем переводе в Хотьково. Я удивлялся молчанию, огорчался, негодовал, а оказывается, что в это время Вы удивляетесь, огорчаетесь и негодуете. Здорово получилось! Удивительно ведь, что до сих пор ни одно Ваше или мое письмо не пропадало. Значит, судьбе было угодно снова испытать наши души и нашу дружбу. И пусть в этом печальном случае будет то хорошее, что снова и снова подтверждает нашу душевную близость и «трансцендентальную» зависимость. <...>

<...> Я на прошлой неделе в один из своих приездов на дачу занялся разборкой бумаг для частичного уничтожения и для отбора нужных бумаг и писем.

Ваши письма мною были прочитаны все! Боже мой! Смеющаяся Людмила Головина! Чудесная, очаровательная! Вы пишете в последнем письме (от 5 мая), что Ваша душа не так чиста, как я представляю себе. Нет, даже если на нее осело за это время много осадков гари и пыли, ничто не может исказить и очернить ту чистоту души, какую Вы обладаете и с какой Вы пришли в мир, когда постигли уже гордость сознания.

Мне хочется увидеть Вас. Надо, чтобы Вы приехали возможно скорее. В августе это поздно. Начинается увядание солнца и вместе с ним и мое. Я ужасно люблю лето, солнце, свет, короткие волнующие ночи. Приезжайте скорее! Хлопочите об отпуске. Июль я обязательно в Москве.

Вы пишете, что «все останется на местах». Конечно, останется! Но дайте же мне возможность при встрече поблагодарить Вас за все хорошее и теплое, что Вы несете в мой внутренний мир. Я не знаю, какова будет наша встреча, какие формы она примет, какие слова будут сказаны, какие звуки будут сыграны, какие взгляды будут брошены и какие чувства заговорят. Но я знаю, что ничто не пошатнет моей нежности к Вам, живой, наглядной, существующей, к которой можно прикоснуться, которую можно обнять и которую можно поцеловать в то место, где, как говорят, обитает человеческая душа.

Жду письма, скорого, большого.

Ваш И. Д.

[13 июля 1949 г.] <sup>1</sup>

Мой гневный друг!

Ваше лаконичное письмо получила; думаю, что и Вы уже получили мое встречное. Оно должно развеять Ваш несправедливый гнев и подозрения, но не кажется ли Вам странным, что, обвиняя друг друга в одном и том же проступке, мы делаем это по-разному? Неужели бы Вы не простили мне моего долгого молчания, если бы я была повинна в нем? А между тем в моем прощении Вы всегда уверены.

Я не сержусь на Вас, так как Ваш гнев говорит мне о том, что я Вам не безразлична, а это — главное.

Мне нужно быть краткой, так как это письмо я пишу, отрывая время у моей Маленькой Радости, у своего дорогого сынульки, которому я сейчас нужнее всех на свете: он очень болен, поэтому капризничает и успокаивается только у меня на руках. А я — поражаюсь, как у меня хватает сил на эту жизнь. Не говоря уже о домашних неурядицах, я целый месяц, помимо своей основной работы, руковожу самым крупным у нас на заводе цехом (70 человек женщин) да еще веду занятия с двумя группами мастеров по повышению их квалификации. И еще три недели такой работы! Когда мне приходится наклоняться, у меня кружится голова и темнеет в глазах; говорят, это признак малокровия (а в войну я была донором!).

У моего Сережи-Ёжика в лучшем случае диспепсия и в худшем — дизентерия. И я ропщу на все на свете. На то, что единственный врач наш уже два месяца, как

<sup>1</sup> Ответ на короткое письмо Дунаевского от 5 июля.

в санатории, а оставшиеся фельдшерицы не внушают доверия. На то, что на свои собственные деньги нельзя купить того, что хочется, что необходимо для спасения сына. Если раньше на «черном рынке» можно было по дорогой цене купить все, что угодно, то сейчас ни за какие деньги здесь не достанешь ни риса, ни сахара. В Свердловске сахар не продают, а «выбрасывают», и нужны время и счастливый случай, чтобы его подкараулить. А в наших магазинах вот уже в течение нескольких месяцев о нем ни слуху ни духу. Да что продукты — у меня сынишка принужден ходить в чулочках или босиком, потому что до сих пор я не могу заставить в магазинах обувь на его ногу, это здесь тоже редкость.

Так вот, удалось достать мне немного сахара у моей приятельницы <...>, вернувшейся недавно из командировки в Москву. Теперь морю парня голодом, держу его на одном чае и жду. У моей подруги погиб от дизентерии сынишка в три дня. И я прокляну все на свете, если его потеряю.

Вот какое мрачное письмо получилось. Это чтобы Вы не говорили, что я оставляю Вам только сферу небесных летаний. Но не думайте, что Вы мне сможете в чем-либо помочь: когда Вы получите это письмо, судьба Ёжика будет уже решена без Вашего вмешательства.

Теперь о письме, которое Вы не получили. <...> Мне его жаль по многим причинам, не говоря уже о потере времени. Оно было о ч е н ь объемным. [...] Кроме [того, я вложила в конверт] еще письмо моей подруги и мою последнюю по времени фотокарточку. <...>

На прощанье пожелаю Вам никогда не сомневаться ни в моих словах, ни в поступках. Мне это больно. Не верить мне — значит, не быть искренним самому.

Ваша Л.

Москва, 17.VII.1949 г.

Дорогой мой, славный и хороший друг!

Мне так хочется нежно пожалеть Вас по поводу новой беды, свалившейся Вам на голову. Вы пишете, что, когда я получу Ваше письмо, судьба Вашего сыночка будет решена. Это ужасно, если мое письмо застанет Вас в горе. Я хочу твердо верить, что Сереженька перенесет болезнь. <...>

Я ужасно себя чувствую из-за того, что не могу Вам молниеносно помочь пудом сахара, врачами и деньгами. Я стою сейчас в позе свидетеля, которому ничего не остается делать, как с замиранием сердца ждать Ваших вестей, надеясь, что они будут добрыми.

Я даже ни о чем другом не могу Вам сейчас писать, так как это может получиться неуместным. Я только хочу просить Вас телеграфно сообщить мне исход болезни сына и не стесняться в получении от меня л ю б о г о размера денежной помощи. <...>

Я заканчиваю письмо выражением моей безграничной нежности и сочувствия к Вам, моя Людмила. Как бы ни было и что бы ни было, помните обо мне, обопритесь на меня. Не отвергайте в тяжелые времена моей большой дружбы. Она не только в цветах и солнечном сиянии. Она не только в красочных умосплетениях рассуждений. Она — и в беде, и в горе. Не бойтесь из-за ложных опасений вводить меня в тесный круг Ваших житейских болей и обид. Я очень ценю Ваше желание не втягивать меня «в жизнь». Но еще больше я буду ценить и Ваши «простые» чувства. Смеем Вас заверить, что Вы во мне не разочаруетесь.

Людмила, я ничего не хочу Вам желать. Вы все поймете сами. Мои мысли и мои молитвы с Вами. Мне бы очень хотелось, чтобы они были для Вас большим и нужным звеном в Ваших переживаниях и тревогах.

Ваш И. Д.

Письма от 31 мая я не получил. В этом и все дело, приведшее нас к взаимным упрекам. Но сейчас об этом не надо!

Жду! Как всегда!

P.S. Прочитав написанное, я подумал, что хорошо сделаю, если, не дожидаясь Ваших сообщений, пришлю Вам денег. Я так сейчас и сделаю! Можете сердиться, сколько Вам будет угодно!

И. Д.

22/VII—49 г.

Мой милый, верный друг!

Простите, что не исполнила Ваше желание — не телеграфировала о здоровье сына. Но о чем? Что он здоров — нельзя, что он жив — нехорошо. Он болеет уже десять дней, а положение все то же. Правда, это не дизентерия, болезнь не прогрессирует, но положение

почти не изменилось. Я решаюсь сказать Вам это «почти» потому, что все-таки Ёжику, мне кажется, легче. Но он все время голоден, и это такое мученье. <...> Я не могу при нем взять куска в рот. Правда, самое необходимое — сахар, рис, белые сухари — мне удалось достать для него.

На Вашу присылку денег я рассердилась вначале, даже шевельнулось какое-то враждебное чувство по отношению к Вам, какая-то неосознанная мысль. Но пришло письмо и все развеяло. Милый, хороший Вы мой, сколько бодрости вливаете Вы в меня, какое глубокое доверие чувствую я к Вам. Какое большое счастье выпало на мою долю — встреча и дружба с Вами. Как я горжусь этой дружбой, этими отношениями — мне даже и не выразить словами. Это можно только почувствовать, понять и поверить. Вы стали мне еще ближе, еще дороже, Ваша забота, Ваша нежность трогают меня до слез. Я бы сейчас обняла Вас крепко, крепко, прижалась бы к Вашей груди и выплакала всю свою боль и усталость.

Вы постарайтесь все же отыскать мое утерянное заказное письмо, в нем я так много и так подробно говорю о своей жизни — что меня окружает, кто, где, как и чем. Понятно или нет? Столько интимных мелочей, на которые мне хотелось бы получить Ваш отклик.

В отпуск я смогу пойти не раньше 5-го августа. <...> Два-три дня использую на устройство домашних дел, и не позже 10-го августа я — в Москве, при условии, конечно, что Ёжик будет здоров, а Вы никуда не уедете. Я очень хочу этой встречи и по-прежнему боюсь ее.

Уж видно, чем любовь сильнее,  
Тем за нее страшнее нам.

(Нравятся ли Вам «Строки любви» Щипачева? Мне — очень.)

Мне хочется рассказать Вам еще одну сказку, читанную в детстве. Все подробности стерлись у меня в памяти, помню только основное. Одна девушка (конечно, необыкновенная красавица) отправляется искать своего верного рыцаря, заточенного в мрачном царстве злыми силами. Многое ей приходится перенести и пережить: для того чтобы перейти пропасть по узенькой доске, кроме решимости, приходится жертвовать русой косой до пят, в другом случае ей приходится отдать румянец щек, нежную кожу, звонкий голос и т. д. В общем, из красавицы она превращается в дряхлую старуху с молодыми, живыми глазами — единственное, что ей разрешено было оставить от бывлой красоты. Наконец, любовь торжествует, узник освобожден, но, выходя из подземелья рядом со старухой, он не знает, что обязан ей своим освобождением и своей жизнью, не знает, какой ценой они куплены. И, мечтая о своей возлюбленной, он не узнает ее в старушке с удивительными молодыми глазами, пылливо глядящими на него.

Так вот, когда Вы не узнаете своей Людмилы, то вспомните, пожалуйста, эту сказку. Я все та же, но тяжелая многолетняя борьба за жизнь дорогих мне маленьких существ (никому, кроме меня, не нужных) сделала из меня то, чем я стала теперь. Узнайте же свою «маленькую» в большой, постаревшей, неуклюжей от смущения «Людмилище». А было бы замечательно, если бы я чувствовала себя свободно в Вашем обществе.

Я жду Вашего большого и скорого письма и сообщения о том, где Вы будете в августе месяце, будете ли ждать меня.

На прощанье мне хочется поцеловать Вас так, как Вы того заслуживаете. Но, играя струнами моего сердца, умоляю, не порвите их, не разбейте его. Берегите этот мой дар Вам.

Ваша Л.

Благодарю Вас за все!

25.VII.1949 г.

Моя дорогая Людмила! Ничто меня так не радует, как Ваше признание моей дружбы и нежности к Вам. Я должен Вам сказать, что по отношению к Вам я, кажется, собрал в себе всю верность и постоянство, которое я обычно давал людям только по частям. Зародившемуся во мне много лет тому назад чувству светлой дружбы к Вам я не изменил и не изменю. У меня есть жена — любимая женщина, у меня есть большой сын от прежней жены, с которой я формально не разведен, у меня есть маленький сын 4,5 лет от фактической моей жены (весьма сложно — не запутайтесь!), я — человек увлекающийся, жизнелюбивый, может быть, грешный в чувствах своих и стремлениях, но «почему-то» всегда и неизменно радуюсь Вам, радуюсь мысли о Вас, радуюсь Вашему письму, и если нет его долго, то среди всех моих чувств, прихотей, удовольствий, забот и дел находится место для грусти и беспокойства.

Но я не с этого хотел начать свое письмо. Мысль о Вас потянула меня в другую сторону. Я хотел сказать Вам, что радуюсь выздоровлению Вашего Ёжика. Ваша осторожность в оценке его состояния мне понятна, но мне думается, что он на пути к выздоровлению. Я бесконечно благодарен Вам за письмо, которое я ждал с мучительным нетерпением. Ведь я знал, что должен буду простить Вам и долгое молчание, если бы Вы не смогли ответить мне так скоро, как мне хотелось. Но Вы ответили скоро, и я это воспринимаю как акт большой и ласковой чуткости.

Ваши письма я сначала проглатываю, потом откладываю, а потом снова, уже медленно, перечитываю. И перечитав [последнее письмо], я не мог понять, почему в Вас могло шевельнуться враждебное чувство ко мне. И почему, только получив мое письмо, Вы оценили мою дружескую «акцию»? А разве она Вам была не ясна до получения письма?

С некоторых пор я недостаточно ясно понимаю характер Ваших чувств ко мне. Я привык к тому, что в Вас живет дружеская нежность, может быть, даже любовь или, вернее говоря, некоторая разновидность этого чувства, основанная на хорошем доверии, искренности, на вере в мою правдивость и искренность. Я привык к тому, что порою наши «трансцендентальные» отношения вырастали в романтическое представление друг о друге, сливались где-то в нечто большее, чем дружба. Но когда Вы говорите мне о сердце, которое я не должен разбивать, и о его струнах, которые я не должен разрывать, мне начинает казаться, что, сам того не желая, я совершил ошибку, «играя струнами» Вашего сердца, как Вы пишете. И разве в самом деле Вы так воспринимали мою любовь к Вам, мое нежное бережение Вас, как игру на струнах Вашего сердца? Я меньше всего играл на этом инструменте и считал бы такую игру недостойной себя и ненужной для нас обоих. Я хотел, чтобы Вы любили меня так, как я Вас люблю. А я Вас люблю, ценю, уважаю. Люблю Вашу чистоту, ум, волю, борьбу за жизнь, достойную лучших результатов. Люблю мое солнышко, «смеющуюся Людмилу», нежно светившее мне в ту пору, когда мы оба были моложе на одиннадцать лет. Люблю мою привычку любить Вас, хотеть Вашего голоса. Люблю Вашу любовь к моей музыке, хочу, чтобы Вы во мне видели самого большого друга, большего, чем все те, которых Вы любили, любите и будете любить как женщина. Хочу, чтобы через все Ваши чувства и привязанности мой образ светил Вам как нечто особое, стоящее над всем и всеми. Я не знаю, почему это так, но это так. Но... Но в своем захвате Вас, захвате человечески простым, но могущим быть жестоким, я не хочу и никогда не хотел той, другой любви, где сердца и тела сливаются уже в других помыслах, в других влечениях и в другой взаимозависимости.

Это очень сложная сторона чувств, но я думал о том, возможна ли была бы наша физическая близость как некий порыв, выливающийся из длительного душевного общения двух в сущности весьма земных людей, которые остаются таковыми, сколько бы они ни распространялись на тему о «пространственных» чувствах, о «творимых легендах» и «нереальных реальностях»? И я отвечаю на этот вопрос: Да! Возможна! Но только тогда, когда она будет одинаково понята и одинаково прочувствована именно как часть только нам известного, только нами оберегаемого нашего глубокого внутреннего мира, частью которого уже давно стала наша переписка.

Тогда это не будет грехом. Тогда это будет свободное желание, такое же свободное, какими являются все наши отношения.

Когда Вы призываете меня беречь Ваш дар — сердце, то я могу Вам сказать, что Вашу дружбу и человечески свободную любовь, Ваше доверие ко мне я буду свято хранить и беречь и никогда не позволю Вам разочаровываться во мне. Но если под эгидой даром я должен понимать родившуюся под влиянием одиночества и неосторожной «игры на струнах сердца» Вашу подлинную и полную любовь ко мне, то я скажу Вам, что где-то я совершил страшную ошибку, в которую вовлек и Вас.

⟨...⟩ Я буду очень несчастен, если в наши отношения войдут элементы, способные породить страдания. ⟨...⟩

Я не знаю, то ли я сейчас говорю, так как голова не способна найти формулировки, которые бы объяснили мои мысли и чувства. Это было бы слишком ужасно, если бы я был неверно Вами понят.

Я так ценю все Ваше, что для меня было бы горем потерять хоть крупицу его.

Вы мне снова рассказали чудесную сказку. Но она не совсем подходит ко мне. Я Вас люблю любой. Эстетика моего восприятия Вас не зависит от Вашего реального образа, и этим я подтверждаю все, что я говорил выше о моих чувствах.

А вот существовала когда-то умная, немного «вывихнутая» пьеса Евреинова «Самое

главное». Пожалуй, ее содержание ближе к нам. Я Вам о ней расскажу в следующий раз.

Встречи со мной не бойтесь. А стихи Шипачева меня не очень греют. Я вообще считаю, что у нас нет поэзии и поэтов. Поэзия — это творчество тончайших душевных инстинктов. Я знаю лично почти всех «выдающихся» поэтов — моих современников. Сейчас, кроме Исаковского, подлинных поэтов нет!<sup>1</sup> Все остальные — это молотобойцы, которые выбивают стихи, а не пишут на струнах сердца. Кроме того, большинство из них малокультурно и халтурно. Кроме того, они слишком развращены всякими «необходимостями политики», чтобы честно служить своим музам.

10-го августа я буду в Москве. Возможность моего отъезда из Москвы к режиссеру Пырьеву, находящемуся сейчас на Кубани, не исключена, но произойдет [это] не ранее 20-го августа<sup>2</sup>.

Крепко Вас целую, моя Людмила, мой друг любимый.

Ваш И. Д.

P.S. Снова перечитал письмо Ваше. Там есть место, где Вы объясняете мне Ваши чувства. После этих простых слов захотелось уничтожить все, что я Вам наболтал. Но я хочу, чтобы ничто из моих мыслей не было скрыто от Вас. Поэтому я отправляю письмо таким, как оно написано.

Вы — чудесная, Людмила!

Спасибо Вам, что Вы есть.

И. Д.

Уже полное утро!

На конверте адрес «Бобровка». Пишу по нему. Всегда интересовался, почему Арамил, а не Бобровка. Штемпель всегда был «Бобровка».

Жалко, очень жалко утерянного письма. Попробую навести справки, хотя, видимо, это безнадежно.

5.VIII.49 г.

Мой милый, дорогой друг!

Вы вызываете меня на разговор о моих чувствах к Вам. Ну что же, Ваше желание для меня закон. Я вообще не представляю себе, что я могла в чем-либо Вам отказать. Кстати, может быть, мой самоанализ поможет и мне лучше разобраться в «обстановке». Дело в том, что я сама не могу достаточно ясно разобраться в своих ощущениях и чувствах. Полная это или неполная любовь — не знаю, но что она подлинная — в этом я уверена. Будь я поэтом, я сказала бы, что чувство это нежно и свежо, как легкое дуновение воздуха в знойный летний день, чисто — как душа ребенка, ярко — как солнце, прекрасно — как жизнь, сильно — как смерть! Да, это так! Но кое в чем Вы ошибаетесь. (...)

Знакомо ли Вам выражение «экзотермическая реакция»? Эта реакция не может начаться самопроизвольно. Для нее необходим приток тепла извне. <...> Остановить такую реакцию уже невозможно, она идет самопроизвольно.

Не подумайте, пожалуйста, что я такой вулкан страстных чувств и стремлюсь в Москву для того, чтобы испепелить Вас и сделать несчастным при виде моих страданий.

И напрасно Вы пытаетесь застраховаться на случай моего приезда перечислением своего семейного благополучия, подчеркивая, что обладаете любимой женщиной, а мой удел — только дружеская любовь, которая лишь в нереальности может иногда казаться тем, что Вы называете полной любовью. Подумайте, ведь Вы в этом письме даже ни одного раза не позвали меня, не выразили желания встретиться со мной! После этого я даже не знаю — нужна ли моя поездка, стоит ли мне ехать в Москву.

Да, Ваша правда (я перечитываю Ваше письмо), наша физическая близость возможна, и именно как порыв (это не по Вашей подсказке, а мое убеждение). Но этот порыв я всегда могу подавить в себе. И я смогла бы уйти совсем с Вашей дороги, если бы это потребовалось, если бы Вы этого захотели. (Каюсь, я не могу представить себе, чтобы Вы этого захотели.) Вы предоставляете мне лазейку для объяснения моих чувств. Я не хочу пользоваться ею. Я всегда была откровенна с Вами, и меня больно ранило бы Ваше недоверие. Я чувствую к Вам такое глубокое доверие, что если бы Вы обманули его, если

<sup>1</sup> Очевидно, речь идет о постоянно печатавшихся поэтах, а не о Пастернаке или Ахматовой, которых широкий читатель не знал.

<sup>2</sup> Дунаевский в это время работал над музыкой к кинофильму И. Пырьева «Кубанские казаки» («Веселая ярмарка»).

бы я разочаровалась в Вас — жизнь потеряла бы для меня всякую привлекательность. Вот почему я говорила «берегите мое сердце» — оно может сильно и тонко чувствовать, а в Вас оно видит то совершенное, что могли создать Природа и Человек. Впервые в моей жизни в одном человеке сливаются все мои лучшие чувства. Я безгранично уважала, беспредельно верила, самоотверженно любила, но эти чувства делили между собой два человека, один из которых погиб в войну, а другой умер только для меня. Теперь на моем горизонте одно огромное светило, заслоняющее собой все остальные, светило, которое всегда ласково светит мне, нежно согревает душу и растапливает и вызывает к жизни все мои лучшие чувства. <...> Я встаю и засыпаю с мыслью о Вас. Мерилом моих поступков является Вы. <...> Даже если я нравлюсь мужчине, я горда этим за Вас. Но ни одному из них я не могу отдаться, так как считаю их недостойными не столько меня, сколько Вас. Вот какая получается штука! Живя со вторым мужем, я могла допустить флирт с другим мужчиной, даже измену ему, в то время как, не имея на Вас никаких прав, не обольщая себя никакими надеждами (учтите), поступая даже наперекор Вашему желанию, я храню верность Вам. Пока мои чувства и наше общение являются для меня постоянным источником светлой радости. Я не знаю, во что это выльется в будущем, но нет у меня ближе и дороже друга, чем Вы, и не было никогда. А я ведь стала умнее и к людям отношусь скептичнее.

С недавних пор я живу надеждой встречи с Вами, меня уже не удовлетворяют наши письменные разговоры. Я хочу видеть Вас, слышать Ваш голос, прикасаться к Вашим рукам, целовать Ваши глаза, вообще осязать Вас всеми органами чувств. Хочу с к а з а т ь Вам, чем являетесь Вы для меня. Это тем более странно, что в жизни я не многоречива и не красноречива, скорее наоборот, и н и к о г д а не распинаясь в своих чувствах. Это — до некоторой степени желание физической близости, н о н е т о й, о которой пишете Вы. Вызвано же оно не одиночеством, а продолжающейся самопроизвольно экзотермической реакцией развития моих чувств. Это доказывается хотя бы тем, что я даже мысленно не ревную Вас ни к одной из Ваших женщин, а наоборот, горда теми чувствами, которые в Вас вызываю и которые (так мне кажется) Вы ощущаете впервые, как и я.

Не знаю, что ждет меня в будущем, но если бы Вы даже и стали источником моих страданий, я никогда не упрекнула бы Вас в этом. И если бы суждено мне было начать свою жизнь сначала, я бы молила судьбу о нашей встрече и нашей дружбе, правда, лет на десять раньше.

Вот какое сумбурное письмо получилось. <...> Отпуск мой несколько задерживается, я получу его не раньше 8-го августа, и если Вы отправите ответ авиапочтой — успею получить его вовремя. Я не хочу идти против Ваших желаний и не приеду, если Вы этого не хотите. Но будьте правдивы!

Я не написала Вам о том, что мой Ёжик совсем почти здоров и весел по-прежнему. Я не могу не сознаться, что Ваша «акция» была очень кстати, но как смогу я в будущем посвящать Вас в свои беды, если у Вас при этом в руках появляется открытый кошелек?

До скорого, возможно, свидания!

Ваша Л.

Москва, 8 августа 1949 г.

Дорогая моя Людмила! Я очень хорошо понял, что такое «экзотермическая реакция», и очень хорошо понял, что где-то и когда-то приток тепла от меня возбудил в Вас эту «самопроизвольную» энергию чувств, о которой Вы мне, наконец, написали.

Большое и яркое чувство живет в Вас, мой дорогой друг! И я, вызвавший в Вас это чувство, стою сейчас смущенный перед ним, не в силах справиться со своими мыслями и непосредственными впечатлениями. Только тот человек, кто знает цену дружбы, бескорыстной и бесхитростной, может понять сейчас мою гордость. Только тот человек, кто умеет хорошо разбираться в тончайших извилинах и капризах человеческой мысли, может понять мое смущение.

Откуда и почему оно возникает? Попробую Вам объяснить.

Вы прежде всего неправы, подозревая меня в трусости, в боязни встречи, в перестраховке и т. д. Вы даже не заметили, что этими подозрениями Вы сами становитесь на путь моей дискредитации и снижения. Это неверно и противоречиво! Дело — в ином!

И опять начну издалека. Вам было бы, вероятно, очень интересно почитать Ваши первые письма ко мне. Эти письма, за небольшим исключением, сохранились у меня. Это — документ, свидетельствующий о том, что приток тепла, необходимый для реакции, шел от Вас. Вы меня заразили и наполнили чудесным светом юности и радости. И тут

начинается очень сложная и мало объяснимая история, которая вкратце сводится к тому, что я стал тянуться к Вашему свету. Я, уже взрослый, видный человек, не искал в Вас объекта для кружения головы, не искал никаких романтических приключений. Но это была все-таки подлинная романтика. Человек, какой бы он ни был, никогда не идет по жизни самостоятельно и обособленно, а всегда в сопровождении других, смежных жизней, воле, разумов. <...> В какой-то определенный момент блеснула на моем пути Ваша звездочка или, лучше сказать, Ваше солнышко. Оно вошло в мою жизнь и больше никогда не потухало. Таков я!

Я не гашу радостей, освещавших мою душу. И, может быть, в этом и состоит мое резкое отличие от других, схожих по судьбе со мной людей, что в моем сердце живут те люди, которые вместе со мной взбирались, сами того не зная, к вершинам творческих процессов, которые делали мою биографию, сами о том не подозревая. Разве я могу растерять хоть крупицу того счастья, гордости и радости, которые мне дарили люди? <...>

Судьбе было угодно, чтобы Вы, Людмила, среди этих друзей <...> заняли большое и особенное место. Я Вас видел мельком, подробные черты нашей встречи остались в далеком тумане, которые память не в силах ясно воспроизвести. Но Вы остались живой для меня на все эти годы, годы суровых мучений, личных больших переживаний, творческих неудач, многого, многого, что вошло в мою жизнь за это время. И Ваше солнце, Ваш образ остался жить, перекликаясь с новыми явлениями, вошедшими в Вашу жизнь, с Вашими мытарствами, горем, разочарованиями и т. д.

Я Вас всегда любил, Людмила, люблю до сих пор, не снижая ни на йоту ни чистоты, ни особых, непередаваемых свойств моего отношения к Вам. Вот Вы хорошо и просто смогли описать Ваши чувства. О них я скажу позже. А я вот не могу Вам описать своих чувств. Я Вас называл и называю другом. Но это, мне кажется, звучит немного официально, сухо. Нет! Я люблю и любил Вас нежнее, теплее, ближе, чем друга. Может быть, скорее я видел в Вас часть себя, кровное, родное. Мне хотелось вторгаться в Вашу жизнь, влиять на нее, потому что Вы этим как бы поворачивали не только свои жизненные рычаги, но и мои.

Что это за чувства? Почему мне так дорога Ваша жизнь и все, что ее касается?

Извините меня, моя Людмила, но Вы не поймете. Во всяком случае, Вы знаете, что я много раз пытался объяснить Вам хоть сущность этих чувств. Ваши ответные действия свидетельствовали о неполном понимании их. Для Вас ничего не значило подолгу от меня ускальзывать, изымать меня из Вашей жизни, не делать меня участником ее «вульгарных» проявлений, оставлять мне только «цветы жизни». Повторяю, что это свидетельствовало о непонимании моих чувств и отношений. Но я не намерен упрекать Вас в чем-либо. Ваша жизнь всегда была для меня радостью. Я принимал от вас столько, сколько Вы мне давали, никогда не требуя того, что Вы не хотели сами.

Я не искал в Вас «любовницы» даже в письмах и никогда не хотел кружить Вам голову. Часто в моих ночных беседах с Вами мои фантазии поднимались до «телесных» осязаний, до иной любви. Но это были моменты влюбленности, шедшей от большой теплоты и нежности. А нежность с женщиной часто кончается свирепостью желания.

Трудно, ох, как трудно все это формулировать! Теперь передо мной Ваше письмо.

Неужели Вы думаете убедить меня в том, что в мире может существовать чувство, которое не потребует стать полностью разделенным?

Вы все подчеркиваете: близость, н о н е т а! Поцелуй, н о н е т е! Порыв, н о н е т о т! Тот, тот, та, та, черт побери! Именно то самое! Дело ведь не в том, чтобы да в и т ь в с е б е все это! Дело в том, что это или должно н е с у щ е с т в о в а т ь, или должно н е да в и т ь с я в с е б е! И этого Вы не понимаете или не хотите об этом думать.

Почему я обратил внимание на фразу «берегите мое сердце»? Не потому, что я испугался, а потому, что я смогу оказаться здесь невольным виновником того, что Вы сами не сумеете сберечь своего сердца. Я лично не боюсь никакого «греха» для себя. Я не боюсь никаких прятных чувств! Но я боюсь за Вас, за Вашу душу и сердце. Вы никогда не разочаруетесь во мне, потому что все, что я говорю, чувствую, ощущаю — все это искренно и просто. За это Вы не бойтесь! Я не разобью Вашего сердца пошлостью, потому что я до нее не унижусь. Но мои «гарантии» имеют силу только в пределах м о и х чувств, таких, какими я их понимаю и ощущаю. Я знаю, что н и к о г д а Вы не перестанете меня уважать как нежного и любящего, внимательного и чуткого товарища и друга, которому Вы дали право «вторжения» в Вашу жизнь. Это право Вы никогда не отберете, потому что нет в мире ласки более радостной, чем ласка друга. Но...

Но за пределами моих чувств существуют силы, вне меня стоящие. Я могу призвать все мое самообладание, всю мою осторожность, чтоб удержаться от влияния этих сил. Но если они появятся, возымеют действие? Если целовать глаза, как Вы пишете, окажется далеко не столь безопасным занятием, с точки зрения целостности и цельности двух друзей? Ведь бумага — это одно, а жизнь — другое! Что тогда? <...> Сможем ли мы уберечь Ваше сердце?

Но не пугайтесь моих вопросов, Людмила! Я готов к Вашему приезду, к нашей встрече. Что-то глубоко подсознательное подсказывает мне, что «вопросов» не будет, что наша встреча будет радостной и хорошей, что мы останемся друг для друга такими, какими были все время. И еще добавлю, что, посмотрев друг другу в глаза, мы многое поймем из того, в чем сами сейчас беспомощно барахтаемся.

Я очень хочу Вас видеть, и мне незачем это доказывать. Только, пожалуйста, не тяните. Я ведь очень связанный сейчас человек, а Пырьев со своей картиной, как коршун, может на меня налететь в любой момент.

Крепко целую Вас.

Ваш И. Д.

P.S. У нас могут быть в этом году две встречи: одна в Москве, другая в Свердловске, куда меня очень зовет Филармония для концертов. Захочется ли нам после первой иметь вторую? «Безусловно!» — ответил он. А она?

P.P.S. П. Бесконечно рад выздоровлению Вашего сына. Пусть всегда Ваша жизнь будет радостной, и пусть никогда ее не смущают тревоги и несчастья!

16/VIII. Москва.

Милый друг!

Вчера получила, наконец, долгожданный отпуск и вчера уже была в Москве, тиснет стучась к Вам во все двери, что Вы мне дали.

Я не могу Вас отыскать, а время идет, и меня охватывает тревога, что Вы уедете на Кубань, и наша встреча опять [...] <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Машинописная копия этого письма утеряна — сохранилось лишь начало. В виде компенсации привожу фрагмент неопубликованных воспоминаний Л. С. Райнль «Дунаевский — друг», которые хранятся в Государственном центральном архиве музыкальной культуры имени М. И. Глинки:

«И вот я снова в Москве. Звоню Исааку Осиповичу на квартиру, его нет дома, звоню по служебным телефонам — он уже там не работает. Тогда я шлю телеграмму с номером телефона своей временной квартиры, вслед за нею для большей уверенности посылаю коротенькое письмо. Исаак Осипович не откликается, и меня охватывает тревога, что он уедет на Кубань и наша встреча опять не состоится. В растерянности я не знаю, что предпринять. Решаюсь позвонить Зиновию Осиповичу (младший из пятерых братьев Дунаевских, композитор.— *Н. Ш.*), которому с отчаянием пытаюсь объяснить, что я — старый друг Исаака Осиповича, хочу его увидеть и не знаю, как найти. Зиновий Осипович обещает помочь. Я караулю у телефона. Время идет мучительно медленно, не идет, а плетется, как разбитая кляча по плохой дороге. Наконец, не выдержав ожидания, звоню на квартиру опять. И вдруг с невыразимым волнением узнаю голос Исаака Осиповича. Сердце колотится так, что боюсь, как бы стук его не был услышан в трубке. Все приготовленные заранее фразы моментально вылетают из головы. Голос мой чуть не срывается от волнения, нервы — как туго натянутая струна. Из всех сил стараюсь сохранить спокойствие. Происходит примерно следующий диалог:

— Здравствуйте, Исаак Осипович.

— Здравствуйте. Кто это?

— Это я, не узнаете? Привет из Бобровки.

— Людмила, дорогая, это вы? Где вы сейчас находитесь?

— Недалеко от театра Вахтангова.

— Так это же рядом. Знаете что? Садитесь на троллейбус № 2 и приезжайте сейчас ко мне. Я буду ждать

Но тут происходит следующая ошибка. Я нахожусь рядом с временным помещением театра Вахтангова, в переулке Садовских, а не на Арбате. По провинциальному незнанию еду в центр, затем сажусь на троллейбус № 2, но... в противоположном направлении. Приезжаю с большим опозданием. Дверь отворяет сам Исаак Осипович.

В первые минуты, не в силах вымолвить ни слова, склоняется к моим рукам и целует их. Затем проводит в свой кабинет, рассказывая, как волновался он в долгом ожидании меня, подбегая при каждом звонке к двери.

После первых бессвязных приветствий и объяснений показывает квартиру, редкие, даже уникальные вещи. С большой теплотой берет мою руку, просовывая ее под свою и прижимая к себе; так и ходим. Возвращаемся в кабинет. Обращаю внимание на портрет Толстого, вышитый шелком.

Исаак Осипович показывает свой письменный стол, говорит: «За этим столом пишутся вам письма. Здесь я долгими ночами беседую с вами». Достает из бюро пачку моих писем. Спрашивает: «Хотелось ли бы вам перечитать их сейчас?» С любопытством рассматриваю конверты, надписанные угловатым детским почерком. Исаак Осипович отбирает их, бережно прячет опять в бюро и садится за свой любимый рояль, о котором мне так много рассказывал. Играет свою музыку к новому фильму

[Бобровка], 17/IX—1949 г.

Милый друг!

Снова пишу Вам — и кажется, что не разговаривала с Вами целую вечность. Вы мне простите, если я своим молчанием доставила Вам тревогу (а может быть, Вы и не заметили его?).

Ну вот я и в Бобровке. Как сон, пролетел мой отпуск, и вот опять серые будни с их каждодневными заботами и нуждой. Ну что же, все прекрасное на свете мимолетно и быстротечно, но оставляет после себя след, воспоминания, которыми можно жить годы. Я прекрасно понимаю и сознаю правоту философии Омара Хайяма, но органически не могу быть его последовательницей и ловить мгновения, даруемые судьбой, хоть и конец нашего жизненного пути внушает мне ничем не победимый ужас, и я все чаще задумываюсь о нем.

Ну а сейчас — философию в сторону, так как мне хочется рассказать Вам о своих житейских делах и попытаться немного оправдаться в Ваших глазах, так как мое молчание угнетало меня, пожалуй, больше, чем Вас. Но обстоятельства сложились так, что я не имела возможности писать Вам так, как я люблю. А ведь мне нужно сказать Вам, какой с и я ю щ е й р а д о с т ь ю переполнено мое сердце (выражение неправильное, зато очень точное). Как я рада нашей встрече, нашему общению и как огорчена тем, что они происходили так неравномерно, такими урывками и поэтому так много слов, тем, чувств остались невысказанными, незатронутыми. И кто знает, когда судьба будет угодно опять столкнуть наши жизненные пути. Я же себя нисколько не обольщаю надеждой на то, что мне удастся устроиться под Москвой, это слишком сложно. Но сейчас, п о с л е в с т р е ч и, пользуюсь случаем сказать Вам, что я буду счастлива, если когда-нибудь в чем-либо понадобится Вам. Что бы с Вами ни случилось, каким бы Вы ни были — вспомните меня в тяжелую минуту и знайте, что я всегда и с радостью встречу Вас как родного, как нежно любимого брата. Это почти как у Нины Заречной: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». [У меня] не так романтично, зато глубоко и реально.

А теперь Вы должны откровенно высказать свое впечатление о нашей встрече. У меня осталось впечатление, что в Вашей «трансцендентальщине» было больше фантазии, чем реальных чувств.

Ну а теперь о том, с чего надо было начинать письмо.

Долетела я благополучно, хотя и не без приключений. <...>

Дома меня восторженно встретили мои милые родственнички, но... Ёжик отвык от меня и первое время не хотел даже подойти. Зато потом опять стал «маминым хвостиком». После первых приветствий и вопросов чемодан был поставлен на стул и вокруг него выстроились мои сорванцы, с нетерпением, написанным на их милых рожицах, в ожидании подарков из Москвы. И даже «ейная матушка», хлопоча в стороне и не выдержав ожидания, бросала деланно равнодушные взгляды на процедуру открытия чемодана, которую я умышленно затягивала.

«Веселая ярмарка» (впоследствии — «Кубанские казаки»): вступление, хоровую, «Каким ты был», «Ой, цветет калина». Радует, что музыка удачна и в русском народном стиле. [...]

Следующие встречи происходят в переулке Садовских, у моей знакомой и очень милой старушки Е. К. Кроль. Она любезно предоставляет в мое распоряжение свою комнату.

Исаак Осипович с восторгом читает «Рубай» Омара Хайяма, томик, принесенный с собою. Он восхищается ими. Мне тоже нравится оригинальная манера письма и жизненность философии поэта. Вспоминаю, что где-то у Джека Лондона сказано, что Омар Хайям никогда не написал бы свои стихи, если бы не жил на Гаванских островах. Какая это верная мысль! Исаак Осипович дает обещание переслать мне «Рубай». [...]

В комнате мы сидим мало, отправляемся бродить по бульварам. Так много хочется рассказать друг другу! На одной из скамеек Исаак Осипович рассказывает мне содержание «Самого главного» Евреинова, этой «умной, но немного «вывихнутой» пьесы». Я же пересказываю чудеснейшую и поэтичнейшую из сказок — «Русалочку» Андерсена. Долго сидим потом молча, мысленно преломля услышанное... Наконец, Исаак Осипович нарушает молчание замечанием: «Хорошо бы выразить это в музыке». Потом, невесело усмехнувшись: «Пожалуй, прищуют космополитизм».

Вечерняя Москва зажигает свои огни. В открытые окна многоквартирных домов, светящие разноцветными огоньками абажуров, летится разнообразнейшая музыка. Прислушиваясь, Исаак Осипович обращает мое внимание на одну из песен. «Слышите? Это — «Песня о далеком друге», написанная мною для фестиваля». Но, кроме этой песни, слышится много других его песен. [...]

Как сон, пролетел мой отпуск, и я опять должна вернуться домой. Исаак Осипович с большой деликатностью и тактом дает деньги на подарки детям, покупает билет на самолет. Машина его отвозит меня на вокзал...

Свои записки Людмила Сергеевна предназначала для коллективного сборника, посвященного памяти композитора. Сборник вышел в 1961 году — увы, без этих записок.

Люблю я делать подарки, даже, пожалуй, больше, чем получать их! Это у меня отцовская черта. <...>

Не успела я дома оглядеться как следует, как на меня посыпались разные неприятности.

<...> На заводе меня уже с нетерпением ожидали, накопилось много неотложных дел. Да и свои домашние дела требовали немедленного вмешательства: как только я прихожу с работы, так спешу на огород копать картофель. А огород у меня большой, примерно 0,12 га. Выкопаю овощи — нужно будет их убрать на зиму и подготовить жилье к зиме: вставить рамы, обмазать окна и пр., пр. Вам, живущему в столице и на всем готовом, не понять, сколько тяжелой, мужской работы приходится мне повседневно выполнять. А еще говорят о равноправии женщин! Да я любого мужчину за пояс заткну!

Исаак Осипович, я жду с Вашим письмом хоть часть из обещанных мне нот. Вы пошлете мне их, да? И еще попрошу, если это Вас не затруднит, посылайте мне хоть изредка литературные новинки, то, что Вас заинтересует или обратит Ваше внимание. Бедные «лесные женщины» будут очень признательны Вам за такое просвещение.

Мне хотелось бы больше знать о Вашей работе и о Вас. Что представляет собой Ваша новая оперетта «Летающий клоун»?<sup>1</sup> Ее фабула? Какие еще крупные работы намечены Вами в этом году? Помнится, Вы упоминали о каком-то балете. Удалось ли Вам отбрыкаться от поездки на Кубань?

Как это ни странно — я до сих пор не знаю, какое образование Вы получили. Я не сомневаюсь, что музыкальное, но я слышала от кого-то, что Вы окончили консерваторию по классу скрипки, правда ли это?

Вот сколько вопросов Вам на первый раз, хватит на большущее письмо, правда? И я жду его, мой дорогой друг, как всегда, с большим нетерпением.

Будьте счастливы!

Ваша Л.

Омара Хайяма тоже жду.

22/X—49 г.

Милый друг!

Что могло случиться, что я до сих пор не имею от Вас никаких известий? Даже мое письмо, посланное свыше месяца тому назад, тоже осталось без ответа. А я-то, глупая, могла думать, что мое молчание обеспокоит Вас!

Если я неправа, Вы должны простить меня и успокоить мою мнительность, но я не могу быть уверенной в Вас в том периоде, который последовал за нашим вторичным знакомством. Почему Вы молчите? Поймите, что это жестоко — так томить меня ожиданием. <...> Не забывайте, что любая правда лучше неизвестности. <...> Ваше равнодушие будет мне приговором.

Я прошу Вас ответить мне на это письмо немедленно, хоть два слова. Во имя того, что Вам дорого!

Л.

28/X.49 г.

Моя Людмила, мой славный друг!

Против всяких моих, даже самых оптимистических, выкладок и планов мне удалось пропаразитировать на берегу Черного моря (Хоста) целых 5 недель. 12 сентября я уехал, два дня пробыл у Пырьева, и 16 сент[ября] я уже был у благословенного рокота приюба. Я только 24-го вернулся — загорелым, хорошо отдохнувшим и... зверски простуженным в дороге. Ваше чудесное письмо<sup>2</sup> немедленно «выпростал» из кучи корреспонденции и первым прочел. Вы поймете, что я его особенно ждал, как Вы ждете моего письма. Я безумно рад, что наша встреча оставила в Вас хорошее наполнение и хороший, светлый след. Мне казалось, что моментами Вы вот-вот станете дурно и неверно воспринимать эти урывки свиданий, короткие телефонные разговоры — все атрибуты моей суетной жизни. Меня это очень угнетало даже тогда, когда мы с Вами виделись, ибо мне хотелось для Вас большего.

Вы хотите знать мои впечатления?

Мне не хотелось бы рассказывать Вам то особое, что мне сразу бросилось в глаза или, вернее, в душу мою, так тепло к Вам всегда обращенную. Условимся, мой друг, что мы еще

<sup>1</sup> Впоследствии — «Сын клоуна».

<sup>2</sup> Речь идет о письме от 17 сентября 1949 г.

не один раз будем возвращаться к этому вопросу, поэтому позвольте мне быть кратким, чтобы не затягивать письма и не откладывать его отправки.

Я увидел человека родного и уже знакомого мне, пусть немного офантазированного, но тем не менее реального человека, о котором я знал, что ему трудно жить, знал, как он мучительно карабкается, обремененный многими заботами и обязанностями. Но я не ожидал увидеть человека, на котором и во всем поведении которого, во всем облике которого эта тяжелая жизнь была бы так ярко отражена. Это было самое страшное, что не покидало моих ощущений в продолжение всего Вашего пребывания. Я уже и раньше в письмах своих знал, чувствовал, что Вы, Ваша вся внутренняя организация созданы для другой жизни. Но мне казалось, что «смеющаяся Людмила» живет наперекор стихиям. Я не увидел «смеющейся Людмилы»! Я увидел тихо говорящего, почти покорного жизни человека. Это заслонило для меня в Вас и женщину, и Ваш внешний облик, и я, право, даже не могу сказать толком, какие у Вас губы, зубы, рот, глаза. Я не думал об этом, потому что я ловил себя на многих других мыслях и ощущениях. При всей близости нашей, созданной письмами, при всей, казалось бы, простоте, на которую мы оба имели право по стажу нашей дружбы, я чувствовал себя чужим со своим благополучием, довольством, квартирой, машиной рядом с Вами, такой тихой, почти покорной, но так хорошо, ценой огромных усилий справляющейся с тяжестью жизни. Мне стало обидно, больно за Вас, за жизнь, которая, право же, не должна быть такой немилосердной в отношении к таким чудесным людям, как Вы. И все мои желания счастья для Вас, которые я так искренно посылал Вам в письмах, показались мне жалкими перед лицом моей беспомощности.

Я играл Вам, будил в Вашей чуткой душе какие-то мечты, думы и переживания. Возможно, что это были хорошие часы, но что же следует после них? Я читаю Ваше письмо и снова вижу ту же мучительную борьбу одинокого человека, работающего на всех, ухаживающего за больными детьми, копающего картошку в огороде... Не слишком ли строго наказывает Вас жизнь за некогда совершенные неосторожности?

Моя дорогая Людмила! Чувством большой нежности наполнена моя душа к Вам. Нежности и большого уважения. Наша переписка будет жить, как будет жить и наша большая дружба. Берите от нее все, что нужно Вам, Вашей душе, Вашей жизни.

Вот что я прежде всего хотел Вам ответить на Ваш вопрос о встрече.

Обо всем многом другом в следующий раз. После длительного отсутствия накопилась масса дел, и я влезаю в них постепенно — и скоро, кажется, зарежусь головой.

Людмила! Я пошлю Вам все, что Вы просите, но не торопите меня.

Я отвечу на все Ваши вопросы, но не сразу.

Будьте здоровы. Крепко и нежно целую Вас, мой хороший человек, и желаю самого хорошего и светлого.

Пишите мне почаще.

Ваш И. Д.

27/XI—1949 г.

Мой дорогой друг!

Вы, наверное, бог знает что думаете о моем молчании, но я, право же, не виновата. Очень много событий произошло за этот сравнительно короткий срок.

Во-первых, мне Ваше письмо причинило боль, которую могло притупить только время. Вы не совсем правы в Ваших выводах, но первое впечатление всегда бывает особенно ярким, и мне было больно сознавать, что в какой-то степени я не оправдала Ваших ожиданий и Вы разочарованы во мне. Я, конечно, не ожидала, что Вы мной «очаруетесь», но Вы не разглядели, что таилось под оболочкой «тихости и покорности» и какого напряжения стоило мне подавлять свое волнение. Еще во время своего пребывания в Москве я задумывалась над Вашим замечанием о бесцветности, мертвенности моего голоса. Ведь на самом деле это не так. Но я не могла себя заставить разговаривать с Вами иначе, и если голос мой повышался, то я боялась, что он зазвенит и оборвется, как туго натянутая струна, какими были у меня в то время нервы. И даже когда я разговаривала с Вами по телефону, сердце мое билось с удвоенной скоростью. Это не преувеличение, и я не обольщаюсь никакими надеждами, но это было состояние моего духа в то время. Моя покорность происходила из того же источника. Если бы Вы в то время взяли меня под руку и повели за собой, я пошла бы за Вами, не спрашивая ни о чем.

И в то же время я не заблуждалась относительно результатов нашей встречи. Я знала, что в Вашем воображении я чересчур опозитизирована и офантазирована. Когда

я собиралась в Москву, то все Ваши письма сложила и упаковала в бумагу; я с грустью прощалась с ними, зная, что следующее письмо будет принадлежать новому периоду в наших взаимоотношениях. Это был конец сказки. Но, предвидя все это, я тем не менее страстно хотела этой встречи. <...> Я знала, что ничто не отразится на моих чувствах к Вам, потому что они вызваны большой человеческой любовью, гораздо большей, чем те чувства, которые вызываются простой физической близостью и которые Вы называете любовью к женщине. Мне не хотелось говорить об этом, но я не хочу скрывать от Вас даже своих мыслей: мне больно читать сейчас о Ваших поцелуях. В действительности Вашей дружеской привязанности не хватило на то, чтобы по-дружески, без всяких задних мыслей, поцеловать меня при встрече или при прощании. В Вас даже не возникло этого желания, такого естественного для родственных или дружески настроенных людей; Вы в это время ловили себя на других мыслях. А мне, если бы я увидела своего друга «униженным и оскорбленным», тем более захотелось бы его приласкать и утешить. Вы даже в последний вечер не захотели меня проводить до вокзала, хотя я прекрасно поняла, куда Вы спешили и почему отпустили машину назад.

Вот что я должна была сказать Вам в первую очередь!

Кроме того, письмо это не было написано в срок еще по следующим причинам: скоро уже будет месяц, как мы сидим дома почти в полной темноте. Высоковольтную линию, от которой мы освещались, отключили, а от завода напряжение в сети так падает, что у нас только тускло светят волоски лампочек. Затем у меня произошло несчастье: сломался передний зуб, и это было мне неприятно по многим причинам. И потому, что портило мою далеко не блестящую внешность, и потому, что вызвало много совершенно непредвиденных, выбивших меня из колеи, расходов и поездок к протезисту в Свердловск.

В это же время произошли еще очень важные, особенно для меня, события. К нам на завод приехали одна за другой две комиссии по вопросам работы нашего завода и качества выпускаемой продукции. Первый раз приехала инженер-исследователь [...]¹ <...> Пришлось очень много времени провести вместе. Приехала она настроенная против меня, а уезжая, сказала: «Я уважу о вас самое хорошее впечатление». Таким образом, я завоевала себе нового друга, видного работника в министерстве, где она, как я узнала позже, высказала это свое хорошее мнение обо мне и как о работнике, и как о человеке. <...>

После праздников приехал новый ревизор — крупный научный работник в области слюдяной изоляции — [...] Когда я впервые его увидела, меня поразили его глаза — столько в них было ума и проницательности. <...> Позже я убедилась в его громадной силе воли, железной логике ума, общей образованности и культурности. Мы стали с ним друзьями через 2—3 дня знакомства. <...> Он сказал, что в его силах и влияния устроить мой перевод в Хотьково прямо сейчас, но он бы мне советовал уйти не слабой, а сильной. Тогда меня будут больше ценить как специалиста. <...> И он делом подтвердил свою дружбу и готовность помочь мне: заставил немедленно сделать необходимый ремонт в квартире, обеспечил за мной, как за преподавателем, группу начальников цехов и ИТР, взялся помочь получить подъемные, на которые я уже махнула рукой, и многое другое. В его присутствии я чувствовала себя так же свободно, как если бы разговаривала сама с собой. Поэтому я не могла не рассказать ему о Вас. А при прощании <...> он не постеснялся расцеловать меня, я, конечно, немножко увлеклась им, как Вы изволили справедливо заметить.

Прошло два дня, как он уехал, и я полна энергией и желанием работать по-новому.

Благословите меня, друг мой, на эту борьбу и помогите мне своими советами и участием. <...> И когда Вы говорите о «тихости и покорности», то Вы ошибаетесь. Я мятежна и не боюсь борьбы, но, конечно, у меня достаточно ума, чтобы осознать, что с и с т е м у не изменить и не переделать.

Пишите мне, мой хороший, свои нужные мне письма. Будьте счастливы и пожелайте мне того же. Сегодня я уже богаче, чем была вчера.

Ваша Л.

5.XII.1949 г.

Дорогая Людмила! Ваше письмо очень долго брело ко мне. <...>

Если Вы хорошенько подумаете, то придете к убеждению, что никакие разочарования не могли иметь место в нашей встрече. Я давно был готов увидеть и принять Вас такой, какая Вы предстанете реально предо мной. Я давно был готов к тому, что той Людмилы, за

¹ В этом письме Людмила Сергеевна тщательно зачеркнула фиолетовыми чернилами не только отдельные имена, но и некоторые фразы.

которой я романтически ездил куда-то далеко в Москве — ее уже давно нет. Я это видел по письмам. И я н юноша, чтобы упрямо утверждать в своем представлении те или иные выдуманные образы. Я готов скорее признать, что Вы разочарованы и мною, и моим приемом. Но то, что Вы увидели, это и есть моя «нормальная» жизнь, лишаящая меня часто возможности быть таким, каким мне хочется. К моему большому сожалению, к моей боли, я не мог этого изменить даже ради Вашего приезда. А я ведь прекрасно знаю, чем он был для Вас. Вы говорите о проводах, поцелуях, о внешних выражениях человеческого отношения. Но... я играл Вам свою музыку, я переворачивал свои страницы души для Вас, и не кажется ли Вам, что это крепче и глубже поцелуев, которые просто не шли на ум. Я не думал о поцелуе, потому что при встречах с Вами я думал о Вас, прислушивался к тому тихому голосу, который меня поразил и который отозвался в моей душе странной смесью глубокого сострадания и дружеской нежности. Нет! Я понял, что письма так мало, в сущности, дают представления о реальном человеке. Вы — очень хорошая и очень несчастная! Таково было мое впечатление, которое я поверил Вам в своем письме.

В нашей переписке наши души представляли друг перед другом обнаженными. Это их сближало, роднило. Отсутствие всяких реальных обстоятельств позволяло легко и свободно парить этим душам. Когда же мы увидели друг друга, когда все стало таким простым и обыкновенным, что приходилось стесняться что-то сказать или что-то сделать, тогда я понял, как далеки наши подлинные жизни со всеми их частностями, интересами, взглядами, наклонностями и т. д. Это все очень естественно, и вместе с тем это глубоко угнетало меня в продолжении всего Вашего пребывания.

Я прочитал Ваше письмо. Оно меня порадовало тем, что новая приобретенная дружба и внимание, которое Вам было оказано, окрылили Вас, наполнили новыми силами и энергией к совершению новых и важных дел. Пожалуй, такие чувства рождает только любовь. И если она снова пришла в Вашу душу, то можно только радоваться. Я не понимаю многого, о чем Вы пишете. От меня далека жизнь Вашего завода с ее спецификой. Я не понимаю, почему только с приездом этих людей Вы могли занять на заводе подобающее Вам место, улучшить Вашу материальную обстановку. Я не понимаю, кто мешал Вам развернуть в полную силу свои дарования и свою работу. Я не понял, почему только с приездом NN Вы произвели ремонт в квартире и обзавелись группой учащихся из начальников цехов и т. д. Все это для меня неясно. Но мне ясно одно: в былые годы Вы ставили меня перед фактом своих страшных разочарований в людях, которые вызывали Вашу любовь и которым Вы отдавали свое сердце и тело. Вы описывали мне уже закончившиеся, свершенные и невозвратимые события. Сейчас Вы изменили такому методу информации. Сейчас Вы посвящаете меня в процесс зарождения новых чувств, новой дружбы, а может быть, и новой любви. Это хорошо, и поскольку это так, мне хочется пожелать Вам только одного: строже и внимательнее присматриваться к людям, способным задеть Ваши струны сердца. Страшны не те люди, мимо которых мы равнодушно проходим. Страшны те, в ком мы потенциально чувствуем силы и способность перевернуть наши души, сделать сегодняшний день непохожим на вчерашний. Страшны они потому, что эти силы их могут быть благословенны и могут в конце концов быть прокляты за тот огромный вред, которые они нам в состоянии причинить. Разобраться в этом, понять вовремя ход этих чарующих сил и должно быть Вашей задачей, если Вы действительно стали сегодня богаче, чем вчера.

Вы много неприятного и несправедливого написали мне по поводу нашей встречи. Но я спокоен. Я не смог бы взять Вас за руку и повести за собой, как Вы пишете. Вся история моих отношений к Вам есть история бескорыстных и простых человеческих чувств. Вы это раньше сами подчеркивали. Все осталось по-прежнему, как осталось прежним и мое страстное желание, чтобы Вы были счастливой. И если я Вам мог дать счастье, то это счастье было выражено только в нежной дружеской преданности. Я не мог дать Вам ни счастья любви, ни счастья трепетного поцелуя. Это счастье Вы должны получить от других, от другого. И прочтя Ваше письмо, я почему-то подумал с улыбкой, что не Вам, а мне надо сложить с грустью Ваши чудесные письма, свидетели тяжелых лет борьбы, разочарований, скитаний, душевных смятений и мук, которые я так искренне всегда стремился облегчить своими слабыми и немоющими писаниями. Не забудете ли Вы меня в эти дни новых приобретений, нового обогащения? Я слишком хорошо знаю людей, плохих и хороших... Наверное, надо уже привыкнуть к тому, чтобы не ждать писем из арамильской Бобровки — и без того очень редких.

Дружба? Но ведь она тем и примечательна, что не позволяет оправдывать молчание

любимыми важными и выдающимися событиями. Наоборот, эти события должны быть поводом для больших и неотложных разговоров с другом.

Будьте счастливы, Людмила, и пишите мне хоть в перерывах между большими событиями. Я всегда с радостью принимаю Ваши письма.

Ваш И. Д.

11/XII—49 г.

Мой милый, дорогой друг, родной мой!

Случайно произошло так, что я получила Ваше письмо, из которого повеяло на меня такой грустью, отдавшей болью в моем сердце. Если бы я не получила этого письма, все равно сегодня написала бы Вам свое. Потому что это не только мое желание, это необходимость для меня. Потому что нет на свете у меня никого ближе Вас, потому что только Вам я могу и хочу об этом писать.

Новое страшное испытание приготовила мне Судьба. И это в то время, когда я почувствовала в себе силы вступить в борьбу с нею! Мой старший сын — девятилетний Юрка — упал (его толкнули) в школе с лестницы второго этажа на голову. Он съезжал вниз по перилам на животе, когда его толкнули — он не удержался, перевесился, и... в учительскую его внесли уже в бессознательном состоянии. Тяжкую весть мне передали по телефону, и я прокляла эту Бобровку окончательно. Целый час я потеряла в поисках лошади и врача, причем врача в этот вечер так и не удалось найти.

Страшную ночь провела я у постели своего сына. Наружных повреждений, кроме синяков и ссадин, у него не оказалось, но были сильные головные боли и рвота. Всю ночь он кричал и плакал, и его рвало. На следующий день с утра ему было легче, он даже немного читал, а потом к головной боли прибавилась глазная боль. Его стали раздражать всякий шум и свет, пришлось затемнять комнату. И при этом полное отсутствие аппетита и не прекращающаяся рвота. Сегодня я отвезла его в нашу больницу, там ему будет спокойнее, но будущее мрачно: выживет ли он и, если останется жить, будет ли нормальным ребенком? <...> И ужаснее всего было то, что как раз накануне я его наказала, и он мне с недетской горечью заявил: «Чем такая жизнь, уж лучше умереть». <...> Если бы он был сыном какого-либо высокопоставленного папаша, то, наверное, предприняли бы все для его спасения, а медицина сейчас богаче, чем прежде. Почему же он должен погибнуть, если родился у такой матери, как я? За что? За то, что я неудачник в жизни, что до сих пор не могу жить, руководствуясь только расчетами, насиловать свои чувства? <...>

Никому, кроме Вас, не могу и не хочу я писать об этом. <...>

За что? Лучше не имела бы я того, что цените во мне Вы: ни чуткой души, ни честности во взглядах и поступках. Насколько бы тогда жизнь была проще и спокойнее, не было бы ни лишних волнений, ни переживаний, да и материально жизнь устроилась бы иначе: вышла бы я замуж за NN, чего ему, кажется, очень хочется, и... обманывала бы его с его же товарищами — просто так, от нечего делать. И жила бы не так, как приходится жить сейчас!

Но почему же то хорошее, гуманное, что ценим мы в человеке, обращается против него же? Я не могу торговать ни собой, ни своими чувствами. И не дай бог, чтобы мои дети, если они у меня уцелеют, получили мою душу и мою судьбу!

Ваше выступление по радио слушала, несмотря на то, что сильно заболела в тот день (грипп и ангина). Больная, я дома не прилегла ни на минуту, чтобы не свалиться совсем, и прошла-километр для того, чтобы не пропустить это выступление (я слушала передачу у директора завода, имеющего приемник). Знайте и цените!

Пишите мне немедленно, что делать с сыном. Его госпитализировали на 40 дней (если он их проживет), и я совсем потеряла голову. Не будьте ко мне несправедливы и знайте, что мои чувства к Вам умрут вместе со мною.

Ваша Л.

#### Телеграмма

18.XII.1949 г.

Очень огорчен новым несчастьем, новыми испытаниями Вашей воли. Будем надеяться благополучный исход. Прошу сообщить немедленно, чем могу помочь, нужны ли Вам деньги. Всей душой сочувствую, желаю благополучия.

Дунаевский.

19/ХІІ—49 г.

Дорогой друг!

Сегодня исполняется десять дней со дня несчастья с моим сыном. <...> Сейчас уже третий день он чувствует себя гораздо лучше. <...> Доктора говорят: «Отлежится, но нужно выдержать в больнице». Дома у меня тоже не все благополучно — вот уж, истинно, испытание моей воли: Танюшка простудилась и лежит больная, а маленький Сережка опрокинул кастрюлю с горячей водой и обварил себе руку. Ручка вся в пузырьках, а местами кожа слезла. И главное: такой крошка! <...> Мама тоже очень плохо чувствует себя, и я решила принять все меры к тому, чтобы в следующем году уехать отсюда. Чтобы только не зимовать здесь третью зиму. Ее нам не выдержать. <...>

Совершенно неожиданно достала Вашу «Песню о далеком друге» (не дождавшись ее от Вас), мне она очень нравится, и мы с дочкой часто ее поем. <...>

Чем заняты Вы, мой друг, сейчас? По-прежнему ли собираетесь приехать в Свердловск или нет? Как прошел смотр произведений советских композиторов? Оценили ли Вашу музыку к фильму «Веселая ярмарка»? Как поживает Ваш «Летающий клоун»? А мой Омар Хайям?

Ну, конечно, чтобы завтра же отправить это письмо, да и мысли у меня все такие невеселые. В общем — не удалась мне жизнь, но есть в ней светлое пятно, светлый луч, который согревает ее с самой ранней юности: это необычная дружба с Вами, мой дорогой. Без Вашей дружеской поддержки и участия мне было бы очень тяжело. И это, пожалуй, самое большое счастье, выпавшее мне в жизни. <...>

Мне бы очень хотелось, <...> чтобы в наступающем 1950-м году, в году Вашего пятидесятилетия, все Ваши желания сбылись, а планы увенчались успехом. И чтобы Вы не загордились (!) и не забыли о маленьком человечке — Вашей бывшей «смеющейся Людмиле»!

Живите, творите и будьте счастливы!

Ваша Л.

7.ІІ.1950 г.

Дорогая Людмила! Как же могло случиться, что моя новогодняя телеграмма Вам осталась даже без вежливого ответа? Как могло случиться, что единственным человеком, не поздравившим меня с моим 50-летием, оказались Вы?

Я долго накапливал в себе это большое недоумение и обиду, которая стала перерастать в серьезную тревогу.

Пожалуйста, напишите мне немедленно. <...>

Мне хотелось бы, чтобы Вы меня забыли (если уж тому суждено) только от нового большого Вашего личного счастья. Хотя это и больно, и обидно, и жестоко забывать старых друзей, но... мне всегда так хотелось, чтобы Вы были счастливы, что я готов смириться с Вашим молчанием. Правда, и в этом случае меня не покинет надежда, что, попривыкнув к счастью, Вам все-таки захочется поговорить со старым другом из Москвы.

Не забудьте же моего адреса, Людмила, и оставьте для памяти хоть один конверт.

Это письмо я посылаю с уведомлением о вручении, так как очень беспокоюсь о Вас. А ведь если с Вами что-нибудь случится, никто не даст мне знать.

Но я молюсь за Вас всем моим богам и уповаю на Вашу скорую весточку.

Ваш И. Д.

15/ІІ—50 г.

Милый, милый друг!

Самым большим, самым радостным для меня подарком ко дню моего рождения явилось Ваше письмо, мой хороший! И в этот же день — вторая радость: по радио слушала передачу о Вашем юбилее и чествование Вас. Как замечательно тепло приветствовали Вас, какие хорошие были выступления. <...> Я так горжусь Вами, так рада за Вас! Но мне глубокую боль причинил Ваш справедливый упрек в том, что только я, и именно я, не приветствовала Вас в этот большой и хороший день Вашей славной, светлой жизни. Я, которая с радостью приняла бы на себя от Судьбы все то, что причиняло Вам неприятность или боль,— только чтобы Вам было хорошо и радостно и Вы творили бы свою замечательную музыку, такую же чудесную, как весь Ваш внутренний облик.



Мой дорогой друг! Мне очень грустно. <...> Мне приходится со стыдом признаться, что я не знала и сейчас не знаю точно даты Вашего рождения — кроме того, что Ваше 50-летие будет в 50-м году. Поэтому я предусмотрительно, поздравляя Вас с Новым годом, поздравила и с наступающим юбилеем. <...>

<...> Ничего особенного у меня не произошло, да и не могло произойти, кроме плохого. Но об этом сейчас говорить не время.

Мой новый друг пишет мне хорошие, но осторожные письма, и я не пойму, чем это вызвано — недоверием или чем-либо другим. Хотелось бы мне вас познакомиться, Вы помогли бы мне лучше разобраться во всем. Возможно, удастся приехать в марте в Москву. <...>

Исаак Осипович! Желаю Вам долгих, долгих лет хорошей и радостной жизни. Творите по-прежнему свою чудесную музыку. Спасибо Вам за все, чем являлись Вы для меня, маленького человечка, который любит Вас такой большой любовью.

Ваша Л.

21.II.1950 г.

Людмила, дорогой друг! Я получил, наконец, Ваше письмо. <...> Вы мало о себе пишете, но и этого достаточно, чтобы поругать Вас за то, как мало нужно Вам, чтобы разочароваться в дружбе. Почему и на каком основании Вы решили, что я могу хотеть «освобождения» от Вас? Чем Вы так угнетаете мою жизнь, мешаете ей, что я могу хотеть избавиться от Вас? Поистине, надо обладать большой мнительностью или юмором, чтоб так думать.

Я выслушал Ваши нежные упреки в письмах после Вашего возвращения из Москвы. Я эти упреки внешне заслужил, но внутренне я остался для Вас тем, кем и был все эти годы. Ничто не изменилось в том Вашем образе, который я привык беречь в своей душе. А то, о чем я Вам осенью писал, и то, что немного разошлось с представлениями о Вас, имеет такое в сущности маленькое значение, что давно стерлось и ушло. Реальность, столкнувшаяся с мечтой, не убила и не могла убить нашей старой, хорошей дружбы. Я не нашел в себе «мужского» отношения к Вам. Я пылливо изучал свои ощущения, считая, что эти «мужские» нотки были бы законны и... желательны, как некая добавочная эстетическая надстройка. Возможно, что если бы она была, вспыхнула при встрече, то украсила бы наши отношения. Возможно, что она представила бы большую опасность для них. А поскольку существует такое «возможно», я недолго предавался этим мыслям, считая, что самое главное существует. И это самое главное в том, что я по-прежнему хотел и хочу Ваших писем, Ваших бесед, Вашего тихого голоса, Вашей нежной и теплой дружбы. <...>

Ваш И. Д.

17.IV.1950 г.

Дорогой мой друг! Сегодня я уже должен трепетать перед Вами, вымаливая прощение за мою неаккуратность. Мне больше хотелось бы писать о Вас, но придется давать объяснения и писать о себе. Постараюсь короче.

Жизнь моя в Москве стала до того трудной и отрицательно влияющей на творческую работу, что мне уже дважды пришлось бежать из Москвы для спасения моего «Клоуна». <...> Бесперывные заботы и дела, связанные то с одним, то с другим делом, умопомрачающее количество телефонных звонков, заседаний, совещаний — все это мучит, терзает, угнетает. Я всегда любил свой рояль, свой кабинет, свой стол и скептически относился к так называемым «домам творчества». Однако на этот раз поддался советам друзей и отправился в Дом творчества нашего Союза [композиторов] в Старую Рузу — в 100 км от Москвы. Я не ожидал, что увижу: 1/ превосходную природу, на фоне которой находится этот Дом; 2/ превосходные условия для работы. <...> В моем распоряжении была трехкомнатная дача — типа коттеджа со всеми удобствами культурного быта, хорошим роялем и т. д. <...> Сейчас, благодаря этому, «Клоун» так подвинулся, что театр приступает в ближайшее время к постановке, намеченной первой премьерой летнего сезона. Какова же моя работа, какова ее оценка со стороны театра и тех, кто ее уже слушал? Отзывы очень хорошие, и я думаю, что новая оперетта не будет хуже «Вольного».

И все-таки я хочу поскорее закончить о себе и перейти к Вам. Милая Людмила! Я уже привык к тому, что, получая Ваши письма, я жду какой-нибудь очередной пакости, приготовленной Вам милейшей фортуной. Это стало, к сожалению, лейтмотивом Вашей жизни, и я все жду и надеюсь, когда же Судьба пошлет Вам хоть немного счастья

и благополучия. Что-то промелькнуло радостное в Ваших зимних письмах, а потом и Вы уже сами ничего об этом не пишете. Мираж? Случайный проблеск? А потом это ужасное несчастье с Вашим сыном. Я так переживаю все это, потому что сам по-отцовски понимаю, какое это несчастье. <...>

Вполне понятно, что все это угнетает Вас. Но почему Вы вдруг заговорили о смерти, о каких-то предчувствиях? Людмила! Я не узнаю Вас, и мне странно читать Ваши строчки. Я даже не хочу ссориться с Вами по этому поводу, а тем паче говорить банальности. Но если бы Вы знали, как мне хочется Вас утешить и как мне хочется, чтобы Вам было хорошо. Вы мне представляетесь человеком, которого опутали сетью, из которой он никак не может выкарабкаться. На меня страшно влияет Ваше состояние. <...> Но не вздумайте скрывать от меня Ваши переживания сочинением «многокрасочных» писем. Это не нужно мне. Мне нужна Ваша настоящая радость, чтоб я мог порадоваться вместе с Вами. Чем же я могу Вам помочь, мой друг? Подумайте и напишите, не стесняйтесь. <...>

Я очень тронут Вашим возмущением по поводу недооценки моей личности, но... сие дело от нас не зависит. Что же касается Сталинской премии, то фильм «Кубанские казаки» будет обсуждаться за 1950 год, так как он вышел уже после окончания сессии Сталинского комитета. Думаю, что фильм этот будет премирован. Если судить по громадному резонансу и распространению, какие сейчас получила моя музыка, то надо надеяться, что и я не буду обижен. Но... все может быть. Так сейчас все зыбко, так много посторонних соображений влияет на оценку людей и их работы, что трудно что-либо предугадывать. Вы правы, когда пишете, что по сравнению с любовью народа все остальное — ничто. Я всегда смотрел так, а теперь тем паче. И я работал раньше и теперь работаю не для наград и премий. А так называемая официальная оценка? Она так подмочена людьми, вертящимися вокруг нас, она изобилует вследствие этого таким количеством нелепостей, что скоро потеряет свою ценность и значение. Поэтому — работать, только работать, пока твое дарование способно производить ценности и пока твоя музыка способна радовать сердца. Что может быть выше личного удовлетворения, личной убежденности в правоте и нужности твоей деятельности?

Позвольте мне крепко поцеловать Вас и пожелать Вам радости и счастья. Жду писем.

Ваш И. Д.

25/IV—50 г.

Мой дорогой друг!

Для меня было очень приятным сюрпризом получение от Вас нот и письма накануне весеннего праздника. Хитрец! Вы знаете, чем замолить свою вину! <...>

Вчера слушала по радио музыкальный очерк о Вас — и до сих пор под обаянием Вашей музыки и Вашего образа. Да, я могу отдать должное своему вкусу, когда в чудесное время светлой и трепетной юности полюбила Вашу музыку. Вы заслужили себе бессмертие, и Ваши песни долгое, долгое время будут петь и любить простые люди всех стран. Такое сочетание — чудесный музыкант и прекрасный человек! Я горжусь Вами и немножечко собой — за то, что имею право называть Вас своим другом. <...>

Мне еще очень много хорошего хотелось бы Вам сказать, но боюсь, что Вы будете меня обвинять в пристрастии или «сочинении». Да и поздно уже, а завтра у меня трудный день. А Вы еще ждете чего-то нового и хорошего в моей жизни. Но, милый друг, у меня без перемен, ничего ни хорошего, ни плохого. Зимняя радость — не мираж, а скорее случайный проблеск. В одном из своих новых друзей я уже жестоко разочаровалась, но в другого — верю до сих пор. Здешняя жизнь меня засасывает до отчаяния, я скоро начну пускать пузыри. Если бы Вы могли спасти меня от нее, вырвать отсюда! Боже! Какой несбыточной мечтой кажется мне жизнь в Москве или под Москвой! И подумайте, что мечта всей жизни может иногда не осуществиться из-за какого-либо пустяка. Мне, например, при возможности найти работу в десятках мест никогда не жить в Москве из-за невозможности получить квартиру. К сожалению, в нашей жизни доминирует материальная основа. Да кто знает? Может быть, в других условиях и моя жизнь сложилась бы совсем иначе. А сейчас? Ну чем можете Вы мне помочь? Изменить мое материальное положение Вы не можете, да я и не хочу, чтобы наши отношения вылились бы в такую форму. Достаточно того, что Вы уже сделали для меня. Но подумайте: мама моя одевалась очень хорошо, а я в своей жизни помню только одно хорошее платье — то, которое подарил мне отец на заре моей юности. А после его гибели я уже не имела возможности иметь то, что мне хотелось, или то, что мне нравилось. И так во всем. <...> Сейчас жизнь становится труднее из-за того, что дети

растут, заботы о них — тоже. А Юрий! Многих лет жизни стоит он мне! Да что и говорить! Вам многого не понять потому, что это нужно испытать на собственной шкуре.

Больше об этом я писать не хочу и не буду. Но я не хочу ни Вашей жалости, ни помощи — слышите, мой друг?

У нас стоит чудесная погода, и все мы с нетерпением ждем майских праздников. Пользуюсь случаем поздравить Вас с ними и пожелать подольше Весны в Вашей жизни и творчестве.

А в Москву я все же надеюсь вскоре попасть. Хорошо бы к премьере Вашего «Летающего клоуна»! Надеюсь, что Вы сможете уделить и моей особе хоть частичку своего времени.

Мой дорогой друг. Сейчас по радио передают Вашу музыку. <...> Как будто лично Вы говорите мне слова приветов и ободрения.

Но возвращаясь к своему письму. Вначале у меня было желание не писать ничего, что могло бы Вас огорчить. Но, прочитав Ваше письмо до конца, мне стало стыдно за свое желание. Возможно, что настроение мое усугубилось тем, что И. З., человек, которого я называла другом, оказался просто мелким жуликом, удравшим вместе с моими подъемными (и не только с моими), которые он выманил у меня под предлогом приобретения у своих необыкновенных знакомых материала и меха на мое зимнее пальто. Причем мне не так жалко денег, которые не были для меня лишними, как того, что я потеряла человека. Видно, жизнь меня так и не научит трезвости и расчетливости. Ну, об этом хватит.

Мне гораздо приятнее сказать Вам, что песенки из «Кубанских казаков» здесь все распевают. Особенно «Каким ты был». <...>

Не думайте, пожалуйста, что я всегда грущу и хнычу. Я не утратила еще способности радоваться Вашим успехам, улыбке моих детей, солнечному дню и многому другому. Но разве Вы не верите предчувствиям? Мне кажется, что я стала больше ценить жизнь потому, что мне скоро придется с ней расстаться.

Надеюсь в этой жизни еще с Вами встретиться!

Ваша Л.

20/XI—50.

Дорогой друг!

С трепетом берусь за перо, но надеюсь, что Вы, прежде чем казнить меня, прочтете это письмо, а прочтя,— простите меня. Эта ночь посвящена не сну, а беседе с Вами.

Вы знаете, как мне было не по себе перед отъездом из Москвы. Боже, как я благодарна Вам за то, что Вы дали мне возможность выехать из Москвы. Что было бы, если бы я еще на несколько дней задержалась в Москве!<sup>1</sup>

Приехала я 12-го утром, отправилась с вещами на свой заводской автобус, а там знакомые женщины сообщили мне ужасную новость: Сережа заболел скарлатиной и отправлен в арамильскую больницу в понедельник, в день моего отъезда. Я, бросив в автобус вещи, мчусь в Арамил. Там разыскала заразное отделение, но не могу найти Сережу. У меня уже от отчаяния и ужаса мысли стали путаться. Потом одна добрая душа надоумила обратиться в терапевтическое отделение, где я, наконец, отыскала своего Ёжика с мамой. К счастью, его не допустили в скарлатинное отделение. Потом оказалось, что он болен в сильной форме ангиной, но в тот день мне огромного труда и сил стоило вырвать его на поруки из больницы. Если бы он пробыл там еще несколько дней и без бабушки — мне бы его не видать: холод, трехразовое питание без молока — и больной крошка 2,5 лет. А он, как увидел меня, так и прилип.

А в это время двое других моих детей остались одни в доме [...]. Работники больницы сделали дезинфекцию, испортили мне массу вещей и ушли, прибыв к воротам объявление: в доме скарлатина, кто войдет — штраф 50 рублей. И бедные отверженные и голодные дети оставались в страшном и холодном доме трое суток (хорошо, что не больше). К ним украдкой по очереди приходили ночевать еще двое детей, посылаемых одной моей сердобольной знакомой. Спали при свете. Питались картошкой и хлебом.

Теперь это все позади, но даже вспомнить страшно. Недельку я приводила все в порядок, а потом вышла на работу и окунулась в массу накопившихся старых и новых дел. Домой прихожу поздно. Все свободное время оккупировал Ёжик, который после болезни особенно привязался ко мне. Он сейчас особенно забавен и объясняется в своих чувствах следующим образом: «Любу кепко маму, мама дагалья маля». Моей же дочери я обязана сохранением своего имущества.

<sup>1</sup> В начале октября 1950 г. Людмила неожиданно приехала в Москву на несколько дней.

Надеюсь, я заслужила Ваше прощение? Если бы Вы знали, как часто порывалась я писать Вам (и не имела физической возможности выполнить это), как мысленно я разговаривала с Вами — Вы бы не сердились на меня. А Ваше письмо, которое Вы посчитали устаревшим, я перечитываю много раз и не устаю восхищаться Вашей проницательностью и знанием жизни. Вы тысячу раз правы, а Ваш «аристократизм души» мне очень понравился. На себя я сейчас взглянула Вашими глазами, как-то со стороны. Действительно, сложность и противоречивость моей душевной конструкции обрекли меня почти на одиночество, а простые человеческие желания и незнание жизни — на страшные разочарования.

Но Вас я «кепко люблю» и верю, что это испытанное временем и жизнью чувство никогда не принесет мне разочарования. Если бы моя жизнь была немного легче и я имела бы свободное время, то написала бы историю дружбы с Вами, и это было бы песнью ликующей радости, что Вы существуете и озаряете «мою жизнь».

⟨...⟩ А сейчас Вы, наверное, концертуете, и я целую вечность буду ждать ответа. Желаю Вам заслуженного успеха и счастья. Вы — чудесный человек и самая крупная удача в моей жизни.

Пишите мне скорее.

Ваша Л.

26/ХІІ—50 г.

Дорогой мой друг!

Что-то давненько от Вас ничего нет. Реже стали Вы баловать меня своими чудесными письмами. И я не так сержусь на это, как раньше.

Сегодня вспомнилось мне то далекое время, когда я была девчонкой, веселой и задорной. Вспомнилось незабываемое наше знакомство. И стало как-то грустно и хорошо.

Мне хочется поздравить Вас с наступающим Новым годом и пожелать всего самого наилучшего: благополучия, успеха, радости, счастья, здоровья — Вам и Вашим близким. Хотелось бы мне хоть один раз встретить этот праздник с Вами. ⟨...⟩

На днях слушали по радио литературно-музыкальную передачу «Дорогие мои москвичи». Наконец-то я своими ушами услышала Ваше новое звание: НАРОДНЫЙ артист республики — Дунаевский. Я очень-очень рада за Вас и от души поздравляю с заслуженной наградой. Меня вообще очень удивляют и восхищают Ваши неиссякаемая энергичность и работоспособность. ⟨...⟩

Исаак Осипович, пришлите, пожалуйста, обещанный юбилейный сборник Ваших песен. И — если у Вас есть — песню «Голос Москвы»: мне хочется обучить здешний хор. С нею связаны у меня некоторые воспоминания — правда, грустные.

У меня дома без особых перемен. Все здоровы — и слава богу. Зима в этом году (пока) очень мягкая, и я просто наслаждаюсь ею. Ребята научились кататься на коньках и все свободное время пропадают на пруду. Меня подмывает присоединиться к ним — придется приобретать ботинки с коньками. Ежику приходится ограничиваться санками. Дня через 3—4 устрою им елку. Они полны нетерпения: только и разговаривают о ней.

Когда Вы будете в наших краях? И как поживает Ваш «Летающий клоун»? Начали ли работу над новым фильмом? Хочется быть в курсе Ваших дел и жизни. Раньше Вы находили возможным присылать мне еще неизданные вещи, а сейчас забываете прислать даже увидевшие свет. А? Милый друг, нехорошо.

Не сердитесь на меня, я шучу. Я же на горьком опыте убедилась, как Вас рвут на части, и Вы даже не можете располагать своим временем. ⟨...⟩

Еще раз — всего хорошего.

Желаю хорошо встретить Новый год и так же прожить его. ⟨...⟩

Ваша Л.

Москва, 19 февраля 1951 г.

Вот уж перед кем я виноват, так это перед Вами, моя дорогая Людмила! ⟨...⟩

Передо мной два Ваших письма. Одно с описанием приезда и всех треволнений, связанных с болезнью Вашего Ежика. Когда я читаю Ваши беды, неисчислимо щедро сыплющиеся на Вашу голову, меня всего трясет от возбуждения и ярости. Пора уже злодейке Судьбе оставить Вас своим неусыпным «вниманием» и обратить его на кого-нибудь другого. ⟨...⟩ По этому поводу у меня приходят на мысль довольно неожиданные ассоциации. Как-то в вагонной беседе с одним симпатичным и, представьте себе, интеллигентным генералом я нашел подтверждение своим старым мыслям, что героизм на войне в подавляющем большинстве случаев возникает из простого желания сохранить себе

жизнь и что только в очень количественно ничтожных случаях он является результатом обдуманных, высоких моральных побуждений. Я думаю, что это полностью относится и к быту. Я давно с восхищением слежу за Вами, за Вашей утомительной борьбой с несчастьями и бедами, преследующими Вас. И я думаю, что Вы не проходили специальных курсов сопротивления и что Ваша воля к сопротивлению, Ваши героические победы возникли в результате борьбы за жизнь, как бы она порой ни казалась Вам ненужной и враждебной. Я вспоминаю некоторые мрачные Ваши строки, полные отчаяния и безнадёжности, и... все-таки, ощущая непринужденный и даже почти равнодушный тон Вашего описания приезда из Москвы в «родные Пенаты», я начинаю убеждаться, что Ваш героизм становится уже чем-то вроде постоянного занятия. Так что к Вашему званию инженера-химика я бы прибавил ученый титул профессора по борьбе с Судьбой. Не удивительно, что в том же письме Вы посвящаете чудесные мысли и строчки нашей дружбе, нашим отношениям. Я понимаю, как дорого самое пустяковое внимание к человеку, вечно барахтающемуся в тисках бытовых и личных неудач. Наши отношения чисты с самого начала и до конца. Наша дружба крепка и содержательна. Но не могу скрыть от Вас, что мое внимание к Вам глубоко огорчает меня ничтожностью его проявлений. И, прося у Вас прощения за мое долгое молчание, я прежде всего проклинаю себя за то, что посмел так долго не отвечать на Ваше замечательное письмо, на радость и светлость Вашего внутреннего состояния, рожденного мыслями о нашей дружбе. Проклинаю себя за то, что, имея возможность гораздо чаще и активнее влиять на Ваше состояние и положение, я это делаю робко и вяло, оставляя Вас часто наедине со страшными лишениями, оставляя Вас часто не только без материальной поддержки, но даже без дружеского сочувствия. В моей жизни, в моей душе имеется одна страшная рана, одна страшная проблема, заключающаяся в двойственности моей жизни, моего бытового существования. Я отгоняю, вследствие своей неспособности решать подобные задачи, тот день, когда эта проблема, нагло представ передо мной и подбоченясь, крикнет мне: «Настал час!» Я живу длинный ряд лет с этой болячкой, разъедающей мои нервы и сознание, и никак не могу ее вылечить. Но в остальном... передо мной жизнь, полная внешнего благополучия, успехов, материального довольства, а иногда даже веселья. Я много помогаю людям, а люди много делают того, чтобы уничтожить во мне мое прекрасное отношение к человеку, к человеческой жизни. Обманывают меня в моих лучших побуждениях. Но Вы? Почему я должен помогать каким-то чужим людям, когда у меня есть дивный человек, далекий друг, помощь которому будет для него не только внешним облегчением, но и громадным внутренним стимулом для веры в жизнь, в людей?

И я сегодня с болью в душе должен сознаться, что Вы обогнали меня в Вашей светлой дружбе, что Вы лучше, тоньше меня. Когда-то я тянул Вас «на цугундер» дружбы, тянул за волосы, чувствуя иногда Ваше сопротивление, Ваше недоумение перед этим активным вторжением в Вашу жизнь. Теперь я знаю, как жаждете Вы этого вторжения, как дороги Вам знаки внимания и как они Вам нужны. А я забываю Вам послать даже обещанные ноты.

Пару лет тому назад, во время нашей московской встречи, я думал о том, что Вы не затронули моих мужских чувств и что этот факт может стать принципиальной причиной охлаждения моих отношений. Я опирался в своих рассуждениях на тот закон (кем он издан?), что между м<ужчиной> и ж<енщиной> даже в дружбе должны быть элементы физического взаимодействия, пусть даже внешне и не реализуемого. Я очень ошибся. И все дальнейшее свидетельствует о том, что очень хорошо, что в нашей встрече не было этих элементов и что наша дружба уже давно, после некоторой заминки, пришла к еще большему укреплению.

Из всего того, что я пишу, надлежит сделать выводы не только мне, но и Вам. Вам нужно проще подходить ко мне. Вам нужно знать, что я Ваш друг не только в письмах, но и в обыкновенной жизни. Пусть «надзвездные» дали не заслоняют потребностей этой жизни и пусть иногда рыцарство чувств не мешает «опускаться» до самых насущных потребностей, которые можно очень скоро и очень просто урегулировать, чтобы они, как говорится, не болтались под ногами.

Вот и все, мой друг! Знаю, что Вас всегда огорчает моя крайняя неразговорчивость о себе и своих делах, но ничего с собой поделать не могу. О себе всегда приходится писать скупое, так как об этом можно писать и очень много, и очень мало. Я предпочитаю второе.

«Клоун», который в окончательном варианте называется «Сын клоуна», идет в Москве с большим успехом и готовится во многих театрах на периферии. Скоро начну

работать над новым фильмом Пырьева «Одна семья»<sup>1</sup>. А пока занимаюсь концертами и ничего не пишу.

Вот и все! Очень жду Вашего письма. <...>

Ваш И. Д. <...>

29/III—51 г.

Мой дорогой друг!

Пишу, даже не надеясь на то, что письмо это застанет Вас в Москве. Вы, наверное, уже в отлете и только через длительное время узнаете, какими угрызениями совести я мучаюсь из-за своих запоздалых поздравлений Вас с высокой оценкой музыки фильма «Кубанские казаки» и с первыми успехами «Сына клоуна» (случайно прочла рецензию в «Огоньке»). <...>

<...> Я даже не упрекнула Вас в том, что Вы опять не ответили мне на письмо, правда, скучное и нудное, но в то время написать иное я не могла. Писать же сейчас мне гораздо приятнее: дома относительное благополучие, в природе весна и масса солнца, в музыкальном мире тоже ярко блистает мое солнце — хорошо!

29.III.1951 г.

Дорогой мой и славный друг! Не отвечал Вам долго потому, что был поглощен свалившимся на мою голову общественным ударом. 6-го марта в газ(ете) «Сов(етское) искусство» был помещен пасквильный фельетон, героем которого оказался я<sup>2</sup>. Мне незачем говорить Вам, сколь отвратительна становится ненависть ко мне некоторых людей, для которых сам факт моего существования является нетерпимым. Фельетон рассчитан был на публичное ошельмование меня, на дискредитацию в глазах общества. Все обстоятельства моего выступления перед студентами Горьковской консерватории были до безобразия искажены. Для меня будет горьким уроком этот факт. Я забыл, иногда забываю, сколькими опасностями я окружен, с какими каменюками «люди» подстерегают меня на каждом шагу. Воспользовавшись некоторыми слабостями моего выступления, слабостями, на которые можно было и не обратить внимания в свете общего, о чем я беседовал со студентами, некоторые людишки при посредстве «почтенной» газеты «Сов. искусство» раздули целое дело. Фельетон был приурочен к периоду присуждения Сталинских премий и преследовал явную цель помешать мне ее получить. Но фокус не удался. Н а в е р х у расценили дело иначе. 17-го марта той же газетенке пришлось напечатать мою фамилию в списке новых лауреатов. Удался ли им план дискредитации? Не думаю, хотя удар был нанесен сильный. Люди просто не поверили. На весь этот «сенсационный» фельетон пришло в редакцию до 24 марта всего... три отклика, из которых два очень содержательных, значение которых сводится к следующему: «Дунаевский — наш!» Что касается москвичей и вообще околхудожественной публики, то они великолепно все поняли. Но если бы Вы знали, как сердечно приветствовали меня многочисленные телеграммы! В присуждении премии все почувствовали, какую пилюлю проглотили мои враги.

Вот видите, Людмила, и мне приходится Вам жаловаться. Мы, наверное, еще вернемся к этой теме, а пока мне хочется поговорить о Вашем письме.

Я надеюсь, что Ваш Ёжик выздоровел. Что это он у Вас так часто болеет? Но Вы не отчаивайтесь: видимо, ему суждено стать крепким парнем, пройдя опасности детства. Жаль только, что это Вас вечно мучит и беспокоит. <...>

И все-таки Вы мне не написали об одном очень важном месте моего письма.

Я хочу, чтобы Вы п о л ь з о в а л и с ь моей дружбой во всех трудных случаях Вашей жизни. Я хочу, чтобы Вы были избавлены от тягот там, где их очень легко избежать. Поняли? И прошу Вас поверить, что я это буду делать с легкостью, которую мне позволяет мое чудесное отношение к Вам.

Я Вас крепко целую и, как всегда, желаю Вам счастья.

Ваш И. Д.

10/IV—51 г.

Дорогой Исаак Осипович!

Продолжаю письмо после большого перерыва, который объясню Вам позже<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Первоначальное название кинофильма «Испытание верности».

<sup>2</sup> И. Верховцев. Печальный акт.

<sup>3</sup> В сущности, это письмо является продолжением прерванного письма от 29 марта и отправлено в одном конверте.

Как странно, что последнее письмо от Вас написано в тот же день, когда начинала свое письмо и я!

Не могу Вам передать, как я возмущена поступками тех людишек, которые стремятся причинить Вам зло. Но они мне очень напоминают ту крыловскую моску, которая лаяла на слона. И, главное, с тем же успехом. <...>

Мне не пришлось прочесть этой грязной статейки, так как наш завод не выписывает этой газеты. А жаль: я написала бы в газету, что я думаю о таких людях и о тех, кто пропускает подобные статьи. А Вам не надо так переживать это происшествие — новое присуждение Вам Сталинской премии (в который раз?) говорит достаточно убедительно. А главное — та популярность и любовь, которыми Вы пользуетесь у громадной массы простого народа. Ваши песни поют каждый день во всех уголках нашей страны и за рубежом. Кто еще может этим похвастать? Никто. Если сейчас известно много новых советских композиторов с неплохими песнями, то эти песни в громадном большинстве случаев являются «калифами на час» и потом предаются забвению. А кто из этих композиторов обладает таким богатством мелодических гармоний, как Вы, такими неповторимыми, одному Вам присущими нюансами музыкальной мысли, таким разнообразием жанров творчества? Никто, и еще раз — никто! Вот поэтому Вам и завидуют некоторые мелкие людишки и пытаются очернить Вас в глазах других людей. Но эти жалкие потуги могут привести только к обратному результату. Вы очень скромны, но Вы должны чувствовать отношение к Вам простых людей, ничего от Вас не ждущих, кроме новых чудесных песен. А радио? Разве прошел хоть один день, чтобы не транслировали Вашу музыку? Какие сейчас бывают чудесные передачи о Вас! А в «Вольный ветер» я влюбляюсь все больше и больше. <...>

Не подумайте, что это пристрастное мнение, нет, я просто считаю, что у меня неплохой вкус. Я радуюсь Вашим успехам и горжусь ими, Вами и нашей необычной дружбой. Эта дружба делает меня лучше, так как я не могу обмануть Ваше доверие. Я даже не могу решить, кто прекраснее: Дунаевский-музыкант или Дунаевский-человек. Вернее — оба. Не улыбайтесь, это не ослепление, которое помешало бы мне увидеть некоторые Ваши слабости. Но мне до сих пор удивительно то, что Судьба свела наши дороги вместе и что Вы стали так близки и дороги мне. Понимаете ли Вы это, чувствуете ли всю глубину этого? Мне не хочется бросаться словами, но мне кажется, что я могла бы пожертвовать для Вас жизнью. И если бы больше существовало на земле таких отношений — мир во многом бы выиграл.

Знаете, я писала Вам об этом и раньше — об очень странном и хорошем ощущении: каждый раз, когда я слышу Вашу песню, музыку или хотя бы музыкальную фразу, я воспринимаю это как Вашу улыбку, дружеское приветствие, адресованное мне. И такое приветствие Вы шлете мне каждый день! <...>

Вы продолжаете настойчиво спрашивать, почему я не ответила на то место Вашего письма, где Вы предлагаете мне свою материальную помощь. Так ведь? Но что я могу сказать? Только в самые отчаянные моменты повернется мой язык с просьбой о помощи, да и то с трудом и со стыдом. Всякие трудности ведь относительно. Во время войны картофеля в супе и кусок деревенского ржаного хлеба казались нам лакомствами. Сейчас тоже приходится соразмеряться со своими возможностями. Трудности в том, что дети растут, растут и их потребности. А знаете, почему я раньше избегала встречи с Вами? Мне было стыдно своего костюма. Из войны мы вышли совершенно раздетыми и разутыми. Правда, и сейчас еще многого нет, но как же иначе прожить на 1000, вернее, 800 рублей в месяц, платя из них еще за квартиру и дрова? А мы выжили только потому, что я никогда ни на кого не надеялась, кроме себя самой. Еще в студенческие годы, когда у нас в семье случилось несчастье и тетка предложила мне свою помощь, я отказалась и прожила на одну стипендию, несмотря на детство, полное довольства. Разве спрашивают голодного — будет ли он обедать? Я ценю Вашу щепетильность и благодарна Вам за нее, но давайте больше не поднимать этого вопроса. Просить я Вас могу только в действительно отчаянную минуту, но я разрешаю Вам (царская милость!) иногда помогать мне без просьбы с моей стороны. Но чтобы это было не часто и являлось бы для меня приятной неожиданностью, а не системой, могущей принести только вред, так как привыкнуть к хорошему гораздо легче, чем наоборот.

Ну, кажется, я благодарна расстоянию, разделяющему нас, и ночной темноте, скрывающей мои горячие уши от Вашего взгляда. Но письмо это я все-таки отправлю!

Моя надежда попасть в этом году в Москву совсем пропала. Жаль московского паспорта! <...>

Очень хочу получить хоть что-либо из «Сына клоуна». Я совершенно не имею представления о нем.

На этом письмо кончаю, так как сейчас очень поздно, а завтра рабочий день. Да мне сразу и не уснуть, так как письмо меня взволновало. Я и хочу отправить его, и не хочу. Но, наверное, отправлю.

Желаю Вам новых успехов и побед. А на мосек не обращайтесь внимания, они неизбежны.

Ваша Л.

P. S. Ваше последнее письмо было сороковым по счету. Славная дата, вернее — юбилей!

22.VI.1951 г.

Дорогая Людмила! <...> Я давно получил Ваше письмо. Некоторое время меня действительно не было в Москве. А некоторое время на меня напало какое-то тупое нежелание что-либо делать, даже писать кому-либо. Не хотелось разглашать мыслей, которые были не оформлены, но которые были не добры и не спокойны. Признаюсь, что причиной этому послужили дела на нашем музыкальном фронте в связи со статьей в «Правде» насчет оперы «От всего сердца». Она на меня произвела очень сильное впечатление. Вы — это тот человек, которому я не мог написать письма, не коснувшись своих переживаний. <...> И мне не хотелось их высказывать да же В а м, пока они либо не покинут меня, либо не сделаются спокойными и привычными. Я подчеркиваю — да же В а м,— потому что я полностью разделяю те прекрасные строки Вашего последнего письма, где Вы пишете о нашей дружбе и наших отношениях. Спасибо Вам за эти строчки, глубоко меня взволновавшие. Должен Вам рассказать, как недавно я снова погрузился в воспоминания ушедших лет.

Дело в том, что множество писем моей личной переписки лежало у меня в ящиках моего бюро без особого порядка, способствуя ощущению чего-то грузного, пыльного, мешающего. Воспользовавшись тем, что с 1-го у меня была путевка в Старую Рузу (где я и сейчас нахожусь), я забрал с собой все пачки с письмами и решил навести в них порядок. <...> И вот я стал беспощадно откладывать для печки целые ворохи писем, оставляя только важные, интересные — памятники знакомства, дружбы, легкой романтической взволнованности. Мои пачки стали худеть, что меня приводило в радостно-удовлетворенное состояние, как хозяйку, которая избавляется в хозяйстве от занимавшего место ненужного хлама.

Но... Ваши письма я подобрал по датам, бережно сложил и спрятал в специальный регистратор, который приобрел для этой цели. Проколол по-канцелярски две дырочки в каждом письме, нанизал на металлические дужки и надписал на корешке регистратора: «Л. С. Р.». Это — неприкосновенно. У Вас нет письма, которым я не дорожил бы, да и мне казалось невозможным уничтожить что-либо из наших разговоров и мыслей, обращенных друг к другу. Можете посмеяться над моей «канцелярией», но усмотрите в этом также и нежное желание сберечь навсегда в полном порядке наши отношения.

Но возвращаюсь к начатому.

Все труднее и труднее становится работа на творческом поприще. И не потому плохо, что трудно. Не потому плохо, что вырастают все новые и новые задачи, требующие своего осуществления и творческого выражения. Нет!

Плохо и мучительно невыносимо то, что никто не знает, какая дорога правильна, что все запутались, боятся, перестраховываются, подличают, провоцируют, подсиживают, меняют каждый день свои убеждения, колотят себя в грудь, сознаваясь в совершенных и несовершенных ошибках.

Страшно и невыносимо то, что творческая неудача рассматривается как некоторое преступление. Разве это критика, по поводу которой нас учат, что к ней надо относиться спокойно и умно? Можно ли относиться спокойно к такой критике, когда тебя прибавляют к позорному столбу за творческую неудачу, отнимают Сталинскую премию? Ведь Жуковский, автор оперы «От всего сердца», не воровал премии, ему ее дали 70 человек комитета, в котором сидят уважаемые люди всех родов искусства! Значит, они, эти уважаемые люди, должны были сказать: «Это мы виноваты! Мы не доглядели!» А они преспокойно собрались, вытерли презрительный плевком и решили обратиться в Правительство с просьбой отнять у Жуковского премию!! Ни и у кого не поднялся язык, чтобы быть честным, чтобы избавить от позора композитора, который виноват только в том, что написал оперу, не понравившуюся в высших сферах. Что же это такое? Как можно жить и творить? Уже

аналогичный этому факт стоил жизни историку Гусейнову, который получил Сталинскую премию за исторический труд по Кавказу. Оказалось, что он ошибочно описал значение Шамиля, представив его в положительном свете, в то время как надо было его представить в отрицательном. Хорошо! Это крупная ошибка! Но ведь кто-то, многие, целый Комитет по науке читал эту работу, оценивал ее как выдающуюся. Правительство подписало и выдало автору премию. И вдруг... Это «вдруг» привело к тому, что человек повесился, от вергну т ы й в с е м и, на дереве в собственном саду<sup>1</sup>.

В прежние времена люди гибли за идеи, за свою борьбу против мракобесия и несправедливости. Но то была борьба с чем-то! И это «что-то» защищалось, в свою очередь било, разило, наказывало. Но сейчас? Разве советский художник, композитор, литератор, драматург хочет зла государству, строю? Разве Жуковский, написав оперу, думал провести антисоветский акт? За что же его опозорили? За бессонные творческие ночи? За желание быть творчески полезным народу?

Выходит, что творец лишается своего важнейшего права, без которого нет творчества: права на пусть неудачный, но опыт, права на неудачу!

И это страшно! Страшно именно в наших условиях. Потому что прозвучавшее слово отрицательной критики является уже непререкаемым законом, открывающим столько гадкого и мутного словоговорения и пакости людской, против которой нет никакой защиты, кроме собственной совести.

Ну, я разболтался. Не подумайте, что я весь состою из одной печеночной горечи. Я просто тревожусь и за общие наши творческие пути и за свой. Ужасно трудно работать в такой обстановке...

Тем не менее...

Тем не менее я работаю сейчас, и работаю немало! В конце июля еду в Берлин на Международный фестиваль молодежи. <...> Я буду писать музыку к фильму Пырьева об этом фестивале<sup>2</sup>.

Людмила, дорогая! Нельзя допускать, чтобы Ваша московская поездка сорвалась и пропал паспорт.

Я первого июля вернусь в Москву из Старой Рузы и прошу Вас мне немедленно сообщить, когда Вы собираетесь в Москву и сколько Вам нужно денег. Ведь это тоже случай исключительный. Крепко Вас и нежно целую.

Неизменно Ваш

И. Дун.

9/VII—51 г.

Дорогой друг!

Я не смогла сразу ответить на Ваше письмо потому, что оно глубоко потрясло меня и мне потребовалось некоторое время для того, чтобы «переварить» его. Я очень хорошо понимаю Ваше настроение. <...>

Завидую Вашей поездке в Берлин. Молодежный фестиваль — это очень интересная штука и, безусловно, вдохновит Вас на такую же интересную и яркую музыку. [...]

Над Вашей «канцелярией» смеяться не буду, так как она меня очень тронула. Но я в ужасе: я не знала, что пишу для истории, и не приняла должной позы. Что-то скажет княгиня Марья Алексеевна! Seriously, всякие посторонние имена и фамилии Вы должны из моих писем вычеркнуть, дабы они тоже не попали в какую-либо «историю».

Насчет поездки в Москву я все никак не могу решить. Очень хотелось бы иметь московский паспорт, но боюсь, что ничего не получится. И потом, еще не получив отпуск (получу с 16/VII), я истратила уже почти все отпускные деньги: старших детей отправила в пионерский лагерь, младшего — в детсад «на оздоровительную кампанию», мама собирается ехать в Тюмень. Вы же не дойная корова, чтобы из Вас все время выкачивать деньги.

Нынешний год должен быть очень тяжелым, так как в ряде районов Свердловской области в ночь с 26-го на 27-е июля были заморозки и все посевы картофеля, огурцов и помидоров погибли. Мне очень жаль своих трудов, тем более что помидоры у нас в этом году были очень хорошие и уже с плодами, а картофель цвел, но самое страшное — это то, что затронут целый ряд районов. А картофель — основная пища всех здешних жителей.

<sup>1</sup> Речь идет об украинском композиторе Г. Л. Жуковском и об азербайджанском историке, философе и литературоведе Гейдаре Наджафе-оглы Гусейнове.

<sup>2</sup> Среди многих музыкальных номеров для кинофильма «Мы за мир» выделяется песенный шедевр Дунавского «Летите, голуби» (стихи М. Матусовского). Композитору (единственному из всей съемочной группы) не разрешили выехать в Берлин.

Сейчас даже не хочется возиться в огороде с другими посевами — стоит картошка с желтыми и засохшими стеблями, как огромное кладбище. Унылая, осенняя картина.

Вот я и опять разохалась. <...>

Ну — вынуждена кончать письмо, так как темно, а мы уже неделю сидим без света.

Желаю Вам интересной и радостной поездки и вдохновенной музыки к новому фильму.

Посылаю Вам фото своего Ёжика — он очень смешной и живой на нем.

Жду письма с нетерпением.

Ваша Л.

2 января 1952 г.

Здравствуйте, мой дорогой друг! Получил Ваше письмо и дивлюсь на этот раз Вашей попытке атаковать меня, не имея к тому никаких сил и оснований. <...> Странно, что Вы можете мне написать такое: «Мне не хотелось Вам писать». Как же так? Жизнь сурова и трудна, а Вы, оказывается, не только не хотите делиться со мной своими переживаниями, но и считаете, что этого н е л ь з я (!) делать. Вот что меня озадачивает, ибо именно это является свидетельством отчужденности. И если Вы мне испортили настроение, то только этим. Конечно, я никогда от Вас не отвернусь и всегда буду принимать все, что Вы захотите мне принести своего, и тогда, когда Вы захотите это сделать. <...>

О себе скажу кратко. В декабре (22-го) закончил большую и трудную работу по муз<ы>кальному оформлению фильма о Берлинском фестивале («Мы за мир!»). К сожалению, мерное и мирное течение моей жизни было нарушено 7-го ноября нелепым несчастьем, случившимся в компании моего сына. Сам-то он не был виноват, но его исключили из Института по обвинению в организации попойки, закончившейся автомобильной катастрофой. В результате этой катастрофы погибла студентка 3-го курса института. Машина была моего сына, вечеринка происходила в праздник на нашей даче. Сын попал в эту историю как искупительная жертва общественного возбуждения в институте. И хоть все это нелепо и несправедливо, но до сих пор мне не удалось его восстановить. Это ужасно портит жизнь и настроение. Надеюсь все-таки, что удастся восстановить. Очень жалко парня, который уже около двух месяцев слоняется подавленный и растерянный происшедшим<sup>1</sup>.

Позвольте попрощаться с Вами, мой друг, и пожелать Вам всего светлого и радостного.

Искренне Ваш И. Д.

4/III—52 г.

Мой милый, дорогой друг!

Я очень давно не писала Вам, даже не поздравила с днем рождения, простите меня за это. Но это не потому, что мне нечего и я не хочу Вам писать. <...>

Я не писала все это время потому, что не хотела Вас зря тревожить непроверенными фактами, а писать только для того, чтобы написать, я не хотела и не могла. <...>

Сейчас <наконец> все выяснено, я отупела от горя и уже не так остро чувствую всю боль и ужас моего положения, я уже не могу молчать и жду и надеюсь на Вашу помощь — советом, делом, чем угодно, — мне не на кого больше надеяться, кроме Вас, я же совсем растерялась и не знаю, что делать.

Дело в том, что мой старший сын Юрий болен туберкулезом бронхиальных желез. <...> Правда, процесс захвачен в начальной стадии, но я совершенно растерялась — что с ним делать? У моей знакомой сын 5 лет проболел тем же и выздоровел, а у других — мальчика через 1,5 года не стало.

Я знаю, что для поддержки его организма нужно очень хорошее питание и свежие фрукты. Если бы он был единственным ребенком, это было бы проще. Сейчас же я не могу питать его особо от остальных детей, да и не исключена возможность, что и с ними может случиться то же, а значительно улучшить питание всех трех ребят я не имею возможности. По самым скромным подсчетам, мне не хватает для этого 400—500 рублей в месяц, даже если я весь свой заработок буду без остатка вкладывать в это питание. Поэтому, отбросив стыд, я прошу Вашей регулярной материальной помощи, пока не исчезнет опасность. Я ничем не могу отплатить Вам за это, при всем моем желании.

Перечитала Ваше последнее письмо. Два с лишним месяца тому назад оно было написано — тогда еще я была спокойна.

<sup>1</sup> Восстановить сына в Институт кинематографии Исаака Осиповичу не удалось, несмотря на то, что на судебном процессе Евгений был признан невиновным.

Как дело с Вашим сыном? Восстановили ли его в институте? Мне очень жаль и Вас, и его, тем более если он невинно пострадал. Моему сыну никогда не придется попасть в подобную историю, уж не говоря о том, что он никогда не сможет иметь, будучи студентом, собственной легковой машины,— доживет ли он до этой поры? Ему только 11 лет, организм растет, и такая болезнь особенно опасна. Всю его короткую жизнь судьба старается вырвать его из моих рук: коклюш, дизентерия, дифтерия, малярия, флегмона, а теперь туберкулез (уж не говоря о бесчисленных простудных и желудочных заболеваниях) — вот краткий перечень врагов, пытавшихся отнять у меня Юрку. <...>

Простите меня, больше писать я не могу. Жду Ваших нужных писем, не забывайте надолго обо мне, нету у меня друга ближе Вас.

Пишите о себе, о работе, посылайте хоть изредка свои ноты — так приятно получать их от Вас!

Дети хорошо знают Вас по фотокарточке и любят Вашу замечательную музыку, и даже маленький Ёжик. Он узнает Ваши песни, передаваемые по радио, и приходит в восторг от этого.

Пишите. Ваша Л.

172

Старая Руза, 18.III.1952 г.

Дорогой друг! Ваше письмо я прочитал в Москве в субботу, когда вернулся на два дня из Рузы. До 24-го у меня здесь большая работа, а в Москву я приехал, чтобы отдать дань общественным делам. Тотчас по прочтении Вашего письма я Вам телеграфировал и послал деньги<sup>1</sup>.

Что же с Вами судьба проделывает? Бросает из одного переживания в другое. Но я на Вас очень обижен. Вы еще можете упрекать меня в том, что я позволил Вам долго молчать, не почувствовав, что это молчание имеет свои тяжелые причины. Я готов принять Ваш упрек на будущее, но не за прошлое, так как у Вас были периоды «молчанки» другого порядка. Что касается моей обиды, то она состоит в том, что, находясь в тяжелом положении, Вы меня вспомнили лишь тогда, когда я Вам напомнил о себе. Мне кажется, что мой упрек значительно солиднее Вашего. Об этом Вам очень нужно подумать, если Вы не хотите поселить в моей душе сомнение в прочности Вашей дружбы ко мне. Можно очень сомневаться в дружбе человека, который имеет привычку надолго скрываться от своего друга и отделять стеной молчания свою жизнь от жизни друга. Если я возьму несколько Ваших редких писем последнего года, то они все начинаются с извинения. Это — плохой признак для дружбы. <...>

С большим огорчением я узнал о постигшем Вас новом треволнении. Будем надеяться, что Вам удастся восстановить здоровье Юрика. Плохо, отвратительно плохо идет Ваша жизнь, полная забот и волнений. Судьба до сих пор не хочет Вам улыбаться. Я вспоминаю, правда, очень смутно давнишнее мое письмо к Вам. Я писал о том, что Вы неверно шагаете по жизни, испытываете ее ненужными, поверхностно эгоистическими увлечениями, шальными убеждениями в крепости мимолетного счастья. Увы, я, кажется, оказался пророком. Самый серьезный и самый страшный вопрос заключается в том, можно ли теперь исправить все ошибки — свои и чужие? Можно ли заделать душевные прорехи? На эти вопросы Вы, конечно, лучше сможете ответить, чем я. И я хочу, чтобы Вы мне ответили просто и объективно.

Я перечитываю Ваше письмо. Оно посвящено Вашему горю и волнению. Но, понимая Вас и Ваше настроение, я не могу обойти молчанием один абзац Вашего письма, который Вам напомню:

«Я не писала Вам все это время потому, что не хотела Вас зря тревожить непроверенными фактами, а писать только для того, чтобы писать, я не хотела и не могла. Вы знаете, какое значение я придаю нашей переписке» (подчеркнуто мною).

И еще одно место:

«Но это не потому, что мне нечего и я не хочу Вам писать» (подчеркнуто Вами).

Что же это такое, Людмила?

«Я очень давно не писала Вам, даже не поздравила вас с днем рождения, простите меня за это. Но это не потому...» и т. д. (см. цитату выше).

Значит, поздравить с днем рождения зависело от «непроверенных фактов»? Или поздравить с днем рождения — это значит «писать только для того, чтоб писать»? Вы,

<sup>1</sup> Телеграмма не сохранилась. Деньги Дунаевский регулярно посылал в течение 6—8 месяцев, но больше не писал: это письмо — последнее

очевидно, придаете большое значение вопросу поздравления, если пишете «даже». Так вот, если у Вас не нашлось что писать по случаю «даже» моего дня рождения, то к чему же Ваши противоречивые объяснения? Второе: почему переписка со мной связывается у Вас только с желанием проверить факты, касающиеся здоровья Вашего сына? А без «проверенных фактов» вы не могли писать мне о себе, о жизни, о думах, о мыслях, — наконец, о том же волнении за мальчика, у которого предполагают туберкулез? Странно, Людмила, странно. Я придирчив? Да! Я придирчив к некоторым друзьям, голоса которых мне хочется слушать полно и ясно, без подозрительных заиканий. Я знаю и понимаю, что дружба не измеряется количеством писем, хотя это количество свидетельствует все же об интенсивном общении, желании этого общения. Но если Вы сами твердо верите в свою дружбу ко мне, то лучше обходитесь без заиканий в стремлении объяснить мне свое все равно необъяснимое молчание. «Молчала, ну и ладно! Верь в мою дружбу!» Это проще и лучше!

Благодарю Вас за внимание к истории с моим сыном. Восстановить его не удалось. <...>

Кончаю письмо и желаю Вам прежде всего не терять надежды на благополучный исход беды с Юрием. Эта болезнь лечится, и все будет хорошо.

Желаю Вам самого лучшего.

Ваш И. Д.

26/I—1953 г.

Мой нехороший друг!

Вы совсем забыли обо мне и не пишете почти целый год. Что случилось, в чем я провинилась, или это — «естественная смерть» нашей дружбы? Даже с Новым годом на этот раз Вы меня не поздравили, а я уже привыкла начинать его с Вашими добрыми напутствиями! Правда, я также повинна в подобном грехе. Но я не написала Вам новогоднего письма потому, чтобы не омрачать Вам этого светлого праздника своими болячками. Встречала же Новый год я на этот раз только вдвоем с Вами, хоть Вы и не знаете об этом.

Моя жизнь мрачна. Мама медленно и мучительно умирает. Дети часто хворают. У меня, кроме основной работы, прибавилась еще домашняя работа и уход за мамой и больными. Несмотря на это, вернее, именно потому — время проходит для меня очень быстро, и я не успеваю сделать всего намеченного и необходимого. Вот и год промелькнул незаметно, особенно вторая половина его. Еще шаг в небытие...

Я не писала Вам не только потому, что вы не ответили на два моих письма и что времени у меня не стало хватать. Нет, у меня было какое-то темное, нехорошее чувство от Вашего молчания. Я его все время старалась отогнать от себя, чтобы не осознавать, — и это мне довольно легко удавалось из-за моей теперешней занятости. Но чувство было очень нехорошим, точно я была в чем-то виноватой перед Вами. <...>

Я Вам пишу это, чтобы сказать, что я не сержусь на Вас за молчание, хотя Вы и подзабыли обо мне в очень тяжелый для меня период. Все это естественно и закономерно.

Я перехожу к основной цели моего письма: поздравляю своего милого и дорогого друга, не желающего даже откликнуться, с днем рождения и желаю Вам еще долгих, долгих лет счастливой жизни, благополучия и, главного, — здоровья. Желаю Вам плодотворно трудиться и радовать своих почитателей (к которым с давних времен принадлежит и автор письма) новой чудесной, жизнеутверждающей музыкой, так свойственной Вам! Пусть ничто и никто не омрачает Вашу жизнь.

Всегда издали слежу за Вами и люблю Вас и Вашу музыку.

Ваша Л.

P. S. Если я действительно в чем-либо виновата перед Вами, то простите ради бога.

Еще P. S. Чувствую и понимаю, что настроение у Вас последнее время неважное из-за некоторых несправедливостей<sup>1</sup>. К сожалению, это неизбежно.

Но Ваши друзья всегда с Вами и за Вас!

Л.

<На этом письме переписка обрывается.>

Предисловие, публикация и комментарии Н. ШАФЕРА

<sup>1</sup> Намек на «дело врачей».

ГАЛИНА ДЖУГАШВИЛИ

## Дед, папа, Ма и другие

**Р**одилась я вся в тоненьких черных волосках. Ма уверяла, что только узкая белая полоска на лбу делала меня не совсем похожей на мартышку. Ма рыдала, и даже неотразимый аргумент: «Как вам не стыдно! Вы же культурная женщина!» — не мог избавить ее от желания запихнуть меня куда-нибудь подальше от взоров счастливого отца.

Впрочем, отец с чисто мужским легкомыслием не только принял меня такой, какой я была, но и с вообще уж непонятым восторгом перед моей чернотой тут же окрестил «галчонком». А волоски через недолгое время выпали, как то и обещал возмущенный поведением рожицы доктор.

Со знаком Зодиака тоже не обошлось без приключений, ибо я ухитрилась появиться на свет 19 февраля, то есть на самом стыке циклов Водолея и Рыб. По местному зодиакальному исчислению, не подтвержденному, правда, документально, я состояла в Водолеях. По французской же энциклопедии и толстющей Астрологии (автора не помню) — пребывала в Рыбах.

Много людей, шум, говор. Среди них человек с толстой черной полосой над губами. Я не спускаю глаз с полосы. Вот он уже передо мной. Руки его тянутся ко мне, вскидывают вверх. Полоска начинает колоть щеки. Я ору и кручу головой, а оказавшись на полу, объясняю: «Усы колются!»

...Я стою между папой и мамой. Мама курит, лежа на высокой кровати, папа курит, лежа на низеньком диване. И каждый тянет меня в свою сторону. Мне кажется, еще чуть-чуть, и я разорвусь на два кусочка. Но я почему-то верю, что они этого все-таки не сделают, и оттого не очень страшно.

...Сцена происходила за обеденным столом. Дед ел суп, дамы Аллилуевы толковали о скандальном увлечении Яши. Эта женщина (имелась в виду Ма) старше его на три года, да к тому же еще и замужем! Дед отшучивался, ссылаясь на всеобщее «брожение умов», пытался объяснить даже, что мужчина не меняется от того, в какую женщину он влюблен: принцессу или белошвейку, монахиню или певицу из кабаре. Но подобные отвлеченности дам не устраивали. Срочно перегруппировавшись, они шли в любовную атаку: «Иосиф, так же нельзя, Вы обязательно должны вмешаться!» Дед, вообще не признававший за дамами права на военные действия (не знаю, делал ли он исключение для Жанны д'Арк), сразу помрачнел и сказал резко: «Мужчина любит ту женщину, которую любит. Да и вспомните, что уже было!...»

Он имел в виду историю раннего папиного брака с Зоей. Папа, когда ему еще не исполнилось девятнадцати лет, влюбился в Зою, поповну и красотку, и, конечно, проникся самыми серьезными намерениями. Дед возмутился: недоросль! Не хочу учиться, а хочу жениться! Все-таки он навел справки о Зое, и тут уж совсем заартачился. Влюбленные держали совет. Кто из них первым вспомнил о пьесе Шекспира? Скорее всего папа, он, я думаю, был романтичнее Зои, слишком хорошенькой и веселой. Аналогия правда слегка хромала: отсутствовали протесты со стороны Джульеттиных родственников. Зато из Деда выходил такой отменный Капулетти, что в дополнительных осложнениях нужды как бы не чувствовалось.

Не знаю, что стало бы с Ромео и Джульеттой, если бы их роман (длившийся, как известно, не более десяти дней) завершился самым банальным образом, а именно — браком. Возможно, они, прожив рядком-ладком какое-то время, разбежались бы в разные стороны — как, увы, многие юные пары. Именно такой вариант подстерегал папу и Зою. Трагическая развязка не получилась. Оставалось одно — пожениться и быть счастливыми.

Бросив учебу, папа с молодой женой переехал в Ленинград и поступил на работу. Вскоре родилась девочка Галя, которой не суждено было дожить до года. Ее смерть стала формальной причиной развода. Действительной же причиной, скорее всего, явилось то неуловимое и верно угаданное Дедом, о чем сейчас говорят: не сошлись характерами.

Дед-Капулетти от прибытия непокорного сына в Ленинград не стал в классическую позу оскорбленного отца. Он спокойно ждал развязки (история была не самой сложной из тех, чей финал он точно просчитывал), попросив Кирова деликатно приглядывать за строптивым Ромео. Таким образом, возвращение отца в Москву и примирение его с Дедом оказалось делом недолгим и предрешенным.

Скандал тогда уже разразился. Ма была замужем за Николаем Петровичем Бесарабом, работавшим вместе с мужем А. С. Аллилуевой, Реденсом. Рослый плотный блондин в пенсне, импозантный, любимый дамами, он был очень самоуверен и одурманен властью. Часто взрывался, хватал пистолет, грозил. Роза<sup>1</sup> почти пугалась, Ма говорила: «Да плюнь ты, пусть орет!» Она от него ушла, воспользовавшись очередной семейной сценой и объявив, что уезжает к сестре. (С отцом они давно уже встречались тайком: Николай Петрович, почувствовав неладное, приставил к Ма «дежурного», которого она с особым удовольствием истязала, просиживая часами то в парикмахерской, то с подругой в кафе.)

Ждать на пустынной улице пришлось ей недолго (она говорила — было около полуночи и асфальт блестел после дождя), отец подъехал на черной «эмке». Она попросила отвезти ее к Розе. «Едем, едем, — она смеялась, рассказывая, — я спрашиваю: Яша, куда вы меня везете? Он молчит (знаешь, он вообще был неразговорчивый), я опять...» — «А он, — замирала я, — а ты?» — «Ну и привел меня прямо к себе». — «А потом что?» — «А потом — суп с котом!»

Узнав, что Юшка (так называл он Ма) ушла от него вполне серьезно и вовсе не «к сестре», Николай Петрович оказался в трудном положении: самолюбие его взывало к отмщению, а соперник, как назло, носил имя, против которого, согласно известной поговорке... нет приема. Тогда он бросился звонить во все колокола, изображая Ма опытной хищницей, жаждущей все новых жертв (одной из которых являлся, естественно, он сам). Как он и надеялся, отзвуки сплетен стали долетать до Деда, но тот, верный пакту о невмешательстве, и усом не вел. Больше всех досталось Розе: Николай Петрович частенько наведывался к ней и проигрывал (на очень высоких тонах) прежние варианты с револьвером и «посадкой». Ма тоже несколько приуныла, получив от него свои вещи в виде горы лоскутов, выкроенных явно с помощью бритвы (особенно сокрушалась она о кожаном пальто и двух парах заграничных туфель). Вообще же «молодые» продолжали жить у Маро<sup>2</sup> и дяди Коли<sup>3</sup> вполне благополучно. Папа даже поправился. Рубашки, носки и платки его были в образцовом порядке, пиджак и брюки разутюжены от души. Дед быстро заметил эту перемену. Покрутил папу и сказал: «Вот теперь вижу, что у тебя жена хорошая!»

Семейство Мельцер проживало в городе Одессе на улице Канатной (Канатная, угол Шпагатной — острили гимназистки). Семья состояла из мужа, жены и четырех детей. Старшего брата Ма, Мунца, я видела раз в жизни во время войны, когда мы жили в гостинице «Москва» (он подарил мне слона из черной, сильно пахнувшей клеенки, — мне запах нравился, но Ма запихивала его на ночь между рамами). Старшей после Мунца шла Роза, потом Нина, потом Ма. С именами сестер происходила некоторая путаница. Нина носила имя Ханна-Ревекка, Ма — не Юлия, а Юдифь. Почему средняя сестра переназывалась в Нину — трудно сказать (возможно, в целях экономии времени). У Ма дело обстояло сложнее. Свое имя она получила в память о библейской героине, которую легенда, как известно, раз и навсегда связала с головой некоего Олоферна. Публика в Одессе была культурная, и Ма, едва успев представиться, оказывалась под перекрестным допросом относительно проклятой головы: куда она ее дела и почему не захватила с собой? Ма краснела, бледнела, пыталась отшучиваться, иногда плакала, закрывшись у себя в комнате, и мучительно искала способ отчалить от библейских берегов. Она стала называть себя сокращенно Юлией. Постепенно к этому привыкли, а позднее, когда она ушла из дома, новым ее знакомым и в голову не могло прийти, что она не Юлия, а Юдифь.

<sup>1</sup> Розалия Исааковна Мельцер, старшая сестра мамы.

<sup>2</sup> Мария Семеновна Сванидзе, младшая сестра Екатерины Семеновны Сванидзе. первая жена И. В. Сталина.

<sup>3</sup> Николай Викторович Кипиани, муж М. С. Сванидзе.

Дети ходили в гимназию, мадам Фанни — на рынок в сопровождении горничной, несшей огромную плетеную корзинку для провизии. По воскресным дням в доме шла генеральная уборка, и девиц отправляли обедать в город. Роза (ей как старшей вручали бразды правления), цыкнув на сестер, чтобы не проговорились, закармливала их пирожными у Фанкони, катала на извозчике, а на остаток денег накупала английских открыток. Летом была дача на лиманах, прогулки на лодке и яичная скорлупа, летящая в волны под присказку «рыбам, ракам, крабам!».

Мунц подрос настолько, что уже крутил любовь с горничной и учил сестер фривольным стишкам про «кузину Лизу». У Розы появились первые поклонники, и, когда они ей звонили, наученная прислуга отвечала о барышне: «Она читает или мечтает!» Ма тоже не отставала и вместе с подружкой Варей, тихой и покладистой девочкой (не в пример отцу своему, первому в Одессе черносотенцу), была традиционно влюблена в учителя математики и посылала ему анонимные букеты со вложенными в них многозначительно белыми листочками. Потом произошло то, что сейчас некоторые норовят назвать переворотом, — революция.

Одесса переливалась всеми цветами радуги, меняя окраску по несколько раз на дню. Вдоль Дерибасовской строчили пулеметы, подпрыгивая на грохочущих тачанках. Гитлеристы кидались ничком на тротуар, ползли к стенам домов. Днем зеленых вышибали белые. Вечером Одесса-мама оказывалась в объятиях красных. Где-то в окрестностях лютовала со своей бандой Маруська-атаман (говорят, кончившая Смольный).

Время шло. Закружил блестящими лоскутами нэп. Одесса, оправившись от стрельбы и смены властей, отплясывала «шимми». У ожившего Фанкони дамы (из бывших) выставляли напоказ остатки уцелевших драгоценностей. Образцом мужской элегантности считался «черноглазый крупье».

Купец второй гильдии Исаак Мельцер был профессионалом хорошего класса. Он глубоко презирал нэп как проявление жалкого дилетантизма. Компаньоны его уже давно укатили во Францию, и он готовился к тому же пути, через Польшу в Париж, куда, позднее, собирался выписать семью. Один из поклонников Ма, бывший инженер, а ныне владелец обувной лавки, соорудил ему особенные башмаки с полыми подметками, куда «замуровали» ценные бумаги. На деда, по мнению Ма, донес кто-то из своих, потому что «господа из ЧК» не только стянули его буквально за ноги с поезда, но безошибочно определили местонахождение бумаг. Тут рассказ Ма достигал кульминации: она оказывается в темном подвале один на один с мужчиной в кожанке, державшим в руке револьвер. Я обмирала и требовала подробностей. «Он мне говорит: «Рассказывай все!» — «А ты?» — «А что я? Мне говорить нечего, я стою и трясусь...» — «А он?» — «А он попугал, попугал, да и отпустил... Я была такая хорошенькая!»

Итак, семейство осталось в Одессе. Жизнь становилось все хуже, и Ма уломали выйти за бывшего инженера, владельца обувной лавки. Тут возникает пробел. Почему она убежала из дома и начала новую «балетную» жизнь, я так и не узнала. (Наверное, навязанный брак был не слишком удачен.) Училась балету она недолго, да и начала поздно, а это решает судьбу танцовщицы, так как упущенное время — невосполнимо. Все же ее приняли в одну из трупп «левого течения», которую вел тогда на Украине Касьян Голейзовский. Ма произносила его имя с мечтательным благоговением, со временем перешедшим и мне. Он казался ей символом всего лучшего в ее жизни, «богемы», говорила она, имея в виду то особое, что может быть понятно лишь посвященным.

Жизнь на колесах, с остановками в бывших особняках, переделанных в общежития, жизнь молодой, веселая, свободная от ига борьбы с начальством и забот о конъюнктуре, полная того, что сейчас называют «творческим подъемом», и веселой работы, взрывалась криками «бис», сияла огнями рампы. «Мещанское» благополучие Розы (та, выйдя за богатого пожилого рентгенолога, в невероятной шляпе и натуральных жемчугах созерцала где-то далеко лесистые склоны потухших вулканов) вызывало улыбку превосходства.

Радостным миром движения, звуков и красок правили мэтры: парящий в славе, как в облаках, великий Касьян, капризный изысканный Вигилев, неуклюжий с виду и необычайно ловкий и изобретательный в работе Форейгер фон Грейфен Турн (действительно, из немецких баронов), милый художник Петрицкий.

Зал гудел. Ма вылетала на сцену в, по-современному говоря, мини, усыпанном зеркальными осколками (в них били разноцветные лучи прожекторов), одна нога в черном чулке. «Даешь Европу!» Поручали ей роли и в больших спектаклях. Скромная маленькая Береника, влюбленная в ослепительного Антония, бредет убитая горем за гробом триум-

вира вот так: Ма заламывала руки и семеняла по диагонали через комнату, ловко, по-балетному спотыкаясь.

Николай Петрович Бесараб увидел ее в «Элегии» Рахманинова. Стал ли он единственной причиной того, что она оставила балет? Возможно, она чувствовала, что истекает ее время (в балете недолгое вообще).

Знаменательное событие, без которого я не могла бы появиться на свет, произошло вскоре после переезда Бессараба и Ма в Москву: она была в Большом театре с Анной Сергеевной Аллилуевой и обратила внимание на молодого человека, с которым та поздоровалась. Семейные дела Ма шли тогда не слишком хорошо. Николай Петрович, своенравный и тираничный, доставлял ей много огорчений. Часто она рыдала у Розы, а та, разглядывая в зеркале очередные серьги, проводила через плечо курс психотерапии: «Ты вот все ревешь, заболешь по собственной глупости и отдашь концы, а я в это время буду шляпу мерять!» Ма приходила в состояние шока, но оправившись и пораскинув умом, начинала признавать, что Роза не так уж неправа. «Ой, какой интересный молодой человек, — сказала Ма Анне Сергеевне, — познакомьте меня с ним!» Ответ звучал сурово: «Ну, дорогая моя, этот не про вас! Знаете, кто он?» Будь «интересный молодой человек» не Джугашвили, а Петрушкин, это не сыграло бы никакой роли. Дело решило роковое «не про вас». Ампула безответно влюбленной Береники Ма предпочитала на сцене, а не в жизни. Впрочем, одержать победу ей практически не удалось, так как сопротивление отсутствовало: папа выкинул белый флаг еще до начала военных действий.

Отправляясь в Зубалово<sup>1</sup> знакомиться с Дедом, Ма была совершенно спокойна. Она не сомневалась, что «старик» — понравится. Папа изо всех сил пытался настроить ее на более торжественный лад. Его попытки остановил вопрос: «Яша, ну почему на меня все смотрят?»

Ма оказалась права. Все прошло отлично. «Старик» без конца шутил, кормил Ма с вилки и первый тост поднял в ее честь. Вскоре «молодые» получили уютную двухкомнатную квартирку на Садовом кольце (Дед здраво рассудил, что жить им надо самостоятельно и отдельно). Переезжали весело, приятели папы тащили кто — кастрюли, кто — метелку. Когда же наметилось мое появление, переехали снова, и на сей раз уже в огромную четырехкомнатную квартиру на улице Грановского.

Ма не хотела детей, папа, напротив, мечтал о девочке. Когда с Ма случилась «беда», только-только вышел декрет, запрещающий аборт. Конечно, она не посмотрела бы на такую ерунду (папу можно было бы поставить перед совершившимся фактом, а потом заговорить и завеселить — он спускал Ма все ее капризы и выдумки), если бы пресловутый декрет не подписал ее собственный свекор. Правда, до последнего момента она вела себя не слишком осторожно, бегала, прыгала, курила и нарушала изо всех сил предписанную врачами диету. Играя в прятки на девятом месяце, она соскочила не то с подоконника не то с высокого дивана и вывихнула ногу. Увы, со мной ничего не случилось! Когда же, наконец, я появилась на свет, она мгновенно превратилась в «ненормальную мамашу» к великой радости папы, совсем не ожидавшего перемены.

Как ушел из моей жизни отец, как исчезла потом мать, не помню. Весь свет заполнила своей податливой мягкой толщиной моя обожаемая Дюняня, а по-другому — Евдокия Ивановна Чернобаева, бессемейная, живущая в няньках. С ней можно играть как с большой игрушкой (например, в тигра: рыча, с разгона подскочить и повиснуть на белом халате, а потом вместе с выданным огромным клоком плавно опуститься на землю). Она же и могучая заступница. Перед ее упрямой воркотней (тогда она меня несомненно жалела, как ребенка, оставшегося без родителей) отступает даже суровая шестнадцатилетняя девица, с достоинством принявшая роль маленькой мамы, — тетя моя Светлана<sup>2</sup>.

Правда, она досадно упрямится, не желая признавать мое очевидное сходство с Василисой Прекрасной, но зато не устраивает ненужных сцен из-за скатерти, с помощью ножниц превращенной в четыре аккуратные салфеточки.

Батарея отца почти сразу попала в окружение. Снаряды кончились. Один солдат (контуженный, принятый за мертвого) выбрался к своим. Рассказ его был скуп. Дикий угар рукопашной, провал. Потом свет, тишина, трупы на вздыбленной земле и никого живых... Последнее, что он помнил об отце: «На старшем лейтенанте было много крови...»

<sup>1</sup> Одна из подмосковных дач Сталина.

<sup>2</sup> Светлана Иосифовна Аллилуева.

Когда отец уходил на фронт, Ма провожала его в красном платье. Очевидно, она уже тогда знала, что это дурная примета, и все-таки надела его. Почему? Возможно, оно было новым или особенно ей шло... Она часто вспоминала об этом платье и, как мне тогда казалось, видела в нем первопричину всех бед.

Позднее, уже в заключении, она дважды видела отца во сне. Первый сон был простой: высокий холм на ясном вечерющем небе. На вершине холма — отец, и огромный крылатый ангел простирает над ним руки. (Она говорила, что в ту ночь он и погиб, хотя до конца поверить в его смерть так и не смогла.)

Допросы вертелись вокруг кожаной куртки. На листовках, которые сбрасывали немцы, была фотография: немецкие офицеры сидят за столом, в руках кружки с пивом. Немного сбоку — папа с лицом спокойным и веселым. Он смотрит не на них, а прямо перед собой. На нем порядком ношенная кожаная куртка. Людям со стороны фотография не показалась бы странной, но тем, кому пришлось ее внимательно рассматривать или даже изучать, бросилась в глаза не только отвлеченность взгляда и позы, но и эта штатская одежда. Таких вещей при попавшем в плен быть не могло. Старье с чужого плеча? Подобный вариант не слишком годился для рекламы. Возможно и даже скорее всего, среди тех, кто разглядывал листовку, нашелся человек, близко его знавший, вспомнивший и куртку, в которой видел папу на охоте или рыбной ловле в Зубалове, где он обычно ее и носил. Была и фотография его в этой самой куртке. Как могла она перекочевать из семейного альбома в руки автора или авторов листовок? Ма не знала, что ответить на этот вопрос, и задававшие его, казалось, на время успокаивались. Потом все начиналось сначала, монотонное и упорное кружение вокруг одной точки («...Подумайте хорошо прежде, чем ответить...» — «Ведь я вам уже говорила...» — медленный, не затягивающий до конца водоворот...).

Где-то к середине второго года она привыкла. Научилась отгонять мысли о муже и ребенке, и они приходили к ней теперь все реже и реже. Есть люди, которые не терпят одиночества. Они теряются, сникают и готовы идти на все. Для таких одиночка — безумие. По счастью, Ма не относилась к их числу. Ей давали книги. Не слишком склонная к чтению в прежние время, теперь она читала медленно, долго, растягивая удовольствие. Позже она любила пересказывать мне Байрона, особенно «Шильонского узника», чья судьба, казалось ей, похожа на ее собственную. Желтоватые, пахнущие хорошей бумагой страницы предлагали ей другой мир, и она, принимая его на свой манер и по-своему подправляя, населяла его людьми, не знакомыми близко, а известными понаслышке или увиденными издаലെка. Они не всегда действовали как герои книг. Иногда они просто были с ней, в ее камере, и она говорила с ними, стараясь не делать движений руками, не повышать голоса и сидеть спиной к окошечку, через которое за ней наблюдали. Экзотическим странам Байрона она старалась придать вид известных ей по журналам и фильмам пейзажей и тогда совершала прогулки, длившиеся часами.

Когда ей объявили: «Вы свободны!» — она не поняла, потом — испугалась. Она повторила: «Нет, нет, я нигуда отсюда не пойду!...»

«Это — твоя мама». Я смотрела на фотографию. В лодке (недалеко от берега деревья с широкими листьями — пальмы) сидят две женщины. Одну я узнала сразу — Галюся<sup>1</sup>. Вторая, довольно полная, черноволосая, в черном купальнике, вытянув руку, указывает ей на что-то. Потом черноволосая в темных широких брюках и светлом платочке стоит под толстым деревом рядом со Светланой, Леней<sup>2</sup> и незнакомым дядей в белой рубашке. Мяка<sup>3</sup> совала мне снимок за снимком. Я терпеливо разглядывала их, слушая, как повторяется непонятное слово. Мне было скучно. На следующий день все началось сначала: опять «мама», опять снимки. Постепенно я привыкаю. Вот «мама» в лодке, вот под пальмой, и когда мне говорят — «Узнаешь?» — я сразу показываю пальцем, и взрослые очень довольны. На время меня оставляют в покое.

Недели через две, а, может быть, раньше Светлана торжественно объявляет: «Сегодня мы едем в гости к маме!» Я очень рада, я люблю ездить в гости. Двухэтажный дом на узкой улице, странный запах четырех деревянных ступеней, странная мебель, ловко изогнутая, темно-красного цвета. Дверь распахнулась рывком, и из нее вихрь налетает на нас — маленькая худенькая женщина в полосатой пижаме. Она кричит и, к моему изумлению,

<sup>1</sup> Галина Александровна Бурдонская, первая жена Василия Сталина.

<sup>2</sup> Леонид Сергеевич Аллилуев.

<sup>3</sup> Александра Андреевна Бычкова, няня Светланы.

умудряется схватить руками сразу и Светлану, и меня. Я пугаюсь и тоже кричу. Обе они начинают меня успокаивать. Я не даюсь «худенькой», прижимаюсь к Светлане и требую: домой. Мы уезжаем, но через день возвращаемся. На этот раз мы сидим дольше, а день или два спустя приезжаем снова. Я уже спокойна и не кошусь ни на мебель, ни на пижаму (Светлана такого никогда не носила!). Я даже покорно говорю «худенькой» — «мама» (Светлана велела, а мне — все равно). Один раз, сидя со мной в гостях у «мамы», Светлана объявляет, что ей надо отлучиться ненадолго по какому-то делу совсем рядом, часа на полтора, а потом она вернется и мы уедем домой. Проходит час, другой, третий, ее все нет. Я ужасно волнуюсь, «мама» утешает меня и даже куда-то звонит и объясняет, что Светлану очень сильно задержали и она, пожалуй, сегодня уже не успеет приехать, так как стало совсем темно, и мне, скорее всего, придется уж тут переночевать. Мне суют книжки, безделушки, пытаются заговорить. Потом укладывают на кровать у стены за странной перегородкой из старой, расшитой шелковыми цветами и птицами ткани («ширма» — сказали мне, в Кремле никаких ширм не было). Я сплю хорошо и просыпаюсь довольно поздно. Почти сразу приезжает Светлана, и мы отправляемся на кремлевскую квартиру. Как произошел мой окончательный переезд к Ма — не помню, но, думаю, история с поездками «в гости» продолжалась довольно долго...

Первое, чем занялась Ма, получив меня окончательно, — было немедленное упразднение «мамы». Ей не просто не нравилось сочетание букв: она чувствовала в нем мою неволю, сотворенное надо мною насилие, которое ей предстояло стереть, заменив любовной привычкой. Мы снова начинали с нуля, как в день моего рождения, и навязанное другими, а мной бездумно повторенное «мама» не имело право на существование в нашей новой жизни. Она не напоминала мне о прошлом (время пришло, я вспомнила о нем сама), но с каждым днем завоевывала меня все больше и больше, пока приезды тетки (теперь уже довольно редкие) не стали для меня почти безразличными. «Фу, как некрасиво, противно: «мама»! Называй меня — Ма!» Я не без боли отдирала от себя хоть и чужое, но успевшее присосаться слово, зато, когда это наконец получилось, новое имя «худенькой» вдруг оказалось единственно ей подходящим, тем, что только и можно произнести, говоря о ней или к ней обращаясь.

...Второй сон был простой, из породы снов, похожих на реальность: та же темная комната, в которой она находилась, и она сама, лежащая навзничь, но с открытыми глазами, и звук шагов в темноте от закрытой двери все ближе к ней... Она не боялась, зная, кто это, и уже совсем успокоилась, когда почувствовала его пальцы на своем колене («Ты знаешь, он любил, шутя, сжимать мне колено до боли, пальцы у него были (у тебя — такие) сильные, как железо»). Он говорил с ней, утешал, гладил по голове. Потом она перестала чувствовать его руку и снова слышала шаги, дальше, к дверям. Когда наступило утро, она не могла вспомнить, как провела остаток ночи, минуты, а может быть, часы между темнотой и светом.

...Мита Месерер<sup>1</sup> — частая гостя у нас. И почти всякий раз они с Ма крутят мне ноги так и сяк, велят «тянуть» подъем, охают, ахают и словно бы считают дело решенным. Ма без конца водит меня в Большой театр. Мита и муж ее Гоша на сцене совсем маленькие и почти неузнаваемы. Зато — полный восторг, когда «заведующая лебединым озером» (к счастью, не Мита), поскользнувшись, плюхается на пол и (от растерянности, очевидно) остается в этом странном положении довольно долго. Показывают мне и «Царя Салтана». «Царь Салтан» не балет, но сказка, значит, «тебе будет интересно». Я терплю и жду шмеля. Наконец: «Смотри, вот он, вот он!» Я ищу маленькую черную точку. Кутерьма на сцене вокруг толстой дико орущей тетки: ее укусил полосатый колобок. «Сейчас появится Царевна-Лебедь!» По тому, что они называют «море», странными рывками движется то, что они называют «лебедь». «Тебе понравилось?» — «Да-а-а...» — «А что именно?» — «Шмель и еще... лебедь».

Однако решение отдать меня в балетную школу нуждается в апробации высшего эшелона власти, а именно — Деда. Запрос отправлен через Светлану, и некоторое время спустя через нее же получен ответ. Опустив глаза, со звоном металла в тихом голосе тетя объявляет, что «делать это не следует». Разумеется, Дед не мог запретить балет. Более того, он должен был изображать удовлетворение его лестной для Союза славой, но в глубине восточной души наверняка считал этих полуголых женщин подобием

<sup>1</sup> Суламифь Месерер, известная балерина, сестра Асафа Месерера.

шансонеток, среди которых ни за что не потерпел бы видеть ту, в чьих жилах течет его родная кровь.

Мне — все равно. Я не огорчена. Даже напротив: теперь я спокойно могу стать юнгой. Берут только мальчиков? Ну и что? Можно переодеться! (Мы только дочитали «Кавалерист-девицу».) Они не возражают, и это подозрительно. Решаю заручиться поддержкой Деда. Как увижу — попрошу. Ему должно понравиться: профессия серьезная, героическая.

Александровский сквер походит на огромную, пеструю, без остановки кружащую карусель. Шары, флажки, цветы, цветные ленты, детей больше, чем взрослых (или я больше смотрела на детей?), радостное снование вперед и назад по аллеям, и все говорят, и мы с Любовью Петровной<sup>1</sup> тоже перекидываемся какими-то словами и крутим головами туда и сюда, и делаем массу ненужных и очень возбужденных движений в общей суете, почти толчее, суматошного, неожиданного праздника... Лето 1945 года...

Тогда, оставив двухкомнатную квартиру на Садовом кольце (мы перебрались туда из Розиной трехкомнатной, с гнутой павловской мебелью), мы почему-то обосновались на седьмом этаже гостиницы «Москва» в полулюксе с балконом, откуда парад на Красной площади, да еще в полевой бинокль, был виден, действительно, как на ладони, а небо с птицами (все в тот же полевой бинокль) давало иллюзию не то полета, не то падения (пустота внутри и невесомые ноги и голова). Пестрый ворох знамен, брошенных к подножию Мавзолея, не удержал моего внимания. Зато пронзил восторгом звенящий цокот тонконогой лошади, щеголеватой и покорно переступавшей под коренастым, впаянным в седло маршалом.

Через несколько дней мне сказали, что очень скоро, на этой неделе, возвращается папа. И снова закружилась карусель, только маленькая, зажатая в две смежные комнаты нашего гостиничного номера: вереница гостей, растянувшись от утра и до ночи, поздравляла, вспоминала, осыпала вопросами Ма, сидящую на полу (места на всех не хватало). Возбужденная до предела, она говорила без умолку. Меня забывали укладывать спать. Я толкалась среди гостей, упиваясь общим вниманием к нам и почти физически ощущая, как необычайное придвигается все ближе и ближе с каждым уходящим назад часом.

...В тот день с утра приходила Мита Месерер с мужем Гошей. Слушая Ма, она всплескивала руками, и я с уже привычным любопытством следила глазами за неяркими в дневном свете взблесками двух овальных бриллиантов на ее безымянном пальце (она охотно и не раз объясняла мне, что большой «плохой воды», желтоватый, а поменьше, голубой, — хороший). Потом их сменил двоюродный брат, Рома, и еще двое. Одного из них, блондина, в гимнастерке с красным орденом я видела в первый раз. Волосы у него были с волной и светлее продолговатого лица. Он молчал, прикуривая папиросу от папиросы. Меня притягивало все: волосы, лицо, орден, загадочное безмолвие. Притихнув и забившись в угол, я не отрываясь глядела на него. Он несколько раз обернулся, словно искал источник беспокойства, потом уставил на меня очень светлые, без тени улыбки, глаза и поманил пальцем. На коленях у него, боясь шевельнуться от восторга, я просидела, наверное, около часа. Он продолжал курить. Зазвонил телефон. Ма стала извиняться, быстро засобиравшись. Мы остались одни с Любовью Петровной, которую я безуспешно трясла, пытаясь выудить хоть какие-нибудь сведения о таинственном блондине. Ма вернулась поздно и сразу подняла шум, почему я еще не сплю. На следующее утро гости не явились. Нас с Любовью Петровной отправили гулять в Александровский сад. Вернулись мы поздно и снова никого не застали, только Ма часто говорила по телефону. Вечером, прощаясь с Ма перед сном, я спокойно, «так» (ответ мне был ясен) спросила про папу. Ма, торопясь, глядя куда-то вбок, принялась объяснять, что тот человек — самозванец, он просто лгал, притворялся, выдавая себя за папу. Была ли она удивлена моим равнодушием или обрадована — значения уже не имело.

...Какое время спустя после истории с самозванцем появился человек в истрепанной шинели, определить мне сейчас трудно. Возможно через месяц или два. Каким образом раздобыл он наш телефон — не могу понять до сих пор. Папа, как он говорил, дал ему наш довоенный адрес, а уже там, на Грановского, назвали номер гостиницы Москва. «Какой-то мужчина, управдом, наверное...» Таинственный управдом, следивший за всеми перемещениями Ма в течение пяти лет и даже знавший наш номер телефона. «А он звонил нам?» —

<sup>1</sup> Любовь Петровна Кучвальская, воспитательница.

спрашивала я не без интереса. «Кто?» — не понимала Ма. «Да управдом же!» — «Какая ты все-таки глупая! Зачем я тебе это рассказываю? Только не дуйся, пожалуйста, подбери губу!»

Мысли об управдоме пришли позднее. А тогда был только звонок человека, жившего с Яшей в одном бараке совсем недавно, каких-нибудь несколько месяцев назад («Близкий друг вашего мужа», — сказал он), знавшего о нем все и искавшего с ней встречи, чтобы передать доверенные ему одному слова.

Он все-таки добрался до нас много лет спустя (конечно, не в шинели и не худой, и бритый) и сидел за круглым обеденным столом в комнате с окном, выходящим во двор-колодец (наши гости всегда сидели за этим столом), много говорил. Жизнь концлагеря, вереница имен, событий, дат, очень точное и довольно живое описание пленных и надзирателей, мастерская, где из костей вытачивали «лагерные сувениры», подполье, подготовка побега, его срыв... Рассказ, похожий на художественную фотографию. С одним дефектом: человек, ради которого мне ее показывали, был лишен лица (как на другой, уже реальной фотографии; кто-то неузнаваемый, висящий на колючей проволоке и названный именем моего отца). Я начинаю помогать ему. В школе это называют «задавать наводящие вопросы»: «Но ведь вы говорили не только о войне, тем более, так дружили? — Он проводил странную связь между эпидемией тифа в лагере и тем, что отца поместили в один с ним барак, на одни нары. — Вспоминали, наверное, довоенную жизнь, всякие случаи, родных, семьи?» Он подбирается: «Да, да, и вспоминали много, и говорили... Ну, что мы могли говорить о женах, детях? Конечно, все самое, самое хорошее!» Он доволен, несколько раз кивает головой и снова рассказывает о костяных шахматах. «Простите, я опять все о том же! — Он разводит руками: — Да, я уж, знаете, сейчас и подзабыл многое. Не та память стала!» Он смеется. «Обидно...» — тяну я. Он растерянно водит глазами по окну, стене и вдруг оживляется: «Помню, он мечтал, все мечтал о машине! Говорил: «Вот война кончится — куплю машину!» Мы часто мечтали, друг с другом делились нашими мечтами!» — «Но ведь у него была машина! Черная эмка, он ее так любил и водил, и чинил сам!» Он озадачен: «Вот этого я уж не знаю... Но мечтал он о машине, точно... Хотя что ж тут такого: может, другую, иностранную захотел приобрести! Побывал за границей, наглядился на иностранные машины, ну и захотелось самому такую иметь!»

Мода на отца пришла внезапно, и гость (близкий друг, очевидец) быстро стал героем многочисленных статей, которым как нельзя больше подошел уже знакомый мне и бережно хранимый им безликий силуэт.

...На этот раз он держался самоуверенно: то ли забыл о моих расспросах, то ли больше их не боялся (столькими его слова принимались без возражений). Но и я не была прежней. Проклятие нашей семьи — документы (я думаю, даже когда никто из нас не останется в живых, они шуршащей лавой все будут ползти и ползти из бездонных архивных закровов под радостный вопль: «А оказывается...») уже измучили меня своим обилием и разноголосием. Все путалось и не совпадало. Названия концлагерей, буквы и цифры зон, бесконечные показания «очевидцев», утверждавших каждый свою правду... Даже самый его конец, имевший несколько (конечно, «проверенных») версий. Вопрос о подлинности документов вообще не стоял. «Как вы можете сомневаться?!» — и очередной посетитель торжествующе потрясал копиями (иногда мне даже разрешалось их «поддержать»).

Он медленно, с удовольствием, слово в слово повторил свой прежний рассказ. Удивительная память была у этого уже очень немолодого человека. Если бы у него тряслась голова, если бы он сбивался, поправлял себя, глядел робко, я, конечно, ничего не сказала бы. Но теперь мне было жалко себя, а не его. Все же я не хотела причинять ему сильную боль. Я только попросила его не трогать память человека, о котором он так мало знал. Сопrotивлялся он отчаянно, не хотел расставаться со своим фантомом...

Наступило очень жаркое лето. Я играю с девочками во дворе. Мне все равно хорошо. Ма — другое дело: в конце июня она, мешая торжество с опаской, объявляет мне о Зубалове. «А кто там сейчас живет?» — «Светлана, Ося<sup>1</sup>, Дюняня и Мяка». Она боялась семи лет разницы между мной и Осей, как мы будем играть.

Осю я вспоминаю туманно: маленькое светловолосое нечто. Теперь ему три года. Каштановая, в крутых завитках, шевелюра, овальное личико с нежным и ярким ртом

<sup>1</sup> Иосиф Григорьевич Аллилуев, старший сын Светланы.

и глазами длинными, золотистыми, в огромных, загнутых, как специально, ресницах. Через пять минут мы бегаем взапуски на четвереньках. Ма волновалась напрасно.

Светлана придумала для него прозвище Заяц. Похож ли он на настоящего зайчишку или на одного из зайчат «Бэмби» — неважно. Главное — похож. (Зимой, когда его шевелюра скрывается под вязаной шапочкой, на кремлевской проходной через раз повторяется вопрос: «А эта девочка чья?») Впрочем, характер у Зайца бескомпромиссный: я могу играть в одну и ту же игру (мною же и придуманную) не больше десяти раз подряд, он требует двадцать, двадцать пять с точностью до последнего слова. Возникает потасовка. «Гулька! Проти-и-и-вная!» Пока я с ним справлюсь!..

...Мы катим на велосипедах: он (очень похоже изображая рев мотора) на трехколесном по дорожке, я — на двухколесном (настоящем «дамском») прямо по лесу, по шишкам, радостно чувствуя их хруст под толстой резиной шин...

...Мы рисуем бесконечных Котов в сапогах, в наших альбомах не осталось ни одного свободного листа.

...У нас — настоящий лук: видя нашу беспомощную возню с тонкими гнущимися прутиками, кто-то из служебного помещения, жалея нас, соорудил нечто солидное, с тугой бечевкой и выдал даже стрелу с жестяным наконечником. Первый залп загоняет стрелу в листья рослого дуба (он расположен на поляне перед обширным огородом, уходящим вдаль к самой ограде и носившим экспериментальный характер: помимо таких банальных культур, как морковь и огурцы, там красовались пузатые сладкие арбузы и капризничала кукуруза, не желавшая рожать ничего, кроме огромных свернутых листьев). Два дня мы ждем, пока ветер страхнет с дуба стрелу. Вторым залпом ее заносит на крышу дома. Пока Заяц и няньки спят после обеда, я залезаю на крышу и обнаруживаю, что там очень интересно. Весь следующий день мы с Зайцем ищем уже не только стрелу, но и бесследно пропавший лук. Вечером Мяка деликатно дает мне понять, что на крыше я задержалась слишком долго и кое-кто меня там успел заметить... Позднее тот же аноним закрывает передо мной двери конюшни.

К лошадям мы с Мякой ходили без Зайца: он был слишком мал и не умел давать хлеб с ладони. Мяка обычно сидела на скамеечке в просторном загоне, а я под присмотром симпатичного конюха Панина по часу, а то и больше крутилась в конюшне среди лошадей. Их непонятный мне ум, сильные, почти опасные движения, хрип, запах — завораживали, не давая уйти, даже когда кончались запасы корок и сахара. Раз в неделю мы с Паниным отправлялись на верховую прогулку. Он брал себе Серого в яблоках, а меня, подтянув стремяна до того, что и они почти соединялись с седлом, устраивал на спине смиренного от старости и толщины огромного белого рысака по кличке Трельяж. Мы долго ехали шагом, разговаривая о лошадях. Наконец Панин пускал Серого в рысь, а я, проделав все положенные манипуляции, чтобы подвинуть на то же и Трельяжа, ровно через минуту оказывалась на траве среди листьев. Трельяж останавливался, конюх Панин пугался, обирал с меня листья и все спрашивал — не ушиблась ли. Потом с его помощью я снова делала шпагат на спине Трельяжа, и мы трогались дальше до следующего падения. Зимой — проще: из санок с туго пристегнутой полостью вывалиться невозможно, и удовольствие, из-за отсутствия риска перемещается на момент ожидания, когда я каждые три минуты вылетаю в прихожую и, отодвинув тугую шторку на двери, взглядываю на пустое белое пространство перед подъездом, пока — вот оно: ярко блестя чернотой, прилегла как пантера перед прыжком Светланина Татра, а рядом мои смешные саночки с седой лошадей, едва видной на светлом и снежном фоне.

Молодая, свободная Светлана скучала на даче и старалась бывать там нечасто. Редкие визиты подруг (бледенькая, высокая — все, кто выше Светланы, кажутся мне высокими — Эличка Микоян, деликатная Люся Шверник... Марфа! Марфа Пешкова — единственная, Марфа Пешкова — сказка. У нее все — особенное: лицо, волосы, голос, одежда, духи. Она существует в теплом, ароматном облаке странного притяжения. Мир вне облака уродлив и груб, хоть плачь! Я теряю дар речи, не знаю как переставлять неуклюжие ноги. Ставшая уродливой Светлана прикидывается, что ничего не замечает — иметь Марфу подругой нелегко!) не делают погоды. Она любит машину, водит с наслаждением, правда, только летом (это безопаснее) и, когда сидит за рулем в вишневом костюме под цвет обивки, с золотыми шариками в ушах, вызывает во мне чувство, близкое к восхищению. Аккуратная, как и большинство женщин, она редко попадает в происшествия, да и то в смешные: «... он заглядывает в машину и говорит: «Вам только на верблюде по Казани ездить!» Ну, я тоже не растерялась: «А вам только верблюдам движением и управлять!»

Иногда она срывает скуку на нас, иногда на совсем уже беззащитной Мяке. Ее настроение пляшет, словно барометр в неустойчивую погоду. Едва почуяв грозу, мы удираем в парк и там отсиживаемся в укромных уголках, смешно, по-детски ругаясь. Но стоит ей поманить нас пальцем, и мы уже тут как тут, позабыв и страх и обиду, и ловим ее улыбку и готовы сделать, что она пожелает. Все-таки мы любим ее, а в доме ее называют так: хозяйка.

Это было не мое волнение, оно приходило ко мне от других, и я подчинялась ему беспрекословно: когда появляется Дед — так надо. Ростом со Светлану, обыкновенный, старый уже человек (ничего общего с отрешенностью его газетных портретов), улыбка в прищуре глаз и в особом положении усов — он даже не настораживает. Напряжение — дело взрослых. Едва поздоровавшись, мы с Зайцем осваиваемся и начинаем обычную возню. Снова и снова я ловлю на себе его взгляд и слышу непонятное тогда: «Похожа!..» В бильярдной на окнах крошечные горшочки с хвостинками, ростки роз, которые Светлана привезла из Крыма. «А что это такое?» — «А это — мой садик!» Она изображает миленькую мину Мурзилки. Он берет двумя пальцами коричнево-зеленый хвостик, и тот с готовностью повисает своими щедрыми корешками. «Хороший садик...»

Их речь скользит по поверхности моего сознания, едва его задевая. Глуховатый голос с сильным акцентом (он очень следил за собой вне семьи, на людях, и почти подавлял акцент, думаю, не без труда) звучит реже других. Он говорит коротко и нечасто.

В прихожей случается непредвиденное. Он надевает шинель и фуражку. Золотые погоны, большой круглый герб. Он стал шире, выше. Как на плакате. Я теряюсь, не готовая к перемене. Он говорит: «Смотрит!» Его нет. Я чувствую: что-то упущено. «Ну, что же ты! Надо было его поцеловать. Он ждал! Ладно, ладно, не огорчайся, теперь в другой раз».

...Все наверху. Вася — с Катей<sup>1</sup>. Он обнимает ее за плечи, шепчет на ухо, не отходит ни на шаг. Светлана, к моему изумлению, тоже обхватывает ее шею, нежно чмокает в щеку (а как же Галюся?). Я разглядываю Галюсину преемницу: смуглое овальное лицо, очень темные, четкие брови, очень темные потупленные глаза, темные затянутые волосы. Наверное, красива. («...привез он Катю... красивая она была, ничего не скажешь, только странная... не любила звонки... никогда на них сама не отвечала...») «...она сидит на кровати с ребенком на руках и ничего не замечает, распустив свои черные волосы, похожая на гоголевских колдуний, знаешь, как это...» — Ма переходит на английский. Я не знаю его, но тут можно угадать: «темный шарм»). Дед мягко, почти осторожно обращается к ней. Она, вспыхнув, вскинув голову, торопясь, отвечает...

В футляре разобранные ружья, блестящие стволы и серебренная насечка — подарок из ГДР, тут же передаренный Васе. «Собирай!» Он очень спешит. Я вижу это по напряженному, с натянутым ртом, лицу и резким движениям подрагивающих рук. Насечка оставляет на пальце кровавую ссадину. Дамы ахают. Он продолжает собирать, повторяя: «Это ничего, что кровь, это ничего!» Я слышу, я ближе к ним, чем другие, как она, метнув взгляд в его сторону, шепчет: «Ну, если ты и это отдашь тому человеку...» Он ласково сжимает ей локоть: «Ну, ну, Катюша!»

Перед ужином мне приходит удачная мысль прокатиться на велосипеде, чтобы «нагулять аппетит». Всем почему-то кажется очень смешным это выражение (возможно, из-за Деда — он дважды повторил его, усмехнувшись), и меня отпускают. Уже темно, и я сорвавшись с асфальтовой дорожки, наезжаю на высокий куст, который оказывается солдатом в плащ-палатке. Мы хором извиняемся, и он помогает мне вытащить велосипед на дорожку. (С наступлением темноты они, днем едва видимые сквозь деревья далеко у забора, вырастая в числе, придвигались к дому, и Светик, гуляя, очень сердилась на внезапное «кто идет!» и порядком грубила.) В столовой уже светло, и за стол сели, конечно, не дожидаясь меня. Людей немного, и спокойно-весело. «А мне?» — перед моим прибором пустой тонкий бокал. Светик при Деде шипеть боится, а потому ласково и даже называя Гулечкой, объясняет, что это нельзя, но Дед неожиданно разрешает. Я смотрю, как легко золотистая жидкость принимает форму бокала. Вкус ее непонятен: в первый раз определить трудно. Все вокруг теплеет и чуть меняет очертания. Я уверенно чувствую себя центром стола и, не закрывая рта, наслаждаюсь ответным смехом. Даже сидя на кровати, я не могу остановиться. Света раздевает меня, словно маленькую, иначе я проболтаю всю ночь.

<sup>1</sup> Екатерина Семеновна Тимошенко, вторая жена Василия Сталина.

...Мотя<sup>1</sup> и Мяка мечутся по комнате. Мотя добивается полного отсутствия пыли и поправляет мебель, Мяка, пыхтя и суетясь, дублирует каждое ее движение. Наконец она находит для себя автономное занятие и принимается запирать («на всякий случай»), отпирать («чтобы проверить!») и снова запирать балконную дверь. Я торжествую: Дед придет раньше Светланы: ее никак не могут найти. Значит (пусть хоть на время!), он будет только моим.

...Военный с лицом пожилой дамы рассказывал притихшей аудитории, как плохо мой дед жил о со своей второй женой. «...и вот, когда месяц спустя она с детьми все-таки вернулась к нему, он, представляете, спокойно говорит: «А что у нас сегодня на обед?» «Тиран! Деспот! Чудовище!» — негодует публика.

...С женами Деду не слишком везло. Бабушка моя, тоже Катерина, умерла в возрасте двадцати четырех лет от брюшного тифа. Деду она была идеальной женой, так как чудом воплощала все достоинства, которыми молва награждает восточных женщин, хотя, увы, далеко не каждая из них в реальности обладает ими. Отличная швея и стряпуха, она (и это главное) не покушалась на приоритет мужа даже в самых незначительных семейных решениях. Женившись семь лет спустя после смерти Катерины на Надежде Аллилуевой (думаю, она стала второй и последней любовью в его жизни), Дед столкнулся с характером крепким и своенравным. Новая жена имела свои пристрастия (казавшиеся ему женской ерундой) и упорно отстаивала их в открытом бою, пренебрегая тем, на чем держится семейное благополучие и ради чего многие женщины идут на сложнейшие обходные маневры, — а именно умением манипулировать «владыкой» без ущерба для его самолюбия. Дважды она, забрав детей, уезжала к родным. Сначала Дед уступил и первым пошел на примирение. Во второй раз она не рассчитала свою власть, и ей пришлось вернуться самой, не дождавшись от него знака. Она не услышала и слова упрека: он вел себя так, словно ничего не произошло. Но ее самолюбие, уязвленное его победой, даже тут нашло повод для боли. Они ревновали друг друга, она — открыто, он — тайно (как все мужчины его склада), ненавидя ее новые платья и духи (зачем это? Для меня, она знает, и так хороша). Любя и боясь потерять, они мучали друг друга. От постоянной борьбы она устала первой; страдала головными болями, часто сидела, припав головой к рукам, закрыв глаза — в точности статуэтка, которую ее дочери подарил кто-то много лет спустя: молодая женщина с крупным узлом волос на затылке сидит на диванчике, облокотясь на валик и припав лбом к кисти левой руки. Видно — она небольшого роста, чуть полновата, и прическа как на фотографиях, и лицо. «Это — Надежда Сергеевна?» — «Ты знаешь, мне тоже кажется, очень похожа».

...На вечере у Ворошилова опять произошла сцена. Алеша Сванидзе<sup>2</sup>, присутствовавший там, рассказывал так: Дед разговаривал с дамой, сидевшей рядом. Надежда сидела напротив и говорила тоже оживленно, по видимости не обращая на них внимания. Потом вдруг, глядя в упор, громко на весь стол сказала какую-то колкость. Дед, не поднимая глаз, так же громко ответил: «Дура!» Она выбежала из комнаты, уехала на квартиру в Кремль. Он позднее поехал ночевать на дачу. Вечером она несколько раз звонила ему из города. Первый раз он бросил трубку. Потом просил подходить Алешу... Мог ли он предвидеть, как обернется дело?

...Он расспрашивает меня про школу, но про школу мне неинтересно, и я начинаю рассказывать про кота, какой он необыкновенный и смешной, и прошу разрешения показать. Он сразу же соглашается: «Конечно, ну как же можно без кота!» Я лечу на кухню. Мотечка сурова: «Чтоб никаких котов!» Я кричу: «Дедушка разрешил!» Все потрясены и делают вид, что кидаются его искать. Через десять минут я снова на кухне, мне с прискорбием объявляют: кот куда-то ушел.

Мотечка приносит наверх чай и уже готова разлить его по чашкам, но Дед (кивок в мою сторону) говорит: «Пусть разливает хозяйка!» Я обмираю от восторга — до сих пор так называли только Светлану. Поначалу все идет прекрасно (я делаю это в первый раз), но, когда в чашки плюхаются ломтики лимона, на блюдах образуются маленькие противные болотца. Представляю реакцию Ма или Светланы... Но Дед — другое дело, он выше такой ерунды. Приободрившись, завожу разговор о Нахимовском училище. Он согласен и здесь. Правда, «туда принимают только

<sup>1</sup> Подавальщица в Зубалово.

<sup>2</sup> Александр Семенович Сванидзе, шурин И. В. Сталина.

мальчиков», но «посмотрим, придумаем что-нибудь». Время бежит. Появляется Светик. Сама кротость: улыбка, потуплены глазки, скромная блузочка в белый горошек. Я понимаю, что ему очень приятно смотреть на нас. Он все время улыбается, треплет нас по волосам (поровну, я хорошо улавливаю, — чтобы никого не обидеть), целует то в щеку, то куда-то в бок носа.

...Светлана стала получать странные посылки (я училась тогда на пятом, последнем курсе). Она часто приходила к нам и подолгу болтала с Ма, сидя за тяжелым дубовым столом (серо-тусклая днем, столовая к вечеру становилась оранжевой от заходящего солнца, дающего тот же цвет кусочку неба над углом нашего дома, дугой сжимавшему глубокий и круглый двор). Как-то я увидела на ее ногах необычные босоножки: два широких скрещенных ремня (возможно, это была лишь имитация кожи) охватывала ступню красиво и ловко, — такую обувь у нас не носили. На мой вопрос она ответила, что это подарок и ей прислали из-за границы. Потом был летний пестрый костюм, какие-то салфетки и скатерть, мужской галстук (она готовилась к свадьбе с двоюродным братом моего отца, Джоном Ридом Сванидзе<sup>1</sup>). Посылки шли от неведомого друга, человека, не называвшего себя, но хорошо знавшего ее жизнь (хотя бы галстук, явно адресованный будущему мужу) и которого она, возможно, тоже знала. Она подолгу, растягивая подробности, говорила о неизвестном друге и, с особой настойчивостью, о том, как он заботится о ней: он явно небогат (качество подарков подтверждало это) и (разве не трогательно!) еще урезает свой скромный бюджет, чтобы помочь ей. Разговоры о таинственных посылках не очень занимали меня. Подруги, проходившие летнюю практику переводчицами с французами или бельгийцами и в каждой туристической группе непременно имевшие по жениху, получали бесконечную вереницу «знаков внимания». Одна из них, по прозвищу «девушка среднерусской полосы», жившая в общежитии, даже оставляла женихам и их родственникам не свой, а наш адрес (Ма покровительствовала ей и пеклась о ее репутации), и мы вместе бегали на Главпочтамт, а потом, горя нетерпением, — домой, разглядывать содержимое красивых, а иногда и довольно больших коробок: клипсы, чулки, бусы из кофейных зерен, свернутые в виде роз носовые платки.

...«Посылки — от Яши!» — глаза у Ма были сужены и блестели, она почти шептала, почему-то оглядываясь, кивала головой, словно от этих движений слова ее удваивали свой смысл. Светлана не могла найти более верную союзницу (была ли она искренна — ведь принимать подарки от брата так естественно, или попросту искала для себя оправдания — не знаю до сих пор): веря и прежде, что он жив, Ма ухватилась за жалкие посылки, как за право говорить наконец вслух о том, в чем она была убеждена. Между нами началась тихая, но упорная война. Вооруженная опытом общения с людьми «оттуда» (журналы «Эль», Альбер Камю, сплетни о Бриджит Бардо), я пыталась втолковать им, насколько не по-местному рассуждает отправитель: тряпки «на бедность» — «нищим» жителям «нищей» страны! Бравлада скрывала растерянность, близкую к страху: если это — он, если он действительно жив, то почему отыскал Светлану, почему не нас? Ведь мы в одном городе, в двадцати минутах езды друг от друга... Муж Доры<sup>2</sup>, попавший в плен и оставшийся после войны в Западной Германии, отыскал жену и сына (они считали его погибшим) двенадцать лет спустя. Он не завел другую семью...

«Психологические» доводы оставляли Ма равнодушной. Она была создана для веры — безоглядной, слепой и неистребимой. Красноречие и логика всего мира не могли бы тут ничего изменить. Светлана говорила, довольная, вкрадчивая (все меня любят и помнят меня): «Вы, молодежь, — циники, а мы, старое поколение, — романтичны!» Словно в подтверждение ее слов посылки становились все загадочнее. В них появились проспекты с видами далеких страх и даже надпись на английском языке — «В память о встрече» — под одним из незнакомых пейзажей. Тетка терялась в догадках, но припомнить, когда и с кем встречалась там, где никогда не была, так и не смогла. Мы рассматривали пейзажи, мы сличали почерки. Я — позабыв на время мучительные подозрения и ревность, тетка — с холодным азартом любопытства. Почерк отца до удивления не походил на подпись под открыткой. Однажды она примчалась к нам, сияя торжеством: в очередную посылку была вложена маленькая шкатулка с веточкой вереска внутри (кажется, там лежал еще какой-то

<sup>1</sup> Сын А. С. Сванидзе.

<sup>2</sup> Дарья Михайловна Ренхвандзе (в девичестве Сванидзе), двоюродная сестра Якова Сталина.

засушенный цветок, сейчас уже не помню). Многочисленные приятельницы моментально все разъяснили: сухой вереск — символ тоски по утраченной родине.

Тайком от Ма я позвонила Доре в Тбилиси. Я умоляла ее просить Жору, ее мужа, жившего в Мюнхене, навести справки о папе через знакомых, друзей, может быть, прессу. Ответа пришлось ждать месяца два. Приехав в Москву, Дора остановилась у нас. Она медленно переводила длинное письмо, написанное по-грузински. Жора уже давно пытался отыскать следы Якоби. Он много путешествовал, иногда на своей машине. Почти в каждой стране была грузинская община. Через этих людей он старался найти подтверждение коротким заметкам, мелькавшим в журналах (две или три дошли позднее и до меня). Они предлагали разные варианты спасения сына Сталина из плена. Богатый ассортимент. От явно романтических версий до точного, или псевдоточного изложения событий и дат. И везде его поиски встречали недоумение и пустоту. Дора кончила перевод. Ма сразу перешла к повседневным сюжетам: магический круг, в котором она теперь жила, делал ее неуязвимой. Я молчала. Я видела какую-то витую лестницу и людей, сходявших по ней в просторный высокий холл. Того, кто шел впереди, обнимал за плечи, словно оберегая, его спутник, третий легко прыгивал по ступенькам чуть выше за ними... Веранда с белым полом, зеленые растения в кадках и кто-то с лицом знакомым, но не четким, сжимал мне сильно пальцами руку выше локтя, а другой рукой тянул ко мне молодую темноволосую женщину в светлом и длинном. Кадры шли вереницей, потом оборвались. Теперь было спокойно. Он мертв, и он верен нам. Тогда мне казалось, что так — лучше.

Полностью книга Галины Джугашвили «Дед, папа, Ма и другие» выходит в издательстве «Олимп» во втором квартале 1993 года.

тел. 200-48-42  
200-63-97

ВЛАДИМИР МЕДВЕДЕВ

## Сага о бобо Сангаке, войне

Поистине, Аллах не меняет того, что с людьми, пока они сами не переменяют того, что с ними.

Коран, сура «Гром», 11

Мемуары Сангака Сафарова, отрывки из которых вы прочтете ниже,— документ уникальный.

Постойте, перебьет меня придирчивый читатель, можно ли считать мемуарами рассказ о событиях, которые начались около года назад и еще не закончены? Отвечу: можно. Окружающий нас мир меняется столь стремительно, что события месячной давности — уже история. И как ни странно, в этой «вчерашней истории» белых пятен, пожалуй, даже побольше, чем в истории давних лет. Пример тому — современная гражданская война в Таджикистане. Написано о ней немало. Однако подлинные обстоятельства таджикской трагедии мы представляем себе столь же смутно, как и истоки и смысл пресловутой «борьбы с басмачеством», минувшей гражданской войны в тех же краях.

Что же там произошло и происходит? Большинство наблюдателей не усматривают в нынешней войне ничего неясного и дают событиям простые толкования: «выступление демократических сил против коммунистов», «столкновение кланов», «война регионов», «экспансия исламского фундаментализма»...

Что-то слышится родное в этих чеканных формулировках. Как там писали советские историки?.. «Басмачество — контрреволюционное националистическое движение против Советской власти в Средней Азии, организованное местной буржуазией и феодально-байскими элементами, действовавшими при поддержке иностранных империалистов, реакционных кругов некоторых соседних стран», и прочее и прочее.

Не стану опровергать ни тех, ни других. Скажу лишь, что вышеприведенные клише не имеют ничего общего с трагической, фантастически сложной и яркой действительностью. Надеюсь, в скором будущем «Дружба народов» сумеет познакомить читателей с подлинной историей гражданской войны в Таджикистане. Сейчас — лишь первый, беглый взгляд в глубину. Несколько эпизодов, рассказанных Сангаком Сафаровым, дают возможность представить, сколь причудлив узор событий, сколько невидимых подводных течений перемещается под видимой поверхностью боев и митингов, соединяясь и сталкиваясь, затягивая в завихрения сотни и тысячи людей.

Несколько слов о рассказчике. Сангак Сафаров, шестидесяти пяти лет от роду, неоднократно судимый и отсидевший в заключении в общей сложности двадцать три года,— лидер Народного фронта Таджикистана и народный герой. Сторонники, соратники и земляки, в том числе и русские, называют его бобо Сангаком — то есть дедушкой Сангаком, Стариком, Дедом, дядей Сашей... Один из моих друзей, эстет и философ, знающий о Сангаке, правда, только понаслышке, уверяет, что лет через сто он превратится в мифологический персонаж, наподобие Рустама из «Шахнаме» или Гуруглы, героя народного эпоса. Так оно наверняка и будет. Впрочем, он уже легендарен. Ни кто иной, как он, благословил нынешнего председателя Верховного Совета республики Эмомали Рахмонова при его вступлении в должность. Он же, бобо Сангак, обратился в новогоднюю ночь 1993 года с телевизионным поздравлением к народу Таджикистана.

Разумеется, это лишь светлая сторона его славы. Противники называют Сангака Сафарова уголовником, кафиром — неверным — и врагом ислама, рассказывают о его жестокости и несправедливости, обвиняют его в том, что он стремится восстановить в Таджикистане коммунистический режим.

*Я записал воспоминания Сангака Сафарова в феврале 1993 года в Курган-Тюбе, где в то время находился штаб Народного фронта Таджикистана.*

*Трибун и оратор, он перемежал рассказы политическими речами и призывами, филиппиками против врагов. Я не считал возможным отделять «зерна от плевел», оставляя для публикации исключительно описания действий, поскольку Сангак Сафаров относится к людям, для которых слово столь же важно, как и поступок. Он вышел из среды, в которой жизнь человека зачастую зависит от верно сказанного слова.*

*Выдержки из рассказов я снабдил комментарием. Это ни в коей мере не анализ всей ситуации и не разбор причин гражданской войны, а всего лишь пояснения, без которых читатель вряд ли сможет оценить все своеобразие событий, о которых повествует Сангак Сафаров.*

#### САНГАК:

Я никогда не скрывал и не собираюсь скрывать, что не раз был лишен свободы. Народ знает, за что я находился в заключении, за что был репрессирован мой отец, и не только он, но и почти весь мой род. Я — простой смертный и никогда раньше не занимался политикой. Жизнь заставила меня встать во главе моего народа. Хочу, чтобы люди не испытывали той боли и тех обид, что пережил я.

Исламисты обвиняют меня в том, что я — против ислама. Это неправда. Я, как и все мои земляки, мусульманин. Мы все верили и верим в одного Бога. У всех у нас один пророк Мухаммад. Все мы чтим Коран. Эту веру мы впитали вместе с материнским молоком.

Говорят, что мы кафиры, неверные. Те муллы и ишаны, что мучили народ и хотели создать у нас в Таджикистане мусульманское государство, утверждали, что мы с трехлетнего возраста пропитались коммунистическими идеями, что мы стоим за коммунистов. И это неправда. В моем роду никто и никогда не был коммунистом. Наоборот, коммунисты причинили моим близким и мне много горя, но я не держу на них зла. Я выступаю против людей, попирающих закон человечности, независимо от того, к какой партии они принадлежат.

Семья наша родом из Вахио, а я родился в кишлаке Фарки-Шоды, в Шугноу, где моют золото. Все мои деды и прадеды испокон веков работали на золотых приисках. Отец мой, Сафар Пирназаров был инженером и работал вместе с профессором Шумаковым, который в 30-х годах дал разработку золотоносного месторождения в Шугноу. Мальчишкой я почти все время проводил с отцом на приисках.

А со стороны матери все предки были кузнецами.

По происхождению мы — сейиды, состоим в кровном родстве по материнской ли-

нии с ишаном Султаном. Брат матери, мой родной дядя, мулло Абдулхак был первым учеником и помощником ишана. Это был высокий, мощный человек. Однажды во время гражданской войны его отряд, отступая, оказался в ущелье с водопадом, через который кони не смогли перейти сами. Моя дядя перетащил на себе через поток двадцать семь лошадей.

Мать рассказывала, как в Шугноу переносили старое кладбище, чтобы освободить место для золотых разработок. Разрыли и могилу мулло Абдулхака, похороненного рядом со своим отцом. Останки переносили, заворачивая в ткань. Прах отца, человека обычного телосложения, уместился в половине простыни. Кости мулло Абдулхака пришлось завернуть в целую простыню. Ключицы у него были, как у быка. Ребра — как у коня. Одно ребро оказалось наполовину перебитым. Это след пули, которой его ранили в Бальджувоне, где ишан Султан воевал против Энвер-паши. Когда ишан узнал, что мулло Абдулхак умер, он плакал горькими слезами.

А вскоре самого ишана Султана погубил Фузайл-максум. Этот Фузайл приехал к нему и сказал:

— Собери всех своих мюридов, будем бить чекистов,

Ишан Султан ответил:

— Хватит. Я не буду проливать кровь своих братьев. И так пролито достаточно крови...

И Фузайл, шакал, подлым образом повесил ишана и распустил слух, что казнили его чекисты. Этот Фузайл родом из Гарма, из Хаита, из того клана, что начал нынешнюю войну. С того-то еще времени и идет меж нами борьба. Но они не могли до сих пор воевать открыто и, лишь когда началась вся эта «гласность», подняли головы. Я напоминал им:

— Я еще пацаном был, когда люди из Вахио, из Каратегина, с Дарваза приходили с сумками для подаяния к моему отцу:

«Сафар-джон, дай пшеницы или овса, чтобы дети с голоду не померли...» Я помню дни, когда вы ходили попрошайничать. Клянусь, что если не прекратите рознь, то время это для вас вернется...

(Так оно и вышло. И когда запыхало, когда побежали люди из Гарма и Каратеги-на куда глаза глядят, я встречался с беженцами. Все они мои родичи, знакомые.

— Ну что,— сказал я им,— помните, как я предлагал вам, пока не поздно, объединиться, прекратить войну? Что вы тогда отвечали? «Мы не остановимся, пока не сровняем Куляб с землей. Мир наступит лишь тогда, когда над Кулябом поднимется белое знамя». А ведь не кто иной, как кулябцы спасали вас от голодной смерти и до и после войны. Хатлон всегда спасал вас...)

Отца посадили в 35-м году. Он был еще совсем молодым, ему тогда исполнился тридцать один год (меня в последний раз посадили почти в том же возрасте — в 1960 году мне было тридцать два года, и я просидел в заключении восемнадцать лет). За что арестовали отца, я не знаю. В то время царила такая неразбериха, что достаточно было двум свидетелям обвинить человека в том, что он богат или что он мулла и тайно обучает детей, чтобы вынести приговор. Состоялся в Шугноу суд, проводили мы отца и больше его не видели. Я не знаю даже, где он похоронен.

Мать с детьми переехала в Куляб. Было нас четверо братьев. Самый младший, грудной, вскоре умер, второй, постарше,— два года спустя. Мать умерла в Кулябе в 52-м году. Похоронили ее без меня — в то время я, и старший брат находились в заключении.

Я не грабил, не убивал, не воровал. Свободы меня лишали из-за того, что я был слишком гордым, не желал сносить оскорблений. Из-за этого и страдал. Первый раз я попал «за решетку» в Ростове, когда служил в армии. Второй раз посадили меня в 57-м году, затем в 59-м и, наконец, как я уже упоминал, в 60-м.

В 1961 году я восстал против администрации лагеря в Душанбе, тогда еще Сталинабаде. Мы, заключенные, строили больницу Кара-Боло, масложиркомбинат, ЖБК... Жили в нечеловеческих условиях. Над нами издевались, нас избивали, калечили. Я организовал массовый невыход на работу — около тысячи человек бастовали против произвола администрации. Восстание жестоко подавили, а меня перевели в тюрьму, затем в одиночную камеру и двадцать семь дней держали в смирительной

рубашке. Били. Ломали, но не сломили. Тогда решили уничтожить. Меня должны были выбросить в «заплетку» — запретную зону — и застрелить якобы при попытке к побегу. Спас меня начальник следственного изолятора Лаврентьев. Он не допустил преступления, опасаясь последствий. Я об этом узнал лишь несколько месяцев спустя, уже после суда, когда мне разрешили свидание с братом в кабинете Лаврентьева. Он при мне сказал брату:

— Я спас ему жизнь, а он мне сюрприз устроил. Спасибо, что вовремя остановили...

Он имел в виду восстание, которое я хотел поднять в тюрьме, когда сидел под следствием. Но нашлись предатели среди заключенных, которые работали на администрацию и сообщили о наших планах... Прибавили мне к сроку семь лет. А потом, когда я отсидел уже три четверти срока, добавили еще пять.

Долгие годы я провел на особом режиме в полосатой робе. Немало пришлось сидеть в одиночной камере. Но я и в одиночке не давал им покоя. Нас по всему Советскому Союзу было девять таких человек, числившихся на особом счету.

Но я и в тюрьмах, лагерях остался сам собой. В конце концов многое зависит от самого человека. С шелухой я не водился и сейчас держу их на расстоянии. Эти подонки и там всему вредили и пакостили. Я воспитал себя так, что, даже сидя в одиночке, никогда не прислушивался к тому, что происходит за стенкой. Иной раз входит надзиратель, окликает меня, а я его не слышу — настолько сосредоточен на своих мыслях или занятиях. Я установил свой режим — занимался, читал, играл в шахматы сам с собой.

С детства я остался необразованным. Удалось закончить лишь два класса. Так что жизнь заставила меня заниматься самоучкой, учиться у окружающих. В лагерях я общался с хорошими людьми, с теми, кто оказался репрессирован в хрущевскую эпоху. Среди них было немало умных и талантливых. Что-то я перенял от них. Помню одного — Халапова, баптиста, у которого в Москве была своя типография. Его как «резидента иностранной разведки» упрятали на пятнадцать лет. Человека упекли за религию — где справедливость?! Возраста он был такого же, как и я. Грамотный, умный. Талант. Он работал в промзоне чертежником и держался особняком. Идет на работу, приходит с работы — а ни с кем ни слова. И как-то мы друг другу понравились

и подружился. Он — баптист, я — мусульманин, а нашли общий язык...

Освободился я в декабре 1976 года и через год женился. Сейчас у меня восемь детей — четыре мальчика и четыре девочки. Недавно построил дом в Кулябе. Думал, наконец-то на старости лет обзавелся я семьей и собственным гнездом, буду жить спокойно. Но обстоятельства заставили меня бросить семью и детей и взяться за оружие...

В бурной истории крестьянских восстаний и гражданских войн в Средней Азии Сангак Сафаров далеко не первый народный вождь, за плечами которого — тюрьма или каторга. Однако никому из предшественников не удавалось вознестись столь высоко. Дело не только в его мощной, харизматической личности и стечении обстоятельств — этого, вернее всего, было бы недостаточно для того, чтобы стать во главе народного движения. Секрет возвышения Сангака в том, что он одновременно принадлежит к двум лежащим в разных планах мирам и опирается, как на два крыла, на две традиции.

Одна из них — традиция криминальная. К началу 60-х годов возродился разрушенный Сталиным воровской закон, и в недрах Страны Советов сложилось тайное криминальное «государство», управляемое своей собственной «командно-административной системой» — чуть ли не точным подобием советской государственной машины. Вся страна была поделена на области, каждой из которых руководил как бы секретарь теневого криминального обкома — в ор, уполномоченный «центром» вершить суд и закон на подвластной ему территории.

Сангак Сафаров никогда не был в о р о м в з а к о н е и даже не входил, по-видимому, в криминальные структуры. Однако его авторитет в местах не столь отдаленных — на островах современного архипелага ГУЛАГ, разбросанных по всему Союзу, — был чрезвычайно высок. Подобных ему людей в з о н е н а з ы в а ю т б у н т а р и или воины. Воин — последовательный и непримиримый борец против лагерной администрации, не идущий ни на какие компромиссы. Не входя «официально» в воровскую командно-административную систему, воин принадлежит к самым высоким слоям лагерной элиты и оказывает огромное влияние на внутреннюю жизнь зоны.

Аура лагерного авторитета окружает воина и на воле. Сангак Сафаров —

скромный кулябский буфетчик дядя Са-ша, торгующий пивом, водкой и шашлыками, сохранил в криминальных кругах все свое влияние, хотя и держался от них особняком. Среди земляков его обаяние сильной личности подкреплялось и усиливалось происхождением — потомственным званием с е й и д а.

Сейиды в исламской традиции — прямые потомки пророка Мухаммада (да будет он благословенен). В большинстве мусульманских стран они составляли высший слой традиционной социальной иерархии и пользовались высочайшим религиозным и политическим авторитетом. Правители гордились званием сейида не меньше, чем престолом. (Любопытное высказывание эмира Абдулахада, отца последнего бухарского эмира Алим-хана, любил пересказывать своим ученикам замечательный знаток Средней Азии профессор Александр Александрович Семенов:

«Помнится, как-то я спросил:

— Ваше высочество, почему вы слово «сейид» всегда ставите прежде всех ваших имен, званий и титулов?

Эмир в это время сидел за трапезой. Он отложил кость, которую высасывал, вытер жирные пальцы и ответил:

— Эмиром я могу быть сегодня, а завтра очутиться в ничтожестве, буду свергнут, перестану быть эмиром, государем. А звание сейида у меня никто не может отнять, ибо оно наследственное, родовое».)

Не всякий сейид становился правителем. Более того, обнищавшим потомкам пророка (да будет он благословенен) приходилось порой заниматься черным крестьянским трудом. Дед знаменитого ишана Султана, о котором еще пойдет речь, в молодости был бедняком дехканином. Но правителем мог стать лишь человек, происходивший из высших сословий — сейидов или х о д ж е й, потомков первых арабских завоевателей. Его право на власть должно быть освящено историей. Традиция эта сохранилась и до наших дней. Народ по-прежнему чтит сейидов, а сейиды по-прежнему гордятся сословной исключительностью (Сангак Сафаров сказал мне: «В наших краях только мы, сейиды, имеем право определять, какой должна быть вера»).

Посторонним, «европейцам», эта и многие другие особенности среднеазиатской жизни почти незаметны. Они выходят на поверхность, как лава при извержении вулкана, и проявляют свою силу в периоды социальных катастроф и катаклиз-

мов. Тогда-то и обнаруживается, что современный Таджикистан, страна гигантских гидроэлектростанций, страна, где добывается уран и производится сверхчистый алюминий, где в глухих горных кишлаках принимают с помощью спутников телевизионные передачи из России и Ирана, — что страна эта наполовину погружена в прошлое. До сих пор политику здесь во многом определяют старинные традиции, былая иерархия племен и древних княжеств и бывшие меж ними распри...

Внешние, чуть ли не декоративные изменения, которые советская власть произвела в структуре среднеазиатского общества, не затронули его главной основы — сельской общины. Размышляя об этом, востоковед Сергей Панарин, исследователь массовых волнений на Востоке, заметил однажды, что в Средней Азии в сталинское время развитие общества происходило несколько иначе, чем в других республиках СССР. Среднеазиатская деревня нужна была плановикам Центра не как источник неквалифицированной рабочей силы в промышленном строительстве, а в своем традиционном земледельческом качестве. Не так уж важно, что при этом использовалась та же колхозная форма — все равно драма коллективизации в Средней Азии не была доиграна до российского финала. На плантациях нужны были люди, по самому образу жизни подготовленные к упорному кропотливому труду...

В «минуты роковые» сельская община становится мощной политической силой. Здесь каждый человек на виду. Здесь царит безоговорочное подчинение младших старшим и традиционное преклонение пред властью имущими. Община способна в одночасье поднять сотни седых стариков и зрелых мужей и послать их в город на митинг или бросить молодых парней в бой.

Вместе с тем община родственными связями прорастает во все сферы и слои общества. С ней остаются связанными и большие боссы из верхних эшелонов власти, и крутые парни из подпольного, криминального мира.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что во время предвыборной кампании кандидат в президенты Таджикистана Рахмон Набиев, нуждавшийся в поддержке кулябцев, вышел на воина и сейида Сангака Сафарова, который не только пустил в ход свое влияние на юге республики, но и ездил на север, в Худжанд, собирать голоса для будущего

главы государства. Я предполагаю, что роль бобо Сангака в избрании президента была немалой.

К помощи людей, способных управлять поведением общин, обращалась и оппозиция. В нашей печати немало писали о тесном сотрудничестве Демократической партии Таджикистана с Исламской партией возрождения. Таджикские демократы, немногочисленная группа интеллигенции, не имевшая поддержки среди сельских жителей, составляющих большинство населения республики, использовала влияние на крестьянские общины многолюдной и разветвленной исламской партии, запрещенной правительством и находящейся в подполье. В свою очередь, фундаменталисты, действуя через демократов, получали возможность открытой, легальной борьбы.

Такова общеизвестная схема. Верна ли она? В разговоре со мной мулло Ходжа Хайдар Шарифзода, имам-хатыб городской кулябской мечети, имея в виду лидеров исламской партии, фундаменталистов, которых он именует ваххобистами, сказал:

— Вся сила, что у них есть, — от ишанов. Если бы ваххобисты не соединились с ишанами, то люди из Гарма и Каратегина не верили бы ваххобистам и не помогали бы им.

То же самое я слышал от разных людей.

Гармские, каратегинские и кулябские ишаны до самого последнего времени враждовали с фундаменталистами. По словам писателя Амиршо Рахими, ишан Саидашраф часто говаривал:

— Если сидя рядом, коснешься ваххобиста полой одежды, то надо эту полу отрезать и выбросить вон...

Тем не менее, года полтора или два назад большинство ишанов встали на сторону Исламской партии возрождения и именно благодаря их влиянию на сельские общины демократам и фундаменталистам удалось собрать такое множество людей на супермитинги осенью 1991 и весной 1992 года.

В этом влиянии на народ нет ничего удивительного, ибо в самом уже слове — «ишан» — звучит глубокое уважение. Оно и не означает ничего, кроме выражения почтительности: ишан (или эшон в таджикском произношении) — это персидское местоимение 3-го лица множественного числа, то есть, попросту, — «они», и его употребляют, когда за глаза упоминают уважаемого человека. В Таджикистане и во всей Средней Азии этим

почтительным местоимением называют шейхов, усадов или пиров — глав и наставников суфийских братств.

Когда речь заходит о суфизме или тасаввуфе, в памяти прежде всего возникают имена великих поэтов мусульманского Востока — Джалаледдина Руми, Саади, Амира Хосрова Дехлеви, Хафиза, Джами, образы мистиков, мудрецов и аскетов. Но мало кто знает о крестьянском суфизме.

Суфизм — не только мистический путь избранных искателей истины. Это одна из главных жизненных опор простого люда, суфийские шейхи, ишаны, оказывают огромное воздействие на сокровенную жизнь мусульманских общин в Средней Азии. Непосвященные «европейцы» приписывают подобное влияние муллам, но это неверно. Мулла и ишан олицетворяют две различные, взаимодополняющие стороны духовной жизни мусульманина из народных низов.

Мулла регулирует те отношения верующего с Богом, что основаны на законе. Это «внешняя» сторона религии, скелет и мышцы ислама — строгий канон, суровый и ясный закон веры, всеобъемлющая дисциплина шариата. Сила муллы — в книжном знании. Святыище муллы — мечеть, молитвенный дом.

Суфийский шейх или ишан — заступник за человека перед высшими силами. Он участвует в повседневной личной жизни каждого из своих последователей — мюридов, помогая им в заботах и бедах своим чудодейственным даром. Это душа и сердце веры. Сила ишана — в карома т, способности творить чудеса. Святыище ишана — ма з а р, святое место.

Во многих селениях Средней Азии — чуть ли не в каждом — есть свой шейх, живущий при мазаре, гробнице местного святого, обычно одного из предков ишана, от которого передавались по наследству из поколения в поколение святость и способность совершать чудеса. По наследству передаются и мюриды. Жители кишлака и окрестностей остаются учениками нынешнего ишана, как их отцы и деды были последователями его деда и отца. К знаменитым ишанам сотни и тысячи мюридов приезжают за советом и благодатью издалека, зачастую из соседних республик.

В прошлом стать мюридом, «отдать руку шейху» означало полностью ввести себя наставнику и отказаться от собственной воли. «Ученик в руках шейха, словно труп в руках обмывальщика», —

говорили на Востоке. Не только простолюдины, но и сильные мира сего, высшая аристократия, начиная с эмиров, «отдавали руку» крупным суфиям. Так, скажем, кокандский ишан Миян-Фазлий-Ахад укрывал от ханского гнева преступников, и хан из уважения к ишану прощал их. Правда, к началу XX века влияние ишанов на высшие слои общества стало снижаться, но среди простого люда они пользовались по-прежнему непререкаемым авторитетом. «В настоящее время в мусульманских странах суфии являются главными духовно-нравственными руководителями народа», — писал в конце прошлого столетия русский востоковед Н. Маллицкий. Еще сравнительно недавно ишаны были узловыми точками незримой, пронизывающей все общество структуры — сети суфийских братств, которая подобно нитям грибницы раскинулась под поверхностью почвы, связывая воедино различные слои, прорастая и в глиняные хижинки бедняков, и в глиняные дворцы правителей.

Впервые фигура ишана выросла перед русскими властями во весь рост во время Андижанского мятежа, поднятого в 1898 году минтюбинским Дукчи-ишаном. После массовых волнений в Туркестане в 1916 году начальник Андижанского уезда полковник И. А. Бржезицкий писал в рапорте военному губернатору Ферганской области: «Все происходившие беспорядки явно доказывают, что туземцы не восприняли еще гуманных начал русского владычества, что выше нашей власти у них стоят ишаны...» Для наведения порядка он, среди прочего, в качестве первой меры предлагал, пользуясь военным положением в стране, «экстренно выслать из Туркестанского края навсегда всех ишанов».

Ишаны непременно принимали участие во всех крупных выступлениях против властей и зачастую сами поднимали народ.

К сожалению, никто из советских историков не исследовал роли ишанов в «басмаческом» движении, гражданской войне в Средней Азии. Она, несомненно, велика, хотя и неоднозначна. Часть ишанов в конечном итоге поддержала новую красную власть, другие до конца оставались ее непримиримыми врагами. Было бы весьма любопытно разобраться в сложном переплетении мотивов, подсказывавших выбор и тем, и другим.

Самой примечательной личностью из всех ишанов, поднявших зеленое знамя газавата в Восточной Бухаре, был ишан

Султан, из рода которого, как вы уже знаете, происходит Сангак Сафаров.

(Память о знаменитых ишанах надолго остается в народе. Я наблюдал однажды в одном из горных кишлаков ее живое проявление. Мы стояли возле единственного в селении магазина, расположенного у дороги. Площадка перед магазином — своеобразный клуб. Здесь всегда немало народу. Со стороны может показаться, что мужчины проводят в безделье целые дни. Это не так. Жизнь в горах неспешна, но полна трудов и забот. Постойте с часок, и вы заметите, что общество в «клубе» постоянно обновляется. Одни уходят, появляются другие. Магазин расположен так, что, куда бы ни шел человек, он непременно проходит мимо. Останавливается, узнает новости, рассказывает свои, отводит душу в беседе с односельчанами и идет дальше по своим делам. Почти каждый успевает побыть мимоходом возле магазина несколько раз за день.

Так стояли мы, беседуя, когда на дороге остановился большой грузовик. В горных деревнях, как и во всяких других, люди всегда внимательно всматриваются в каждую проезжающую машину, но тут все особенно оживилось. Из кабины вышел шофер в сером ватнике — парень лет тридцати с широкой, мягкой улыбкой на круглом лице. Это была никому не адресованная улыбка всеобщего любимца и очень уверенного в себе человека.

Заулыбалось и все общество: несколько важных совхозных начальников, стоявший тут же завмаг, старики, бородастые мужики и застенчивые юнцы, молча слушавшие беседы взрослых. Все гурьбой двинулись навстречу шоферу. Каждый широко раскрывал объятия:

— Ас салому алейкум!

И каждый обнимал и троекратно целовал его. Было видно, что каждый, независимо от возраста и положения, искренне рад ему и у каждого с ним какие-то свои, особые отношения.

— Кто это? — спросил я.

— Это ишан Худжа из кишлака Худ-фи-Эшоно, что там, повыше в горах...

— Ну, а чем он прославился? Почему все так рады ему?

— Он шофер. Простой шофер. Все очень уважают его ради имени его деда.)

Яркий отсвет славы легендарного предка ложится и на бобо Сангака, ибо кровное родство с шейхом хотя и не делает его ишаном (необходима непосредственная передача б а р а к а т, благодати), но наделяет особым почетом в наро-

де. А посему о предке его следует рассказать подробнее.

Ишан Султан — шейх из Вахио, области, соседней с Дарвазом, жил в кишлаке Язганд. В окрестных селениях насчитывалось несколько тысяч его мюридов. Немалая их часть зависела от него как от «танходора» — ишан владел т а н х о, правом взимать с хозяйств государственного налога и забирать его себе. Кроме того, имел он мюридов в Дарвазе, Каратегине, Гиссаре, Кулябе и Бадахшане и был известен в Бухаре, при дворе эмира.

После бухарской «революции» 1920 года сейид эмир Алимхан, бежавший в Гиссарскую долину, вызвал ишана Султана вместе с другими видными людьми Восточной Бухары в Душанбе. Здесь ишана ждала нечаянная радость — эмир пожаловал ему чин с у д у р а, один из высших в ханстве. Некоторое время ишан пробыв при дворе, а когда его высочество изволил покинуть Душанбе при приближении красных, вернулся к себе в Язганд и начал готовиться к войне.

Он провозгласил газават и собрал местных чиновников — кази Курбона, Акабара-тугсабо, Саидали-урака и других — и пересказал им то, что было решено на большом совете у эмира. Велел, чтобы и они собирали людей. Сам он вооружил несколько десятков мюридов оружием, которое привез из Душанбе, и встал во главе отряда. Число джигитов быстро росло, и вскоре под его началом собралось около семисот бойцов. Передвигаясь по горным тропам, отряд ишана Султана закрывал подступы к Дарвазу. Несколько раз он вступал в стычки с частями Гиссарского экспедиционного корпуса, которые, вытеснив эмира Алим-хана за рубеж, пытались по долинам рек Обихингоу и Яхсу пробиться к Каляйхуму. Прорваться так и не удалось, хотя повстанцы, в том числе и отряд ишана Султана, неоднократно терпели поражение.

В июле 1921 года новое, «революционное» бухарское правительство попыталось вступить в мирные переговоры с лидерами повстанцев. В Вахио прибыл представитель новой власти, чтобы предложить ишану высокую должность. Ишан Султан со своими моджахедами приехал в кишлак Маргак, а красный отряд расположился на противоположном берегу горной речки Хингоу в кишлаке Сайёд. Несколько раз представители то одной, то другой стороны пересекали реку, пока наконец не договорились обо

всем. И тогда, переправившись на плоту, в Маргак прибыл сам командир красного отряда с подарками для ишана. Ишан Султан, как рассказывают, подарил в ответ командиру свой чекмень, который не брали пули — как бы волшебный бронезилет. Рассказывают, что он всегда надевал этот чекмень в бой, а вечером вываливал из-за пазухи пригоршню пуль... Через несколько дней ишан Султан отправился в Гарм, чтобы занять пост председателя революционно-го комитета.

Вспоминая о своем предке, Сангак Сафаров был не вполне точен, утверждая, что ишан Султан выступил против Энвер-паши, знаменитого предводителя Мусульманской армии. Напротив, именно ишан Султан отправился в Кокташ, чтобы выволить Энвера, которого не менее знаменитый Ибрагим-бек держал в плену<sup>1</sup>. Во время боев в Бальджувоне, о которых упоминает Сангак Сафаров, отряд ишана Султана бился на стороне Энвера против красных.

После гибели Энвера между тогдашними полевыми командирами началось яростное соперничество. Единства меж повстанцами не было и прежде — Энверу удалось лишь ненадолго сплотить их, но при первых же неудачах хрупкое согласие дало трещину, а после гибели главнокомандующего сразу же развалилось. Каждый вновь принялся действовать на свой страх и риск. Слишком остра была борьба честолюбий, слишком сильны племенные, родовые и национальные противоречия. Соперником ишана Султана был курбаши Фузайл-максум, обосновавшийся в Каратегине. Между ними шла давняя скрытая война за первенство, в которой ишан одержал временный верх, когда был назначен председателем ревкома в Гарме. Но Фузайл не уступал. История их борьбы заслуживает особого рассказа, для которого здесь, к сожалению, нет места. В конце концов Фузайл-максуму удалось хитростью арестовать ишана Султана и его брата ишана Сулеймана. Его люди разграбили дом ишана в Язганде, забрали все самое ценное, снимая платья и украшения с женщин и, арестовав также третьего брата, ишана Шо-Рахматулло, привезли в Тавильдару.

Будь ишан простым человеком, его без долгих разговоров попросту застрелили бы или удушили. Но его известность и по-

пулярность в народе требовали громкого политического процесса. Для суда над ишаном Султаном Фузайл собрал в Тавильдару «всех мулл мира», как выразился один из дарвазских стариков, рассказывавший мне об этом суде.

В Тавильдару действительно приехало все чиновничество, муллы, казии и муфтии, чтобы судить преступников по шариату. Их обвиняли в том, что они предали красным — «этот ишан Султан стал джадидом, идет впереди солдат».

— Говоря: «Месть, месть!» — его схватили... — рассказывал Саидахмад Мирахматов из кишлака Сангеви. — После этого собрали о л и м о в, ученых людей, чтобы они дали ривоят<sup>1</sup> о том, что смерть для него дозволена. Муллы дали ривоят и поставили печать. Этот ривоят Муллоходжа из Умарка и Шихак из Зинга принесли к мирохуру<sup>2</sup> Махамад-Ризо в Тогмай, а здесь муфтием был мулла Лутфулло. Принесли, доставили эту бумагу — мне тогда было двадцать два года, и я видел на улице своими глазами, как они приехали, — а затем, подписав, поехали дальше... Увезли тот ривоят, и ишана Султана в Тавильдаре повесили.

Казнь через повешение считалась не только позорной, но и губительной для души осужденного. По поверью, душа повешенного уходит через пятки и попадает в ад, если же человек застрелен или зарезан, то душа его вылетает из рта прямо в рай.

О смерти ишана и его брата повествует народная баллада, которую я записал в кишлаке Кеврон со слов Саидахмада Умарова. Привожу ее в моем переводе:

Четыреста военных джигитов  
Ишана схватили, связали...  
Собрался тут весь Дарваз,  
Пал пред Максумом наземь,  
Рыдая: «Максум, эй, Максум,  
Освободи святого...»  
Все бедняки из Вахъё  
Лежат в городских воротах,  
Твердят лишь эти слова,  
Вокруг ничего не слыша.  
Сказал ишан Сулейман.  
«Нет в мире правды,  
Судьба наша — в судный день  
Отправиться прямо в пекло...»  
Прибыл туда Данияр,  
Данияр-кровопийца,  
Накинул на шею чилбур<sup>3</sup>  
И повесил ишана.

<sup>1</sup> Юридическое заключение мусульманских законоведов, основанное на шариате.

<sup>2</sup> Один из средних чиновников в Бухарском эмирате.

<sup>3</sup> Шерстяная веревка

Хотелось бы мне услышать баллады, которые будут петь о бобо Сангаке в будущем... Что же до прошлого, то я недавно углубился в него, комментируя события настоящего: для традиционного общества Средней Азии события семидесятилетней давности — всего лишь вчерашний день. Нынешняя гражданская война в Таджикистане во многом повторяет прежнюю и, более того, является как бы ее продолжением. В пресловутой «борьбе регионов», примером которой служит война Фузайла-максума с ишаном Султаном, не победила ни одна сторона. Спор прервался на полуслове и надолго умолк после грозного окрика советской власти, подкрепленного кулаком. Но как только разжался на время кулак, спор вспыхнул с новой, небывалой прежде силой.

Итак, спор регионов... Слова сии останутся пустым звуком, мертвым клише, если не разобраться хотя бы в самых общих чертах в том, что такое эти «регионы» и как складывались отношения меж ними.

Оставим в стороне «север» и обратимся к «югу», где и происходили события, о которых вспоминает Сангак Сафаров. В античное время эта территория составляла северную часть Бактрии, одной из богатейших и культурнейших областей восточного мира. Бактрию сменила держава Кушан. Вторжение Сасанидского Ирана и кочевых народов привело к гибели Кушанскую империю, и территория вошла в состав Эфталитского государства... В средние века в этих местах образовался ряд небольших княжеств. На протяжении нескольких столетий их поочередно завоевывали: турки, арабы, саманиды, газневиды, караханиды, сельджуки... Правда, местные княжества довольно быстро восстанавливали свое хозяйство и обретали фактическую самостоятельность, находясь лишь в вассальной зависимости от завоевателей.

Решающий удар их процветанию нанесло монгольское завоевание. Была разрушена созданная трудом многих поколений ирригационная сеть. Именно этим объясняет С. П. Толстов экономический и культурный упадок Средней Азии, ссылаясь на замечание Маркса о том, что в странах Востока, где ирригационное земледелие составляло основу экономики, одна опустошительная война оказывалась способной обезлю-

дить страну на целые столетия и лишить ее всей ее цивилизации.

Завоеватели, кочевые тюркско-монгольские племена, поселились на завоеванных землях. Вот тогда-то и возникла новая система передачи власти, новая удельная система, сыгравшая немалую роль в судьбе Средней Азии. Уделы раздавались теперь не представителям ханского рода, а основным племенам, составлявшим военную силу государства.

Спустя несколько столетий — новое вторжение. В конце XV — начале XVI века узбеки — кочевые племена из Дашти-Кипчака во главе с Шейбани-ханом завоевали Мавераннахр и вновь разделили весь край между племенами на уделы, или юрты. Поделена была и Восточная Бухара.

Плодородные Гиссарская и Вахшская долины, а также небольшие межгорные долины и удобные для земледелия пологие предгорья разделили между собой конграты, юзы, локайцы, семизы, кесамиры, ката-ганы, дурмены и другие тюркские племена. Бывшие кочевники, они постепенно осели на земле, занявшись земледелием и оседлым скотоводством. К началу двадцатого века кочевать продолжали лишь наиболее богатые семейства. Лишь они могли позволить себе вести привольный образ жизни своих предков. Впрочем, каждый род сохранял четкую военную организацию и привычку к набегам, от которых страдали соседние таджикские кишлаки.

Таджикские княжества Дарваз, Каратегин, Куляб, Вахио занимали труднодоступные и малоземельные горные области по краям тюркской ойкумены.

Княжества непрестанно враждовали между собой. Время от времени то один, то другой из феодалов запросто, по-свойски наведывался к соседям — пограбить или отомстить за обиду, свежую или старинную. О почти буколической простоте, с какой велись войны, свидетельствует рассказ, записанный этнографом Н. А. Кисляковым, о том, как в кишлак Иштун в Вахио прибыл из Каратегина калаилабиобский шах — то есть тамошний князек — с целью захватить для своего гарема несколько красивых девушек. Иштунский правитель заперся в крепости, а население стало бросать с крепостных стен в нападавших зажженные снопы соломы, и таким образом на этот раз нападение было отбито...

К концу девятнадцатого века это беспрерывно воюющее между собой сообщество было покорено бухарскими ханами и окончательно вошло в состав Бухарского ханства под названием Восточная Бухара. Весь край был поделен на несколько областей или бекств: Гиссарское, Кабодиёнское, Кургантюбинское, Балджуновское и Кулябское, которые управлялись беками — наместниками, присланными из Бухары.

В 1920 году, когда был свергнут эмир, новому правительству Бухарской республики пришлось заново покорять своевольную Восточную Бухару. Различные ее области выступили на защиту законного правителя — эмира и одновременно вступили между собой в борьбу за власть. Все это чрезвычайно напоминало нынешние события: те же стычки вооруженных отрядов, то же бегство мирного населения за границу, в Афганистан, те же требования вывести русские войска.

Можно по-разному оценивать коммунистическое вторжение в Восточную Бухару, ставшую вскоре частью Таджикистана, но вряд ли кто-нибудь сумеет опровергнуть тот факт, что только новой тоталитарной власти, только мощному централизованному государству оказалось под силу возродить бывшее процветание этого края. К тому времени, когда конники Красной Армии ворвались сюда вслед за отступающим эмиром, широкие долины Амударьи и ее притоков, столь удобные для поливного земледелия, лежали в мерзости запустения. Трудно представить, сколь возделанными были эти места в древности, какая сложная сеть каналов покрывала некогда долины и что когда-то здесь в многочисленных городах развивались ремесла, науки, торговля. К началу двадцатого века древние поля покрылись болотами и солончаками, заросли тугаями — непроходимыми чащами камыша. Тростники поднимались выше человеческого роста. Водились в тугаях совсем рядом с людским жильем тигры.

В 30-е годы началось освоение долин Южного Таджикистана, куда власти переселяли жителей горных регионов — Куляба и Каратегина, Гарма и Дарваза. Людей вывозили целыми кишлаками, и они, естественно, поселялись на новом месте прежними общинами, сохраняя связь со старой родиной и никогда не забывая, откуда они родом.

(Что такое родина в представлении

горца, я понял впервые, когда совсем еще молодым репортером стоял как-то с одним таджиком на вершине горы. Перед нами расстиралось прекрасное горное ущелье. Я не удержался и сказал спутнику:

— Как красива твоя родина.

Выспренность этой фразы отчасти извиняется ее искренностью и тем, что по-таджикски она звучала достаточно коряво, так как язык я знал тогда намного хуже, чем сейчас.

Спутник ответил:

— Это не моя родина. Это Дарай-талх, Горькое ущелье. А моя родина там — в Дарай-гургон, Волчьем ущелье, — и он указал на соседнюю узкую долину, видневшуюся в полукилометре от нас.)

В 60-е и 70-е годы последовали новые переселения, и теперь в долинах южного Таджикистана живут, как в Новом ковчеге, выходцы из различных горных районов вперемежку с узбекскими племенами и иными народами и народностями, прибывшими сюда добровольно или же по принуждению, как, скажем, некогда немцы или корейцы. Весь этот пестрый интернационал, которым любило похвастаться руководство республики как идеальным образцом достижений ленинской национальной политики, жил в мире и согласии, пока не разразилась гражданская война, когда связь с прежней родиной приобрела для многих большее значение, чем недавняя соседская дружба.

Это извечная драма, которая разыгрывается во время каждой революции, гражданской войны или народного восстания. Безотчетные движения народа неизбежно направляются сильными мира сего — элитами, которые используют его энергию для решения своих собственных задач и, умело манипулируя массами, загибают жар чужими руками. Они очерчивают линии разлома, по которым народ распадается на несколько враждующих родов. Можно провести эти линии по горизонтали, а можно и по вертикали. Можно расколоть соплеменников на бедных и богатых. Можно на гармцев и кулябцев. А если потребуются, то на шиитов и суннитов — две различные ветви одной веры.

В данном раскладе политических карт различие в вере оказалось несущественным, и памирцы-исмаилиты действовали совместно с суннитами — гармцами и каратегинцами. По-видимому, немалое значение для объединения имели полити-

ческие мотивы — лидер демократических сил Таджикистана, известный режиссер и кинооператор Давлат Худоназаров, баллотировавшийся на пост президента Таджикистана, — по происхождению памирец.

Было бы невозможно на нескольких страницах описать расклад сил и сложную ситуацию, предшествовавшую началу гражданской войны, да это и не входит в мою задачу. Читатель, бывавший в горах, без труда представит себе Таджикистан весной 1992 года накануне взрыва кровавого безумия в образе лавиноопасного участка. Есть такие места в скалах и на горных осыпях. Стоит лишь, проходя, неосторожно столкнуть малый обломок, как разом нарушается зыбкое равновесие, все вокруг приходит в движение и со склона вниз обрушивается смертоносная каменная лавина.

Роковым камнем стало заседание сессии Верховного Совета, транслировавшееся по телевидению, на котором спикер парламента кулябец Сафарали Кенджаев учинил оскорбительный разнос министру внутренних дел Навджуванову, памирцу по происхождению. На следующий день перед президентским дворцом на площади Шахидон собралась памирская молодежь, человек пятьдесят, которые требовали, чтобы министра оставили на посту и принесли ему извинения. Лавина тронулась, набирая силу... К памирцам немедленно присоединились люди из демократической и исламской партий, обществ «Растохез» и «Лали Бадахшон». Стали прибывать крестьяне из дальних горных кишлаков. О Навджуванове и думать забыли. Требовали отставки президента и правительства. Начался двухмесячный митинг, вылившийся в противостояние двух площадей — Шахидон и Озоди, и приведший к отставке президента Набиева и, в конечном итоге, к гражданской войне.

#### САНГАК:

Все началось с Навджуванова.

Даже президент сказал Сафарали Кенджаеву:

— Нельзя было так поступать. Винават Навджуванов — надо было вызвать его и сказать: «Все, дорогой! Иди на пенсию». Не следовало выносить сор из избы да еще транслировать все это по телевидению.

Но именно этот эпизод дал толчок событиям. И тут же сразу инициативу захватил ислам: казикалон воспользовался подхо-

дящим моментом. А памирцы, сами того не желая, оказались вовлечены в самую гущу борьбы. Я потом с ними разговаривал, и они мне сказали:

— Нам уже было некуда отступать.

(А Навджуванова я в должности восставил. Я убедил президента вернуть его на прежнее место. Таким путем я рассчитывал привлечь на нашу сторону памирцев. После этого Навджуванов, говоря обо мне, поклялся перед своей семьей:

— Это мой приемный отец, он вернул мне честь и достоинство. Я сделаю все, что он скажет...

Слова своего он не сдержал, и впоследствии, когда дело приняло дурной оборот, я позвонил ему и сказал:

— Ты, приемный сын, смотри, чтобы я, не дай Бог, не опозорил тебя прямо в присутствии твоей семьи.

Через два часа его разбил паралич.)

Наконец дело зашло так далеко, что правительство оказалось не способно контролировать положение. Президент тоже был бессилён, потому что часть депутатов, поддерживавшая идеи казикалона Тураджонзода, не давали ему возможности действовать. МВД и КНБ также работали на них и снабжали оружием исламских фундаменталистов. Площадь Шахидон была вооружена бронетехникой и стрелковым оружием. 5 мая удалось кое-как уговорить президента, и он дал указание, чтобы нам раздали оружие и создали батальон народных ополченцев. Это было вооруженное формирование законного правительства, президента. На площади Озоди собрались люди со всех концов Таджикистана и таджики из Бухары, Ферганской долины, из Кашкадарьи. Несмотря на то, что народу у нас было больше, чем на площади Шахидон, мы чувствовали, что силы неравны, потому что они были значительно лучше вооружены.

7 мая рано утром я последний раз встретился с президентом Рахмоном Набиевым. Вместе со мной были Рустам Абдурахимов и мой брат Давлат Сафаров. Я сказал президенту:

— В свое время вы нас не поддержали, и сегодня я вынужден увести народ с площади.

Мы попрощались с президентом, и он тут же уехал — куда, мне неизвестно. Рустам Абдурахимов, Давлат Сафаров и я вернулись на площадь и обратились к народу: мы не в силах противостоять оппозиции, чтобы сохранить людей, должны разъехаться каждый по своим местам. Народ

начал разъезжаться. У каждой группы, откуда бы она ни прибыла — из Куляба, Ленинабада, Бухары, Самарканда, — был свой транспорт. Люди разъезжались в автобусах и легковых автомобилях. Конечно, каждый звал меня с собой:

— Садись в машину, поедем с нами.

Приглашали меня и в Ленинабад, и в Самарканд, и в Курган-Тюбе. Но всем я говорил:

— Нет, я должен остаться здесь.

Почему я не уехал? Я предчувствовал: стоит мне покинуть эту площадь, как произойдет катастрофа. Хотя нам пообещали, что люди смогут беспрепятственно разъезжаться по домам, я знал, что все пути, ведущие из города, заблокированы боевиками оппозиции. Перекрыты дороги на Гиссар и Курган-Тюбе, Яван и Кафирнихон. Двадцать восемь боевых машин, БТР и БМП, которые шли со стороны Гиссара и Регара к нам на помощь, захвачены оппозицией.

Я вынужден был остаться на площади Озоди как заложник.

*〈С одной из колонн, двигавшейся в сторону Куляба, отправился Давлат Худоназаров, чтобы гарантировать безопасность отступавших кулябцев.〉*

(Я и до того много раз встречался с Давлатом как с земляком. Он хотя и памирец, но родился в Кулябе, я хорошо помню его отца. Во время президентских выборов Давлат был одним из кандидатов в президенты, но поскольку он сблизился с казикалоном Тураджон-зода, народ его кандидатуру не поддержал. Я предлагал ему:

— Давлат, уйди от казикалона. Мы должны уберечь народ, чтобы народ не шел за ним. Сейчас твой долг — объединить нас, чтобы не началась братоубийственная война. Я сделаю все для того, чтобы народ избрал тебя на пост президента. Сблизю тебя с президентом, чтобы он назначил тебя вице-президентом. Мы должны во что бы то ни стало не дать казикалону Тураджон-зода прийти к власти. Это человек жестокий и коварный. Не забывай, что вы, памирцы, — шииты, и, взяв власть, он в первую очередь уберет со своего пути шиитов. А затем и нас, кулябцев. Давайте объединимся. Мы, горцы, должны создать мощный кулак против казикалона...

Но Давлат не послушал меня. Он понял, что проиграл, после беседы с казикалоном, еще до того, как нас вооружили. Давлат сказал ему: «Тураджон-зода, ты занимайся делами веры, остальное поручи мне. Я наведу порядок». Казикалон ответил:

«Нет, Давлат, я найду тебе должность. Деньги-то мои расходуются, и я должен управлять».)

К двенадцати часам мы проводили последнюю группу. Последняя машина скрылась из глаз. Площадь Озоди опустела. Остались лишь мы трое — Рустам Абдурахимов, мой брат и я.

Я вызвал охранников и сдал им все помещения Верховного Совета, которые занимало прежде народное ополчение, начиная от подвалов и кончая площадью, где у нас была устроена кухня. Все было в полной сохранности. На кухне не оставалось ничего, кроме нескольких кусков брезента, костей и хвороста для растопки. Я не случайно обошел вместе с охранниками все закоулки до единого, так как предвидел, что оппозиция обвинит нас в том, что мы привели в негодность и разграбили государственную собственность.

Затем мы пошли в Управление пограничных войск, которое находилось возле площади Озоди, и попросили предоставить нам убежище до темноты. Они нас приняли.

Не прошло и получаса, как мы услышали на площади выстрелы. Позже мне стало известно, что там происходило. Около часа дня, когда на площади не осталось ни единой души, люди из оппозиции доставили сюда ящики с водкой и вином, разбросали наркотики и шприцы, вывалили на землю кучи хлеба... Все это должно было создавать впечатление того, что мы бежали в панике, а им удалось захватить на месте брошенное нами. Подготовив декорации, они начали телевизионную съемку, пытаясь создать видимость боя. Площадь была обстреляна из БТР, а затем на нее вступили боевики оппозиции. Затем по телевидению показывали, черня и пороча нас, трупы на площади, наркотики и шприцы, валяющийся на асфальте хлеб (оппозиция перехватывала продукты, которые народ отправлял на площадь Озоди, и последние три дня перед отъездом мы вообще сидели без единого куска хлеба). Распространили слух, что якобы где-то рядом с площадью в канализационном колодце нашли изнасилованную девочку. Телевидение и пресса были в их руках, и они могли делать все, что хотели.

Тем временем Управление погранвойск было блокировано боевиками, которые требовали нашей выдачи. В это время в управлении дежурили два знакомых офицера — подполковник Римас Мичпаяльскас, который прежде служил в Кулябе,

и подполковник Джума, который часто приходил к нам на площадь Озоди. Входят они к нам и говорят:

— Мужики, требуют выдать вас. Извините, но мы вас ни защитить, ни держать у себя не можем. Мы нейтральны, и нам нельзя лезть в эту ситуацию. Придется вам выйти...

Я обратился к Римасу:

— Хочу поговорить с генералом.

Генерал Мартовицкий, начальник Управления пограничных войск — наш депутат, избранный в Кулябе, — находился в это время там же, в управлении. Однако он меня не принял. В это время опять вошел подполковник и поторопил нас:

— Мужики, надо вам выходить.

Я попросил:

— Римас, дай мне возможность позвонить по этому вот номеру.

Он провел меня в кабинет. Я позвонил неким людям и сказал:

— Я нахожусь у пограничников, в управлении. Но они — в нейтралитете и не хотят входить в конфликт. Просят, чтобы мы вышли и сдались...

(У нас было три автомата, но мы их сдали пограничникам. Себе я оставил пистолет и две обоймы.)

— У меня, — говорю, — «макаров» и шестнадцать патронов. Если за нами придут ваххобисты, я живым не дамся. Тринадцать патронов по ним выпущу, а три оставлю для себя, для братишки и друга, Рустама Абдурахимова...

— Нет, — отвечают мне, — выходи спокойно. Вас будут памирские ребята встречать.

С памирцами у нас были хорошие отношения. Мы вышли. Я сдал пистолет, нож. И тут же люди, которые толпились на крыльце управления, начали избивать нас. Их растолкала группа памирцев.

— Не трогайте бобо Сангака! Мы их забрали, мы за них и ответим.

Посадили нас в машину и отвезли на площадь Шахидон. Машину обступили каратегинцы:

— Отдайте их нам на расправу!

И как только нас вытащили наружу, меня тут же ударили толстой дубиной по голове. Содрали кусок кожи с волосами. Следующий удар — по спине. Нас колотили куда попало. Рустаму Абдурахимову разбили губу. Кто-то выстрелил и рикошетом ранил моего брата.

Памирцы окружили нас и утащили в подвал.

В подвале, конечно, начали бить. И тут

же появились журналисты, репортеры. Я был в тяжелом состоянии, но они подступили ко мне со всех сторон:

— Будешь говорить?

— Вы видите, — говорю, — в каком я состоянии... Я все же человек.

Стали угрожать мне ножами, автоматами.

— Ты против ислама, против кази... Да знаешь ли ты, кто такой казикалон?!

Я сказал:

— О том, каковы наши цели, о том, кто такой кази, я говорил перед всем народом на площади. И сейчас скажу... Я не боюсь.

— И при кази сможешь это повторить?

— Я сказал это ему в лицо 24 апреля в присутствии президента. Не побоюсь и сейчас.

В общем, они взяли у меня интервью. Я в своем последнем слове сказал:

— Мой народ! Хватит этих митингов и сборищ... Что бы обо мне ни говорили, не думайте, что я предатель. Я остался здесь не потому что в чем-то виноват, и не потому, что скрываюсь от позора. Я был борцом и всегда останусь борцом.

Честно говоря, я не думал, что выберусь оттуда живым. Но я знал, что если даже нас прикончат, то когда-нибудь правда все равно выйдет наружу.

Нас вновь принялись бить. Как ни старался казикалон, я стоял на своем и не сказал того, к чему он пытался меня принудить. Тогда он решил напустить на меня преступников — мародеров, грабителей, насильников, которые работали и работают до сих пор на него. Вошли в подвал человек восемьдесят во главе с Раджабом, одним из лидеров преступного мира, который тоже отсидел четырнадцать лет. Разумеется, многие — почти все — из этих подонков знали меня, кроме мальчишек, которые ничего дальше своего носа в жизни не видели и не испытывали. Началось давление на меня. Я сказал:

— Давайте, выкладывайте все — от и до... Я готов ответить на любой ваш вопрос. Все знают, какой путь я прошел и чем занимался в лагерях<sup>1</sup>... Мне нечего скрывать. Но вы, — говорю, — не забывайте, что в любом государстве те, кто идет кровавым путем к власти, используют как оружие против своего народа таких неустойчивых людей, как вы. Вы оглянитесь, вы вспомните историю... Что случилось с князем Глебом в Рязани, когда он

<sup>1</sup> Раджаб, как можно понять, пытался устроить своего рода суд и доказать, что Сангак Сафаров нарушил воровской закон

предал свой народ?.. И что случилось с теми придворными, которые при вторжении Чингисхана в Китай отрезали голову императору и поднесли ее хану на блюде: вот, мол, мы, твои верные слуги, обезглавили твоего врага. Чингисхан ответил: «Император вскормил и возвысил вас. Вы были его приближенными, а в самую трудную минуту оказались предателями. И вы обещаете быть мне верными слугами?!» И он приказал одноглазому Субудая-баходуру, своему главнокомандующему, привязать их к конским хвостам и пустить в поле. Вот и вы уверены, что кази завтра придет к власти и даст вам полную волю: «Куляб в ваших руках. Вот эта долина — ваша. Курган-Тюбе — в вашем владении. Распоряжайтесь здесь сами как хотите». Будет так? Конечно, нет. Вас он уничтожит первыми. Вам ни от кого не будет ни пощады, ни прощения. Если победит народ, он сметет вас со своего пути. А придет к власти кази, вам тоже не жить. Запомните это...

Они принялись мне угрожать:

— Да ты знаешь, что за такие слова тебя...

— Я знаю, что говорю. Я отвечу за каждое свое слово. Это твердо и однозначно. Выкладывайте ваши обвинения.

И тут вошел Рахим, памирец. Он семнадцать лет провел в России, работал тренером, затем занялся рэкетом, у него своя банда. Он воевал в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Грузии и, наконец, в Таджикистане. Это террорист, матерый террорист, который участвовал в убийстве прокурора Хувайдулоева. Он — сосед моего брата, живет в Душанбе рядом. Оказывается, Рахим все это время стоял в коридоре и слушал, что я говорил. Он вошел с двумя гранатами-лимонками и сказал:

— Ну что, убедились?! Я ведь говорил, что вы от него ничего не добьетесь. Последнее слово всегда останется за ним. Я семнадцать лет провел в России и знаю его друзей, знаю тех, кто был с ним от начала и до конца. И я в почете только благодаря ему... А теперь убирайтесь! За этого человека отвечаю я. Захочу — казню, захочу — помилию. Потому что сюда его привезли мои люди.

И он всех выгнал. Они ушли ни с чем, кази и на этот раз не смог ничего добиться от меня.

Ночью пришел Давлат Худоназаров.

— Ако<sup>1</sup> Сангак, — говорит, — я выпол-

нил долг, который был у меня перед кулябцами. Я проводил людей до самого Явана. Все благополучно.

Жена Давлата приходила к казикалону просить за меня. Это уже позже мне ребята передали. Позже мне стало известно и то, что все лагеря Союза восстали с предупреждением, что если со мной что-нибудь случится, то казикалон поплатится за это. Ну и народ восстал.

9 мая Рахим освободил моего брата. К тому времени нас уже подняли из подвала наверх, в кабинет, а через два часа после ухода брата мне дали возможность связаться с ним по телефону и убедиться, что он в безопасности. Потом я позвонил домой. Родные уже не надеялись увидеть меня в живых. Старуха моя, услышав мой голос, заплакала:

— Где ты находишься? Тут все говорят, что тебя убили...

— Я нахожусь у друзей, — говорю. — Скоро увидимся.

Но меня по-прежнему стремились уничтожить. Рахим спас меня тем, что скрывал мое местонахождение и постоянно переводил из комнаты в комнату. За пять суток я перебивал в одиннадцати кабинетах.

И вот 12 мая в четыре часа меня, можно сказать, выкрали из плена и доставили в Куляб. Сразу же по прибытии меня пригласили в штаб Народной гвардии, который располагался в ПТУ-28. Я пришел и увидел много для себя неприятного. Кое-кто начал допускать беспредел в самом Кулябе. Обижали и грабили семьи людей, которые принимали участие в митингах на площади Шахидон. Была даже создана специальная группа из мародеров. Я сказал, обращаясь к ребятам-боевикам:

— Этого допускать нельзя. Прекратите! Мы не должны поступать так, как поступают они по отношению к нашим людям. Иначе какая же разница между ними и нами?

Я категорически запретил всякое бесчинство. Те, кто виновен, должны ответить перед народом, но семьи их обижать нельзя.

В это время оппозиция усилила террор в Вахшской долине. Вначале они начали собирать средства на оружие — каждая семья должна была сдать определенную сумму денег. У народа отнимали имущество, скот, и все это переправлялось в Афганистан и обменивалось на оружие. Так за границу ушло множество народного богатства. Постепенно они заходили все дальше и дальше. Вначале запугивали людей, объявляя, что узбеки из Вахшской до-

<sup>1</sup> Старший брат (тадж.).

лины должны уехать в Узбекистан, а выходцы из Куляба — в Куляб. Угрожали, что те, кто не покинет добровольно территорию Кургантюбинской области, будут уничтожены. И в конце концов дело дошло до убийств.

Начались вооруженные столкновения. Оппозиции помогали афганские моджахеды, перешедшие границу. Использовали они и наемников. В «Известиях» в те дни была напечатана статья, где рассказывалось, что на стороне оппозиции воевали наемники из Ленинграда, из Азербайджана. Были и русские офицеры. Одного из них подбили в танке в Колхозабаде. Эти люди приезжали из разных мест ради денег. У убитых или взятых в плен наемников мы находили большие суммы. Ежедневно они получали пятьдесят тысяч рублей, а за каждый бой — пятнадцать — двадцать тысяч.

Местное население бежало от этого ужаса из Вахшской долины в Куляб и Душанбе. В Кулябе собралось почти сто тысяч людей, которые покинули дома раздетые, голодные, с детьми на руках, кто пешком, кто на тележках, везя то, что успели захватить.

Мы пытались прекратить братоубийственную войну. Четыре раза встречались с оппозицией в Курган-Тюбе, подписывали договор о перемирии, о прекращении огня, однако оппозиция тут же нарушала эти соглашения. 26 июня состоялась встреча в Хороге, на которую был приглашен и я. В переговорах участвовали председатель Верховного Совета Акбаршо Искандаров, депутат Сайфиддин Тураев, председатель Кулябского горисполкома Мирзоалиев, Рустам Абдурахимов... Со стороны оппозиции — Тахир Абдуджабаров, Аслиддин Сахибназаров и другие лидеры исламских фундаменталистов. Мы приехали на переговоры, потому что поверили, что после всех этих страшных событий люди наконец-то пришли к одному: братоубийственная война более немыслима, надо сесть за стол переговоров и договориться о том, как скорее прекратить военные действия.

Однако на следующий же день после переговоров оппозиция совершила нападение на Вахшский район — совхоз имени Куйбышева. В совхозе «Туркменистан» были произведены массовые убийства. В совхозной бане собрали и зверски убили сто восемьдесят шесть человек. Один из них чудом остался жив, он потом дал показания и выступал по телевидению с рассказом о том, что там происходило.

Вернувшись из Хорога и узнав о тех ужасах, что происходят в Вахшской долине, мы решили, что так больше продолжаться не может — надо идти на риск. Свобода или смерть. Нашлись смельчаки среди наших ребят, силой захватили в кулябском полку три боевые машины и пошли на выручку. К этому времени боевики оппозиции уже блокировали российский полк в поселке имени Ломоносова, в полутора километрах от Курган-Тюбе. Цель у них была — захватить полк. Поселок полностью окружили — бронетехника МВД, гранатометы, снайперы. Боевики уже сидели на заборах, огораживающих полк, но военные не предпринимали никаких действий даже тогда, когда на территории части были убиты солдат и офицер, потому что получили сверху указание:

«Держите нейтралитет, не вмешивайтесь...»

Если бы наши ребята опоздали на пару часов, полк был бы захвачен...

2 сентября меня разбудили в три часа ночи и сообщили, что утром в Курган-Тюбе на площади возле исполкома оппозиция собирает митинг якобы затем, чтобы договориться о перемирии. «Может быть, в самом деле хотят мира», — думал я, собираясь на митинг. На всякий случай я оставил двенадцать боевиков охранять поселок имени Ломоносова, а сам с четырьмя своими телохранителями в десять часов утра пришел на площадь.

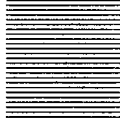
На площади стояли два БТРа, а собравшиеся люди четко делились на две половины. С одного края, напротив облисполкома, стояли безоружные мирные жители — старики, женщины, дети, среди них немало русских. С противоположной стороны собрались люди с оружием, боевики оппозиции. Потом уже мы узнали, что в здании облисполкома заранее засели омовцы — сто двадцать семь стволов.

Я обратился к боевикам:

— Как вас понимать? Вы приглашаете нас и говорите, что хотите заключить перемирие, а сами вооружаетесь. Я вижу, что здесь опять повторяются площади Озоди и Шахидон. Одни — безоружные, другие — вооружены... Одумайтесь, не начинайте кровопролития. Пора остановиться!

Я перешел через площадь на ту сторону, где стояли боевики оппозиции, взобрался на БТР и вновь обратился к ним с призывом:

— Запомните раз и навсегда: в этой братоубийственной войне не будет победителей



и побежденных. Нация исчезнет. Ради сохранения нации и народа давайте заключим перемирие и разойдемся отсюда как братья.

Они хотели схватить меня, но, видимо, не решились. Расступились, образовав в толпе коридор. Я спрыгнул на землю и вместе с братом и еще тремя парнями пошел на другой конец площади к микрофону. Слышу, сзади в толпе кто-то говорит:

— Настало время. Надо его убрать.

Я спокойно ответил:

— Ты этого никогда не сделаешь. Если бы мне было суждено, то меня еще там, в казиате, уничтожили бы. Мне еще долго предстоит жить и доказывать всем вам, что мы добьемся своей цели. А тот, кто вроде тебя готов убить своего брата, никогда не дойдет до конечной цели. Подумай об этом. Одумайся, пока не поздно.

В тот миг я думал не о себе, первым моим долгом было вывести с площади женщин, стариков и детей, потому что я понял, что оппозиция замыслила провокацию и скоро на площади начнется бойня.

Я перешел через площадь и взял микрофон. Мне надо было разъяснить народу, что задумала оппозиция, и убедить женщин, стариков и детей разойтись по домам. Это мне удалось. Люди спокойно ушли с площади через Ургут-махаллю — поселок, расположенный позади облисполкома. На площади осталась одна молодежь.

В это время подъехал третий БТР и остановился возле первых двух. Все три машины направили стволы в нашу сторону. Обстановка накалилась. И тут же подъехал милицейский «уазик», патрульная машина, прибывшая из Куляба для поддержания порядка на митинге, поскольку кулябская милиция в самом деле поверила, что будет заключено перемирие. «Уазик» остановился, но выйти из него никто не успел. Как только открылась дверца, раздались выстрелы. Оппозиция начала обстреливать нас с чердака и балконов облисполкома и из трех БТРов. Тут же на месте возле памятника Ленину полегло одиннадцать наших людей. Мне надо было что-то предпринять, чтобы нас всех не перестреляли с тыла. Хорошо, что на помощь подоспел Лангари Лангариев со своими боевиками, вооруженными двенадцатью стволами и пулеметом. Когда началась перестрелка, омовцы, засевшие в здании облисполкома, спустились в подвал здания. Я сказал Лангари:

— Немедленно блокируйте выход, выводите их по одному и разоружайте.

Нам удалось обезоружить омовцев

(среди них оказались двое русских парней), забрали у них бронежилеты, боеприпасы, автоматы. Но убивать их не стали, отпустили живыми и сказали:

— Идите с Богом и передайте своим лидерам и всем памирцам, что мы не намерены убивать друг друга. Наша цель — сохранение нации.

(О том же я говорил на встрече в Хороге:

— От братоубийственной войны выгоды не будет никому. Вместо того чтобы воевать и поддерживать казиат, объединяйтесь с нами. Создадим один мощный кулак. Построим железную дорогу от Курган-Тюбе до Куляба, а от Куляба — до Памира. Соединим горцев с долинами. В этом наша цель и задача. Запомните: без долин вам будет трудно. А победить нас вы все равно не сможете, потому что мы, сыны Хатлона, поклялись: «Или смерть, или свобода!» Мы будем биться с вами до последней капли крови. Так давайте лучше объединимся, пока еще не поздно.)

Перестрелка длилась целые сутки. Но сила была на их стороне, поскольку они имели технику, и мы вынуждены были отступить в поселок имени Кирова. Там собрали силы и вновь пошли в наступление. Нас выручили те три боевые машины, что мы захватили в Кулябе. За две недели город Курган-Тюбе был полностью очищен от группировок оппозиционеров.

А затем мы освободили, один за другим, совхоз «Туркменистан», Колхозабад, Гаравути, Джиликуль, Шаартуз, Кабодбан, Кизил-Калу и в конце концов дошли до самой границы. Пяндж и Кумсангир мы не трогали два месяца, и чтобы избежать кровопролития, предлагали боевикам сдать оружие и прекратить сопротивление. Но они ушли со своими лидерами в Афганистан.

Стали мы наводить порядок в Вахшской долине. Случалось и так, что примазавшиеся к нам шакалы-мародеры безобразничали — грабили, насиловали. С ними расправа была короткой: попался с поличным — пулю в лоб здесь же, на месте. Все эти подонки разбежались — кто в Гиссар, кто в Регар, Кафирнихон, Нурек и принялись там бесчинствовать.

После того, как мы освободили Курган-Тюбе, я чуть ли не месяц подряд обращался к местному руководству:

— Возвращайтесь! Мы не собираемся и не имеем права отстранять руководство, поставленное государством. Иное дело, если народ сочтет нужным вас переизбрать. Вот тогда соберется сессия и выберут новые власти. Тогда вы и ответите за свои

действия. А сейчас, Бога ради, возвращайтесь, работайте с народом...

Ни один не приехал. Прошло время — начали появляться: здравствуйте, я ваша тетя. Приехал недавно директор текстильного комбината, фамилию его я забыл. Входит ко мне безо всяких церемоний, снимает шляпу, кладет на стол папку.

— Ас салому алейкум.

— Здравствуйте, — отвечаю. — Так, слушаю вас.

— Я — директор текстильного комбината.

— Какой директор? — спрашиваю. — Бывший или вновь назначенный?

— Бывший.

— Где вы были?

Он начал мяться:

— Да вот, по таким-то причинам отсутствовал, находился на лечении... Отпуск, болячень...

— Ну и будь здоров! Поезжай в Уратубе и лечись дальше. Почему ты оставил народ? Твой коллектив тебя вскормил, а ты бросил его на произвол судьбы и уехал, спасая свое богатство...

Я им всем говорю: «Вот эти ваши нейтральность и безразличие — самое страшное. Вы являетесь основными виновниками того, что произошло».

С народом надо считаться, за народ надо стоять. Но руководители партии и государства забыли о своем долге. Народ вскормил их, народ их возвысил и поставил над собой. Почему они оторвались от народа? Почему они допустили все это? Какие цели преследовало правительство наверху, дав возможность фанатикам поднять голову и совершить преступления против своих братьев? Думали ли народы Молдавии и Приднестровья, что между ними начнется братоубийственная война? Думали ли о том в Грузии и Абхазии? В Азербайджане и Армении... И, наконец, в Таджикистане...

Во всем, что случилось с нами, я обвиняю Горбачева и всех этих прогнивших карьеристов, генералов-адмиралов. Это они довели нас до нынешнего состояния. Из России зараза потихоньку проникла и сюда, в Среднюю Азию. Исламистам дали слишком большую свободу действий, и вот Таджикистан оказался втянутым в братоубийственную войну. Сейчас весь мир узнал, каковы намерения исламистов, и во всех государствах против них ведут борьбу. Если бы они нас сломили и захватили власть в Таджикистане, нашей участи не миновали бы и другие республики, включая Россию. Поэтому я говорил не раз,

обращаясь ко всем правительствам и военачальникам: «Пока еще есть возможность, помогите справиться с ними здесь, а Таджикистане. Как бы не пришлось вам потом Россию оборонять».

Мы, таджики, — мирный народ. Никогда мы не думали, что на нашу землю придет такое несчастье. Сыны Хатлона — гордые, сильные, гостеприимные люди, но нас заставили взяться за оружие, чтобы защитить свою Родину и очистить ее от мрази, которая посягала на самые основы человечности. Мы — первые ласточки и мы станем примером всему миру.

Нам нужен мир. Я радуюсь, когда беженцы возвращаются сейчас в свои родные места. И меня очень беспокоит, что часть из них до сих пор находится в Афганистане. Здесь, на территории Хатлона, мы уже разместили тех, кто вернулся. Они поняли, что мы не собираемся их преследовать. Они тоже — наш народ. Нас разделили, расчленили на два лагеря, но мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы объединиться и восстановить жизнь такой, какой она была раньше, до событий февраля 1990 года. Мы стараемся убедить афганские власти и наших соплеменников в Афганистане, таджиков, чтобы беженцам дали возможность вернуться домой как можно скорее. Мы даже обратились в ООН, во все общественные организации мира, чтобы нам помогли возратить этих людей. Надо вернуть каким-то образом и тех, кто не хочет или боится возвращаться. Каждый из них, если он виновен в преступлениях, должен как мужчина ответить перед народом. Пусть придет с опущенной головой и скажет: «Да, я преступник. Если можете, простите меня». Народ — он добрый, благородный, он может поверить. Он простит.

Выступая на площади Озоди 1 мая 1992 года, я спросил народ:

— Если казикалон вернется сейчас, придет с повинной и будет просить у вас прощения, способны ли вы простить его?

И народ ответил:

— Да, пусть придет кази, и мы простим его. Может возвращаться и служить в мечети, какую сам выберет. Только пусть он больше не вмешивается в дела государства, чтобы у него не было возможности разделять нацию...

И я сейчас говорю: хватит разделения! Оно привело уже к тому, что весь бывший Советский Союз полыхает огнем. Если мы сейчас не добьемся единства, потом будет поздно, и память дедов и прадедов никогда

не простят нас. И люди будущего не простят нас. Придут и осквернят наши могилы за то, что мы не смогли объединить народы и создать единый, цельный, неразделимый, многонациональный союз, подлинно народное, демократическое государство, где люди могли бы жить спокойно, трудиться, чтобы наши жены рожали бы благородных и талантливых сынов, служащих своему народу.

И я обращаюсь к народам России и народам мира. Пока еще не поздно, давайте решать совместно настоящую и будущую свою судьбу. Судьбу народа. Всех народов мира. Это все в наших руках.

Рукопись с воспоминаниями Сангака уже находилась в типографии, когда из Таджикистана пришло сообщение о том, что он убит.

В день своей гибели он встречался на афганской границе с представителями таджикских беженцев, которые жаловались ему на то, что некоторые боевики препятствуют их возвращению на родину, продолжая мстить не только тем, кто воевал с оружием в руках, но и мирным жителям. Сангак лично пообещал им безопасность и сказал, что сам разберется с полевыми командирами, притесняющими беженцев в Хатлонской области.

Возвращаясь с границы, Сангак со своей личной охраной завернул в небольшое село вблизи Курган-Тюбе, где находился штаб полевого командира Файзали Саидова, на которого жаловались беженцы.

Файзали — фигура, почти столь же легендарная в Таджикистане, как и Сангак.

Рассказывают, что в самом начале войны боевики оппозиции захватили отца Файзали. Полевой командир умолял вернуть ему отца живым и предлагал взамен отпустить всех взятых им пленных. Отца принесли ему в мешке. Он действительно был жив и еще дышал... Старика зверски пытали, вырвали ногти, лоскутами содрали кожу... И Файзали начал мстить за отца. Прославился он не только своей безумной храбростью, но и жестокостью. Не щадил противника, не берег ни своих бойцов, ни себя. Одержимый лишь одной идеей мести, он действовал на свой страх и риск и не подчинялся никому, в том числе и Сангаку.

По версии репортера ИТАР-ТАСС, Сангак приехал ночью к Файзали и потребовал, чтобы тот прекратил преследовать беженцев, желающих вернуться на родину, сдал оружие и распустил свой отряд. Начался спор, в ходе которого Файзали (либо кто-то из его телохранителей) застрелил Сангака. И тут же охрана Сангака расстреляла Файзали. По другой версии, оба они — и Сангак, и Файзали — погибли в автомобильной катастрофе. В официальном заявлении руководства Таджикистана, опубликованном сразу же после трагического события, говорится, что «главные сыны таджикского народа погибли от рук подлых наемных убийц, врагов свободы таджикской нации».

Жизнь Сангака стала легендой гораздо раньше, чем я мог вообразить, начиная предисловие к его воспоминаниям словами о том, что эти мемуары уже принадлежат истории.

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

## Город юности

ИЗ КНИГИ «НАША ЕВРОПА»

*Поэт, прозаик, эссеист, переводчик, историк литературы Чеслав Милош — вероятно, самое известное сейчас на Западе польское литературное имя. В 1950 году Милош навсегда покинул Польшу, десять лет обитал во Франции, а с 1960 года поселился в США. Даже в Польше, где гордятся и самым малым своим соотечественником, почти тридцать лет книги Милоша были вычеркнуты из всех издательских планов. У нас же его не удостаивали и сухих упоминаний в курсах истории мировой словесности. Разрешено было только пинать, что исправно и делали — особенно в связи с присуждением ему в 1980 году Нобелевской премии.*

*Милош родился 30 июля 1911 года в литовском захолустье — небольшом имении предков по матери близ города Ковно (Каунаса), здесь прошло его детство. Юность Милоша связана с поразительным городом Вильно и удивительным краем, о котором Ходасевич писал: «Всех стран прекраснее Литва...» Тут Милош закончил гимназию, учился на факультете права в университете Стефана Батория, дебютировал как поэт, выпустил первую книгу стихов. «Край юности» Милоша, о котором он не забыл потом ни в Западной Европе, ни за океаном, имел ключевое значение для всего его творчества, он стал для поэта, по выражению английского лирика Джона Китса, откровением в образе юности.*

*О тех годах Милош и рассказывает в начальных главах автобиографической книги «Наша Европа» (1958), три из которых предлагаются вниманию читателя.*

БОРИС ДУБИН

Есть какая-то несправедливость в том, что парижанину не нужно всякий раз заново и с трудом вызывать свой город из небытия. Описывая его, он черпает из щедрого запаса подручных аллюзий: эта столица настолько давно и прочно вошла в творения человеческого слова, кисти и резца, что, даже исчезнув с лица земли, будет сызнава отстроена в воображении. А я, возвращаясь мыслью к улицам, где прошли самые важные годы моей жизни, должен каждый раз изобретать подходящие подробности и обречен на конспект, как всякий, кто пытается уложить в несколько фраз целый мир — от географии и архитектуры до оттенков неба. Конечно, сохранилось множество гравюр, фотографий, памятников, но о них, кроме жителей данного уголка, мало кто знает. Местным же всегда не хватало дистанции, почему они чаще всего даже не замечали то, что мне теперь кажется самым главным.

Чужестранцев к этим далеким пределам западного мира заносило редко. Одним из них был Г. К. Честертон, торжественно в нашем городе принятый. Думаю, его тронули чудеса колониальной экзотики, а день и ночь висящий в воздухе перезвон бесчисленных костельных колоколов показался католику родным. Узкие, вымощенные булыжником улочки, неистовое барокко — что-то вроде иезуитской резиденции где-нибудь в Латинской Америке. Сравнение не случайное: иезуиты в свое время и впрямь считали наши места одной из важнейших опор в этой части Европы.

Много ли на свете городов, о названии которых идут споры? Поляки называют его Вильно, литовцы — Вильнюсом, немцы и белорусы — Вильной. Два названия и у здешней реки: зовут ее Вилией, но другое имя куда звончей и окликает дух некой нереиды — Нерис. Еще одна речонка впадает в нее у подножия конусовидной горы с развалинами замка литовских князей — на

этом месте была когда-то столица Великого Княжества. Когда позднее в городе сменялась власть, триумфаторы первым делом водружали над останками замковой башни свои знамена. Третья, невидимая речка бежит под землей. Вокруг нее в точности не известного русла, как и вокруг здешних подземелий с коридорами, ведущими, как рассказывали, за стены замка на случай его осады, роились сказки и легенды. Пищу им давала и круглая башня кафедрального собора, очень древняя, много веков назад вставшая на месте, где прежде языческие жрецы разводили вечный священный огонь и где теперь время от времени можно наткнуться на разные неожиданности. Так, в подземельях костела святых отцов доминиканцев обнаружили однажды гору трупов со следами насильственной смерти — из-за редкой сухости подвалов покойники сохранились совершенно целыми. Эти мумии в старинных нарядах были когда-то населением города — жертвами, вероятно, одного из русских нашествий.

Около двухсот тысяч жителей. И тонны памятных записок, дипломатических нот и стенограмм в архивах Лиги Наций (к ним, кстати, крепко приложил руку Оскар Милош). Мало кто помнит о предпринятой было здесь в 1921 году попытке федерации: по плану, округ становился чем-то вроде самоуправляющегося кантона или даже государства. Я еще вклеивал в альбом почтовые марки того государства — так называемой Центральной Литвы, теперь это филателистическая диковинка. Вскоре его, однако, присоединили к Польше. Литовская республика протестовала, ссылаясь на историческое прошлое. Поляки же ссылались на волеизъявление народа. Кто тут был прав, сказать трудно. Думаю, никто. Стоит сформулировать вопрос в неподходящих терминах, и разрешить его уже невозможно. Жители города говорили частью по-польски, частью — на идиш; говорившие на других языках — литовском, белорусском, русском — составляли лишь несколько процентов населения. Но если взять за основу материнский язык каждого, не знаю, хватило ли бы тут места выкроить Женевский кантон или нет. Давайте проведем вертикальную черту и нарисуем на ней круг: он будет означать Вильно вместе с округом, а вертикальная черта — границу между литовским и белорусским этносами. А ведь наш анклав был не меньше любого иного в Европе, и довод, будто основа национального государства прочна лишь там, где, как во Франции, бретонцев

и провансальцев причисляют к французам, вовсе не следует из природы вещей, поскольку могло ведь сложиться и по-другому. Мозаика борющихся друг с другом народов — черта Европы, поражающая, скажем, американцев. Дело не только в языке, но в принадлежности к определенной цивилизации. А с нею нередко связаны и проблемы религиозные.

В Виленском округе преобладало римско-католическое вероисповедание, на втором месте шел иудаизм. Другие группы, слишком малочисленные по отдельности, придавали тамошней жизни свой колорит. К примеру, в школе я учился вместе с караимами. Они, по их собственным словам, вели свой род от секты ессеев, чьи рукописи через две тысячи лет обнаружили на берегах Мертвого моря. Эти пришельцы с юга, с их иссиня-черными волосами и арабской внешностью, в наших краях обычно сеяли хлеб и возделывали сады. Храм их назывался Кенессой. От когда-то влиятельной здесь кальвинистской церкви осталось немало евангельских христиан. Были среди моих одноклассников и мусульмане, потомки вполне доброжелательно принятых у нас татар, попадавших в плен или служивших в княжеской свите. Меня всегда интересовало, что происходит внутри мечети, хотя дознаться толком я так и не смог. Многолетнее господство России тоже оставило свои следы: чудовищные мостовые, немислимые препятствия для соблюдения элементарных правил гигиены и две гигантские церкви с пузатыми куполами — знак заботы царского правительства о духовном здоровье экспортируемых нам чиновников.

Католическое население, как всюду на границе, отличалось крайним фанатизмом, сознавая себя одним из последних выдвинутых на восток редутов Ватикана. Страстная привязанность наших католиков к Польше в большинстве случаев означала требование опеки и охраны. Литву они всегда укоряли за малость и слабость. К этому примешивалось и требующее, пожалуй, отдельного трактата чувство превосходства над народом, на девяносто процентов состоящим из крестьян. Напротив, объединяла поляков с литовцами общая неприязнь к православию и его приверженцам. Тень недоброжелательства падала и на белорусов, известных своей пассивностью, беззащитностью и покорностью судьбе.

Белорусы, признаюсь, для меня и сегодня загадка. Громадная территория с массой постоянно пригнетенного населения,

говорящего на языке, который можно называть мостиком между польским и русским, с чувством собственного достоинства, осознанным лишь после всех национальных движений в Европе, и грамматикой, возникшей только в XX веке. И эта масса людей, вместо того чтобы стать самостоятельным субъектом, легко превращается в объект чужих манипуляций. Москва поддерживала здесь строительство школ и открыла первый белорусский университет, но она же любыми способами глушила стремление к самостоятельности, сажала и депортировала патриотов, вытравляя из белорусского словаря каждое слово, слишком далеко отошедшее по смыслу от русского. Варшава же проводила абсурдную политику, запретив, за считанными исключениями, национальные школы и на всякую попытку организации снизу отвечая исключительно арестами. Надо, однако, признать, что польские чиновники стояли перед трудным выбором. К миссии своей они были абсолютно не подготовлены, поскольку само понятие белорусского народа никто толком не сформулировал, а в языке белорусов, как французы — в *langue d'oc*<sup>1</sup>, привыкли видеть всего лишь местное наречие. И если, превозмогая психологические барьеры, они-таки разрешали открыть национальную школу, последствия оказывались, с их точки зрения, еще хуже. Разбередив первыми же познаниями свои глубоко засевшие обиды, крестьянский сын быстро достигал начального уровня осведомленности в благах цивилизации, иначе говоря — становился, как правило, коммунистом и тут уж с ходу брался за суть дела, требуя «воссоединения», то бишь — отделения от Польши ее восточных воеводств.

В том неотчетливом, по сути — деревенском, обществе не хватало точек кристаллизации, ясно выраженных, например, в Балтии. Вероятно, отсюда и готовность заимствовать такие «точки» со стороны. Но одно можно сказать твердо: хорошо белорусам не жилось никогда и выбирать оставалось, как пойманной рыбе, между кастрюлей и сковородкой, иначе говоря — между полонизацией и русификацией.

Впрочем, в Вильно их делами не слишком-то интересовались. Мужики в длиннополых кожухах, привозившие на базар плоды земледелия, откликались на языке, который чаще всего невозможно было отнести ни к польскому, ни даже к бело-

русскому. Доводя до отчаяния своих более просвещенных собратьев, они (за исключением четко отделяющих себя от славян литовцев) не понимали, что такое национальная принадлежность, и на вопрос о ней обычно отвечали «православный», либо «католик».

Места у нас были холмистые, лесные. Зимой город приобретал вполне полярный вид. Транспортным средством служил возок, над которым громоздился похожий на кентавра кучер в меховом треухе. Ползли через снежные завалы и городские трудяги-автобусы. По середине отлогих улиц летели под гору ребята на санках, чаще всего ничком и правя ногами, или катили на лыжах. По весне закладывались старинные дрожки. Не желавшие отстать от прогресса году в тридцатом завели новинку, надев на колеса автомобильные шины.

Но не будем переживать с провинциальными диковинами. Еврейские торговые кварталы были у нас точно такие же, как во всем мире, и фронтоны домов, подчиняясь законам рекламы, цвели бесчисленными красочными вывесками, на которых художник размещал сошедших с полотен «Таможенника» Руссо львов и тигров, перчатки, чулки и лифчики. Кинотеатры призывно сверкали выписанными на афишах у входа любовными сценами и гирляндами электрических ламп. Перед самым началом второй мировой появились неоновые. Позднее на Третьей авеню в Нью-Йорке мне привелось вдруг столкнуться с чем-то знакомым: на жалких стенах сверкали, зазывая клиентов, те же краски и лампочки. Что ни говори, мы пребывали в рамках одного экономического цикла, хотя утвердить в этой мысли могло, по контрасту, только знакомство с другими укладами. Не различались и наши культурные ценности. И, наконец, я рос в эпоху, не похожую ни на какую из предыдущих, и убеждали в коренном переломе прежде всего радости кино. В этом смысле я и мои сверстники во Франции, Голландии или Америке жили по одним часам. Имена Лилян Гиш, Мэри Пикфорд, Чаплина, Бестера Китона, Греты Гарбо значили для меня ровно то же, что для них. Если фильм и вправду создает свою сказочную реальность, то у нас ее сказочность чувствовалась во много раз сильнее, и я принимал за художественную условность детали, для кого-то там абсолютно расхожие, а для нас — существовавшие только на экране. Однако и кино, в свою очередь, влияло на модели дамских

<sup>1</sup> Провансальский язык (франц.).

шляпок, на прически и фасон улыбки местных вампиресс, так что различия между фабрикой грез и окружающей действительностью понемногу стирались.

Фильмы делились на разрешенные и не разрешенные для молодежи. Чтобы ослабить тягу к неразрешенным и вместе с тем облегчить себе контроль, отцы города открыли общедоступный городской кинотеатр с громадным залом и очень дешевыми входными билетами. Битва за сиденья была дикая. Выше всего ценились места на галерке у самой балюстрады: отсюда можно было полюбоваться лысиной тапера за ширмой, послать ему ехидный совет. А то и плюнуть на голову сидящим в партере. Не один раз в минуты затишья мне приходилось быть свидетелем следующего диалога: «Антук!» — «Чего?» — «Плюнь, а?» — «Сам плюнь». Аппаратура была чиненая-перечиненная, лента часто рвалась, но все эти авторизованные залом перерывы ни малейшей опасности не представляли, и учителям никогда не удавалось захватить нас врасплох.

Театральное дело, как я теперь понимаю, было организовано у нас не в пример лучше, чем в большинстве так называемых западных стран. В отличие от трупп, собранных на одну постановку, у нас были заложены основы репертуарного театра, а работа режиссера и актеров понималась как своего рода служение обществу. Отсюда прочное взаимодействие дирекции нашего большого театра (в другом, помельше, игрались в основном оперетты) со школами и университетами. Авангардные устремления режиссеров и художников-оформителей, антиинструментальная трактовка театрального зрелища рано приобщили нас к чуду как сущности сценического действия. Ставились классицистские драмы (актер, впервые увиденный тогда в трагедии Корнеля, так для меня потом Сидом и остался), фантастические драмы польских романтиков (одни из самых необычных произведений в мировой драматургии), а кроме того, жестокие документальные пьесы немецких авторов периода Веймарской республики. Поэтому открытый в Париже много позднее, уже после второй мировой войны, Национальный общедоступный театр, в котором видели фактор общественного развития и воспитания, для меня был частью жизни уже с детства.

Кроме кино и театра временной разрыв сокращали книги. Переводили и публиковали у нас тогда все зарубежные бестселлеры, руководствуясь, скорее, снобизмом

и погоней за любой иностранной новинкой, нежели чем иным. Я переходил от Джека Лондона и Киплинга к Джозефу Конраду, а дальше царил полный хаос обложек, где рядом теснились Эмиль Людвиг, Стефан Цвейг, Илья Эренбург (в ту пору эмигрант), Эптон Синклер, Томас Манн и новые советские авторы — Борис Пильняк, Бабель или Катаев. Скорые на подъем мелкие варшавские издательства заполнили рынок грошовыми сенсационными романами в переводах, неряшливых до невозможности.

Потихоньку менялся и сам город. Вместо деревянных мостков, где из-под гнилой доски то и дело плевалась жижа, положили бетонные плиты, брусчатка понемногу вытесняла с мостовых булыжник, появились новенькие, современные автобусы, зимой стали тщательней расчищать снежные завалы, росло количество такси. И все же город и окрѳга были обречены на экономический маразм. Западные правительства обычно оказывали свое благоволение лишь в те периоды, когда грозящую им опасность следовало умерить кровью тех или иных туземцев, а в мирные времена — крайне редко. Борющаяся с русской революцией Польша военное снаряжение получила, однако позже она всякий раз должна была выбивать кредиты с огромным трудом. Слепленной из трех несхожих по уровню развития частей, унаследованных от Австрии, Германии и России, ей приходилось в первую голову хлопотать о единой администрации, единой системе образования, а единое расписание железных дорог считать величайшим достижением. Около трети бюджета шло на армию. Промышленные центры были в руках иностранцев, заботившихся о выколачивании прибылей, а потому выгадывавших на дешевизне рабочей силы. Перенаселенная деревня из-за немыслимой разницы цен на свои продукты и городские промышленные товары не могла купить орудия и технику. Для Вильно этот достаточно серьезный кризис обострялся особыми географическими условиями: мы теснились в узком коридоре между закрытой границей Литвы (здесь сохранялось состояние холодной войны) и рубежами Советского Союза, с которым практически никакого обмена не было. Растянувшиеся из-за этого линии сообщения с Западом увеличивали расходы на экспорт, и я теперь сомневаюсь, чтобы дела на местных лесопилках, кожевенных заводах и в перчаточных мастерских шли тогда хорошо. Уж если во всем государстве преобладало ручное ремесло и кустар-

ничество, то у нас этот экономический уклад чувствовался еще резче.

Да, худо было в тогдашней Европе, а тем более в нашем, одном из наихудших ее углов! И все-таки будем осмотрительными: не стоит переносить слабости экономики на все, унаследованное от прошлого. К примеру, школа, в которую я ходил, была отнюдь не плоха, и организаторским способностям учителей, вынужденных из-за войны, которая длилась здесь шесть лет, рассчитывать исключительно на собственную инициативу, можно теперь только поражаться.

По всей видимости, пребывание в школе серьезно переломило мою жизнь, поскольку до того времени горький вкус общепринятых правил был мне практически не знаком. Науку я всегда считал исключительно личным делом. Чтению, письму и счету научила меня в наших вечных переездах мать. А нескольких весенних месяцев, в дни которых я отворял калитку в одичавший сад, где жила учительница, мне вполне хватило для подготовки к вступительному экзамену.

Восьмилетняя государственная гимназия для мальчиков. Кроме нее в городе было немало других, государственных и частных, где обучали, как у нас, на польском либо же на идиш, древнееврейском, литовском, русском, белорусском. Наша взяла себе в покровители короля Зигмунта Августа, персону исключительно здешнюю, из литовской династии Ягеллонов. В актовом зале, куда нас собирали на торжества, через несколько лет после моего поступления повесили портрет монарха, писанный нашим преподавателем рисования, веселым дылдой, любимцем учеников, на которых он, правя их мазню, орал неудобопроизносимыми словами. Король Польши, великий князь Литвы, Руси, Пруссии, Жмуди, Мазовии, Инфлянт<sup>1</sup> и т. д. и т. п. был, по ренессансной моде, широкоплеч, но жидконог и по самые бедра затянут в чулки. Уставив на нас треугольное лицо, он держал в руке соответственно своему призванию — не столько воителя, сколько дипломата, законодателя и миротворца в спорах между католиками и протестантами — свиток законов. Преподаватель, небезызвестный в ту пору художник, вложил в портрет кое-что сверх обычного сходства: сочетание глыбообразных масс и темных тонов, по-моему, складывалось в целое, дышавшее неподдельной силой.

<sup>1</sup> Инфлянты — польское название Литвы в XIII—XVI веках и Лифляндии в XVII—XVIII веках.

Приспосабливаясь к жизни среди чужих, я, как мог, справлялся с новыми проблемами. К примеру, проблемой угнетения. Один из самых младших в классе, я находился у подножия туземной иерархии, опиравшейся на почтение перед кулаком. Вышние места в ней принадлежали пятнадцатилетним лбам, из-за войны отставшим в науках, зато поднаторевшим в пускании крови из носу, когда нужно утвердить свою власть. Хуже другое: робкий и чувствительный, я быстренько уяснил, как можно сквитаться за свое унижение и занять, хоть на время уроков, главенствующую позицию, — став первым учеником и любимчиком преподавателей. Потом, в старших классах, я пожертвовал этим первенством ради ампула нахала и скандалиста. Однако спортивный зал всегда оставался для меня камерой пыток, стоило только вспомнить холод лестниц и деревянных коней, свисток команды и ничем не отличающуюся от армейской муштру. Никакой артиллерийский снаряд не вызывал у меня такого клацанья зубами, как мысль о приближающемся времени занятий на тамошних снарядах, я ведь далеко не сразу наловчился увиливать от этих нестерпимых минут. Мои антиобщественные наклонности выражались и в нечетком отношении к вышестоящим и коллегам по харцерской дружине. Многое в скаутстве мне нравилось: походы, костры, ночевки в стогу, розыск по следу, перочинные ножички и морские узлы. Но от всех этих «в две шеренги становись!», «направо равняйся!», «вольно», как и от красного уголка — огромного зала, отданного дружине для ее обрядов и украшенного эмблемами «Волков», «Рысей» и «Филюнов», — меня попросту мutilовало. А царивший там настрой «сделай то, не знаю, что» был, по-моему, сплошным занудством. Я не мог понять, в чем смысл собеседований и проповедей, составленных из пустых фраз, и чувствовал, что им не верят ни ораторы, ни слушатели. Позже я уяснил, что Бейден Пауэлл был незаурядным пророком эпохи конденсации масс: коммунизм показался мне тем же, только во много крат умноженным, бойскаутством.

В огромном здании школы были свои, по тем или иным причинам особые, уголки. Учительская, например, куда можно было только бросить взгляд сквозь полуприкрытые двери и где взвешивались наши оценки, навсегда осталась для меня самой тайной. А вот уборная с ее папиросным дымком над старшими ребятами, нарочито грубыми головами перекидывающими друг дружке скабрёзности, дышала милой атмосферой



тлеющего скандала. Лаборатория манила ретортами и запахом химикалий. Заправлял ею старый Ян, педель, оставшийся еще от царской гимназии. Нос его по мере иссякания запасов лабораторного спирта делался все багровей.

Мы носили форменные темно-синие картузы, вылитые кепи французских полицейских. Шик состоял в том, чтобы выдрать из них картонную основу, превратив в мягкую ермолку. Года через два на всех напялили темно-серые мундиры с бархатным кантом по вороту и застегивающиеся под коленом штаны. Придумал их тот же учитель рисования, ставший к тому времени объектом наших насмешек. Похожий на петуха, он носил эдакую живописную наклейку, шляпу с пером, считался опекуном харцерских дружин и был жутким педерастом. Моя недолгая к нему любовь (по четвергам он устраивал у себя чаепития, на которых показывал, как управлять со шпагой, и рассуждал с избранныками об искусстве) закончилась в тот вечер, когда он присел рядом на канapé, положил мне руку между ног и весь затрясся. С тех пор он поглядывал на меня не иначе, как с ненавистью.

Но школой, довольно жалким существованием в доходном доме и таким беспорядочным погружением в самые разные книги, что по улицам я, бывало, ходил как во сне, мир не исчерпывался. Город окружали леса и озера, накрепко связывая с природой. Посредником здесь служил отец, у которого избыток не находившей иного выхода энергии выплескивался в страсть к охоте. Он брал меня с собой и рано познакомил с повадками зверей и птиц, разновидностями деревьев и трав; помогали и учебники орнитологии и ботаники. Не было конца и моим приключениям, не скажу — военным, но всегда как-то связанным с условиями, напоминающими военные. Тут уже инициатива принадлежала матери. Переплетение противоположностей в моем характере становится ясней, когда я пытаюсь понять, на чем держалась ее внутренняя жизнь, включая спокойствие, с каким она встретила смерть от тифа при великих переселениях народов в 1945 году. Она могла показаться легкомысленной, слабой, но, пользуясь внешней раскованностью как маской, наслаждалась своим актерством, чтобы сбить остальных с толку и предстать в их глазах не самой собою, а — не тратя лишних сил — в том образе, который им приятней видеть. Трудно сказать, рождалась ли подобная мимик-

рия из неверия в собственную значительность и полного отсутствия способности верховодить либо из своеобразной гордыни: «Знаю, да не всякому скажу». Но под этой поверхностью крылись упорство, достоинство и твердое убеждение, что выпавшие испытания — от Бога и переносить их следует спокойно. Еще одной ее чертой был патриотизм, не связанный, впрочем, ни с нацией, ни с государством — к этим его разновидностям мать относилась безразлично. Взамен она внушала мне патриотизм «дома», родных мест. Я и предпочитал всем другим родню матери — деда Куната и бабушку, урожденную Сыруц. По причинам, слишком сложным, чтобы их распутать, фантазия моя, обращаясь вспять, оказывается гораздо чувствительней ко всему, отмеченному печатью матриархата. Женщины у нас в семье были созданы из более надежного материала. Видное место в пантеоне предков занимала прабабка Сыруц. Ее муж погиб в одной из первых железнодорожных катастроф в Европе, году в 1850, под Баден-Баденом. Оставшись с детьми одна, прабабушка проявила недюжинные способности управительницы, упорно освобождая полученное наследство от долгов. Наши женщины отличались добродетелью самоотречения и даром самоконтроля.

Только дом-то наш со всеми его чудесами был теперь за границей. Находясь не дальше от Вильно, чем Дижон от Парижа, он отошел к другому государству — Литве. При отсутствии дипломатических отношений между Польшей и Литвой никакой легальной возможности попасть туда не было. Но для моей матери подобных преград, как и других глупостей политиканов, конечно, не существовало. И мы вдвоем отправлялись в путь. Первый этап состоял в том, чтобы добраться до затерянной в лесах деревушки, где хозяйничали указанные нам контрабандисты. В их конуре разрабатывался план операции — либо подкуп стражников, либо дорога в обход их постов. В то время два государства разделяла так называемая нейтральная полоса, означавшая, что с обеих сторон стреляют без предупреждения. Расположенные к нам мастера по переправке носили при себе оружие — на случай, если придется убрать кого-нибудь подвернувшегося не к стати. Как-то раз сопровождавший нас малый в кожанке припал на колено и разрядил карабин в кусты, а через секунду, оправившись от страха, хмыкнул: «Косуля». Страх я в те поры натерпелся. Са-

мое противное было бы десяти лет от роду попасть в лапы литовских пограничников и просидеть целый день одному в свином закуте. Однако была в наших экспедициях и радость побед, а мать заражала меня любовью к риску. Тем сильнее я полюбил лес: в нем мы были невидимы и защищены.

Постепенно одолевать границу становилось все трудней. Тогда нашлись другие способы. Мать, как и вся ее родня, считалась гражданкой Литвы, что не помешало ей обзавестись вторым паспортом — польским. Все эти бумажки напридумывали чиновники, чтоб отравлять людям жизнь, а потому не было ни малейшей нужды в точности следовать их предписаниям. И вот в польском паспорте ставилась въездная виза Латвии. А там оставалось только сменить паспорт, чтобы въехать в Литву. Это простое и гениальное открытие мы не раз использовали на практике.

Поэтому Вильно не был для меня в полном смысле слова центром мира. Проводя летние месяцы в другом государстве, я имел возможность сравнивать. Стародавний уклад проступал там еще резче, однако во всей очевидности сохранилась крестьянская цивилизация, а она, чтобы не исчезнуть, требует структуры, которую теперь называли бы кулацкой, равно как и минимального благосостояния. Национальный и классовый фанатизм мог быть неприятен, но он, по крайней мере, доказывал, что тамошняя деревня умеет читать и писать, иначе идеи бы туда не проникли. Не склонная к заоблачным полетам духа, Литва сохраняла в своем облике что-то от грузной Фландрии. Любопытно, что эта фламандская любовь к материальному проявлялась всюду, где удерживались хотя бы частицы литовского этноса, мало-помалу с ходом истории сокращавшегося. В отличие от усвоившей польскую дворянскую культуру аристократии крестьянин тут не полонизировался, зато вдвойне подвергся национальной нивелировке: с востока и юга литовские территории подгрызали белорусы, как море понемногу объедает прежние берега. Только что принявшие славянский язык, обитатели деревень вдоль железной дороги немедленно попадали под влияние Польши. Неразбериха вокруг Вильно объяснялась тем, что когда-то город был со всех сторон окружен осаждавшими его литовцами — об этом свидетельствуют названия окружающих мест. Со всей этой разногласицей я сталкивался не в теории, а на собственной шкуре. И если не мог ее тогда

точно определить, то в любой поездке непохожесть разных народностей друг на друга так или иначе будила мысль. Страны же, к которой мой город теперь принадлежал, то бишь Польши, я пока что в глаза не видел.

Себя я имел полное право считать типичным восточноевропейцем. Насколько понимаю, его *differentia specifica*<sup>1</sup> сводятся в конечном счете к отсутствию чувства формы — как внутренней, так и внешней. При этом достоинства его — жадность ума, пылкость в споре, чувство иронии, острота восприятия, пространственное или географическое воображение — следствие того же главного изъяна. Он всегда остается недорослем, которым правит неожиданный прилив или отлив внутреннего хаоса. Форма — достояние стабильных обществ. Ограничусь собственным примером: сколько нужно сил, чтобы усвоить все эти разноречивые традиции, нормы и слишком богатые впечатления, а тем более — чтобы привести их хоть в какой-то порядок. То, что окружает нас с детства, кажется самоочевидным. Однако если все это ни секунды не стоит на месте, а — словно стеклышки в калейдоскопе — то и дело крутится, меняя узор, приходится истратить немало сил, чтобы упереться в землю и не упасть. Что принимать за норму? Фильм и книжку или совершенно не похожую на них реальность? Войну или мир? Прошное или настоящее? Стародавние обряды или колонны под красным знаменем? Точку зрения одних шовинистов или других? Форма требует надежной совокупности общепринятых аксиом, некоего исходного согласия, против которого можно бунтовать, но который очерчивает рамки существования куда резче, чем сознательное усилие мысли. Мне не хватало однозначного жеста, простого предписания, ясных правил поведения за столом. Почти каждый встречавшийся человек был новым, и не просто в силу своей единичной особенности, но и как представитель иного сообщества, класса или народа. Один жил в XX веке, другой — в XIX, третий — в XIV. Достигнув зрелого возраста, я носил в себе какой-то безостановочный и перекореженный музей. Окровавленный Сережа, матрос с охотничьим тесаком, комиссары в кожанках, Лена, немецкий фельдфебель с дирижерской палочкой, литовские стрелки из полувоенных отрядов клубились во мне вместе со множеством крестьян — охотников и контрабандистов,

<sup>1</sup> Особенности (лат.).

с Мэри Пикфорд, траперами Аляски и учителем рисования. Говорят, современная цивилизация несет скучное единообразие и уничтожает индивидуальность. Не знаю, не знаю; лично у меня на эти ее изъяны пока что поводов обижаться не было.

## КАТОЛИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Все восемь школьных лет каждый день начинался с молитвы и песни «Рано утром восходит солнце». Все классы собирались тогда вместе с учителями в длинном и просторном коридоре. От молитвы освобождались лишь немногочисленные иноверцы: евреи, караимы, мусульмане, православные и евангелисты. Отделенные этим от большинства, они, по-моему, чувствовали себя довольно глупо.

Восковые свечи и белый наряд первого причастия, запах и голубой дымок ладана, блеск риз и дароносицы, сосание под ложечкой, когда натошак возвращаешься из костела, умиленность возвращенной чистоты. Перечень грехов ставил в тупик, особенно рубрика «нечистота». Отнеся к ней распространение исподтишка грязных сплетен, я через решетку исповедальни увидел, что ксендз вторачивается и кусает губы, иначе говоря — я попал впро�ак. Но вся эта дисциплина повинностей и обрядов уразумению не поддавалась, существуя собственной силой и как бы принадлежа самой природе. В конце концов, так она действовала еще сильнее и оставляла по себе следы куда глубже.

Как бы там ни было, закон Божий, сначала ограничивавшийся рассказами из священной истории, мало-помалу стал важным предметом. Оценка, выставленная законоучителем, имела решающее влияние на аттестат в конце года. Требования его применительно к школяру, заподозренному в анархических или бунтовщицких наклонностях, многократно повышались. А читавшиеся предметы — догматика, история церкви, апологетика — по уровню не намного уступали тем же дисциплинам в начальных классах духовной семинарии. И все эти умственные каверзы пришлось на тот период, когда в голове у меня и без того все путалось от силлогизмов.

Католицизм — учение трудное и содержит как бы несколько геологических пластов. По простодушным вопросам и ответам катехизиса не догадаться, что они соотносятся с лежащими под ними пластами примерно так же, как راستительность —

с кипящим ядром земли. А стоит содрать верхнюю оболочку, и тут же попадаешь в ловушки, расставленные друг другу могучими умами. Зеленый первооткрыватель трепыхается в этих ловушках, как попавший в силки заяц. Не легче ему и от столкновения двух самодостаточных и, казалось бы, взаимоисключающих строев мысли: религиозный схлестывается с восходящим еще к Ренессансу научным.

Обставленный новехонькими микроскопами кабинет естествознания притягивал как мир учености, для меня — из-за моих лесных и охотничьих занятий — наиболее конкретной. Там врезали пиявок, разглядывали бьющееся сердце распластанной лягушки и, задержав дыхание, чтобы на волосок подкрутить винт микрометра, наводили микроскоп на резкость, исследуя препарат растительных или животных тканей. Зоологию, ботанику, а потом и биологию преподавал доцент нашего университета, специалист по цитологии — науке о клетках. Тощий, с желтым лицом, он, как всякий язвенник, был сварлив, но предмет свой любил и сумел передать эту любовь нам. Основал кружок любителей природы, где, оставаясь вечным заводилой, задавал тон. Я не ограничивался задачками и учебниками, забираясь в специальную литературу. На середине школьных лет, то бишь в четвертом классе, я прочитал свою первую лекцию — о видовом отборе и Дарвине. Я тогда как раз вступал в кризисный период, несколько отсроченный из-за множества дел, которые мне что ни день подбрасывало мое царство аквариумов, банок и клеток с птицами и мышами. В одном, впрочем, сомнения не было: будущая моя профессия определена, я стану естествоиспытателем. Скажи мне тогда кто-нибудь, что я своему предназначению все-таки изменю, я бы встретил его пророчества с негодованием.

Тут мне придется ненадолго отвлечься, занявшись тем человеческим фоном, на котором развивались наши пристрастия и антипатии. Думаю, для учителей среди массы орущих и неопрятных молодых лиц лишь некоторые выделяются хотя бы задатком индивидуальности. Точно так же и преподавательский Олимп делился для нас на нескольких протагонистов и хор остальных. Однако даже самых захудалых властителей мы отличали по их особым чудачествам. Скажем, географ по кличке Горилла воплощал для нас прошлое и преподавал, кажется, еще в царской гимназии. Этакая верста с черной щетиной и чер-

ными усищами, он носил визитку и полосатые брюки. Бывало, разваливался на стуле и неимоверно зевал, открывая такое же черное на вид небо (у собак это означает злобный характер, что вполне подтверждалось на его примере). Скука немедленно передавалась всем, и наш пандемониум впадал в буйство. Тогда, слишком ленивый, чтобы тратить слова, он нацеливался указательным пальцем в сторону класса и очерчивал рукой пригласительный полукруг. Жертва шла к столу и становилась в угол. К концу урока сидящих оставалось немного. Впрочем, он или историк, старикашка Калашевский с его чудовищным белорусским акцентом, относились к фигурам третьестепенным и потому — часто менявшимся.

На первом плане были всего лишь две наиболее влиятельные персоны, боровшиеся между собой за наши мысли и предназначенные остаться с нами навсегда, сколько бы времени ни прошло. Прочитав уже в университете «Волшебную гору» Томаса Манна, я понял, что это, по сути, книга о них — если, конечно, спор между иезуитом Нафтой и гуманистом Сеттембрини считать важнее истории Ганса Касторпа. Не моя вина, если портреты получаются олитературенные: действительность любит иногда опознавать себя в таких, как бы взятых из книги, противоположных. У нашего Нафты было круглое лицо полуувядшего мальчика, волосы челкой и жесты смиренного Божьего слуги, то и дело опускающего глаза долгу. Догадаться, где и как он жил, прежде чем стал священником — в деревне или в городе, среди аристократии или простолюдинов, — по нему было совершенно невозможно. Этим он разительно отличался от других известных нам священников. У одних под сутаной клочкотала горячность прежнего вояки и задиры. Другие поражали крестьянской медлительностью и неуклюжестью. А наш законоучитель как будто так и вырос в тени храмового притвора, со сложенными руками снуя между золоченых алтарей. Будь он сыном церковного сторожа, мы бы ни сколько не удивились.

Его невзрачным телом двигала неукротимая и кипучая душа. Она давала о себе знать скорбными складками у рта: когда веки все-таки подымались — твердым взглядом голубых глаз, смуглым румянцем подавленного неистовства. По внутреннему складу он был инквизитором. Отблеск недостойных мыслей угадывал уже по сокращению лицевых мышц, но наклону го-

ловы. Жизнь его разворачивалась в том измерении, где надо неотступно быть начеку, всегда настороже, где атаки дьявола приходится отбивать ежесекундно. Грехи не сводились для него к нарушению заповедей: он раскидывал и запускал свои щупальца в самые, на первый взгляд, невинные развлечения. Так, к нашей возне с мячом во дворе Хомячок — как мы его прозвали — относился с неприязнью, видя в ней знак приближения зрелости, поры, когда дьявол в нас все же победит. Грубющий на возрастном переломе голос вызывал у него гримасу отвращения, в запахе табачного дыма он чувствовал физическое присутствие главного врага — плоти. К детям относился благодушно, но, стоило им превратиться в подростков, и все его поведение в классе говорило: передо мной — глубоко падшие существа. Как-то раз на перемене один из нас нарисовал на доске батареи и электрическую цепь, объясняя одноклассникам задачу по физике. Хомячок скользил по коридору и, внезапно, как обожал делать, приоткрыв дверь, зыркнул на выведенные мелом круги и эллипсы. Этого хватило, чтобы он полыхнул густейшим румянцем и кинулся к директору с рапортом, что застал учеников за рисованием на доске половых органов.

Для его сумрачного ума зло человеческой природы не поддавалось излечению никакими духовными средствами. Он, можно сказать, не верил в действие милости свыше, если оно неподконтрольно человеку, и не видел в ошибках, быть может, необходимых шагов на пути к спасению. Вместе с тем он судорожно хватался за все, напоминавшее среди тьмы о свете: спасенные опознавались им по внешним признакам добродетели, иначе говоря — по исполнению предписаний, бесцветной интонации, смиренным движениям, то бишь по дрессировке. Только кто же относился к спасенным? Разве что братья-марианиты с лентой через плечо и свечой в руке. Добро ведь недостижимо, а потому должно день за днем навязывать дисциплину себе и другим, ибо, если и есть какая-то надежда изменить человеческую природу, то лишь идя от внешнего к внутреннему, а никак не наоборот. В конце концов, он доводил до крайности старый тезис католической церкви, что к Богу можно приблизиться лишь посредством чувств, а вера и добродетель каждого — только следствия правильного поведения всего сообщества верных. Посещая мессу, приобщаясь к таинствам, помимо воли проникаешься

стилем, который, как медь для электричества, служит хорошим проводником небесных начал. Человек слаб, и единственно безумец рискнет отпустить его без присмотра, считая, будто он сам вопреки окружающему укладу отыщет связь с Богом. Скорее, нужно облегчить эту связь немногим, воспитывая в остальных своего рода условные рефлексy. Принуждая нас к участию в обрядах, Хомячок, впрочем, особых иллюзий не питал. Как не питали их, кстати, и его предшественники, мечом обращавшие еретиков на путь истинный.

Его должность состояла в полном подчинении других собственной воле. Это не сильно разнилось с тем, чего добивались потом в школах средней и восточной Европы преподаватели марксизма-сталинизма. Хомячок неустанно, ячейка за ячейкой, наращивал свою сеть. Присутствие на воскресной службе было обязательным, но городской костел не давал полноты обзора, а потому в школьном здании устроили часовню, где специальные уполномоченные отмечали отсутствующих крестиками. Уполномоченные рекрутировались из его же подручной гвардии — братства марианитов. Каждый квартал нас приводили к исповеди и причастию. Накануне пасхи мы подолгу говели. Отметая вранье и отговорки, наш теократ поставил надзор за чистой душой на здоровую основу: ввел письменные удостоверения. Теперь приводимый к исповеди получал в исповедальне узенький обрезок бумаги с печатью, который должен был немедленно сдать законоучителю. Надо, впрочем, сказать в его оправдание, что доношительства он не поощрял. И если подобные случаи бывали, то исключительно по лизоблудству или избытку религиозного рвения со стороны братьев-марианитов.

Уроки свои он разнообразил не слишком щепетильными издевками над другими вероисповеданиями, модами и человеческим разумом. Не чурался и брани в адрес социалистов, пытаясь выработать у нас отрицательный рефлекс на сам звук этого слова. И самой малейшей тонкостью доводов развеивалась, стоило ему перескочить на современные материи, так что некоторых из нас мог склонить к сопротивлению попросту оскорбленный вкус.

Его противник, латинист Адольф Рожек, был ему полной противоположностью, взять хотя бы изысканную, почти неуловимую иронию, благодаря которой он ни в одном сражении не выходил из себя, сохраняя в отношении священника обычную кур-

туазность. В его всегда гладко выбритом лице проглядывал римский чекан. Может быть, тут сказывались вошедшие в кровь принципы классической меры. Безукоризненно одетый, нередко с красным бутоном в петлице, он должен был бы носить тогу. Без труда справлялся с нами, практически никогда не повышая голоса, — одной своей не лишенной раздражения значительностью. Сын галицийского пролетария, он принадлежал к последнему поколению тех питомцев габсбургской монархии, которые вынесли из школьных стен хороший запас латыни, греческого и комментариев к древним. Уроки его не сводились к словарю и грамматике. Когда мы от Юлия Цезаря и Цицерона — этой гимнастики вводных предложений — перешли к Овидию и Горацию, уроки Рожека превратились в ренессансную науку об образцовом сочетании слов. Начинали с чтения, и если ученик неверно скандировал гекзаметр или алкееву строфу, наставник с присвистом всасывал воздух, словно его кололи иголками. К настоящей работе приступали после грамматического разбора. Все принимались подыскивать слова, стремясь приблизиться к мельчайшим оттенкам оригинала. «Ну-ну, — морщился он, — это уже кое-что, но пока звучит коряво. Нет ли чего получше?» Порядок слов в польском очень свободный. Рожек заботился о том, чтобы удержаться на границе, за которой впадаешь в нарочитость, хотя его то и дело заносила восприимчивость к латинскому синтаксису, как заносила она в прошлом не одного польского автора. «Желтый мед заструился...» — приближались мы к концу, переводя описание вечной весны у Овидия. Он останавливал нас движением руки. Мы снова и снова кружили между подлежащим, определением и сказуемым, чтобы после многих попыток прийти к совместному результату:

И желтый из дуба зеленого  
мед заструился

Часто на одну такую строчку уходил целый урок, и за год мы успевали одолеть всего несколько страничек стихов. Но сегодня я сравниваю и убеждаюсь: воздействие этих занятий и скудость полученного на них материала попросту несоизмеримы. Тогда я этого не подозревал, но, оказываясь, час, посвященный этим занятиям, значил куда больше, чем целые дни, когда мне бивали голову так и не пригодились потом знаниями из тех или иных облас-

тей. И дело не в тоске по Золотому веку и не в реющем на ослепительных столпах замке Солнца, не в падающем с небес Фазтоне, снежном щите горы Соракт или пастухах из «Буколик». И даже не в обрывке строки, который я как наваждение повторял потом в самых разных жизненных перипетиях, хотя его звучность пробуждала любовь к ритму и неприязнь к гладкописи:

*Trahuntque siccas machinae carinas*<sup>1</sup>

с очень долгим *i* в *carinas*. Куда важнее было умение сосредоточиваться не только на смысле, но и на искусстве сочетаний, убежденность, что сказанное меняется в зависимости от того, как скажешь. Упорство Рожка внушало, что стоит стремиться к совершенству и что оно по часам не измеряется, воспитывало уважение к словесности как плоду кропотливого труда.

Рожек рассказывал об устройстве римского общества, перемежал жизнеописания поэтов занятыми историями, например, об Овидии, которого мать наказала за пристрастие к сочинительству, а тот сквозь слезы отвечал ей — стихами: *Iam, iam pop faciam//Versus carissima mater*<sup>2</sup>. Отвлекался он, случалось, и на рассуждения о живописи или современном театре. Связь его с нашим городским театром была самая живая: в некоторых спектаклях участвовали его дети — маленькие сын и дочь. Ему мы обязаны и нашим школьным театриком. Он оказался неплохим режиссером (поставил «Пана Бенета» Фредро). Как наш классный руководитель, Рожек ввел ученическое самоуправление, и я — один из болтунов и смутьянов — на этом примере убедился в трудностях демократического руководства. Высказываний на темы политики он избегал, но социалистические симпатии его были известны. Им двигала оптимистическая вера в человеческий разум, в способность человечества к совместным достижениям и в прогресс.

Само существование таких Нафты и Сет-теобрини ставило перед выбором. Бунт против священника склонял чашу весов на сторону латиниста. Мой религиозный кризис оказался не разовым событием, не завершился четким «да» или «нет», и, поступая в университет, я все еще не мог сказать, что оставил его за спиной. Это, однако, не значит, будто ему не хватало остроты. Я стремился перебросить мыслен-

ный мост между далекими сущностями. Подобный порыв так или иначе объединял всех моих товарищей, которые считали религию чем-то отдельным от жизни и подчиняющимся исключительно требованиям приличий. Своей пылкостью я приобрел среди них репутацию еврея среди гоев.

Если закон природы — уничтожение, если выживает лишь сильный, а слабый гибнет, и так — миллионы и миллионы лет подряд, то где же в таком мире место для милосердного Бога? По какому праву человек на крохотной планете, повисшей в пустоте и значащей не больше микроорганизма у меня на предметном стекле, так подчеркивает собственное страдание, ничем не отличающееся от страданий птицы с перебитым крылом или зайца, попавшего на зуб лисе, почему только его боль достойна внимания и искупления? Откуда это чувство собственной исключительности и откуда тогда жестокость болезней, смерти, мук, на которые одни люди обрекают других, — доказательство, что закон природы распространяется и на этот вид? Чем толпа на улице отличается от скопления амеб, кроме разве того, что элементарные рефлекс-ы людей на несколько порядков сложнее? Подобные вопросы, случалось, на целые дни вгоняли меня в состояние, близкое к физическому недугу. Время в естественных науках — пространственной природы, его не представить иначе, как линией, ведущей из бесконечности в бесконечность. Чисто пространственно и учение об эволюции. Но в таком случае вечность это либо та же линия, либо она вовсе ускользает от мысли. Нелегко понять, что, собственно, означает вневременность и как это в некоей запредельной перспективе гибель Ниневии, рождение Христа и дата в школьной тетради равнозначны, так что в этой перспективе в конце концов исчезает любая протяженность и между «величиной» галактики и «величиной» атома может стоять знак равенства.

Ответов я искал в учебнике, которому обязан большей частью своего образования. Это был учебник по истории церкви. Из разбитых на куски хроник, которые нам вколачивали в головы, называя их историей Польши и других стран, я вынес не много. А здесь передо мной проходила история всей Европы. Поэтому думаю теперь, что католическая школа была бы крайне полезна всякому, кто хочет воспитать в себе «сознание европейца».

Порою параграфы учебника разнообразил петит: им давалось — и достаточно

<sup>1</sup> И тянут сухие лебедками кили (лат.).

<sup>2</sup> Ой-ой, не буду писать // Стихов я, дражайшая мать (лат.).

подробное! — изложение различных ересей. Моиими любимцами стали гностики, манихеи и альбигойцы. Они, по крайней мере, не заслонялись поверхностно понятой волей Бога, оправдывая жестокость. Необходимость, правящую всем, подвластным времени, они считали порождением соперничающего с Богом злого демиурга, который тем самым вынес себя за скобки и пребывает в ему одному подчиняющейся сфере, свободный от ответственности, поскольку он — лишь объект желаний. Желания эти могли быть просветлены единственным способом — обращаясь против тела, то есть — против Творения. Тогда я еще не знал этих слов манихеев: «Дух, раздавший себя, поделенный на части и распятый на кресте пространства», — слов, явственно заостренных против мира пространства и времени. Тем не менее в строчках петитом я черпал много полезного как раз для моих размышлений. Горечь дуализма и спасенный ее ценой Абсолют пьянили меня, как шершавая поверхность после не дающей в руки лощеной. Авторы учебника строго осуждали распутство, трактовавшееся иными манихеями как способ «борьбы с плотью», но их осуждение звучало для меня не слишком убедительно. Я как раз неплохо представлял себе подобный психологический скачок: если мы и вправду во власти зла, то поступать нужно ему наперекор и погрузиться в него как можно глубже, чтобы за это потом как можно полней себя презирать. Позже я понял, что дуализм в католической традиции вообще очень силен. К примеру, девушки, из спортивного интереса проводя с кем-то ночь, не забывали встать пораньше, чтобы поспеть к мессе, — и в этом было что-то сверх простого житейского лицемерия, так же как титул обычного лицемера вряд ли подошел бы нарушившему целибат священнику. К сосуществованию потребностей тела и устремлений духа католицизм относится вполне спокойно, а это не устраивает молодую душу с ее тягой к крайним решениям. Ей нужно знать раз и навсегда: или — или. Отсюда мой интерес к манихеям.

Еретичество, оплодотворенное еще и занятиями биологией, как ни странно, склоняло меня не к гуманисту, а — через бунт — к законоучителю. Мои чувства к нему были сложными и не менее извращенными, чем к магистрам гностической мудрости. Если считать природу воплощением зла, то он выступал глашатаем антиприроды. Указывал иной закон, боролся с вра-

гом, Князем мира сего. Как и весь класс, я посмеивался над сумасбродными порой поступками Хомячка, над его подозрительностью. Но потерянная сутана, истерзанное соблазнами лицо и внутренний накал пробуждали жалость и чувство своеобразного родства. А что этому мог противопоставить Рожек? На каком основании поощрял он веру в естественный разум, иначе говоря — разум, отданный во власть необходимости и попадающий в любые силки, обильно расставленные физиологией этому представителю животного царства? На чем основывалось его убеждение, будто «здесь кончается зверь и начинается человек»? Это было еще темней, чем учение церкви. И если в моем отношении к Рожеку симпатия подтачивалась издевкой, то в отношении к законоучителю издевку подтачивала симпатия.

Я нашел еще один повод не полагаться ни на что, данное человеку от рождения. Всякий час переживая сильнее религиозные порывы, я вместе с тем размышлял над ними, приходя порою к весьма милым выводам. Возьмем, к примеру, добрые дела или очищение от грехов на исповеди. Делая доброе дело, побеждая соблазн или выходя из исповедальни, чувствуешь себя в эту минуту добрым. Но тем самым преисполняешься греха гордыни, превознесения себя над прочими, поскольку, не имея сил удержаться от сравнения, жалеешь их, грешников куда тяжелейших, чем ты сам. Так чего в таком случае стоит добродетель? Не подозревая того, я шел путем блаженного Августина, вместе с тем наталикаясь на одну из коренных проблем христианства. Упирая на испорченность человеческой природы, законоучитель был мне близок. Но отталкивал принуждением к образам. Жадно глотая в учебнике параграфы о спорах между теми, кто все ставил в зависимость от милости Божьей, и теми, кто предоставлял известную свободу человеческой воле, я пестовал в себе протестантские наклонности.

Корчась от отвращения при звуке ломающихся голосов и усматривая грех в табачном дыме, Хомячок, надо признать, был не так уж неправ. Безгрешная пора человечества кончилась с появлением «я», иначе говоря — давней гордыни падшего: «Будете как боги, знающие добро и зло». Острее всего я чувствовал ее в себе по воскресным утрам. По разным причинам сложилось так, что ученики старших классов вместо школьной часовни несколько месяцев ходили на утреннюю мессу в костел свято-

го Георгия. Его посещали люди из так называемого хорошего общества. По выходе начиналось дефилирование на пятачке. Козыряли офицеры, адвокаты и врачи обменивались поклонами, дамы выставляли напоказ зубы, меха и шляпки. Толкаясь в гуще или стоя в скверике, я по самую макушку наливался ненавистью. Для меня человек что-то значил только своей самоотдачей — страстью к природе, мысли, слову, куда вкладывал всего себя. А это были макаки. Кто они? Для чего существуют? Я возносился на эдакую занебесную высоту и оттуда склонялся над ними, как над препаратом. Вот они рождаются, через миг умирают — и ни следа. Ты только посмотри на их ужимки, интрижки, стрельяние глазками, хлопоты о деньгах, демонстрацию собственных прелестей. За этим же решительно ничего нет. И я уходил в себя, призванного, ясное дело, к великим свершениям. В них же мне виделась просто вещь.

Конечно, это был мой личный опыт, и я о нем никому не рассказывал. Как бы я удивился, объясни мне кто-нибудь, что личного здесь было куда меньше, чем мне казалось, и что звались мои чувства «ненавистью к буржуазии». Поскольку этот род гордыни, в умственном отношении небесполезный, позже не раз толкал меня на ложные шаги, я весьма подозрительно смотрю на интеллектуалов, декламирующих нечто революционное. Сострадание к угнетенным для них лишь предлог, а игру они ведут свою. Точно такой же предлог, в конце концов, и их глубочайшие предвидения (скажем, пресловутых исторических процессов). Речь всего лишь о том, чтобы перевести прочих в разряд вещей, а себя титуловать человеком. В самом раннем детстве я уже чувствовал собственное превосходство, думая о всесиили смерти: окружающих это не поражало, а меня поражало, почему я и сокрушался над ними, беднягами. Именно так ведет себя жуир, мысленно раздевая женщин на улице: его затягивает не столько секс, сколько ощущение безнаказанной власти.

Боюсь, во мне рос потенциальный живодер. И таков каждый, кто с помощью собственного «я» пестует подобный образ мыслей. Сблэзн перенести законы эволюции на своих современников, увы, всеобщ. Тогда остальные сливаются в «массу», подпадающую под так называемые ключевые направления мирового развития. А имярек эти ключевые направления постигает сво-

им умом, и потому он — свободный человек среди рабов.

Если уж исповедоваться, так раньше всего в этом. Задача была, однако, слишком сложна, как оно обычно и бывает, когда естественная склонность каждого к горделивому отделению себя от других удесатеряется садистским воображением пятнадцатилетнего переростка. Кто был виноват — я или Адам во мне? Но меня уже захлестывал дух протеста, и я открыто вступил на тропу войны.

Участие в обрядах бок о бок с макаками меня унижало. Религия — это вера в священное, так как же их Бог мог быть моим? Какое право они имеют его исповедовать? «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, молись Отцу твоему, который втайне». Перед этими явственно низшими я был готов признать себя атеистом, только бы выйти из круга недостойных. Готов был отвергнуть религию как общественную условность и принуждение. Как видите, в моей схватке с Хомячком самые благие мотивы переплелись с самыми худыми. Тяга к независимости, отвращение к любому лицемерию, защита свободы совести шли рука об руку с интеллектуальной бесцеремонностью, с убеждением, что сам все знаешь лучше любого, со стыдливой тоской о чистоте. Началось со стычек, иными словами — с коварных вопросов законоучителя о тонкостях догматики. Дальше война набирала силу, дойдя в конце до великой битвы, когда я публично заявил, что из-за введенных им талонов ходить на исповедь не буду. По-моему, приступая к уроку у нас в классе, Хомячок в душе дрожал от страха. Но, сказать правду, мои одноклассники вели себя совершенно пассивно, лишь смутным гулом выражая бурное удовлетворение от самого зрелища битвы единственного сумасброда с авторитетом целой школы. И все же одна паршивая овца заражала своей наглостью всех. Вскоре враждебность Хомячка достигла таких пределов, что даже когда я сидел тише воды и ниже травы, он вдруг обрывал себя на полуслове, вопя: «Что за непотребство у тебя на лице, выйди вон из класса!» Если бы это зависело только от него, я бы давно вылетел из школы, но группа учителей, которую можно назвать «партией Рожека», защищала меня как «способного мальчика».

Не последней причиной раздора были некоторые особенности польского католицизма. Он складывался в определенной исторической ситуации: на вероисповедной

периферии и прежде всего в XIX веке — как защита от протестантской Пруссии и православной России. Вся польская культура развивалась в орбите воздействия Ватикана, не изменила этого и краткосрочная прививка Реформации, когда великий спор скорее усиливал привлекательность папства, чем окончательно от него отдалял. А когда с упадком собственной государственности у нас народился контуженный этим процессом национализм, между понятиями «поляк» и «католик» поставили знак равенства. Под игом царизма переименовав вероисповедание на православное изгонялся из общества: его лишали доверия как потенциального, а то и действительного коллаборациониста. Тем самым религия превратилась в институт, пестовавший обособленность народа, в этом смысле поляки напоминали евреев времен Римской империи и, доводя подобие до предела, дали волю мессианским чаяниям. Столь надежная сплоченность удручала Россию, которой никак не удавалось сравнить поляков друг с другом. Последние, однако, платили за свою неподатливость давлению извне изрядную цену: там, где граница между народным и религиозным укладом провести невозможно, религия становится социальной причем чаще всего консервативной и склоняющей к конформизму — силой. А тому, кто пытается разорвать эти узы, приходится атаковать ее самое. И мой протест против трогательных народных мифов и рецептов, против враждебного любому брожению старья, иначе говоря — против избранного общества на костельном пяталке, был — если отделить его от подозрительных примесей — достаточно обоснован. Из чего он возникал, сказать трудно; вероятней всего — из враждебности к появившимся отовсюду флюидам *Zeitgeist'a*<sup>1</sup>, хотя это тоже мало что объясняет.

Польский католицизм, глубоко проникший в сам строй нашей мысли и вызывавший у русских болезненную ненависть к Ватикану, был и оставался в первую очередь приверженностью литургии. Библейские традиции в нем малоощутимы, идея Откровения, разворачивающегося во времени, практически отсутствует, отсюда — слабое понимание внешних форм в их внутренней динамике. На уроках Хомячка мы ни разу не раскрыли Ветхого Завета, он считал его для нас противопоставленным. Однако, отведи он чтению и комментарий,

скажем, книги Иова хотя бы часть того времени, что гуманист Рожек уделял одной строке Горация, пользы от этого было бы куда больше, чем от его куцых рассказиков о пророках, в которых он видел всего лишь прообразы Христа. А ведь мог бы нам объяснить, в чем смысл тайны, побуждающей не упоминать вслух пресвятое имя. Мог бы научить нас, что иудаизм в противоположность своим античным соперникам с их циклической картиной мира увидел творение в развитии, как диалог, как неустанное возобновление постоянно видоизменяющихся вопросов и постоянно видоизменяющихся ответов, и что эту особенность христианство унаследовало от него. А всем этим удержал бы нас от поспешного принятия за аксиому того, что дела человеческие проходят, не оставляя по себе следов, иначе говоря — привил бы нам вкус к истории. Но он был лишен воображения и спасался от напора современности за стеной своих непоколебимых позиций.

Кроме того, польский католицизм весьма склонен понимать грех на манер деликта в римском праве, и Хомячок тут не составлял исключения. Это, надо заметить, было не вполне в ладу с его глубочайшим убеждением в коренной испорченности человека, не соблюдающего заповедей. Но он множил себе казуистические барьеры, как бы следуя максиме уложения о наказаниях: *nullum crimen sine lege*<sup>1</sup>. Съесть что-нибудь ровно в полночь накануне причастия — грех это или не грех? Когда отступление от поста грех тяжкий, а когда — простительный? Какую работу можно делать в воскресенье? Что происходит с некрещеными детьми после смерти, коль скоро они не могут достичь ни чистилища, ни рая? Многообразие этих перегородок поражало. В этом смысле Хомячок был священником Ветхого Завета. Он, с его изъезженной совестью, жил в постоянном предощущении греха. Как легко догадаться, прежде всего это касалось требований плоти. Католицизм обходится с ними довольно терпимо, однако большинство питомцев нашего законоучителя так никогда и не избавились от травмы и любой сексуальный акт, будь он даже благословлен святой церковью, почитали злом. Выход оставался только манихейский: заведомый разврат с преодолением самого себя, поскольку идеал воздержания все равно недостижим.

<sup>1</sup> Дух времени (нем.).

<sup>1</sup> Нет преступления без соответствующего закона (лат.).

На самом деле Хомячок так и не сумел показать главного: что наши моральные обязанности всегда относятся к личности другого человека. Его система кар и наград (параграфы в сопровождении санкций) была построена центростремительно; она вела к спасению твоей отдельной души, оставляя прочим «что им надлежит», а тем самым — выполняя лишь отрицательную роль, так что сама работа начиналась, так сказать, после того, как окна закрыты и докучные оводы изгнаны. Не думаю, будто он толкал нас к созерцательности, к простому ритуальному очищению, объектом которого становилась наша персона. Скорее, вижу в этом еще одну особенность польского католицизма. В нем жирно подчеркивают ответственность перед коллективными сущностями вроде церкви или родины (едва ли не тождественных друг другу), а вот ответственность перед живыми и конкретными людьми отходит на второй план. Это поощряет разного рода идеализм и завышает планку любого действия: оно непременно должно иметь в виду великую цель. Может быть, отсюда склонность поляков к богатырским порывам при легкомыслии и неряшестве в отношениях с другими людьми, а порой и равнодушии к их бедам. Они как бы носят панцирь — римского образца, — который дает трещину лишь после изрядной порции спиртного, и уж тогда изпод него лезет такой хаос, который не часто встретишь у представителей западноевропейской цивилизации. Вера редко понимается как внутренний опыт, но куда чаще — как совокупность заповедей, основанных на племенных привычках и предрассудках, из-за чего поляки постоянно во власти платоновского зверя по имени Общество. Польская литература полна проблемами провинностей перед такими коллективными образованиями, как церковь, народ, общество, класс, и возникающих отсюда раздоров. Стоит ли удивляться, что сила отрицания у некоторых из нас была всего лишь пропорциональна живучести этих традиций?

Наш законоучитель считал меня атеистом и заблуждался. Надо сказать, я сам толкал его к этой ошибке — из своеобразной ревности: скрытое нам дороже, чем разглашенное на каждом углу. Подобный настрой я встречал потом у крипто-католиков из аппарата коммунистической власти. Их вера была куда горячее, нежели у многих открытых приверженцев католицизма. Для атеиста у меня не хватало данных: я жил в непрерывном изумлении перед

миром, словно видел перед собой занавес, который вот-вот раздвинется. По темпераменту я относился к созерцателям, не склонным к активной деятельности, и мои природоведческие занятия, минуты над микроскопом, а потом литература подчинялись тому же закону — концентрировать внимание на одной точке. Да и дома у нас не было ни малейшего повода к религиозному бунту. Индифферентизм отца по контрасту не разжигал, как это частенько случается, религиозного рвения матери. Она была соблюдающей все обряды католической, но важности обрядов никогда не подчеркивала. Зато все происходящее было для нее взаимозависимо и предопределено, а культ скрытой за этим тайны по сути несколько напоминал языческий мистицизм, так часто встречающийся в Литве. Мир оставался для нее священным, хотя разрешение его загадок ждало лишь за гробом. Терпимость матери выражалась просто: «Всяк славит Бога, как умеет», и ей бы, думаю, трудно пришлось, узнай она наверняка, что единственная подлинная религия это исповедуемый ею католицизм. Жесткое разделение на рай и ад стиралось пожатием плеч: «Что мы знаем?» Моим школьным сварам с вышестоящими она ни малейшего значения не придавала.

Как примирить красоту и математическую бездушность Вселенной? Что тут личина и наваждение, а что — подлинная суть? Я давил гусеницу на тропке, как иные совершают половой акт: и хотел бы не делать, а делаешь, поскольку живешь на земле и втянут в общий круговорот. Какая разница, делал ли я это нечаянно или, опуская башмак, уже догадывался о существовании гусеницы и тем сильнее давил ногой, злобясь на все, из чего слеплен? Если Бог не добр, то как оправдать мою молитву? Когда Хомячок выставлял меня за дверь, я, протестант, нащупывал собственную дорогу. Помощь я пробовал найти в двух книгах — «Исповеди» блаженного Августина и «Многообразии религиозного опыта» Уильяма Джемса.

Не так важно, что представляют собой эти книги и как их следует понимать. Я брал из них нужное мне. Если отказаться от мысли о посмертном балансе кар и наград как непристойной (что, в самом деле, за плоский ростовщический счет?); если история христианства вызывает сомнения не только потому, что оно частенько служило лишь прикрытием гнета, но и потому, что первые христиане лукавили перед самими собой, предрекая скорый конец времен; если догматы невозможно примирить

с научной картиной мира,— тогда следует найти иное измерение, в котором противоположности меняют тональность и остаются правомочными. Это другое измерение не упраздняет биологию и физику: они существуют на тех же правах. Сложность и богатство переживаний блаженного Августина — такой же факт, как религиозные устремления миллионов заурядных мужчин и женщин, чей опыт описал Джемс. Насколько могу судить сегодня, выводов прагматизма — убеждают, мол, только успех и энергия, а критерии истинного и ложного здесь не подходят — я не принял. Скорее, я хотел убедиться, что не составляю исключения, и осознал, что настолько всеобщий голод не может не быть насыщен. Иначе говоря, понял, что действительность куда глубже, чем можно подумать, а потому допускает познание разного рода — в этом я остался верен моей матери и нашей Литве, осененной духом Сведенборга. Мне не удалось погасить своего главного внутреннего убеждения: существует сияющая точка на пересечении всех линий, и, отрицая ее, я теряю способность сосредоточиться, а явь и мечты рассыпаются в прах. Убежденность касалась и моего единения с этой точкой. В глубине я чувствовал: от меня зависит не много и если что в жизни и получится, то это будет дано, а не добыто. Время стояло передо мной, как ночь, через которую надо, если сподобишься, пройти и только так поймешь ее.

Комедиантство, истерия и бестолковость зачастую неплохо уживаются в юношах с нешуточностью мысли, и сверстникам их эти грубые и крикливые чудовища, прикрывающие робость наглостью, скорее всего кажутся загадкой. Точно так же учителям нелегко отделить в них задатки, сулящие будущий крах, от тех, что, пожалуй, могут рано или поздно сыграть положительную роль в той или иной сфере. Уравновешенный Рожек лавировал среди этих психических пробок несравненно ловчей священника. Успешней шла и его борьба со скабрёзными остротами и приступами общего хохота при малейшем намеке на особенности человеческой анатомии. Под холодным душем его иронии виновный вился ужом, заливался краской и в конце концов вынужден был проглотить несомненную истину: он — настоящий осел. Хомячок, тщательно размечая вместо этого запретные участки, так и не сумел понять, что в сложном химическом процессе воспитания ни один компонент не существует по

отдельности, но обязательно вступает в новые и прочные связи с другими,— чем затруднял нам какое-никакое познание самих себя.

И тем не менее пришлось его как-то вписать в свою жизнь. Наша затянувшаяся война мне в конце концов надоела. Отказываясь видеть во вселенной машину — замечательное завоевание мысли, из которого, однако же, ровно ничего не следует,— я дал волю суевериям и перенес свои чувства на мелких лесных богов. Я приходил в согласие с самим собой, вместе с тем понимая, что поступаю абсурдно, но еще ясней понимая, что поступаю правильно: единение с силами, которые движут мной, не умеющим их назвать, требует каких-то символических жестов. Может быть, я преувеличиваю, но зори и сумерки, которые я встречал, наблюдая за птицами, равно как и вынесенная из детства память об опасностях войны, не позволяли мне верить в слепой случай.

Постоянно нуждающийся в цельности, я был, что называется, по природе религиозен. Католическая церковь привлекала своим исполинским строем, она обращалась ко мне, не требуя взамен ничего, кроме подчинения дисциплине и воздержания от поспешных оценок. Кроме всего прочего, я как прилежный читатель историй церкви признавал необходимость подобной дисциплины, поскольку сам для себя никакой другой выдумать не мог. Вероятно, это было примирением с обстоятельствами? Я не терял надежды, что рано или поздно сумею разобрать и заново собрать эти головоломки. Хомячок как-то съезжился, ушел с первого плана. Он жалок, это верно, но, что ни говори, ни одно сообщество людей не могло от поколения к поколению не опираться на таких, как он. В последний год перед выпуском между нами установились сухие, но вполне вежливые отношения. Он в конце концов понял, что силой меня не переломишь. А как только прекратил давить, я сам стал посещать исповедь. Акт смирения перед порядком вещей для меня должен был оставаться исключительно добровольным и личным делом, а не следованием общему обычаю. Я поклялся себе — не пользуясь, конечно, этим термином,— что никогда не примирюсь с польским католицизмом, иными словами — не сдамся макакам.

И вот передо мной оба моих наставника. Ореховые глаза Рожека бегают нас на скамейках коротким взглядом. Из-под личины римского сенатора у него проглядыва-

вало порой лицо зоркого деревенского парня, гураля из деревеньки под Татрами. Шагает, заложив руки за спину, и, взвешивая каждое слово, рассказывает о дворе Августа. А вот Хомячок: роется в полах сутаны и достает носовой платок. Поскольку тот редко бывает чистым, пользуется им с осторожностью, зажав в ладони. Под глазами — синие тени, лицо изнуренное после мучительной ночи. Оба оказались снарядами, разорвавшимися куда позже, чем я ждал. Одному я обязан неприятным осадком от первых собственных проб пера. Романтические скорби или автоматизм вдохновения маскировали тоску по прозрачной, стройной структуре, но от самой тоски, увы, не избавляли. Другому — чувствительностью к серному смраду преисподней, неистребимым дуализмом, неумением ладить с тем, другим в каждом из нас, коего не в силах одолеть, отчего давимся стыдом.

Битвы с Хомячком усилили мою природную скрытность, дух противоречия и тягу к внешнему — то ли в порядке самообмана, то ли на правах тонкой игры. Вряд ли подобные итоги воспитания назовешь похвальными. Однако я никогда не обрывал той нити недоброжелательного братства, которая петлей опоясывала нас двоих. Он встал для меня в полный рост, когда, уже после второй мировой войны, пришло известие, что Хомячок отказался выехать из нашего оккупированного советскими войсками города. Боязливый и непреклонный, он остался со своим приходом.

Нельзя перестать быть прихожанином католической церкви, учит доктрина. И обе позиции — и принятие, и сопротивление — подтверждают это. Затушеванная ли, открытая ли, главная проблема из века в век остается прежней, и я полагаю, что для всех воспитанных в католическом духе, хотя бы они того или не хотят, философия не может не быть *ancilla theologiae*<sup>1</sup>. Или другой она вообще не бывает, и надо признать правоту последовательных противников религии, которые истребляют любую философию как нечто подозрительное?

Сила католицизма — в многообразии его, которое раскрывается и в ходе истории, и с течением отдельной человеческой жизни. Длющаяся вот уже несколько столетий война между ним и так называемым научным мировоззрением, служа поводом для кризиса верований в массах, тем не менее идет на пользу обоим антагонистам.

В конце концов, современная наука — итог того же иудеохристианства, а иначе она не смогла бы прийти к понятию Вселенной, не воплотимому ни в один ясный и очевидный образ, но выражаемому исключительно с помощью знаков. Тот, кто имел случай наблюдать за этой схваткой в самом себе, думаю, согласится: противоречие небесплодно.

## НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ

Ни одна затея среди сообщества ребят нашего двора, откуда виднелись деревья заречного Зоопарка, а летом несло тошнотворным смрадом кожевенного завода, не обходилась без Яшки и Соньки. Они были полноправными гражданами двора, но каждый из нас безо всяких объяснений знал, что домой к ним ходить нельзя. Гоня по двору и лазая на деревья, они ничем не отличались от нас. Но стоило их матери перевеситься через балконные перила и позвать детей ужинать — сходство заканчивалось: она кричала по-русски. Яшка и Сонька были евреи, и у них в семействе разговаривали на другом, чем у остальных, языке.

Евреи Европы звали Вильно северным Иерусалимом и по праву видели в нем столицу своей культуры. Тут размещались научные учреждения, позднее перебравшиеся в Нью-Йорк, тут сложился сильный центр еврейского движения, и навряд ли язык Библии возродился бы в Израиле без учеников вदेशных ивритских школ. В лавочках, где я покупал почтовые марки, всегда висела жестянка со звездой для сборов в поддержку сионизма. Вся жизнь моих земляков со множеством их верований, ориентиров и устремлений совершенно естественно вырастала из самой почвы нашего городка — родины знаменитых толкователей Талмуда и Торы, центра ожесточенных споров между раввинистами и хасидами, иными словами, того насиженного места, где считать евреев чужаками было бы, мягко говоря, странно.

Но откуда у Яшки с Сонькой русская речь? Пока Россия не заглотала Украину, Литву и Польшу, евреев в ней не было. Им было запрещено селиться в России ближе черты оседлости, которая долгое время оставалась непреодолимой. Название «российский еврей» означало попросту потомка *Commonwealth'a*<sup>1</sup>, ставшего подданным

<sup>1</sup> Так по образцу Британского Содружества Милош называет польско-литовскую федерацию Речь Посполита. (Прим. пер.)

<sup>1</sup> Служанка богословия (лат.).

русского царя. Виленские раввины восприняли захват Россией Великого княжества Литовского как трагедию и обратились к единоверцам с соответствующим воззванием. Как бы то ни было, в течение XIX века к новому гражданству мало-помалу притерпелись.

И все же город остался разделен надвое. Католики и евреи обитали в одних и тех же домах (были, правда, и еврейские кварталы), но, казалось, существовали на разных планетах. Контакты ограничивались исключительно повседневными хлопотами, а обычаи в семьях соблюдали разные, читали разные газеты, объяснялись на разных языках: подавляющее большинство евреев — на идиш, эмансипированное меньшинство — на русском и лишь совсем ничтожная часть — польски. Поэтому из двух ветвей иудейской веры у нас в школе было куда больше караимов, чем евреев. Сильнее дискриминации (а от нее не остались в стороне и некоторые учителя) действовала взаимная непроницаемость обихода. Каждый в Вильно посещал «свою школу». Только университет перемешивал всех в одних и тех же аудиториях, но и там студенческие союзы подразделялись на польские, еврейские, литовские, белорусские. Перегородки, пусть и по неписаному кодексу, никто не рисковал разрушить.

Изоляция евреев на этом фоне была явлением не новым. Среди ее причин — разность профессий (торговцы в массе крестьянства), различия бытового уклада, поддерживаемые религией. Однако политический антисемитизм возник в наших краях очень поздно — стараниями царской администрации, взявшейся за этот инструмент — *divide et impera*<sup>1</sup> — в эпоху, когда монархия уже зашаталась. До тех пор можно было наблюдать, хоть и редко, разгул толпы на почве религиозного фанатизма, но, скажем, побоища — между вооруженными дубьем и камнями католиками и кальвинистами, — которыми жил наш город в XVII веке, я бы скорее отнес к раздорам внутри самой христианской общины. Хватало у нас, правда, и своих «жидовствующих» — радикальных антитринитариев, дружески обсуждавших в кругу раввинов преимущества Ветхого Завета перед Новым. Но эти попытки преодолеть изоляцию так или иначе ограничивались элитой, почему и не задевали чувства христиан. Политика все перевернула. Католики, ярост-

но сопротивляясь России, мало-помалу начали смотреть на евреев как на отдельную нацию, к тому же — недружественную, поскольку те вели с властями другую, свою игру. Образ врагов Христа воплотился в лицах юношей в косоворотках, стремящихся к подлинной цивилизации. Набирающее силу социалистическое движение разбилось на два потока: антирусский (те, кто отстаивал независимость захваченных империей областей) и пророссийский (те, кто стоял за единый революционный порядок на всех территориях монархии). Русскоязычные евреи составляли ядро этой второй группы как будто только для того, чтобы дать начало бесчисленным ересям по революционной России.

Эмоциональный настрой наших христиан нес на себе следы разных веяний. От старой Речи Посполитой, с ее деревенским и патриархальным укладом, пошли представления о «наших евреях», неразлучные со всем строем жизни. Здесь евреи органично вписывались в человеческий пейзаж, и никому бы в голову не пришло оспаривать их права на вековую роль торговцев или посягать на независимость группы как таковой. Сравнительно новым было представление о евреях как людях, которые одеваются, едят и живут, как все окружающие, но говорят на своем языке. За недоброжелательностью тут, видно, скрывалось оскорбленное чувство людей, задетых тем, что рушатся каменные перегородки и максима «знай свое место» теряет силу. Но важнее всего оказался неизвестный прежде конфликт, давший позднее других — после первой мировой войны — пищу расовым и экономическим доводам, завезенным, главным образом, из Варшавы, где ситуация, замечу, была совершенно иная. По крайней мере, в одном Вильно решительно отличался от собственно Польши: там проживало вполне достаточно поляков еврейского происхождения, у нас же такие случаи пока считались исключением. При чрезвычайной слабости нашего мещанского сословия лозунги, обычно близкие сердцам хозяев лавочек и мелких предпринимателей, но шитые по привозной мерке, годились нам разве что на вырост.

Столь любимые литературой психологические портреты антисемитов редко бывают удачны, как правило, они не учитывают подробностей, о которых куда точнее психологи расскажут география и история. Под воздействием идей Просвещения в массе евреев, проживавших на территории польско-литовской республики, стал

<sup>1</sup> Разделяй и властвуй (лат.).

нарастать — особенно с упразднением словесных привилегий — протест против существования черты оседлости и любых ограничений по религиозному признаку. Естественными центрами притяжения оказались три новые столицы: Петербург, Вена и Берлин. Как туда хлынули энергия, дарования и таланты, видно на примере семейства Фрейдов: отец Зигмунда приехал в Вену из Галиции. От средневековых общественных порядков, и прежде всего оттуда, где действовали польские школы и университеты, можно было бежать и по-другому — в польскую литературу и науку, которым еврейство подарило не одно замечательное имя. Этот разлом среди более просвещенной публики был не меньшим, чем расстояние, отделявшее ее как целое от замкнутых в себе островков диаспоры. Новым бродильным ферментом стал сионизм, и, думаю, не случайно возглавил движение выходец из восточных краев прежней державы, где этническая чересполосица затрудняла отождествление человека с каким бы то ни было отдельным сообществом.

Сравнения с Францией или Германией здесь не годятся. Да и что это за меньшинство, если в иных городах оно составляло от 30 до 70 процентов населения! Множеству различий внутри каждой из двух групп с неопределенной прослойкой между ними — куда, собственно, относить профессора, врача, актера или журналиста еврейского происхождения — соответствовало многообразие оттенков в повседневных отношениях, тоже, впрочем, меняющихся от региона к региону. В целом поляки были чрезвычайно еврееозабочены и вместе с тем настроены антисемитски, но, исчезни предмет этих странных, двусмысленных чувств, их бы охватила тоска: без евреев скучно. Сколько газет и политических группировок черпали в антисемитизме единственный смысл существования, цenia столь благодарную для демагогов тему, без которой им бы и двух слов не связать! Какое каbare обходилось без еврейских шуток? В ядовитом, висельном смехе иных наших горожан, скажем, Варшавы, слышится явный отголосок еврейского юмора. Этот симбиоз исключал равнодушие. Монета имела и обратную сторону — филосемиты считали, например, что нееврейки — это женщины без изюминки, на ступень ниже остальных.

Именно евреям я обязан комплексом, благодаря которому с малых лет оказался потерян для правых. Партия национали-

стов — или «здравомыслящих», то бишь выходящей на сцену мелкой буржуазии — возникла у нас в последние годы девятнадцатого столетия и претендовала на первенство в долинах Вислы, ведя там смертельную войну с социалистами. Главным доводом ей служила ссылка на смутную, но притягательную ауру, окутывавшую слово «народ». Последний наделялся качествами языкового, культурного, религиозного (понимай — католического), а в конце концов и расового единства, хотя среди самых пылких его адептов нашелся бы не один выученик раввина. Эта вскоре прекратившая существование партия с ее газетками и лозунгами некоторое время маячила у меня перед глазами. Чувствительность ко всему, имеющему запах «народного», и нечто вроде физического отвращения к людям, этот запах испускающим, сыграли в моей позднейшей судьбе немалую роль. Может быть, переломным здесь оказался один счастливый случай, своего рода предупреждение от противного.

Первое мая у нас в городе называли еврейским праздником. По улицам в этот день двигалось многолюдное шествие с флагами и транспарантами. В толпе, объединявшей разные направления левых сил, и вправду преобладала еврейская молодежь. Причина проста: основную массу христианского населения у нас составляли ремесленники, сплоченные в цехи под покровительством святых, или рабочие, сохранившие крестьянскую закуску.

Как сейчас вижу эту сцену: в окне класса весеннее солнце, цвиркают воробьи, первое мая. Учитель французского (прозванный Носком, поскольку как-то раз вместо носового платка вытянул из кармана грязный носок) подозрительно смотрит на меня, подзывает пальцем; я, двенадцатилетний растрепа, подхожу к столу. «Что у тебя там?» Из кармана торчат концы так называемой рогатки. «Для чего это?» — «Евреи стрелять», — пробую я придать голосу мужскую твердость. Прищурившись, он разглядывает меня в холодном раздумье, словно неизвестную породу. Мне душно, я чувствую, что становлюсь красным, как рак. Оружие конфискуется.

Так что же, оно предназначалось для Яшки и Соньки? Совсем нет. Мне рисовался не какой-то конкретный человек, а полная абстракция, безликая сущность, сгусток представлений со знаком минус. Больше того, я даже не чувствовал их чем-то своим, сросшимся со мной. Напротив, они оставались чужими, и стыд перед учителем

мучил тем сильнее, что я вдруг как бы в озарении увидел истинного виновника и подстрекателя. Это был один из наших родственников, которого я глубоко презирал. Я моментально сопоставил свою выходку с его застольными политическими нравоучениями, которых никогда не слушал, но, оказывается, слышал, и с тех пор любой лозунг народолюбцев всегда вызывал в памяти его ничтожную особу.

Но, как я понимаю теперь, сравнительно легкий разрыв со средой, наделившей меня стойким иммунитетом, а потом и почти навязчивой ненавистью к проповедникам народобесия, объяснялся и другими, более сложными причинами. Независимость мою поддерживали туманные социалистические порывы, прежде всего — нечто, ускользавшее от слова, поскольку владело оно моим подсознанием. Корни у меня оставались на глубине, не затронутой сравнительно новым, не старше Французской революции, приводем, и через них я, как выяснилось, впитал заповедь терпимости, столь не свойственной моему веку. Да и потом перевешивало недоверие к так называемым «настоящим» полякам. У нас в семье царил культ самобытности — не важно, шотландской, уэльской или бретонской. В этом смысле Великое княжество Литовское было «лучше», а Польша — «хуже», поскольку чем бы она осталась без наших королей, поэтов, политических деятелей? Местная гордыня, весьма в нашем закутке распространенная, таила остатки воспоминаний о былой славе. Поляки «оттуда», из самой Польши, пользовались репутацией пустых, взбалмошных и к тому же не чистых на руку (за всех них расплачивался в нашей семье тот самый родственник-антисемит, завязанный варшавянин, навсегда оставшийся для меня символом «истинного поляка»). У нас ценилось нечто противоположное их минутным вспышкам — назовите это упрямством или стойкостью. Так или иначе, недоброжелательный тон, каким о них говорили, вряд ли мог пробудить во мне тягу к излюбленной ими идеологии народопоклонства.

Вырастая из семейного уклада, как из старой одежды, что-то от него я все-таки сохранил и уравновешивал этим воздействие школы. Думаю, не один из наших преподавателей истории или литературы удивился бы, узнав, что учебники, которыми они пользуются, — чистойшей пропаганда национализма. Люди, в общем, незлобивые, сурово осуждавшие шовинистические выверты, они тем не менее прививали нам

характерную оптику: история Commonwealth'a попросту подменялась историей Польши. Так, например, положивший начало объединению двух государств князь Ягайло выступался образцом благородства, тогда как его брат, пытавшийся отстоять независимость Литвы, князь Витовт, — бунтовщиком и злодеем. Ученики соседней литовской гимназии усваивали совершенно обратное. Там образцом благородства выступал князь Витаутас, а его брат — орудием в руках поляков. Обе версии были достаточно далеки от действительности. Точно то же самое происходило с историей словесности, где единственно стоящим внимания признавалось написанное по-польски. Мы не слышали ни о дивном, неисчерпаемом литовском фольклоре, сохранившем дух языческой древности, ни о первопечатных книгах на народном языке, ни о протестантском пасторе по имени Донелайтис, который в XVIII веке написал литовскими гекзаметрами поэму «Времена года», любопытную параллель более или менее современными ей «The Seasons» Джеймса Томсона. Ни в один учебник не вошли образцы диалекта, на котором тут создавались некогда уложения законов, хотя мы бы его отлично поняли.

Такая школа, упразднившая многообразие культурного наследия и тиражировавшая вместо этого скроенные по новой моде народолюбские воззрения, тоже должна была подпитывать антисемитизм учеников. Еврейская вероучительная словесность, возникшая в нашей части Европы, переведена на множество языков, признана во всем мире, и стоило взять в руки любую хорошую антологию религиозной мысли, чтобы найти там хасидские повести и с благоговением задуматься о мудрецах из захолустных местечек — Баалшеме, раби Нахмане из Брацлава, раби Хитцике из Люблина, раби Пинкасе из Корца, — людях, бесспорно, достигших вершин евангельского милосердия. Именно в наших краях позднее родилась трагичная и полная неподражаемого юмора светская проза и поэзия на идиш. И обо всем этом в городе, печатавшем еврейские книги для мирового рынка, мы не слышали буквально ничего. Кое-что мне через много лет удалось прочесть, купив книги в Нью-Йорке: потребовалось выучить английский, чтобы дотянуться до того, что было буквально под рукой.

Немалая вина за то, что еврейской литературы (развевшей бы немало предрас-

судков) практически не знали, лежит и на прогрессистски, радикально настроенных интеллигентах еврейского происхождения. Из всеобщих идей о человеческом равенстве они сделали вывод о никчемности прошлого. Эти охотники до любых новинок поддерживали в стране культурный снобизм — силу, как известно, столь же небесплезную, сколь и небезопасную. Из их среды рекрутировались издатели и самые пылкие поклонники Герберта Уэллса, Фрейда, Олдоса Хаксли. В редактируемых ими журналах велись кампании в защиту сексуальных свобод и планируемого деторождения. Кто бы тут стал заниматься литературой на идиш и переводить ее на польский? В ней видели что-то местное и низкое, отголосок гетто, упоминать о котором считалось неприличным. И только если книга становилась бестселлером за границей, ее, уверясь, что можно хвалить без опаски, импортировали, — ведь теперь на ней лежал отпечаток Парижа или Веймарской Германии. Если кто-то упоминал о евреях, в этой среде обижались, подозревая собеседника в расизме. Здесь стремились любой ценой забыть о своем происхождении, стыдясь его безо всяких причин.

Так или иначе, вокруг установилась атмосфера душевной фальши. Называя кого-то евреем, христиане переходили на шепот, будто речь шла о постыдной болезни, или добавляли: «Еврей, но человек порядочный». Хуже всего, что эту оценку до той или иной степени усваивали «ассимилянты», из всех сил стирающие следы собственного прошлого. Из-за этого любой личный контакт исключал возможность взаимности и признания, которые заменялись рабской зависимостью от ситуации. Один держал в уме: «Он думает, я еврей». Другой: «Он думает, я считаю его евреем». Пирамида росла. Один нагромождал: «Он думает, я подозреваю, будто он считает меня евреем». Другой: «Он думает, я считаю, будто он подозревает меня в мыслях о нем как о еврею». Выхода из подобной ситуации, ясное дело, не было.

Но в Вильно такая раздвоенность была редкостью: для нее в здешнем обществе не хватало промежуточных слоев. Скажем, у нас в классе все были христианами (некоторое время с нами учились двое магометан), потому и расовых разногласий не возникало. Евреи оставались для меня чем-то посторонним и отроческих мыслей, в общем, не занимали. К концу школы мои туманные политические взгляды кристаллизировались в одном: я терпеть не мог

польских националистов и давал себе выход, бунтуя против харцеров, а потом — против начальника полиции и других представителей власти.

В университете я убедился, что водораздел между левыми и правыми проходит как раз по «еврейскому вопросу». Сравнивая своих сотоварищей, я заметил, что в зависимости от происхождения они шли двумя совершенно разными колеями. Еврейскими мальчиками и девочками рано овладевал дух прогресса, их бунт против отцовских взглядов на жизнь, против религии был куда горячее, чем у христиан. Они ополчались на предрассудки, в священных книгах видели собрание нелепостей, штудировали Ленина и чаще всего причисляли себя к марксистам. Государство, чьими гражданами были, они не ставили ни во что, впрочем, и вправду не обнаруживая в нем для себя особых возможностей. Путь к государственным должностям был для них, за ничтожными исключениями, закрыт, военная карьера недоступна, оставались торговля и свободные профессии. Но и тут при массовом наплыве, скажем, на медицинский факультет, университеты отфильтровывали их жестче прочих. Натякаясь на стены, они, понятно, тосковали по большим государствам с их широкими перспективами и часто признавались, что Германия и Россия давно обогнали в этом Польшу. Куда более зрелые умом, они оказывались и более способными, чем католики, на теплые человеческие связи, а также превосходили их общественным темпераментом. Они вступали в организации, присягавшие идеям сионизма или социализма (или того и другого поровну), — Поалей Цион, левый Поалей Цион, Бунд, коммунисты. Слабенькое коммунистическое движение, истребленное полицией, вообще находило активистов и сочувствующих главным образом среди еврейской молодежи, поскольку у нас в городе именно она ориентировалась на Россию.

В то же время воспитанники каких-нибудь Хомячков отличались фанатичным патриотизмом, консервативными взглядами и любовью к почерпнутому в немецких университетах Балтии церемониалу. Объединяясь в «корпорации», они носили форменные фуражки, ленты через плечо, по праздникам расхаживали со шпагами, а вечерами предавались питью пива и фехтованию. Их спланивал приятельский снобизм или правые политические лозунги, в кружках, напоминавших офицерские касты, царили петушина спесь и воинственный гонор. Освобождение от

предрассудков и переход на крайние позиции давались им, подзадержавшимся в умственном развитии, с немалыми муками и трудами.

Вся эта университетская сцена, на которой сталкивались едва ли не целые мировоззрения, напоминала мне кукольный театр. Злодей-чернокнижник нажимал кнопку, и непримиримые герои спектакля проваливались под пол. Обычные объяснения различий между ними, на мой взгляд, поверхностны. Чаще всего прибегают к классовым резонам. Конечно, среди студентов-католиков лишь считанные единицы были родом из крестьян или рабочих, но намного ли больше их противников вели свое происхождение от еврейских пролетариев, столь ценящих науки? Думаю, потягайся обе группы своими доходами, большой разницы в целом не было бы. Но если сын врача, адвоката или лавочника — не еврея — чаще склонялся вправо, то еврейский отпрыск оказывался либералом или левым. Историки, занимавшиеся метаморфозами интеллигенции в Польше, обычно обходят эти загадки, не рискуя вступать на скользкую почву. Я думаю, что стоило бы углубиться в культурный уклад и поискать настоящий ключ там, а не в понятиях, завезенных из краев, где гораздо раньше нашего развилась городская цивилизация. Наш старый деревенско-дворянский уклад, перенесенный в город, продолжал подчиняться собственной динамике, и надо ли удивляться, что от либерализма и социализма он за минувший век эволюционировал в сторону все большей восприимчивости к правототалитарным лозунгам? Уклад же городской (а он был распространен у нас почти исключительно среди евреев) подчинялся совершенно другим законам. Не потому ли наше левое меньшинство было разбито правыми в первую голову с помощью болтовни о «еврейских прислужниках»?

Конечно, левые угрожали «здравомыслящим» уже хотя бы тем, что пытались разрушить сословные перегородки. Их заслугой был, к примеру, «Вечер бунтарской поэзии», где декламировались революционные стихи на польском, литовском и белорусском, а сын портняжного подмастерья буквально загипнотизировал набитый как никогда зал, переложив поэму Эрнста Толлера с идиш на язык ритмического танца. К этой левой — текучей и неоднородной — группировке меня толкнул вовсе не марксизм, скорее — неприятие народолюбствующих обскурантов, а может быть, тайное, укрытое в глубинах моего существ-

ва предопределение. Ведь единицам, так или иначе выламывающимся из среды (наследственность здесь куда важнее, чем думают), нужно как-то сформулировать свой конфликт с окружением: только перерастая из личного в групповой, он перестает унижать. Выбор, уже сделанный моими приятелями, был сделан на том же травмирующем фоне, модель их поведения определили похожие личные обстоятельства; левизна взглядов становилась для них чем-то вроде рекомендации для вступления в союз переболевших одной хворью.

Поступив в университет, я начал публиковать свои стихи и заметки, войдя тем самым в новую, литературно-художественную среду и став членом той особой ложи нонконформистов, которая во всех концах света одинакова. Непрерывная регистрация собственных заслуг слишком захватывала каждого, чтобы обращать внимание на форму чужого носа. Во главу угла ставилось совершенство или то, что за него благополучно сходило. Интересно, что с польскими писателями еврейского происхождения мне всегда было легче найти общий язык. В Вильно их из-за тамошних языковых предпочтений не издавали вовсе. Однако наша ложа, обмениваясь с подобными себе томиками стихов и скоротечными из-за недостатка финансов журналами, охватывала и центральную Польшу с Галицией, а уж там-то добрая половина сотрудников сколько-нибудь стоящих изданий навряд ли сумела бы предъявить столь любимую тогдашними юмористами «бабукарийку». Но, сказать правду, в этих новых для меня писательских кругах я не всегда мог удержаться от раздражения.

Если смотреть сквозь глухое стекло, движения актеров выглядят смешными и нелепыми. Путь внутрь круга, где разворачивалась мистерияльная драма народов и рас, мне был заказан. Не исключаю, что этот сезам и не мог для меня открыться, поскольку пристрастия к тем, а не к другим краскам и формам, ко всему, что касалось самых глубин, сложились у меня, благодарение матери, в литовской деревне. Эта — внешняя — позиция позволяла мне лучше понять писателей еврейского происхождения: они тоже стояли перед закрытыми воротами. У нас была одна общая родина — польская речь. Но они силились взять врата штурмом, придавая своим писаниям ультраславянский облик. Почти никто не выказывал своей раздвоенности, все носили застывшие маски, и маски эти их мучили. Приятели тянули меня за собой,

принуждали к мимикрии, я же на самом деле хотел одного: чтобы они пошли против течения, оставив такую возможность и за мной. Ради чего? Я и сам не знал. Где-то в глубине теплилась мысль, что наша левизна — это переодетая неприкаянность. Как они хотели забыть гетто, так я старался поглубже засунуть в запыленные уголки памяти Великое княжество Литовское, хотя куда больше, чем они, гордился, к примеру, своим слухом — ухо чистокровного поляка, по-моему, не чувствует сложного, хитроумно прикрытого простотой ритма, и только в наших краях мог отточить свой поэтический инструмент такой великий лирик, как Мицкевич.

Время между двумя войнами сжалось для меня в неделимый отрезок. Видимо, это неточно, поскольку все менялось. Правое движение, настаивая вначале на демократической законности, под воздействием безнадежной экономической депрессии и позаимствованных из Германии идей все яснее принимало тоталитарную окраску. Кричали о «народной революции». На каждом углу высказывали маленькие вожди, правда, с амбициями скорее позднейших арабских диктаторов, чем тогдашних Гитлера и Муссолини. Острые демагогии обратились на заграничные капиталы и «иудеоплутократов», что студенты и люмпены местечек понимали как призыв громить лотки мелких торговцев, — и вот бедняки ополчились на бедняков. В 1934 году такие беспорядки длились в Вильно три дня. Началось со спора о трупах. Университетской ячейке «народных радикалов» удалось одержать немаловажную победу: работавшие в прозекторской студенты объявили забастовку, требуя, чтобы трупы евреев для вскрытия доставлялись строго пропорционально численности евреев на медицинском факультете. Забастовка переросла в уличное шествие, которое двинулось в район старого гетто, круша по дороге стекла и задирая прохожих. Здесь их встретили могучие еврейские резники и грузчики. Вывороченный из мостовой камень попал одному из студентов в голову, тот через несколько часов скончался. Городом завладела остервенелая орда. Магазины запирались, жители прятались по домам, следя за опасностью в щелки оконных штор, а мостовую тем временем переворачивала жаждущая жертв толпа. Полиция мялась. Она было попробовала ворваться в студенческое общежитие, где обитали зачинщики (причем атакующих поливали сверху водой из пожарных кра-нов), но отступила. Эти шатания были

с пользой для себя перетолкованы внутри цитадели молодцами из разряда «полковников». Перевес получили элементы, склонные кадить не левой, а правой оппозиции. «Народные радикалы» казались им знаменем будущего, их не стоило задевать.

К чести поляков стоит заметить, что при общем одичании на нашем краю Европы они покушались на жизнь и здоровье ближних вовсе не с той охотой, какой можно было ожидать. Чаще всего антисемитские авантюры ограничивались нанесением материального ущерба. Возбудимый и несобранный, здешний люд тем не менее даже в толпе не лишен известных моральных тормозов и более или менее горячо стыдится вспышек ненависти. Дисциплине — а только она способна обеспечить хладнокровную жестокость — у нас подчиняются с трудом. Отсюда, кроме всего прочего, удивление иностранцев, сидящих разобрататься в польской политике. Границы между партиями здесь не слишком четки, блоки держатся не столько близостью программ, сколько сродством единиц, а к наиболее распространенному в XX веке типу действия — уничтожению неприятеля — прибегают неохотно, поскольку он компрометирует нападающих в общественном мнении. Практически любая деталь социального устройства тут опровергает свое, заимствованное из-за рубежа, название. Так, парламент, будучи при диктатуре «полковников» чистой фикцией, постановил, дабы не отстать от соседей, учредить собственный концлагерь, а откровенные фашисты, правда, не без известного кокетства, ушли в оппозицию. Компартия была запрещена, но журналов, тиражирующих ее идеи, издавалось сколько угодно, а сновники режима чванились дружбой с революционными поэтами, которых, бывало, спасал от тюрьмы звонок сверху. Эти же, добавлю, не слишком мощные, тормоза действовали потом в кругах Сопротивления, и разные его секты истребляли друг друга с меньшим пылом, нежели, к примеру, в Югославии. Еще поздней коммунисты, в целом не очень-то польщенные ролью палачей, навязанной им русскими, всячески лавировали, чтобы избежать широкого показательного процесса над Гомулкой по образцу суда над Райком. Есть у нас какой-то фильтр, отсеивающий крайности. Может, это привычка еще тех, столетней давности времен Республики, когда противника сокрушали с помощью нашпигованных латинскими цитатами речей и превыше всего ценилось искусство сутяг и интриганов?

Писать о евреях непросто. Трудно отделить эту тему от одной из величайших трагедий человеческой истории — уничтожения нацистами почти трех миллионов жителей Польши, занесенных в разряд «неарийцев». Очевидец человекоубийственных преступлений, уже одним этим лишенный роскоши считать себя незапятнанным, я принимаю все обвинения, брошенные мне и другим. Однако там, где помощь жертве террора грозит смертной карой, суд — дело нелегкое. Поведение любого отдельного человека зависело тогда от слишком многих обстоятельств и побуждений, чтобы браться определить в этом сплаве удельный вес довоенных антисемитских привычек. Религиозные мотивы (среди спасателей особенно выделялись женские монастыри), личная храбрость, соседские узы или желание заработать сталкивались здесь с физической немощью, страхом, равнодушием. Шантажисты из городского отребья нашли в ускользнувших от гетто легкую поживу, став для них серьезной опасностью. Будь в Польше, как в других оккупированных Гитлером странах, явно коллаборационистские политические организации, картина была бы проще. Коллаборантов, однако, попросту приканчивали, так что даже духовным побратимам нацистов (а такие были) приходилось сохранять видимость приличий. Вместе с тем крайне правые никуда не делись: они укрепляли ряды подпольной Армии Крайовой или фашистских, хотя и очень малочисленных, Народных Вооруженных Сил. Если в Армии Крайовой на убийство (исподтишка) прятаящихся по лесам евреев смотрели сквозь пальцы, это оставалось на совести отдельных офицеров и солдат, то Народные Вооруженные Силы устраивали на них плановые облавы. Что до левых социалистического и коммунистического толка, то они к началу войны пришли ослабленными, разбитыми и тона в Сопротивлении не задавали.

Ответ за то, что большинство населения, как бы оно ни относилось к убийствам, считало евреев другой нацией, должны держать прежде всего националистически настроенные писатели и журналисты. На воображаемом суде они бы, наверно, сослались на школу, учебники, исторические условия — разве не исторические условия, могли бы сказать они, в конце концов привели к тому, что две «нации» в польских городах так и не слились воедино? Но разве не эти духовные вожди потакали иррациональным инстинктам и массовому идиотизму? Точно так же и руководители

Армии Крайовой вслед за господином Журденом не догадывались, что говорят прозой. Отметая гитлеровскую идеологию в целом, они не брали евреев в лесные отряды, более того — считали это само собой разумеющимся, и те из них, кто дожил до нынешнего дня, искренне изумляются, слыша обвинения в расовой дискриминации.

Страны и государства переживают отдельного человека. Во все времена это казалось в порядке вещей. Однако сегодня то здесь, то там сталкиваешься с обитателями различных Атлантис, выжившими в мировых катастрофах. Их судьбы со временем преобразуются в памяти, складываясь в никогда не существовавший рисунок. Так ушла на дно и межвоенная Польша. Вместо нее на картах появился некий новый организм с тем же названием, но в других границах — эдакая иронически исполнившаяся мечта националистов, где уже нет ненавистного им меньшинства либо от него остались считанные единицы. Огонь стер с лица земли старые синагоги, и лишь изредка нога прохожего заденет в пригороде обломок плиты с выбитыми на ней еврейскими буквами, оставшийся от прежних кладбищ.

Я видел многое из того, о чем Европа, боясь мстительных призраков, предпочитает теперь не вспоминать. Но меня уже не было в нашем городе, когда гитлеровцы уничтожали там евреев. Для этого использовали Понары, дубовый лес на взгорье, место наших школьных и университетских прогулок. Они не пожалели бумаги для циркуляров, предписывающих способ убийства. Не пожалели времени, обслуживающего персонала, который конвоировал десятки тысяч мужчин, женщин и детей на уединенные полянки, скрытые от несведущих глаз. Не пожалели патронов для автоматов. Организация еврейского Сопротивления дала в гетто бой. Я знал человека, который и думать не мог, что судьба готовит ему роль одного из вожаков в той схватке, где решалось: погибнуть или просить пощады. Это был атлетически сложенный адвокат, любивший под водочку декламировать по-русски стихи Маяковского. Не коммунист, он поклонялся поэту революции и чуть ли не половину написанного им знал наизусть. Как сейчас вижу его волосатую, с золотым браслетом часов руку, которой он мерно взмахивает в такт стихам.

# «Векселя, по которым когда-то придется расплачиваться...»

МИХАИЛ ПРИШВИН О МАКСИМЕ ГОРЬКОМ

*М. М. Пришвин познакомился с А. М. Горьким в 1911 году. Горький прислал Пришвину восторженный отзыв о его повести «Черный Араб» и предложил издать свои сочинения. Вскоре в возглавляемом Горьким издательстве «Знание» вышло первое собрание сочинений Пришвина в 3-х томах.*

*Личные встречи писателей были нечасты. В 20-е годы их связывала довольно интенсивная переписка (часть ее опубликована), обмен книгами. В библиотеке Пришвина хранятся книги Горького с дарственными надписями, присланные им из Италии.*

*Пришвин не раз в советское время пытался встретиться с ним как с «собратом по перу», ища в нем понимания и поддержки, а зачастую и прямой жизненной помощи в труднейшие годы литературной борьбы и очередных «генеральных линий» партии, которые безжалостно и безлично зачеркивали судьбы и жизни многих писателей. На страницах дневника Пришвин оставил слова глубокой благодарности Горькому за все добро, которое сделал он и Пришвину, и многим деятелям культуры в то страшное время. Но в жизни с Горьким так и не сблизился.*

*Однако личность Горького для Пришвина-мыслителя представляла исключительный интерес — это открывает дневник*

*писателя. Имя Горького встречается чуть ли не на каждой странице многотомного пришвинского дневника. Из этих записей можно было бы составить отдельную книгу. Фигура Горького на страницах дневника заслоняет многие политические и литературные фигуры советского периода, настолько судьба «буревестника революции» вобрала в себя весь трагизм, по слову Пришвина, «садистического совокупления литературы с советской властью». Весь фокус мыслей Пришвина, связанный с революцией в России, итогами победившего «разума», в который так восторженно верил Горький, строительством социализма: этого земного — без Бога — счастья для народа, сходил на Горьком.*

*Пришвин всегда избегал окончательных выводов, и если подойти к пришвинским оценкам Горького «арифметически», то положительные и отрицательные оценки будут уравновешивать друг друга.*

*Вот почему так трудно сделать отдельные выборки из дневника, не исказив при этом истинных оценок Пришвиным такого сложного и полного противоречий явления, каким представляется жизнь и творчество Горького.*

*И все же мы решаемся предложить вниманию читателей дневниковые записи Пришвина, касающиеся последних лет жизни Горького: с 1928 по 1936 год.*

229

1928 год

31 мая.

Слава Горького.

Возможно, что мы в этом втором пришествии<sup>1</sup> Максима Горького испытываем редкое зрелище пустоты всякой славы. Нам, подготовленным, наученным мастерству в производстве советских праздников теперь до тошноты все очевидно в происхождении славы. Но очень возможно, что слава и всегда была такой, что слава Горького самая настоящая слава и только мы теперь, став ее сознательными актерами, переменялись.

1 июня.

Лева прислал телеграмму: «Максим ждет утром пятницу и субботу».

Что же сказать Горькому такое большое на пользу литературы?

<sup>1</sup> Имеется в виду возвращение М. Горького из-за границы.

Вот беда: сказать-то нечего. В общем, особенно сравнительно со служащими, писателю живется неплохо, в материальном отношении. Что же касается морального состояния писателей, то оно такое же, как у других граждан, и зависит от общего экономического и политического состояния страны. Если сказать с точки зрения писательской продукции, то, кажется, и тут сказать нечего: Горький печатно заявил о высоких качествах современной русской литературы. Спорить о вкусах нельзя, а если перейти к производству в стране чисто материальных предметов, напр(имер), линючих ситцев, и по окончании сделать объективное заключение и о качестве повестей и романов, то если это и будет доказательно, — все равно бесполезно: это докажет, что свобода литературного творчества в настоящее время, как погода, находится в прямой связи от причин экономических, политических и т. п. Очень возможно, что и качество литературной продукции, как и материальное положение писателей, более благополучно, чем все другие области производства.

Если говорить Горькому все, то надо говорить прежде всего о его юбилее<sup>1</sup>. Надо сказать, что юбилей его сделан не обществом, не рабочими, крестьянами, писателями и почитателями, а правительством, совершенно так же, как делаются все советские праздники. Правительство может сказать сегодня: «Целуйте Горького!» — и все будут целовать, завтра скажет: «Плюйте на Горького!» — и все будут плевать. Мы видим это на книгах, угождая правительству, книга идет молниеносно, хотя и совершенно бездарная, неугодная лежит или не печатается. В стране достигнуто относительно всякого рода торжеств, реклам, с чем близко соприкасается и литература, идеальное послушание машины. Все идеально в идеальном мире производства бумаг от канцелярской до романа. Но все невозможно глухо в мире реальном, где производится хлеб и орудия производства. И если тут что-нибудь и найдется, то это лучшее достигается ценой жизни отдельных людей. Такой отдельный человек просто плюнул на жизнь свою: «черт с ней!» и работает он, ни на что не оглядываясь. На таких людях у крестьян держится продукция хлеба, и рабочих — на производстве, так живут ученые, инженеры и т. д. Мы живем за счет быстрого сгорания невидимых творческих личностей. Я утверждаю, русская общественность находится в скрытом состоянии личного дела.

Юлия Цезаря так не встречали, как Горького. Из этого большого факта естественной чередой пойдут и другие...

Если не случится какая-нибудь перемена в политике, то Горький скоро обратится в ничто. А если произойдет неведомая мне перемена, то Горький может еще сыграть какую-то роль. В том и другом случае мне с Горьким не по пути, потому что старинный опыт доказал мне в себе полное отсутствие политических и дипломатических способностей. Я могу быть полезным обществу только на расстоянии от него в углубленном раздумье.

Если ехать к Горькому, то ни в каком случае не депутатом от литературы. Ехать просто из любопытства к жизни: может быть, Горький скажет что-нибудь из своего плана хорошее. Он сам интересен, и побывать у него надо, хотя и тяжело.

Начинаю понимать государственный юбилей Горького из русской истории. Юбилей этот есть яркий документ государственно-бюрократического послушания русского народа. Воля народа, по-видимому, без остатка сгорела в расколе, после чего остался не народ, а всегда всюду внешне послушная масса с затаенной жизнью личного, находящая свое выражение в какой-то артистичности. Да, русская общественность скрывается в тайниках личностей... Нигде в мире нет, вероятно, такого числа артистов, придумщиков, чудачков, оригиналов всякого рода в общественном отношении, исповедующих закон: «моя хата с краю». Испытав интеллигентский бесплодный бунт, я стал сам такой (мой отказ от влияния на Горького и есть: «моя хата»). Последняя моя вспышка была вспышкой патриотизма во время Германской войны: и так это было глупо! Теперь я с полной готовностью отдал бы свой народ во власть немца, как организатора и воспитателя трудового начала.

Я отдал бы народ этому хозяину без всякого колебания, потому что уверен в молодости и таланте русского народа: пройдет германскую школу труда и будет русский народ, а не бесформенная инертная масса. И с какой радостью будут работать, учиться! Страна наша в настоящее время жаждет труда для улучшения своего бытия. Из этой жажды делать свое дело вытекают великие последствия обновления страны. Вероятно, в этом и есть

<sup>1</sup> Речь идет о 60-летию М. Горького.

благодетельный сдвиг революции: не отдельные люди, а все хотят теперь лучшего, все жаждут разумного труда, разумного хозяина.

3 июня. Троица.

Вчера ездил на свиданье с Горьким. Потом видел Воронского. На обратном пути, слышу, рабочие говорят, читая газету: «Русский Горький приехал». Я спросил: «Что значит русский Горький в отношении к Максиму Горькому?» «А как же,— сказал один,— был итальянский фашистский, теперь русский коммунистический».

После того у нас был продолжительный разговор. Я доказывал, что Горький писатель, ему удобней было писать в Италии, вот он там и жил. «Удобней-то, конечно,— отвечал рабочий,— да вот почему же когда нам приходилось кровь проливать и голодать, мы не думали об удобствах». «Ну так ваше дело,— говорил я,— воевать, а его дело писать». — «И это не ответ. Если его дело наблюдать, то почему же он тогда нас не наблюдал. Вот бы теперь и писал. А то ведь уехал, бросил, вызвать массу умел, а когда масса выступила, испугался. Теперь ему 60 лет. Пять лет наблюдать будет, писать пять, а там семьдесят, в семьдесят лет плохой писатель».

Другой рабочий в газете показал одно место, там был упомянут Горький, а потом Сталин. «Понимаю,— сказал первый,— Горький возле Сталина, Горький на место Ильича. Провожали так, а встречали вот как. Конечно, Ильич его выгнал: «уезжай от греха!» А теперь встречаем, почему же мы его встречаем? Вот уж кости-то у Ильича, наверно, как прыгают!»

Этот рабочий стал мне рассказывать свою жизнь. Отец его был пьяница, мать рано умерла. Три дня отец, бывало, пьет, а сын ходит высматривать деревню, где больше подадут. Три дня сын кормит отца, а потом три дня отец кормит сына. «Я жизнь имел сам, как Максим Горький». — «Не пробовали писать?» — «Нет, не пробовал, я не люблю писать, я люблю жить в производстве с рабочими, люблю **наблюдать** и читать, главное **наблюдать**».

Это значило следить за жизнью, понимать. Был два раза фабкомом, но недолго: это очень вредно для себя, человек быстро портится: то я ничто, на меня плюют, а то вдруг шапку снимают, в пояс кланяются. Он указал бесчисленные примеры порчи, будто бы с детей начинается, детей одевают, отделяют от рабочих, они бегают уже с детьми инженеров.

Так много мы говорили. О названиях фабрик, что надо бы давать имена не по временному — фабрика имени Троцкого, а Троцкого нет! — а как, например, француз давал имена месяцам, по вечному «сбор урожая» и т. д. — И опять во временном тоже надо разбираться и понимать его: так, напр(имер), Троцкий, что же, разве у Троцкого нет своей правды?

— Так вот и Горький,— вставил я.

— Горький! да я же на его книгах и воспитывался. Я говорю только против раздувания: что раздувают его теперь незаслуженно. Он уехал от нас в Италию, жил с фашистами. Теперь приехал русский Горький.

Моя точка зрения о роли Германии в деле обучения русского народа организации производства и о строительной силе — из жажды всех нас, всего народа личного благополучия. На это Горький возразил: «Нет, это не пройдет, так нельзя». — «Но когда же маленький человек выйдет из своей нищеты?» — «Это разрешится когда-нибудь техническим путем».

В свете этого разговора мне предстала, во-первых, моя собственная жизнь; я оставался на своем месте, все выносил, но чужд был переживаниям таких людей, как этот. А их было много, это была масса. Я не замечал этого основного, а те существа, которые на мгновение отделялись от массы для управления, сыграв минутную роль, во вторую минуту становились бюрократами и мало-помалу совершенно извращали дело революции.

Во-вторых, на фоне этой рабочей массы, воспитанной в революционные годы, нынешнее выступление Горького представилось выступлением чисто интеллигентским.

Любопытно было, когда кто-то из рабочих во время осуждения юбилейных манифестаций сослался на деньги, что это дорого стоит, тот первый рабочий сказал: «Пустяки, не в том дело, наш рабочий прост, он это не считает, он готов последнюю копейку отдать, если его что затронет».

8 июня.

Ясно, холодно, умеренный ветер.

К сожалению, с опозданием получил приглашение на вечер с Горьким. Хорошо бы послушать, что он им там говорит.

— Я человек хитрый,— сказал он мне,— неужели же я не использую это все, что они мне устраивают.

Понимаю так: шесть лет он списывался с русской и заграничной интеллигенцией, потом несомненно сговорился с правительством и приехал, чтобы создать советское общественное мнение и начать возрождение страны и кончить все «по-хорошему». <...>

Горький приехал из «Музея Горького» и сказал: «Странное впечатление, как будто я уже и умер». Я ему на это: «Очень понимаю. Когда моя вещь напечатана, я с большим трудом могу ее прочитать: на третьей странице засыпаю». Он ответил: «А я вообще плохой читатель Горького».

17 июля.

«Наши достижения»<sup>1</sup> называется предполагаемый журнал Горького. Думаю, что наши достижения состоят главным образом в Гепеу. Это учреждение у нас единственно серьезное и в стихийном движении своем содержит нашу государственность всю, в настоящем, прошлом и будущем. Все остальное болтовня, потому что никто не властен, например, спасти невинного человека, если не захочет Гепеу.

Социализм бессердечен, потому что сердце его заключено в церкви. И всякий человек, вроде Горького, кто поставил себе задачу социалистического творчества, неизбежно упрется в необходимость для этого творческой личности, и углубление в творчество личности приведет его к собору такой личности, к церкви.

<На полях>: Это, как смутная мысль, направление, в котором надо подумать...

24 июня.

### Ex libris

Если я сегодня на белой странице посажу кляксу и буду писать дальше, не обращая на нее никакого внимания, то это будет просто клякса. Но если завтра, исписывая вторую страницу, я сознательно посажу такую же кляксу, на том же самом месте, послезавтра опять и так каждый день, то это будет уже не клякса, а особая метка, явление индивидуальности автора, выражение самолюбия художника, преодолевающего кляксу.

Я думал об этом при встрече с Горьким за обедом у него, когда он болтал об итальянцах и, выговаривая свое нижегородское «О», слегка подталкивал меня в бок: и это «О», и это подталкивание, и усы его и вообще весь тот рабочий облик, усвоенный нами по фотографиям, все это оставлено Горьким сознательно и в европейском обществе производит <И слово неразборчиво> должный эффект. Горький, воспитанный превосходной русской интеллигенцией, перевоспитанный еще раз отличными женщинами, отполированный образованным обществом всех стран, сохраняет облик рабочего, приблизительно как если бы я отделал свою кляксу стильным орнаментом и стал бы употреблять ее для собственных книг и рукописей: это не прежняя клякса, это будет выражение самолюбия художника, преобразовавшего кляксу в ex libris.

27 июля.

### Газеты

Не могу читать сейчас газет. Один раз хотел читать, увидел первое: «Максим Горький едет по Волге»,— и не стал читать. Во второй газете прочитал: «Максим Горький в Баку осматривал нефтяные промыслы». После того не мог читать не только о Горьком, но даже самые нефтяные промыслы стали мне враждебны и как-то невыносимо было думать, что это всегда неизменно было и будет: если сказать Баку, то вслед за тем будут нефтяные промыслы, и если сказать нефтяные промыслы, то другие скажут Баку. Точно также, если напечатано Горький, то вслед за тем идет «осматривал». Кто-то из писателей рассказал мне, что дорвался наедине посоветовать Горькому осматривать все без свидетелей, как частное лицо; на это будто бы Горький ответил: «А так я ничего не увижу».

<sup>1</sup> Журнал выходил в 1929—36 гг. в Москве.

28 июля.

Получено радостное известие от Смирнова<sup>1</sup>, что Полонский возвратился в «Новый мир». — Этим открывается возможность держаться в стороне от Горьковских грандиозных проектов освобождения интеллигенции и литературы.

29 августа.

## Бесы

Жизнь писателя ничем не отличается от жизни подвижника: те же бесы вокруг, от гордых сверхчеловеков, как у Гоголя и Толстого, до маленьких «купринских» пьяно-богемных (вспоминаю какую-то драку в ресторане приверженцев Куприна и Леонида Андреева). Но у подвижников религии есть сложная система борьбы с бесами, а писатель среди них, как ребенок...

Есть бес гордыни (на полях: Лермонтов), но и бес в смирении есть тоже бес, хотя по существу он тот же самый: это очень осторожный. <...>

У Мережковского, Разумника, Блока, Ремизова и др. несомненно жизнь проходит с бесами, но о Максиме Горьком почему-то не скажешь этого, не потому ли, что он авантюрист?

233

30 сентября.

## Смертобожие

Вопрос Горького: «и смертобожие знаете?» и одна скользкая фраза его в статье о физике, вроде того, что человек должен преодолеть свою «физику» и проч. открывает мне, что «смертобожие» проникло уже в его увлекающуюся голову. Весьма возможно, что разложение большевизма, с одной стороны, а с другой возрастающая потребность в духовной жизни воздымут наверх учение Федорова, как волю к бессмертию тела, и большевизм попадет таким образом в руки попов. (Не забыть сцену у Тарасихи. Говорили о покойнике. Т(арасиха) перекрестилась и, вздохнув, сказала: «Все там будем». Вдруг явственным шепотом слышались слова: «Все ли?»)

Федоров — большевик православия. В книгу о творчестве надо непременно среди богоискателей поставить ученика Федорова и сознательного последователя (Горького) и бессознательного (Легкобытова<sup>2</sup>). Однако надо иметь в виду, что и «святая плоть» Мережковского и «язычество» имеют те же мотивы (даже и «материализм» большевиков).

26 октября.

Конец Горького несомненный, я был прав, что уход Толстого и приход Горького значили конец того и другого, но у Толстого кончина христианская (сознательная), у Горького глупая. Я очень боюсь, что этот хитрый человек почуял катастрофу и удрал, что вообще его конец означает близость катастрофы...

29 октября.

Приход Горького некоторые сравнивали по трагизму с уходом Толстого — то было раннее веселье. Теперь сравнивают только в смысле возможной (I слово неразборчиво) человека и его низости. Воронский сказал: «Теперь ему выбраться будет очень трудно». Человек небольшого ума, но чрезвычайно хитрый, Горький, по всей вероятности, не рассмотрел скрытого влияния интеллигенции на весь ход нашей жизни. (Более поздняя приписка: Напротив, как и А. Толстой, хорошо рассмотрел, и это я, дурак, держался «заветов» наших отцов-разночинцев. Они-то смекнули!) А может быть, и видел, но понял, что явного значения она не будет иметь до последнего хода своего и потому возиться с ней во всех отношениях невыгодно. Очень возможно также, что просто был сбит с толку, запутался, струсил и давай Бог ноги! Я чувствую себя обманутым и, конечно, предпочту теперь общество Леопольда Авербаха и даже Гроссмана-Рощина этому «босыку». Ефросинья Павловна сказала: «Вспомни; ведь ты никогда его не уважал как писателя». Я ответил: «Как писателя да, но человеку-Горькому я всегда удивлялся... хотя, по правде говоря, никогда не любил».

<sup>1</sup> Н. П. Смирнов — литературный критик.

<sup>2</sup> Один из руководителей хлыстовской секты в Петербурге «Новый Израиль».

31 октября.

Метаморфоза экономического материализма в воинствующий идеализм (Дон-Кихотство). Напр(имер), если сказать, что такая же машина заменяет в производстве 10 человек и...

Непосильное требование к человеку, чтобы он забыл свою личность и отдался коллективу...

Но ведь это скачки через творческую личность человека, через бытие его...

Горький обладает именно такой головой и я очень понимаю Сергеева-Ценского, сказавшего когда-то после первого свидания с Горьким, что «я еще не встречал в жизни такого классового человека, как Горький».

15 ноября.

Тихонов<sup>1</sup> рассказывал подробности Горьковской авантюры с журналом. По-видимому, дело вышло таким образом: Горький вел переговоры с правыми (Рыков и др.), а пока переговаривались, эти правые были объявлены «правым уклоном», Горький удрал и вся его авантюра тяжелой виной легла на Базарова. Лучшие друзья Горького теперь уже не в состоянии его отстаивать.

О Горьком. Много бегал по свету этот человек, поселяя иллюзии среди простецов и наконец был привлечен к самому делу. Этого бегуна поставили лицом к лицу с последней реальностью, со смертью, а нас всех привлекли свидетелями. И он публично перед всеми оказался трусом и убежал (до весны!).

Доигрался!

## 1929 год

22 апреля.

«Р. Роллан — Федерации писателей<sup>2</sup>

Дорогие мои друзья!

Я присоединяюсь к вам, в этот день всеобщего братства человеческого труда. Пусть никогда не будет у вас сомнения в самой тесной моей близости к России! Что бы ни случилось в будущем, живой или мертвый, я хочу, чтобы мое имя осталось записанным среди непоколебимых соратников новой России! Возьмите его как один из боевых флажков с собой, в ваши битвы за создание более справедливого и лучшего мира!

Вам, советские писатели, я должен в особенности сказать следующее:

— Никогда не уставайте любить жизнь — жизнь действительную, жизнь вашего народа, жизнь наших братьев-людей! Погружайте в нее корни вашего искусства, и пусть ваш разум будет всегда озарен добротой! Гоните от себя низменный эстетизм той лже-аристократии ума, которая в сегодняшней Европе высокомерно избегает социальной действительности, ее страданий и ее битв, тщеславно забавляясь своими бесплодными играми! Горе сухим ветвям, отрывающим себя от живого ствола человечества! Будем вмещать в себя все радости и муки всех людей! Они принадлежат нам. Мы принадлежим им. Пусть же в наших венах течет красный поток единой и всеобщей жизни!

Ваш французский брат  
Ромен Роллан

Вильнев, 23 апр. 1929 г.».

К этим людям, подобным Роллану и Горькому и т. п., у меня начинает пробуждаться незнакомое мне чувство «классовой» ненависти, а вернее, того самого, что испытывали мужики в прежние времена, слушая слова прекраснодушных господ. Является вообще сомнение в давно уже принятом на веру закате Европы. Может быть, говорят об этом не столько чуткие, сколько «сытые», т. е. перекультуренные люди и в то же время слабые.

31 октября.

У Горького началось кровохарканье и он уехал за границу. Говорят, ни одного писателя не провожало его (так в тексте.— *Прим. ред.*) и что последние его три статьи отказались печатать «Известия» и «Правда». Так окончилась «хитрость», которой он мог хвалиться весной прошлого года, все кончилось для Максима Горького...

<sup>1</sup> А. Н. Тихонов — литературный деятель, сотрудничал с М. Горьким в ряде издательств.

<sup>2</sup> Вырезка из газеты.

## 1931 год

14 мая.

Сегодня Горький приехал, встречают, как царя. В «Правде» поместили этот портрет под Сталина — вот до чего!

Дорогой Алексей Максимович! <...>

Читал Ваши громы и молнии (в «Известиях») против загрязнения литературы и как с фактом согласен. Но я думаю, это происходит от общего направления механизации и обезличивания, фетиширования машины (пуще капиталистического), слепой веры в число, будто бы непременно переходящее в качество не путем человеческого творчества, а просто накоплением единиц. Впрочем, я пишу сейчас по маленькому личному делу. Вы знаете, писателей-анималистов на всем свете по пальцам пересчитать и Вы согласитесь, я не последний в десятке. Между тем рассказы мои о животных до того не к лицу, что я печатаю их в Германии, книга этих моих рассказов скоро выйдет там в роскошном издании и, если я умру, то слава моя рикошетом придет в СССР, подобно тому, как это было с книгой Арсеньева «В Дебрях Уссурийского края». Но самое худшее, что я начинаю вообще терять охоту к писанию, потому что как только надумаю о необходимости проводить генеральность линии в поступках зверей, так вся охота писать теряется. Вот еще вчера мог я писать для детей рассказы, признанные классическими: еж, говорящий грач и др.; ныне такие рассказы не напечатают и ответят, что еж, грач и т. п. должны выводиться соответственно с генеральной линией. Живой о живом думает, решил спрятать поэзию в звероводстве, очень нужном деле. Один очерк дан в «Наши достижения», одновременно с этим посылаю другой. Считаю в биологии величайшим достижением наш Зоопарк, трудами Мантейфеля превращенный в биостанцию, работающую так, будто они не в Москве, а в недрах природы. Хочу основательно им заняться и написать книгу вроде арсеньевской «в недрах» и в то же время в Москве. Мантейфель соглашается мне помогать. Что Вы думаете, если при оформлении материала, я буду печатать его в «Наших достижениях»? Мне думается, что журнал от моих зверей повеселеет, ведь через моих зверей лица видны, а через очерки машины нынешних механизаторов искусства вовсе не видно людей: котлы, колеса, а людей нет, и оттого лица нет и нет качества.

Или же Вы считаете, что теперь не до зверей. Напишите мне, или напишите, где встретиться (и когда) и поговорить, а то ведь теперь, пожалуй, до Вас не долеешь.

Ну вот, пока до свиданья, всего хорошего.

Михаил Пришвин.

16 мая.

Горький до того теперь высоко поставлен в государстве, что далеко выходит за пределы писательской славы и к нему теперь относятся прямо как к победителю, которого не судят.

19 декабря. Суббота.

Меня расстроило, что отказались напечатать «Кашееву цепь» и на это чувство обиды насело <от> московской трамвайной давки, злобы, потом бой за место по ж. д., серые лица и такое множество людей с мешками провизии, зло, усталость... истинный ад! и на это навернулась дальше современная литература. Началась тоска самая острая со сладостной мыслью о смерти... И в то же время о том, что находится по другую сторону смерти: пристройство, подобное уверованию с наглым тире вместо всяких сомнений, вопросов и колебаний, в этом царстве Максима Горького ведь еще много хуже, чем смерть. Я теперь живо представляю себе состояние духа Л. Толстого, когда он желал, чтобы его тоже вместе с другими мучениками отправили в тюрьму и на каторгу. И мне теперь тоже жизнь в ссылке, где-нибудь на Соловках, начинает мерещиться как нечто лучшее. Я накануне решения бежать из литературы в какой-нибудь картофельный трест или же проситься у военного начальства за границу. Мне думается, что в конце концов меня отпустят, потому что люди у нас неглупые и...

## 1932 год

24 сентября.

Юбилей Горького. За спиной Толстого, Чехова, пользуясь их простодушием, прошел этот хитрый самозванец русской культуры. И теперь, когда все покончено с русской правдой и совестью, когда по городам все ходят в лохмотьях, а по весям в редком

колхозном доме даже в праздник увидишь кусочек сахара, когда маленькие дети там у земли никогда не видят ни баранки, ни сладкого, — наш отец, обедаясь итальянским вареньем, на глазах у всех устраивает себе очередной юбилей. Постепенно Горький как бы сбрасывает с себя гуманитарно-босаяцкие одеяния, орех раскрывается, является самое ядро русского хама. Едва ли на свете какой-нибудь человек при жизни своей обладал такой славой. Настоящая слава распространяется во времени, переходя медленно <в> широкие слои общества по мере их просвещения (Гейне, Пушкин). Горький начал с «ширпотреба» и при жизни своей высосал свою славу из последнего октябренька даже: ему же честь-честь... Что же останется? Литературно-третестепенный писатель, ничтожный публицист и такой же ничтожный оратор.

## 1935 год

8 января.

Очень трудно мне встретиться с Горьким, очень! Это потому, что я много думал о нем нехорошего. И он тоже, наверно, чувствует во мне недоброго свидетеля и оттого избегает встречи... Чем я особенно не политик и не дипломат, что если к кому-нибудь почувствую неприязнь, то не могу с улыбкой, не подавая виду, встретиться и ему — для всех как будто дружески — пожать руку. Если же мне это и приходилось когда-нибудь делать, то потом всегда преме́рко было и что-то я из себя терял.

31 января.

Сегодня еду в Москву. Слышал о статье Панферова против Горького. Конец Максима, это чувствуется, — висит в воздухе.

Разговор с Ставским. Самолюбие, конечно, является движущей силой в литературе, но эта сила, как электричество, не должна обнажаться, и если обнажится, то это свидетельствует о каком-то распаде (письмо Панферова к Горькому).

Разговор с Ставским и Горьким о «Правде». Как стыдно, бывало, смотреть на седую мать, когда она во время игры в крокет ногою подставляла свои шары к воротам: так неловко и так странно для почтенной старухи. И вот это самое я узнаю в себе, когда начинаю свою «политику». Очень ущемлен, большая тоска... и все от самого себя: собой недоволен и это хуже всего... не умею кадить...

25 февраля.

Достоевский глумится над «поросычьими» идеалами социалистов и это имеет свою остроту в сфере интеллигентных людей, но ведь стремление к естественному счастью совершенно необходимо, и если такому животнo-несчастному его надежды назвать «поросычьими», то... стыдно же... И если Сталин заявит рабочим о счастье — это хорошо, а Горький — фальшиво (от Сталина одно, а от Горького ждем другого, и оттого Сталин становится все лучше и лучше, а Горький все хуже и хуже...).

1 марта.

Несколько дней занимает меня мысль о том, что всякая мораль имеет внутреннее стремление превратиться в учреждение. Замечательный пример — конец Горького: превратился в учреждение, то же <1 слово неразборчиво> Ленина. Так все движение интеллигенции, даже и анархистское, таило в себе государство, и умерла интеллигенция, и государство стало могилой интеллигенции, учреждением, которого она достигла...

17 марта.

В отношении этики в обществе к художникам относятся снисходительно, предполагая доверчиво в каждом назвавшемся настоящего художника, который все свое лучшее вместе и с этикой отдает своим вещам. Из уважения к делу такого большого художника, ценность работы которого определяется, складывается и выясняется иногда очень нескоро во времени, общество относится снисходительно ко всем взявшимся за дело художника, и прямо даже трогательно, как оно, дав большие авансы тому или другому, совсем незаметно потихоньку за спиной своего протеже рвет векселя его и все забывает.

Когда я вступил на этот обманчивый путь, вокруг меня литераторы не только брали авансы, а прямо ими спекулировали и, занимаясь в сущности самовыказыванием, называли сами себя даже «богами», и в этих кругах выражение «я — бог» было даже и ходовым.

Я вступил на свой путь с глубокой ненавистью к этому самовыказыванию, и вот это я в начале своего пути заметил и прямо зарубил себе на носу, что, называясь писателем, я тем самым беру векселя, по которым когда-то придется расплачиваться. Вот почему я с самого начала и до сих пор, как всякий смертный, конечно, люблю похвалы и славу, но никогда им не доверялся, не отдавался вполне. Мне РАПП ненавистен был именно наглостью своей в отношении общественных авансов, никогда еще в русской литературе не было столь пустых людей с такой претензией, потому что при мальчишках-декадентах были все-таки и старшие, а тут всем старшим зажали рот и остались одни только «пролетарские писатели». Письма к Горькому Панферова не больше, как отрывка того бедного времени: и все эти Панферовы, Фадеевы, Ставские — бедные люди и никакими письмами они себя не спасут.

Наше время плохо тем, что векселя дают слишком легко, но и хорошо, что в векселях этих на валюту очень мало: не миллионы, а «лимоны», как их называли по-прежнему.

## 1936 год

20 июня.

237

18-го в Одессе. В 2 часа дня выезжаем в Москву: (26 часов пути). Жара смертельная, пыль невозможная. Ночью чуть не задохнулся, пока не догадался, смочив полотенце, обернуть им рот и дышать через нос. (У них тут везде засуха с весны.) 19-го надо бы в 4 приехать, а мы в 7 и у самой Москвы узнаем о смерти Горького. Несколько часов углубленно думал и понял М. Горького, как человека исключительно удачливого и счастливого (...а то есть люди не-счастливые...) Я — человек, находящийся в борьбе с «не»: мне счастье даром не дается.

В Москве переехали на Северный вокзал и в 8 вечера двинулись в Загорск. По пути — в газете, что сегодня кремация, завтра похороны. Дома не-счастье: болезнь Павловны, очень серьезная. Принимаю новый вызов борьбы с «не». 20-го — жара. Послал молнию утром Лева<sup>1</sup> и Ставскому, что изнемог и прошу Лева быть представителем на похоронах.

Смерть Толстого тоже вышла на людях, как и у Горького, но Толстой от известности хотел убежать в какую-то неведомую избушку в неизвестность. Это было **здоровое** чувство: зверь, умирая, удаляется с глаз зверей... И непременно каждое существо умирает, значит, удаляется. Кто знает, что думал, удаляясь, Горький.

Лева приехал с похорон и рассказал, что похороны Горького ускорены: 18-го умер, а 19-го его сожгли, вследствие ускорения была во время процессии в Колонном зале давка. (Дорого стоит, и вообще писатель, даже Горький, даже мертвец, беспокойное существо.) Рассказывал Лева, что на 8-й день болезни у Горького был Сталин и Молотов и это больного порадовало (был в последнее время в немилости). Еще Лева говорил, что не попал на митинг, а то бы сказал он о том, как любил Горький Пришвина и как он, Алпатов, в течение 8 лет не мог добиться свиданья Горького с Пришвиным. А ведь это правда! И хорошо, что я не пошел на похороны: мне бы тоже свиданья не было, стоял бы где-нибудь статистом. Горький был взят от нас государством и самое интимное в жизни человека, его похороны, исчезают тем самым, что похороны «государственные».

Государственный человек привыкает на живого человека смотреть не с точки зрения личности, единственной в своем роде и неповторимой в истории человечества, а человека вообще, т. е. существа, способного и на хорошее и на плохое и крайне ограниченного... из этой «человечины» он выбирает себе друзей, работников, помощников, учитывая их необходимые слабости и дарования. Мы же, писатели, принуждены из массы людей выделять личности.

**Вступительная заметка, примечания и публикация Л. РЯЗАНОВОЙ**

<sup>1</sup> Лев Михайлович Алпатов-Пришвин — старший сын писателя.

## «Не гляди назад, не гляди...»

РУБРИКУ ВЕДЕТ ЛЕВ АННИНСКИЙ

238

Эту историю я хочу рассказать ради финального диалога, но и начальный импульс ее, надеюсь, небезынтересен. Речь идет о телевизионном фильме, некоторое время назад снятом Линой Чаплиной, израильским режиссером-документалистом. Собственно, режиссер она, как нетрудно догадаться, по происхождению советский и даже успела из рук Советской власти получить за свои первые работы Ломоносовскую премию — прежде, чем отбыла на историческую родину в 1976 году вместе со своим мужем кинорежиссером Станиславом Чаплиным (фильмы которого шли у нас в начале 70-х годов; что же до его картин, снятых в Израиле, то я немного рассказывал о них читателям «ДН» — 1990/4).

Фильм, который в Израиле Лина Чаплина сняла сейчас, конечно, лучше бы нам посмотреть по нашему ТВ, потому что речь там идет о Клячкине, но тут имеются со стороны нашего ТВ некоторые препятствия. Против ожидания, не финансовые. В принципе, за прокат надо платить, но в данном случае автор на гонорар не претендует: готов дать на просмотр даром. Мы — не готовы взять. Дело в том, что фильм надо дублировать на русский язык, задача в данном случае нетрудная, потому что он и так наполовину на русском, — но нам дублировать непосильно. Мы требуем, чтобы его сдублировали ТАМ и дали нам готовым.

Мне это напоминает анекдотические случаи, когда в период первых немецких гуманитарных обзоров в «голодающее СНГ» мы соглашались взять бесплатную еду только при том условии, что немцы сами же организуют и ее доставку прямо «ко рту», потому что возить дареное оттуда нам непосильно.

Но это к слову. Речь — о фильме. Фильм, как я уже сказал, — о Клячкине. О Евгении Клячкине, не так давно уехавшем в Израиль ленинградском поэте, барде первого

ряда, написавшем, в частности, музыку к «Пилигримам» Бродского. О Клячкине, которого мое поколение отлично знает по незабываемым песням, как, например, вот эта: «Не гляди назад, не гляди, просто имена переставь, спят в твоих глазах, спят дожди...»

Уехал. Фильм о том, как Клячкин адаптировался на Святой Земле, Лина Чаплина задумала и сняла по следующей схеме: раз в месяц — пятиминутный сюжет. Год жизни укладывается в час экранного времени и отражается в двенадцати эпизодах. Начиная, естественно, с первого, который снят прямо в тельавивском аэропорту, где артист весело пересчитывает чемоданы, а рядом с любопытством озираются дети, а за детьми смотрит русоволосая, волевая жена, и все проникнуто уверенным желанием быстро и спокойно устроить новую жизнь.

Не буду пересказывать все двенадцать эпизодов, каждый из которых продвигает нас на месяц вперед в жизни новоиспеченных репатриантов, — эта тема достаточно освещена и без меня в нашей нынешней прессе. Хотя, когда видишь все это воочию, тема окрашивается в новые живые тона, иногда неожиданные. Клячкин шутит, поет, не теряет оптимизма. Ему, правда, приходится работать «по первоначальной специальности», то есть инженером ЖЭК (или как это там у них на иврите называется); начальник ЖЭКа относится к нему с пониманием, потому что знает: новый инженер еще и артист — он сразу же подарил начальнику свою кассету. Но в конце концов и песням находится более широкий спрос; в одном из последних эпизодов мы видим Клячкина с чемоданом и гитарой в руках: он едет на концерт, «в этом месяце уже второй». Могу ошибиться в цифре, но вряд ли ошибаюсь в интонации ответа: не волнуйтесь, не пропадем! (Не волнуйтесь, повторю я и нашим читателям: по самым последним данным, дела у Клячкина идут отлично.)

Но я о том, как все это завязывалось. Легче всего детям: те со второго захода уже что-то лепечут на иврите. По лицу жены ничего не определишь: зажата. Вольной замок на каменном лице. «Все хорошо». И даже счастлива, что нашла работу по специальности — медсестрой в приличной больнице. А перед тем, насколько я понял по фильму, нянечкой в доме престарелых. И тоже не жаловалась. Разве что на неразговорчивость стариков: надеялась попасть в «языковую среду» — ничего не вышло. Богадельня — она и в Израиле богадельня, не только у нас; там не до разговоров: надо горшки выносить. Так пока выносила, не жаловалась, а там и полегче стало: и со службой, и с житьем вообще. Своя квартира, своя кухонька, малогабаритная, вроде ленинградской, и заботы, заботы. Это только в песне легко поменять родину: просто имена переставь — а в жизни... Ну, когда «все устроилось», подняла на репортера глаза и в ответ на прямой вопрос кивнула, что да, съездила бы на родину, да, соскучилась по дому... и опять чувства на запор и глаза в сторону, чтобы мы не заметили, какие в тех глазах спят дожди.

Фильм этот Лина Чаплина захватила с собой в свой последний приезд в Москву и показала в кругу друзей на «интеллектуальной кухне», оснащенной, по нынешним временам, уже и видяшником.

Посмотрели. Помолчали. Кто-то из нас

спросил: «Жена Клячкина — русская?» Вот тут-то Лина и произнесла монолог, ради которого я рассказываю эту историю.

— Невероятно! Если в Израиле и есть сейчас националисты, непримиримые защитники этнической чистоты, то это, как правило, недавние выходцы из СССР. Просто непостижимо, как страна, семьдесят лет воспитывавшая интернационалистов, вырастила людей, которые, пересекая границу, становятся лютыми ревнителями нации, вплоть до самого крутого правого толка.

— Но разве в Израиле не главенствует еврейская идея? — спросил кто-то из нас.

— Эфиопские евреи, прибывая в Израиль, удивляются: оказывается, бывают евреи с белой кожей и рыжими волосами. Можно как угодно называть идею, которая главенствует в Израиле, но когда там собираются, как теперь модно формулировать, «евреи разных рас», то они собираются, чтобы перестать быть евреями.

— Лина, но неужели тебя так-таки никто не спросил там, русская или не русская жена у Клячкина? Это же видно, — переспросил кто-то из нас.

— ЗДЕСЬ меня это спрашивают буквально на каждом просмотре. А ТАМ, в Израиле, за все время, что этот фильм там идет, меня НИ РАЗУ не спросили об этом.

Мы замолчали. Как это у Клячкина... Перевесь подальше ключи, адрес поменяй, поменяй. А теперь подольше молчи...

---

## Summary

«Promissory Note Which One Day Should Be Paid Off...»

These are the diary notes of Mikhail Prishvin. They cover the last days of Maxim Gorky's life (1928—1936). The destiny and the works by the great proletarian writer appear in them as a complicated, full of tragic contradictions phenomenon.

«May Be I Haven't Understood You...»

A novel in letters of Isaak Dunaevsky and Ludmila Golovina (Rinel). This correspondence sprang up from an exalted reaction of a twenty years old student to the music of one of the most popular Soviet composers and was being kept for fifteen years. It's a complete literary and life episode, which shows a tense intellectual and spiritual work of two unordinary people, as well as the atmosphere and realities of metropolitan and provincial life of the middle of the XX century in Russia.

**MARIA BOCHKAREVA.** Yashka.

Memoirs of the commander of the first Women's battalion of death founded in the Russian Army during the World War I. If there hadn't been plenty of documental proves of the facts reported, one could have taken her biography for a myth.

**VLADIMIR MEDVEDEV.** Saga of Bobo Sangak, a Warrior.

Fragments of memoirs by the recently lost National Front of Tajikistan leader, put down after him hot long before his death. The memoirs and the commentary of them open some unknown circumstances of the civil war in Tajikistan.

**GRIGOL ROBAKIDZE.** Akakey's Lyre.

This bright impressionistic article written by a gifted poet and prosaist of the 20-th — 40-th is about the works of a famous Georgian poet Akakey Tseretely. The interpretation of his poetry and its significance for the selfawareness of the nation is quite original. Comparing the creative works of Pushkin and Tseretely, the author convincingly shows why Pushkin in «much more powerful» than Tseretely.

Wonderful translations of Robakidze's lyrics reveal the tense dynamic and explosive strength of the poet's emotions.

**Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографии-изготовители, указанные в выходных сведениях журнала.**

**При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.**

*Технический редактор* Анна СЕЛИВЕРСТОВА

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Воровского, 52.

Телефоны: главный редактор — 291-62-27, генеральный директор — 291-62-49, заместитель главного редактора — 291-62-27, заместитель главного редактора и секретариат — 202-52-03, коммерческий директор и зав. редакцией — 291-62-49, отдел прозы — 291-85-10, отдел поэзии — 291-63-63, отдел публицистики — 291-05-09, отдел критики — 291-64-50, редактор приложений — 291-62-49

Сдано в набор 29.03.93. Подписано в печать 01.06.93. Формат бумаги 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21. Усл. кр.-отт. 21,7. Уч.-изд. л. 25,99. Тираж 40 000 экз. Заказ 3659. Цена свободная.

Российский информационно-издательский центр «Республика».  
Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»  
103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

**ПОДПИСКА  
НА «ДРУЖБУ НАРОДОВ»  
В ЛЮБОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ЭТОГО ГОДА  
НА ЛЮБОЙ СРОК!**

- Стоимость одного номера — 99 рублей.
- Она принимается непосредственно в редакции с 12 час. до 17 час.
- Вы будете получать журнал в редакции сами — это обойдется гораздо дешевле, чем пользоваться услугами почты, и многие люди поступают уже именно так.
- Любой номер, начиная с №1 1993 года, можно купить в редакции.

*121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Воровского, 52.  
Тел. 291-62-27.*

## **Компьютерный центр журнала “Дружба народов”**

Принимает заказы на выполнение  
компьютерных работ.

- Набор различных текстов
- Изготовление оригинал-макетов книг, журналов, газет, буклетов, листовок.
- По желанию заказчика оригинал-макеты могут быть выполнены как на бумаге, так и на пленке

Цены пока ниже, чем в других фирмах!

Тел. (095)291-6227

Факс (095)291-6354

Адрес: 121827, Москва, ГСП-2, ул. Воровского, 52